



НЕВА

6
2016

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Александр ДЬЯЧКОВ**
Стихи • 3
- Вячеслав РЫБАКОВ**
На мохнатой спине. *Роман* • 9
- Евгений СТЕПАНОВ**
Стихи • 112
- Александр ЛОМТЕВ**
Рассказы • 115
- Андрей ШАЦКОВ**
Стихи • 122
- Гурам СВАНИДЗЕ**
Рассказы • 127
- Александр ГАБРИЭЛЬ**
Стихи • 137
- Светлана РОЗЕНФЕЛЬД**
Стихи • 141

ПУБЛИЦИСТИКА

- Станислав МИНАКОВ**
Три Славы Василия Лисунова.
Семейная история о молодом герое-харьковце • 144
- Марк АМУСИН**
Интеллигенция: конец пути? • 150

ИЗ АРХИВА

- Александр ГЛАДКОВ**
Дневник. 1973.
Публикация и комментарии Михаила Михеева • 161

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Искусство чтения. *Вера Зубарева.* И снова «Дама с собачкой»... **Личность и рок.** *Лев Бердников.* Пульс времени. **Дом Зингера.** *Публикация Елены Зиновьевой* • 203

ПИЛИГРИМ

Архимандрит Августин (НИКИТИН)
Град Иудов в Горней. *Часть 1* • 234

КИНОТЕКСТ

Анна КОВАЛОВА
Кинорежиссер № 5.
(Чеслав Сабинский до 1917 года) • 249

*Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства культуры
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации.*

*Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»
запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать
на почтовый адрес журнала
(191186, Санкт-Петербург, а/я 9).
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.*

Главный редактор
Наталья ГРАНЦЕВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Александр Мелихов (зам. главного редактора). **Игорь Сухих** (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор молодежных проектов). **Елена Зиновьева** (редактор-библиограф). **Наталья Ламонт** (ответственный секретарь, коммерческий директор).

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Верстка **Д. Зенченко**

ПОПЫТКА БОГОМЫСЛИЯ

Бог воспринимает человека
целиком, с рожденья и до смерти,
с точки зренья вечности, в которой
времени уже не существует.

Бог воспринимает человека,
но в контексте предков и потомков.
(Даже тех, которые могли бы
появиться, но не появились.)

Бог воспринимает человека
с точки зренья еле уловимых
изменений мыслей и эмоций.
Что дела? В делах сквозит гордыня.
Бог твои намеренья целует.

Мы же видим лишь одну верхушку
айсберга — простите за красоту.
Нам легко роптать: за что младенцу —
смерть, а старику — болезнь и бедность?

Нам легко роптать: за что народам
войны, катастрофы, расселенье
по лицу земли, как иудеям?..
Нам легко роптать: за что, за что мне?

Бог ведет незримую работу,
сохраняя нам и честь, и душу.
Любит нас, а мы его не любим,
и не верим, и грешим, и ропщем.

Александр Дьячков родился в 1982 году в Усть-Каменогорске (Казахстан). В 1995 году семья переехала на Урал, в Екатеринбург. Окончил ЕГТИ (Екатеринбургский театральный институт) и Литинститут им. Горького в Москве. Публиковался в периодике Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, Саратова, Кемерово и других городов. Автор трех поэтических книг: «AD», 2004, Екатеринбург, Т. Е. П. Л. О.; «Некий незаконный человек», 2007, Екатеринбург, Издательство Ново-Тихвинского женского монастыря; «Перелом души», 2013, Екатеринбург, Издательство журнала «Урал». Участник нескольких поэтических сборников: «Разговор», 2009, Москва, Издательство Литературного института им. Горького; «А я вам — про Ерему...», 2010, Москва, Воймега, «Лучшие стихи 2011 года», 2013, Москва, ОГИ и др. Несколько стихотворений переведены на болгарский и вьетнамский языки. В 2011 году вошел как поэт в антологию Юрия Казарина «Поэты Урала». Лауреат премии им. Евг. Курдакова (2015), номинант премии ЛИТконкурс: стихи и проза (2015). Живет и работает преподавателем в Екатеринбурге.

Удивляюсь Божьему терпению.
Восхищаюсь правильной любовью,
не переходящей в потаканье,
но и в холод не переходящей.

ОТДЕЛЕНИЕ ПОГРАНИЧНОЙ ПАТОЛОГИИ

Со мною рядом лечат смешного человека — испанский арбалетчик пятнадцатого века. Вчера, после обеда, я сел к нему на «панцирь»: «Ты знаешь, Папа предал анафеме испанцев». Он так-то смотрит в стену, тут улыбнулся жидко... И снова каплет в вену оранжевая жидкость.

О, Третья мировая, мы все твои солдаты, прошлась ты, не взрывая ни бомбы, ни гранаты. Не шли мы в бой под марши, не пили перед боем, а души вроде фарша, сочащегося гноем.

Студент Степан Скамейкин все забивал на пары и загремел в армейку, а мог бы и на нары. Очкарик прыщеватый, но, видно, так достали, что стал из автомата палить по комсоставу. Мгновенья службы срочной он вечно помнить будет. И что засудят — точно, но вот кого засудят?

А нашего наркошу я выкупил случайно, засыпал он хорошей заварки в стремный чайник и, чтобы настоялся, накрыл чифир подушкой. Тут я и догадался, кто главный по кайфушкам. Он с нами не тусился, не отвечал на шутки, а все в углу молился... Исчез на третьи сутки. Ну, что сказать? Похоже, опять ушел за кайфом. Дай все что хочешь, Боже, но крест его не дай нам!

Мажор пресыщен жизнью, все так легко досталось! Но дело не в цинизме, тут жесткая усталость. Все у него в порядке, живет он по понятиям, возникнут непонятки — разруливает батя. С недоумением горьким он тянет сигарету... Должно быть счастье с горкой, а счастья вовсе нету.

О, Третья мировая, мы все твои солдаты, прошлась ты, не взрывая ни мины, ни гранаты. Лежат себе в палатах герои Дней Подмены. Но нету виноватых, а значит, нет проблемы.

А если б нам давали награды и медали за то, что воевали, вот, правда, с кем, не знали? Представь, красивый орден дан «За разоблачение ликующей и гордой эпохи потребления». Представь, в мечях и бантах торжественную ленту «За честный поиск правды, хоть правды больше нету». Почетная награда (ошейник, шлем и берцы) «За взятие разврата, сжигающего сердце». Нашивка «За наивность», значок «За инфантильность», а не политактивность и не успешный бизнес.

О, Третья мировая, на наш вопрос проклятый нам говорят, зевая: «Вы сами виноваты». Мы сами виноваты, и, значит, нет проблемы... Но выше нос, ребята, герои Дней Подмены!

УРАЛМАШ

Район деревянных бараков, империя сгнивших балконов. Кредит долговечнее браков, но все-таки пропасть влюбленных. Держава не бедных, а нищих, в домах не найти домофонов. Суфлерские будки на крышах. Трамваи и голуби — фоном. А трубы на крышах — кинжалы, что всажены вместе с эфесом. Июнь, и кайфуют бомжары, вольготно лежат под навесом.

Пьют пиво в подъездах, на лавках, бордюрах, аллеях и клумбах. Иду мимо окон и крупно — бухает мужик в синих плавках.

И можно глотнуть газировки, сточить пару пачек пломбира и рэпера на остановке уделать сонетом Шекспира. Потом, заедая паленку конфеткой со вкусом шампуня, попробовать склеить девчонку... Стою в эпицентре июня!

Меня провоцируют страсти, вот-вот и стрельну сигарету, опять побегу вслед за счастьем, хоть знаю, что счастье не в этом.

Но благословляю бараки, кредиты, измены и драки, отсутствие подлого счастья и даже греховные страсти. Всю плоскую эту минуту, всю пошлую нашу эпоху. (Не верю тому, что все круто. Не верю тому, что все плохо.)

Да, время и глухо, и слепо, смешно говорить о свободе — на каждом углу вход на небо, а люди почти не заходят. Но храмы открыты святые, и вечером исповедь в храме, и служат с утра литургию, и Чашу выносят с Дарами. И можно подняться над пивом, над бытом, над бредом, над модой. И стать постоянно счастливым, и быть наконец-то свободным.

* * *

Читатель, помни, я не идеал,
хотя всю жизнь писал стихи о Боге.
То, от чего я раньше замирал,
вошло в привычку подлюю в итоге.

Похоже, грех мой переходит в страсть,
а та становится уже неизлечимой.
О, Господи, я маленькая мразь
под благородно-царственной личиной.

И, если честно, непонятно мне,
как Ты меня прощаешь — фарисея?
Снаружи все эффектней резюме,
внутри гниющий труп смердит сильнее.

Но я разрушу сладенькую ложь!
Всю правду вывалю, о, дайте больше правды!
Мне утешеньем сердце не тревожь.
Там черви, пауки, морские гады.

* * *

Она звонит,
ее звонок
могу узнать
из ста других.

Звонит сказать:
ты одиноко,
а от меня
сбежал жених.

Лет пять назад
я был бы рад,
я б все отдал,
я снял бы крест

за мягкий тембр
и нежный взгляд,
за лживый взгляд
и пошлый жест.

Ее сожгли —
она сожгла.
И вот теперь
мне суждено

продолжить цепь
измен и зла
или порвать
в цепи звено.

СЛАВЯН

Он на все отвечает сердито,
плохо выбрит, небрежно одет,
два ребенка, четыре кредита,
ипотека на двадцать пять лет.

Не ошейник на нем, а удавка.
Он недаром в больницу залег.
Вячеслав или попросту Славка,
мой приятель, больничный дружок.

Он лежит не по первому разу.
«Здесь свобода, на воле капкан».
Эту, в общем, неглупую фразу
новичкам повторяет Славян.

Новички отвечают: «Иди ты!»
Им бы выписаться поскорей.
Как, зачем? Пиво пить, брать кредиты,
делать деньги и делать детей.

Но в гробу он видал эту лажу.
Потому что уверен Славян,
все на свете когда-нибудь скажут:
«Здесь свобода, на воле капкан».

* * *

Она не виновата.
И он не виноват.
Когда же вы, ребята,
спустились прямо в ад?

Вас маринует в банки,
закатывает быт:
жена читает гранки,
муж садик сторожит.

Зачем живую душу
плодить без перспектив?
Адам, жену послушав,
берет презерватив.

ЖАЛОБЫ РОКЕРА

Выйду ночью в поле с конем...

Русский народ «Коня» поет
и будет петь «Коня».
И что ему до моих забот?
И что ему до меня?

Я — плесень, выкидыш, тот самый урод,
без которого обошлась семья.
Русский народ «Коня» поет
и будет петь «Коня».

Я умен, знаю сто имен.
Говорят, у меня есть дар.
Но я забудусь, как глупый сон,
пройду, как ночной кошмар.

Я поэт? Нет, нет и нет!
Поэт — народа посол.
А я чужой, от меня лишь вред.
И мой удел — рок-н-ролл.

Господи, за что это нам:
быть народу чужим?
Изнывать от собственных мелких драм,
не сметь заняться большим.

Я проклят, я обречен.
На мне стоит клеймо.
Народ — живет, а я ни при чем.
Пишу сам себе письмо.

Ни корней, ни ветвей.
Швырните меня в огонь!
Но твержу, что пишу и сочней, и точней,
чем пресловутый «Конь».

Но что народу до знания нот
и что голос есть у меня?
Русский народ «Коня» поет
и будет петь «Коня».

Свиристует рэп, лопают поп,
в бороде запутался бард.
И что народу мой рок?
«Конь» — его конек,
и классика, и авангард.

Я умру, и мой рок умрет,
но до Судного дня
русский народ,
не признавший меня,
будет петь, петь и петь «Коня».

Вячеслав РЫБАКОВ

НА МОХНАТОЙ СПИНЕ¹

Роман

Она пришла

Мне пятьдесят девять лет. Я ответственный работник Наркомата по иностранным делам. Меня ценят и уважают. Я спятил. Я влюбился в девушку своего сына.

Он впервые привел ее в дом не в самый удачный день.

Я устал за сентябрь, как белка в сломанном колесе, но это бы ладно; хуже то, что наши долгие отчаянные усилия, так похожие на попытку остановить танк руками, завершились тем, к чему все, кроме нас, и стремились. Танк попер. Еле руки успели отдернуть.

Я люблю уставать.

Сызмальства помню: бездонная синева по осени горит, подоженная ослепительно сухим и жестким солнцем; солнце клонится к дальнему лесу, а ты, закинув за голову руки, блаженно валяешься на земле и смотришь в синеву, как равный. Ведь выкопана и разложена вся картошка, и сметенная в стожок ботва (в наших краях ее почему-то называют тинной) ждет огненного превращения в плодоносную золу.

Тело, жаждущее вкалывать, но с пользой, пронесло память об этом счастье сквозь кровь и голод, партконференции и диппредставительства и хочет, чтобы снова, чтобы так всегда. Просто, и ясно, и полно смысла. Труд и его плоды.

А когда труды бесплодны, тоска раздирает так, что хоть душу вырви и кинь в помойку. От бессилия перестаешь быть взрослым, хочется прижаться к маме и заплакать: я не виноват, я старался...

То, что в семье я ни о чем рассказать не мог, — это полбеды, это понятно: гостайна. Но даже угрюмой апатии нельзя было себе позволить. Надо улыбаться, держать радость, оберегать семейное тепло. Ведь стоит его раз упустить, и уже не восстановишь, как было. Свинцовая память о разъединении, пусть и недолгом, точно осколок вражьего снаряда навсегда застревает у сердца, откуда вынимать его не отважится ни один хирург. Потому что невозможно, сердце распорешь.

И я улыбался.

Смотрелись рядом Сережка и Надя странновато.

Сын даже дома предпочитал ходить в форме. По-моему, ему элементарно нравилось тугое, мужское поскрипывание ремней. Гордился, простая душа. Он еще в училище в форму врос, а уж с тех пор, как на его голубой петлице, рядом с кры-

Вячеслав Михайлович Рыбаков родился в 1954 году в Ленинграде. Окончил восточный факультет ЛГУ, работает в Институте восточных рукописей, доктор исторических наук. Прозаик, публицист, киносценарист. Лауреат нескольких литературных премий и Государственной премии РСФСР по кинематографии. Живет в Санкт-Петербурге.

¹ Журнальный вариант.

лышками, красной длинной брызгой уселась первая шпала да после того, как Коба произнес свое знаменитое «Люблю я летчиков и должен прямо сказать — за летчиков мы горой», Сережка разве что спать в форме не ложился. Может, и ложился бы, если бы не боялся помять.

Надежду я впервые увидел в новомодных брючках из грубой американской холстины, сидящих в облип, точно синяя чешуя; в таких, чтоб защемить ножками мужскую душу, и раздеваться не надо, и я, помню, подумал: стройненькая — и порадовался за сына. Но этим меня еще не проняло. Хотя, может, я лишь по первости не ощутил перемены в себе; так, подцепив смертельный вирус, человек некоторое время живет, как живой, смеется, играет с детьми, читает умные книги и подписывает важные документы, планируя на завтра совещание и на послезавтра театр, и не ощущает ни жара, ни слабости, ни тревоги; но какая-нибудь Эбола у него в крови уже чавкает вовсю, и никакого послезавтра у него на самом деле нет, а завтра — такое, что и его лучше бы не было.

Ворот блузки у нее оброс воздушными фестончатыми финтифлюшками, и рядом с их колыханием даже комсомольский значок на дерзко высокой груди смотрелся какой-то изысканной, неведомой ювелирам брошью.

А выше финтифлюшек, слепящим ударом изнутри — нежная кожа хрупких незагорелых ключиц. Таких беззащитных, что стоит глянуть хотя бы мельком — пересыхает в горле.

Лица у них тоже были что твои единство и борьба противоположностей.

Сережку увидишь, и сразу ясно: вот человек, которому хоть сейчас можно доверить хочешь эскадрилью, хочешь авиаполк. Но ни в коем случае — никаких двусмысленных операций, никаких конфиденциальных переговоров с намеками, обиняками и недоговорками. Что ему там скажут — он просто не поймет и, слушая розовые и округлые, как буржуйские ляжки, фразы, решит, будто у него теперь на одного верного друга стало больше; а сам ответит так, что лучше бы уж сразу отбомбился. Я-то знал, что в свои двадцать пять он стал немножко умнее своей скуластой, вихрастой, честной, как булыжник, физиономии; но если бы не ремни да петлицы, его и теперь можно было принять за подпaska-переростка, что забрел в город, заблудившись в поисках пропавшей буренки.

У Нади лицо было, что называется, интеллигентное. У нас же с некоторых пор как: нос картошкой, волос рус — простонародное лицо; нос с горбинкой и вообще анфас с профилем подальше от нюшек, грушек и парашек, поближе к ядвигам, эсфирям и шаганэ — интеллигентное лицо. Поступь истории. Интеллигенты с носами картошкой либо давно сгнили в расстрельных ямах чрезвычайек, либо мыкали свои таланты по европейским задворкам и, ошеломленные кособокостью большевистского интернационализма, кто сознанием, кто подсознанием мечтали о русском Гитлере.

Молодые влетели в дом, и стало тесно и весело. Они гомонили и сверкали сразу со всех сторон. Они искрились и бурлили, как шампанское. Когда я спросил, где они познакомились — вопрос вроде бы проще некуда, одной фразой можно ответить, — они лишь коротко переглянулись (ее длинные волосы тяжело и пышно мотнулись от плеча к плечу, потом обратно) и, вмиг договорившись без слов, построились, изобразили руками, будто идут в штыковую, тыча воображаемыми трехлинейками в воображаемого врага, и запели хором:

Возьмем винтовки новые,
На штык флажки!
И с песнею в стрелковые
Пойдем кружки!

И сами же расхохотались, снова с наслаждением переглядываясь. И только потом Сережка соблаговолил:

— В стрелковом клубе, прикинь!

Незамутненная жизнь, только-только кинутая ввысь трамплином детства, вся в предвкушении неизбежного счастья, превращала их в праздничный фейерверк. В нашей буче молодой, кипучей... Они и были этой бучей, вдруг ворвавшейся к нам, а мы с женой оказались в ней, как унесенные ветром. Жарким веселым ветром. Взмело — лети.

Уже садясь за стол и приступая к многозначительному семейному чаепитию, Надежда все же решила пояснить. Видимо, обеспокоилась, что мы, не ровен час, подумаем, будто она, как простая работница с обложки журнала «Работница», могла пойти учиться стрелять, чтобы всего лишь научиться стрелять. На случай, мол, войны. «И если двинет армии страна моя...» Нет, что вы, у меня же интеллигентное лицо. И вообще я вся такая.

— Мне зачетную статью надо писать на свободную тему, вот я и решила про стрелковые клубы. Социальный состав участников, динамика численности, рост боевой подготовки... Ну, а заодно...

— Она журналисткой будет, — уважительно поддакнул Сережка и уселся, с видимым удовольствием скрипнув ремнями.

— О! — с пониманием сказал я. — ТАСС уполномочен заявить!

Надя чуть порозовела. Видно было, что до самых ключиц. А может, и ниже, но тут уж блузка не давала убедиться, и только воображение, тоже раскрасневшись и запылая, подсказывало: до самого того, что под комсомольским значком... Стало ясно: телеграфное агентство СССР — ее мечта, ее зенит небесный.

— Может, и не сразу ТАСС... — скромно сказала она.

— В ТАСС только проверенных берут, — сообщил Сережка с видом знатока. — Кто умеет и не соврать, а все равно приободрить. стакан наполовину полон — пожалуйста в ТАСС. стакан наполовину пуст — пойдешь еще поучись где-нибудь на ударных стройках... И это правильно, я считаю. ненавижу нытиков.

Она посерьезнела.

— Уж не знаю, кто как, а я буду писать только достоверные факты. Только правду. А уж бодрит она дураков или нет — не мои проблемы. Умным главное — правда.

Поддерживать семейный разговор за столом — это святое. Но я, вспоминая тот вечер, так и не мог никогда уяснить для себя: я начал распускать хвост оттого, что вирус уже выплеснул в кровь первые токсины, или всего-навсего честно старался беседовать с молодежью об их умном и важном, да, кстати, поспешил воспользоваться довольно редким случаем ненавязчиво повоспитывать взрослого сына, коль воспитывать его обычными средствами давно поздно.

К тому же я зануда, я знаю.

— Тогда давайте потренируемся, — сказал я. — В двадцать, например, седьмом году боевиками Русского общевойскового союза совершено на территории СССР более девятисот террористических актов. Это факт, Надежда. Это — факт. Можешь где хочешь проверить.

— С ума сойти... — потрясенно сказал Сережка. — Почти тыщу? Вот же гады... Я не знал... я тогда еще маленький был... Слушай, пап, это правда?

Я молчал.

— Ну? — еще не понимая, нетерпеливо спросила Надежда.

— Правда ли это? — спросил я.

Она опять покраснела, и это было так пригоже, так по-девичьи, что хвост у меня, скорее всего, начал распускаться сам собой. А я этого вовремя не осознал и не пресек.

— Не понимаю... — сказала она после паузы.

Сережка, слегка набывшись, смотрел на меня настороженно: не обижу ли я его ненаглядную. А закончившая с плюшками жена, подперев подбородок кулачком и демонстративно предоставляя молотить языком мне, уставилась на гору своих творений, что, медленно остывая, дышали на всю гостиную сладким духом уютного домашнего изобилия.

— Правда тут будет вот какая: сметенные со столбовой дороги истории озверевшие последыши белогвардейщины в своей бессильной злобе не останавливаются и перед самыми гнусными преступлениями, тщетно пытаясь замедлить уверенную поступь народов СССР в светлое будущее. Более девятисот борцов за народное счастье пали от подлых ударов в спину... Или как-то так.

Сережка облегченно перевел дух.

— А, ты об этом, — сказал он. — Ну, это конечно...

Однако Надежда уже поняла, что я только, что называется, загрентовал и тренировка не закончена. Она молчала и смотрела выжидательно.

— Но ведь для кого-то может, как ни крути, быть и вот такая правда, — сказал я. — Русские герои, словно былинные богатыри, не складывают оружия в священной борьбе против захвативших Отчизну жидовских кровососов. Более девятисот большевистских преступников были казнены смельчаками, готовыми, не задумываясь, жертвовать своими жизнями ради освобождения матушки-России от коммунистического ига.

У Сережки отвалилась челюсть. Маша приподняла подбородок с кулачка и нахмурилась. У Надежды красиво приоткрылись губы и глаза стали... Не знаю, как сказать. Словно она вдруг обнаружила, что Земля круглая.

— Пап, ты чего... — сказал сын.

Я-то был уверен, что говорю это все ради него. Я даже и смотрел-то тогда больше на него, чем на нее, и все еще полагал, будто я вышестоящий мудрец.

— Фактов пруд пруди, их подбирать легко, — сказал я. — Более важные, менее важные... Более эффективные, менее эффективные... Какие надо. Но иногда приходится выбирать между правдами. В жизни, наверное, это самый важный выбор.

— А вы как выбираете? — негромко спросила Надежда.

— Чай пейте, — сказала Маша. — Плюшки берите. Остывает.

Я поднял блюдо с ее фирменным лакомством и подал сначала Надежде, потом сыну. Надежда аккуратно взяла одну, Сережка по-хозяйски сгреб сразу три. И одну положил своей девушке на ее блюдецце.

— Мой давний друг, — неторопливо начал я, — отличный фронтовой товарищ, в двадцать втором внезапно решил, что тут он не за то боролся, и поехал бороться за то и туда. В Палестину, укреплять общины поселенцев. Он мне потом писал очень искренне, что, когда ехал, думал так: вот есть правда двух народов, у каждого своя, и надо искать взаимопонимание и компромисс. А через год написал, что понял: одна из этих правд — это правда его народа, а другая правда — правда народа чужого.

— Но это подло... — сказала Надежда.

— Не знаю, — ответил я. — По-моему, как раз честно. Предельно честно в таком положении. Куда подлее те, кто, про себя делая этот же выбор, вслух продолжают твердить, что они, мол, отстаивают общечеловеческие ценности и таки ищут взаимопонимание и компромиссы.

— Ну, ты вообще... — пробормотал Сережка. Судя по его брезгливо оттопыренной нижней губе, о подобных подонках и говорить-то не стоило.

— Возьмем для примера такой тезис: «Палестина есть исконно еврейские земли». Для тех, кто принадлежит соответствующей традиции, он является бесспорной

истиной и не нуждается в доказательствах. Человек слышит и сразу согласен всем сердцем: ну, разумеется, а как же? Для тех, кто принадлежит к иной традиции, он столь же бесспорно является ложным и злокозненным. И, что характерно, никакие рациональные доказательства, никакие экскурсы в историю и культуру таких людей не переубедят, а лишь разозлят. Нет никакой надежды оценить эту правду извне культуры, объективно, сверху. Решает единственно принадлежность к культурной традиции, потому что именно она и делает народ народом. Тем или другим.

— Ох, — не выдержала Маша.

Мне оставалось ей лишь подмигнуть. Но остановиться я уже не мог.

— Тот, кому на все плевать, — пояснил я, — и кто не собирается даже пальцем о палец ударить, может попробовать надуть щеки, выпятить живот и изобразить объективность. Но наша-то задача не этим ангелом во плоти полюбоваться, а придумать, как поменьше злить обычных людей, не ангелов, с обеих сторон. Чтобы количество ненависти и крови в мире не росло, а хотя бы чуток уменьшалось.

Маша, помрачнев, опустила глаза. На кровь мы с ней насмотрелись, и она понимала: я не с бухты-барахты витийствую. Молодежи подавай справедливость любой ценой. Когда наглядишься на то, как и чем справедливость утверждается, начинаешь некоторые вещи чтить выше нее. Я, во всяком случае, начал.

— Па, что-то ты...

— Однако и это еще не все, — проговорил я. — Самый трудный выбор — это когда двумя правдами не два народа разведены, а разорван один.

— Я вот как раз это и хотела сказать, — проговорила Надежда, в первый раз посмотрев на меня с интересом. Или с уважением, что ли. — Вернее, об этом спросить. Вы же с этого начали. Значит, к этому и ведете, да?

— Именно, — непреклонно согласился я, потому что деваться было некуда. — Тут я бы выбирал так. Надо смотреть, во-первых, в какой правде сохраняется больше места главным, исстари идущим представлениям о том, что хорошо и что плохо, что благородно, а что подло. И во-вторых, где больше отвергается уже неработоспособное старое, но проявляется работоспособное новое. Вот та правда и будет правильная правда, ради которой действительно стоит героизировать и жертвовать. Потому что когда эти главные представления или разрушаются, осмеиваются, или, наоборот, упрямо консервируются и уже не налезают на изменившуюся жизнь, люди вообще лишаются представлений о Добре и Зле. И тогда у них не остается никаких ценностей, кроме собственного «я» и его ублажения, а стало быть — денег. Тут-то они и пополняют ряды марионеток буржуазии. А буржуазии только того и надо. Поэтому все, что не продается и не покупается, она называет предрасудками. Людей, у которых есть идеалы помимо самоутверждения и обогащения, — отсталами. И старается всех убедить, что все конфликты в мире из-за этой отсталости. А на деле-то конфликты из-за денег самые лицемерные, жестокие и подлые... Для нас, когда мы выбираем правильную правду, важнее всего, что в условиях капиталистического окружения эффективная самостоятельная экономика, способная встать с этим окружением вровень, может быть выстроена только некапиталистическими средствами. Добуржуазная культура — единственная основа постбуржуазной культуры.

— Культура... — недоверчиво произнесла Надежда. Коротко покосилась на Сережку и опять уставилась на меня. Будто сравнила нас и что-то прикинула. Как же это, мол, у такого сынишки такой папашка. — Добро и Зло... Слова-то какие старорежимные... — запнулась. — Вы что, из... старых спецов?

Я понял, почему она запнулась после «из». Наверное, хотела спросить: «Из пов?» Но вовремя сдержалась. Сманеврировала.

Сережка открыл было рот, торопясь ответить за меня, но я упредил:

— В какой-то степени.

Я понял: девочка не знает, куда попала. Сын ведь никогда не распускал язык. И не потому, что такой уж темнила, а просто ему казалось нечестным хвастаться отцом. Это я вполне мог понять. К себе надо привлекать внимание собой, а не своим стариком. Как же гадко это звучит: а ты знаешь, у меня папа... Знай, мол, наших. Вот, мол, какой я незаурядный малый — от такого папы родился.

А в доме Надежду, конечно, обманула скромность. Но нам некогда было заниматься благосостоянием, считать квадратные метры, менять мебель, подбирать драпировки по цвету и запаху. Ей-ей, мне хватало того, что есть, и Маше тоже, и инвентарные номерочки на стульях нас не приводили в бешенство, как некоторых партийных скороспелок, что из грязи в князи. Наверное, именно поэтому наша давняя дружба с Кобой так и не треснула. Он тоже был скромняга и тоже не терпел номенклатурных нуворишей, способных без зазрения совести хоть бетон Днепрогэса разбодяжить, лишь бы украсить свой кабинет узорчатой тестикулой Фаберже; его бы воля, пересажал бы их всех, и вороватые пальцы знай себе хрустели бы на Лубянке. Только вот беда — узок бы остался круг революционеров... Наверх люди лезут либо чтобы иметь, либо чтобы владеть. Либо чтобы втягивать мир к себе в обиталище, либо чтобы накрывать мир собой, менять его под себя. Под свои представления о Добре и Зле. Иные наверх не лезут. Противно им, суматошно, лживо и грязно наверху... Их там подчас очень не хватает, этих иных, но ничего не поделаешь. Надо уметь ходить к ним за советом туда, где они есть.

Коба, конечно, хотел владеть и менять. Но тех, кто хочет иметь — больше. Такова жизнь. Таков человек.

А чего хотел я?

Иметь мне было скучно и суетно. А владеть ощущалось как что-то нечистое, стыдное. Я, если уж пытаться найти слово, хотел просто быть, беспрепятственно быть. Таким, какой есть, и никак иначе. Изменяться, конечно — но не потому, что надо просочиться, взгромоздиться, урвать, угодить или понравиться, а потому лишь, что узнал или понял нечто новое и настолько значительное, что прежним, как ни старайся, не остаться. Делать в мире что-то хорошее — но не так, чтобы мир хрустел, переламываясь, и стонал, прогибаясь, и при том плясал, потому что не плясать страшно, а чтобы сады цвели, где прежде не цвели, и чтобы в каждое сегодня кто-то из людей понимал хоть чуточку больше, чем понимал в каждое вчера. Мне повезло, что я был во всем этом совершенно искренен. Если бы Коба хоть на миг заподозрил, что я, очевидно не желая иметь, могу захотеть владеть — что греха таить, не собрать бы мне костей. Кремль не богадельня.

А Надя, похоже, решила, что попала в норку заштатного инженера, пожизненно-го творца овощехранилищ. Физиономией-то я был похож на Сережку — ну, вернее, он на меня, но это не важно; может, годы и многолетняя привычка изящно обманывать врагов и накинули на меня хотя бы легкий флер интеллигентности, но вряд ли. Морщины морщинам рознь, и седина бывает не только благородной, но и просто мышинового цвета.

Наверное, потому девушка так и поразилась, услышав от меня несоответственные речи. Вот чем я просунулскваз ороговевшую от трения об обыденность шкурку ее души и воткнулся в живое, сам того не ведая. Совершенно неожиданно для себя.

— И какая же из правд про девятьсот терактов правильная? — помолчав, все же рискнула спросить Надежда. Решила дойти до точки. И меня довести.

— Конечно, наша, большевистская, — сказал я.

— Ну и на том спасибо, — с облегчением произнесла Маша. — А то развел тут поповщину...

Да, мы с нею давно выяснили, что про высшие ценности русской культуры она и слышать не может. Мол, не было таких, и все. Когда-то и я так считал. Одна только жадность, глупость, леность, жестокость и зависть к более умным и процветающим. В Институте красной профессуры она читала курс «История порабощения русским царизмом окружающих стран и народов». В этом году его переименовали в «Историю России». Вместе со всем институтом, кстати; тот стал Высшей школой марксизма-ленинизма. Но содержание, насколько я знал, не шибко изменилось.

— Понимаешь, Надежда... Конечно, беляки до сих пор то и дело крестятся и в церквах свечки ставят, это факт.

— Вы сами видели?

— Представь, доводилось... Так что вроде бы это они — защитники исконных ценностей. Но вот вопрос: как их отстаивать в посюстороннем мире, если государство не то что свои ценности, а даже себя защитить не способно? Ведь их государство было ни на что уже не способно. Умные люди были, честные люди были, а все как-то вязло. Финансы французские, уголь английский, машины немецкие, даже нефть — наша, бакинская — и та у Ротшильда и Нобеля. И никого из них обидеть не могли. Не то останешься без угля, без машин... Приди белые к власти, пусть даже и без царя — волей-неволей устроили бы из любимой матушки-России что-то вроде нынешнего гоминьдановского Китая: глухую периферию мировой капиталистической системы, бессильную распадающуюся компрадорскую полуколонию. Тогда крестись, не крестись — кроме как про фунты да франки ни во дворцах, ни в хижинах, ни в церквах никто бы и думать не умел. А мы опираемся на все лучшее, что история веками в нас воспитывала — товарищество, бескорыстие, верность, пренебрежение мирскими благами, — и применяем для создания самостоятельного государства с сильной наукой и промышленностью. А оно, в свою очередь, все это наше вечное способно защитить. Получается, что будущее на нашей стороне, а мы на стороне будущего. Вот увидишь, раньше или позже мы и китайским товарищам поможем скинуть Чан Кайши, и тогда коммунистический Китай тоже расцветет... Применяя, конечно, не нашу, а свою исконную культуру ради цементирования своего будущего.

— Аминь. Хватит уже тебе молодых томить, — сказала Маша и, поднявшись, взяла со стола остывший чайник. — Пойду греться поставлю.

Проходя мимо покрытой белой кружевной скатертью тумбы, на которой пылилась наша гордость, купленный в прошлом году «Рекорд», свободной рукой она повернула звучно хрупнувшую ручку выключателя.

— Развлекитесь пока, — сказала она. И, убедившись, что маленький экран замерцал голубыми полосами и, стало быть, прибор включился и прием есть, добавила: — Вернее, отвлекитесь. Как раз новости начались.

Лучше бы она этого не делала.

Суетливая мельтешня кадров и строк внутри кинескопа угомонилась и выпустила на экран осточертевшее лицо, благороднейшее из благороднейших. Картинная седина, умные глаза, классические британские усы, длинные впалые щеки — ну прямо исхудал-отощал от забот о благе Англии и всего цивилизованного сообщества...

— Чемберлен, — первым подал голос Сережка. И он, мол, не лыком шит, знает премьера Великобритании в лицо.

С Невилом Чемберленом я виделся очень мало и всегда мельком. Не мой уровень. В дипломатии ритуалы значимее, чем на похоронах, и потому иерархическое соответствие сторон есть почти фетиш. Обычные мои визави — замминистра

Кадоган, в порядке исключения — сам министр Галифакс, у поляков — вице-министр иностранных дел Шембек... У немцев — статс-секретарь Вайцзеккер...

Век бы их не видать, хлыщей.

Впрочем, с немецким послом в Москве фон Шуленбургом мы друг другу странным образом симпатизировали. Хоть он и фон, а я все детство в деревянном корыте крапиву сечкой рубил на прокорм домашней птице, да порой и себе... И еще более странным образом друг другу сочувствовали. Мне иногда буквально до слез его становилось жалко: такой приличный дядька, а служит бесноватому, да еще уверен при том, что у него и выхода другого нет, ибо так он служит фатерланду. Дас дойче фольк избрал себе канцлера — и амба; утрись, Фридрих Вернер Эрдманн граф фон дер Шуленбург, и служи.

А он, подозреваю, думал то же самое обо мне... Ну, только без графа, конечно.

Ладно. Что там в экране?

Известно что. Весь мир, наверное, смотрит эти кадры во всех новостных программах, и раз, и два, и три. И рукоплещет. Благородный седой джентльмен, явно исполненный всех и всяческих достоинств, истинный рыцарь, стоял у трапа самолета, держа в пальцах прыгающий на ветру листок бумаги, которым Адольф, ну ясно же, не сегодня-завтра подотрется, и ворочал во рту горячую картофелину английской речи. А за кадром вовсю старался синхронист:

— Когда я уезжал на эту встречу с господином Гитлером, сама мысль о том, что мы должны здесь, у себя, рыть траншеи и примерять противогазы лишь потому, что в далекой стране поссорились между собой люди, о которых нам ничего не известно, представлялась мне ужасной, фантастичной и неправдоподобной... — Он, точно актер заштатного клуба, не преминул сделать пошлую паузу, для вескости еще раз встряхнул бумажным клочком и патетически воскликнул: — Я привез мир нашему поколению!

Меня замутило.

В передаче этого не говорили, но я знал: старого больного придурка уже ждал король, чтобы отблагодарить и наградить за миротворчество. Прием был назначен заранее.

Дебилы. Подонки.

— Теперь Чехословакия освобождена от всех источников внутренних конфликтов, и развитию демократии там уже ничто не мешает!

Сколько пафоса, сколько апломба... Безгрешный носитель общечеловеческих ценностей, олимпиец и миротворец, рассудил всех по справедливости и ничуть не стеснялся это показать.

Кстати об объективности. Вот так возвышенно, дети, выглядит объективность, и вот такова ей реальная цена.

А то, что в Мюнхен не позвали никого от нас, хотя с чехами у Союза были все договоры о взаимных гарантиях — ладно не позвали меня, но ни Молотова, ни Литвинова, ни хотя бы Потемкина, вообще никого, — означало, по сути, что четыре главные европейские державы заключили антисоветский союз. Пусть и косвенный. Лиха беда начало, дойдет и до прямого.

После премьеры еще что-то лопотал комментатор, кажется, как раз о будущем королевском приеме, но мы уже не вслушивались. Отрешенно молчали некоторое время, потом Сережка очнулся и неуверенно спросил:

— Пап, ну и что теперь? — Он запнулся, не решаясь произнести страшное слово, а потом все-таки произнес: — Война?

Я не сразу нашелся что ответить, и мы успели услышать от сменившего тему диктора несколько жизнерадостных фраз о запуске на Ставрополье новой машинно-

тракторной станции, способной обслуживать сразу до десятка колхозов, а потом вдруг храбро откликнулась Надежда. С надкушенной плюшкой в руке, она, аккуратно прожевав и проглотив, убежденно сказала:

— Да перестань. Вот бояка, а еще военный. Мой папа говорит, войн теперь уже никогда не будет. Современные простые европейцы так себя любят, что нипочем не позволят своим правительствам себя стравить и рискнуть их жизнями. Там же везде демократия. Чего народ хочет, то правительства и делают. А чего не хочет, того не делают, а то выборы проиграют.

Я чуть не расхохотался сквозь комок в горле. Сережка вопросительно посмотрел на меня: мол, ты согласен?

Война уже шла. Со всех сторон. Теперь она пришла и в сердце Европы. Пусть эта перекройка границ состоялась без единого выстрела — что за разница? Если, насиливая женщину, ей не переломали ребра, это не превращает изнасилование в долгожданную ночь любви.

— Твой отец воевал, Надя? — тихо спросил я.

— Нет, конечно, — она повела плечиком. — Он же ученый.

И вот тут меня пробило.

Это было так по-детски... Так безответственно. Мне позарез хотелось стать таким же хотя бы на один вечер, хотя бы на часок. Чтобы ну немножечко отдохнуть. Бессильная ответственность меня душила. За твоей спиной — дом, жена и сын, и некому, кроме тебя, остановить прущий танк, а у тебя — ничего, голые руки. Девочка просто излучала эту желанную, долгожданную безответственность. Она меня все-таки заразила. Все-таки это был вирус.

Если бы люди не умели становиться безответственными хотя бы ненадолго, никто бы ни в кого не мог влюбиться.

Бомбы сыпались на востоке, на юге, на западе. Они уже висели над нашими головами. Сидевшую напротив безмятежную девочку невозможно было в этом убедить, объяснить ей хоть что-то. Ее можно было только прикрыть собой.

Но, заслоняя женщину от бомбежки, рискуешь оказаться на ней.

У меня внутри все заходило ходуном, когда я душой услышал с потолка такой знакомый по Испании истошный вой пикирующего «юнкера»-лаптежника, а телом ощутил придавленное горячее, упругое, льнущее, распластанное... Безоглядно доверяющее себя тебе в отчаянной надежде спастись. И нежная кожа ключиц прямо перед глазами.

Это длилось какой-то миг, но мне хватило.

Счастливая семья

Когда Маша вернулась с чайником, моя совесть, вмиг ставшая нечистой, сразу завопила мне, что жена все почувствовала.

Как она меня так сразу раскусила?

Может, оттого, что слишком уж много мне приходилось притворяться на работе, в обществе благоухающих набриолиненных стервецов, что с умным видом и без малейших угрызений объявляют черное белым, а белое черным; в ответ до судорог в мышцах хочется по-пролетарски засветить чем попало в наглые рыла, а приходится жевать сопли с сахаром: рады отметить общность основных наших подходов... остающиеся разногласия не могут помешать нам координировать усилия в деле достижения... Зато дома я все это сбрасываю и даже слова нечестного сказать не в состоянии, и на лице у меня все написано. Дома я беззащитен. Без фрака, без шерсти, без кожи.

А может, от наэлектризованных бессовестным вождением и желающих немедленно совокупиться просто пахнет как-то иначе? Ведь сплошь и рядом женщины по каким-то загадочным причинам остаются равнодушны к любящим, рассудительным, элегантным, заботливым и на костер идут ради насквозь эгоистичных распутников с нестираными трусами и вонью из подмышек. Летят, верно, на какой-то им одним ведомый запах, что главней любой вони.

Коли так, наука раньше или позже докопается до этой химии. Наука, она такая. Любых чудес натворит на потребу толстосумам. И это будет конец любви, и конец свободе, и конец всему самому красивому в человеке, самому непродажному, самому живому. Быть может, последнему непродажному и живому. Прежде хотя бы время от времени, хотя бы изредка прекрасные и благородные женщины могли говорить совершенно искренне: с милым рай в шалаше. Но когда наука покопается в святом, любовь не метафорически, а воистину станет и покупной, и продажной. И не в смысле грубой проституции, и даже не как спокон веку, что греха таить, бывало: выйду за богатого, а любить буду милого. Нет. Тогда и милым делается лишь богатый. Именно любить можно будет лишь тех, кто в состоянии заплатить аптекарю или парфюмеру за какую-нибудь дорогущую пилюлю или прыскалку, а остальным — просьба не беспокоиться. Какое там «ветру и орлу и сердцу девы нет закона»? Один будет закон — цена.

Природа с ее всевластием случайностей — великий демократизатор, но покорение природы положит этой халыве конец. Кто богаче — тот желанней и любимей. Тот — красивей. И умней. И здоровей. И долговечней. А если эти свойства еще и научатся передавать через гены по наследству, как имущество...

Можно только гадать, сколько такая услуга будет стоить. Кому достанется. Уж точно не рабочим и крестьянам.

За имение или мастерскую, за лишнюю полоску земли или новое жемчужное ожерелье люди и то режут, травят и топят друг друга. Даже подумать жутко, как безоглядно любой пойдет по костям, чтобы обожали по первому щелчку, чтобы любящая хворь обходила стороной, чтобы оставаться молодым двести лет. И чтобы передать все это детям.

Безо всяких личных усилий передать, просто за очередную плату. Ведь дети-то, чтоб не мешать родителям зарабатывать, растут в какой-нибудь высокотехнологичной и, конечно, тоже дорогой пробирке. Как умники говорят: экстракорпорально.

Ничего сам, ничего внутри. Все для тебя — извне, все — другие, все — за деньги. Рынок.

Капитализм изначально бесчеловечен, но капитализм, помноженный на науку, — это вообще конец человечества. Сколько бы он ни твердил давно утратившее реальный смысл слово «свобода». Если не положить ему предела, раньше или позже он всех людей поголовно перемелет и сделает чем-то вроде турникетов в парижском метрополитене: опустили в щель монетку — задергался, открылся, все умеет и на все готов; не опустили — стоит мертвяк мертвяком, железяка железякой и не реагирует ни на молитвы, ни на стихи, ни на партийные лозунги.

Чем больше думаю, тем лучше понимаю: в Октябре мы успели буквально в последний момент.

Да и то еще не факт, что успели.

А сколько времени и сил ушло, да и поныне уходит на то, чтобы уловить и приглушить в симфонии революции партию отвращения к России как таковой и необъяснимо неустанный желаний, чтобы ее не было. Не для освобождения пролетариата, не для коммунизма, а просто так. Только путается, мол, под ногами у той или иной высшей расы. И вообще — никудышная. Сколько времени ушло на то, чтобы

понять: эта партия вовсе не выдумана недорезанными черносотенцами, а взаправду звучит, да порой — еще как...

Сережка ушел проводить Надежду до трамвая, а мы с Машей привычно принялись в четыре руки за посуду: я мыл под краном, она вытирала или ставила в сушилку. Глупо признаваться, но я люблю мыть посуду. Люблю делать грязное чистым. Опять-таки: труд и его немедленные плоды. Да и то сказать — разве это труд? Когда из крана течет, да еще и не только холодная... То, как по воду надо было в любую погоду бегать с ведрами за полверсты, осенью или весной чавкая по грязи, зимой оскальзываясь на смерзшемся от пролитой воды снегу, не забудется до смерти.

Мы как раз закончили, когда Сережка вернулся благодушный, гордый, помахивая на нас чуть вопросительно: ну, мол, как? Я показал ему большой палец. Он расцвел.

А в полутора тысячах километров от нас, не прерываясь даже на ночь, валили через бывшую границу колонны техники и войск, и черные, как тени мертвецов, регулировщики, крутя жезлами в снопах света нескончаемо сменяющих друг друга фар, выхаркивали свое «Шнель! Шнель!»

Тлел ночник. Таинственно мерцали, как драгоценности в пещере Али-Бабы, никелированные шары на спинке нашей кровати.

— У тебя седина красивая, — отдышавшись, сказала Маша на пробу.

— Темно же, — проговорил я. — Как ты видишь?

— Вижу.

Я не ответил.

— И вообще ты сегодня превзошел себя.

Я не ответил.

— И за столом, и после, — сказала она.

Я не ответил.

— Два часа рядом с молоденькой посидел и сам помолодел, — на пробу пошутила она.

Я сказал:

— Да это я рядом с тобой сидел. А они напротив.

Она помолчала и, решив, наверное, больше не будить лиха, спросила уже обыденно, по-семейному; мы, мол, вместе, и у нас общие заботы:

— Как она тебе?

— Вроде ничего.

— Мне показалось, ты к ней вполне проникся.

Я сглотнул, прежде чем ответить. Боялся неуместно пискнуть горлом.

— Ну, симпатичная, кто ж спорит.

— А ты не боишься при ней вести такие разговоры? Мы же ее совсем не знаем.

— А что я такого сказал?

— Ну да, действительно. Теперь русский дух опять в почете. Дожили.

— Машенька, а почему ты теперь от меня все время под одеялом прячешься? Нынче вон вообще... до горлышка. И никогда уже, — я показал двумя пальцами, как ходят, — не погуляешь передо мной? Это ведь красиво...

Она помолчала. Потом суховато ответила:

— Фигура уже не та, чтобы увеселять повелителя половецкими плясками. Что ты глупости спрашиваешь? Будто сам не знаешь. Грудь обвисла, талия оплыла, целлюлит...

Я едва не рассмеялся. Вот сейчас, в эти самые часы, Гитлер без боя занимает Судеты со всеми их крепостями и заводами, и у нас, может, летят последние мирные ночи, когда еще можно дать себе волю — а ее именно сегодня начал волновать целлюлит!

Потом я вспомнил, что волновало весь вечер меня, и пузырь смеха мне будто банником вогнали обратно в глотку.

Машенька.

Марыля. Маричка...

У меня замечательная жена. Я люблю ее и любил все те почти уже бесчисленные годы, что мы вместе. Какой-нибудь живущий в мирное время идиот, наверное, счел бы наше знакомство романтическим.

Ее отец комиссарил у нас в полку.

Он был родом из тех странных межеумочных мест, что малороссы называют Западной Украиной, поляки же — Восточной Польшей, а чаще и проще, как и любое инонациональное приращение своего воскресшего государства, — кресами, то бишь пограничьем, оконечностями.

Местности и края такого рода столетиями болтаются от страны к стране, а то и просто в щелях между ними, не принося счастья ни себе, ни тем, от кого к кому кочуют. Сережка, начитавшийся мечтательной зауми и настолько увлекшийся, извиняюсь, космосом, что даже боевую авиацию бросил ради опасных и не очень-то, по-моему, своевременных стратосферных экспериментов («Стратосфера — это первый шаг к овладению безвоздушным пространством, папа! Как ты не понимаешь?»), сравнил бы, наверное, подобные окраины с астероидами. Неприкаянно и мертво те мыкаются по неустойчивым, причудливо вихляющимся орбитам между большими живыми планетами, приближаясь то к одной из них, то к другой, то вновь улетаая от всех в сумасшедшую ледяную даль; но не это трагедия. Трагедия происходит, если астероид во время сотого или тысячного из однообразных пролетов мимо оказывается все же захвачен тяготением той или иной планеты и на нее упадет.

Собственно, живут там люди как люди, я не раз убеждался. Работящие, крепкие, семейные, костями готовые лечь за свой дом, как и любой нормальный хороший человек. Но если, позаимствовав у той или иной планеты кислорода и зелени, на астероиде успевает вырасти так называемая культурная элита, добра не жди.

Ни одна элита не может не гордиться собой, так она свои творческие способности неизбежно подпитывает — но тамошней элите гордиться нечем. Нет у нее и не было никогда достижений: и письменность не она себе придумала, и главные книги не она себе написала и уж подавно ни магнитного поля не открыла, ни икс-лучей, ни стрептоцида, ни Антарктиды, ни даже завалающей Америки. В Америку она только бежать способна, но всем-то ведь не убежать. И потому вместо гордости получается один гонор. «Гонор», конечно, с латинской подачи по-польски «честь», но ведь не зря же в русском этакая честь именно в «гонор» превратилась, и ни во что иное; хорошо хоть, не в гонорею. И вот по-человечески очень понятным образом тамошние властители дум приходят к незыблемому убеждению: потому у них достижений нет, что их всегда угнетали. Не давали проявить себя. Пользовались их великими талантами, крали их великие прозрения и, высосав, выбрасывали их самих обратно в межпланетный мрак. Причем ведь вот что любопытно: реальных достижений они добивались, если вообще добивались, именно лишь попав на ту или иную планету. Когда получали, наравне с остальными ее обитателями, ее воздух и свет, ее простор, ее огромные ресурсы, ее питательную среду... Некоторые становились на ней совсем своими, а то и ее гордостью. Но именно эту-то планету потом и начинали скопом ненавидеть. Она-то и становилась у них символом угнетения и интеллектуального ограбления. То та, то эта... В зависимости от зигзагов орбиты. Такая у гонора простенькая механика.

Только у очень крупных, самодостаточных людей, у которых много позади и много впереди, благодарность — естественное чувство, опора и мотор лучших прояв-

лений души. А для тех, у кого один гонор — это тяжкий груз, обуза, лишающая свободы. Если ты меня спас, а я тебе благодарен, получается, что я вроде как несамостоятелен, вроде как колонизирован. А вот если ты меня спас, а я тебе в лицо плюнул — стало быть, я настоящий, равный тебе полноценный Хомо Сапиенс. Свободный.

В двадцатом году я, молокосос, деревенский тюня-лапоток, всего этого, конечно, не понимал. Тем более что и сам Ильич клял на чем свет стоит национальную гордость великороссов. И когда наш обожаемый мною комиссар хлопал себя по кожаному боку, выхватывая маузер, и с легким акцентом кричал: «Кто скажет слово „русский“ в положительном смысле, того расстреляю на месте! (И стрелял, бывало...) Русский — значит царский!» — у меня лишь дрожь восторга пробежала по телу: вот ведь как энергично и бескомпромиссно создается новый мир!

Себя я угнетателем и оплотом царизма ни в каком виде, разумеется, не считал. И не видел ни в слове «русский», ни в принадлежности к этому народу ничего зазорного.

Но у меня за плечами был опыт плехановского семинара.

Один из лучших людей, что я в своей жизни знал, — это Георгий Валентинович. Светлая ему память, земля ему пухом. И помирать буду — то же скажу, никакой исторический опыт меня не свернет. Были бы все интеллигенты такими, как он, я бы на них молился. Не соглашался бы, наверное, теперь во многом — а молился все равно. Не за единомыслие, пес с ним, в конце концов, а за человеческие качества. Замечательные люди встречаются куда реже единомышленников.

Кружок наш был самым первым и, пожалуй самым знаменитым в России; в отличие от множества возникавших то тут, то там эфемерных полуподпольных говорилен он дал самую богатую поросль. Совсем еще мальчишкой, лапотком натуральным, я приходил на заседания, забивался в уголок и слушал мудрых и великолепных. Как они соревнуются в остроумии и способностях к предвидению, как несут по кочкам власти и предлагают от властей избавление, как фехтуют то отточенной логикой, то яркими образами, в которых и логика порой не важна — нестандартность важнее... Как они блистали! Как крыли прогнившую империю! И то в России не так, и это не этак... Я, помню, слушал и падающую от изумления челюсть не успевал вправлять ладонью: в каком, оказывается, аду мы живем! Я-то, дурень, по простоте своей полагал, что тут подкрутить, там поджать, этим, обнаглевшим вконец, дать окорот, и все станет по-людски. А оказывается — надо до основания!

Но как умел слишком уж оторвавшихся от земли краснобаев Георгий Валентинович сбить с котурнов безупречно учтивой, но оглушительно точной иронией!

И, наоборот, если появлялся какой-нибудь обормот с очередным совсем уж пустобрехливым прожектом — скажем, надо всего-то лишь перевести русский язык на латиницу, и тогда постепенно сами собой и нравы исправятся, и права человека восторжествуют, и восьмичасовой рабочий день спланирует на ангельских крылышках из собственной его императорского величества канцелярии, и даже женщинам дозволено будет участвовать в выборах, потому как неизбежно случится воссоединение с мировой цивилизацией, а все отсталое, косное, азиатское, вместо со всем нашим окаянным прошлым отлетит, как прах, с наших зашагавших в будущее ног; вот тогда наш любимый шеф, картинно взвесив на ладони кипу исписанных листов, говорил: «Прошу господ семинаристов быть сегодня предельно уважительными. Героем нынешнего обсуждения была проделана большая работа...» С той поры и на многие годы фраза «Проделана большая работа» стала среди нас кодовым обозначением огромного, тяжкого и заведомо бессмысленного труда.

Да, не только революции там учили. Как-то само собой получалось учиться человечности. Ни к кому нельзя было быть неуважительным, пусть хоть к нелепому

самодовольному прожектору — ибо уже благие побуждения как таковые похвальны и заслуживают терпеливого, мягкого и тактичного культивирования; вдруг что и вырастет съедобного?

И среди многого прочего именно там, в плехановском «Освобождении труда», я понял простую, но, к сожалению, далеко не всем открывающуюся истину: если о тебе думают несправедливо плохо, это еще не повод считать того, кто так думает, тебе врагом. Или вообще плохим человеком. Куда чаще такое случается потому, что тебя всего лишь не поняли. Стало быть, надо не резкими словами и благородной яростью, не пощечинами и не бесконечной дуэлью отвечать на нелестные, оскорбительные о тебе представления, а коррекцией своего поведения. Работой над собой.

То есть применительно к ранней революционной поре — жить и все время показывать, доказывать: русский я, русский, но какой же я раб режима и поработитель?

Так и жил...

Поначалу я и не знал, что яркая и отчаянно храбрая девушка у нас в отряде — боец как боец, даже лучше многих — комиссарова дочь. Два месяца я смотрел на нее снизу вверх и был уверен, что она меня вовсе не замечает. Наверное, так оно и было какое-то время.

Но потом настала Каховка.

В те дни генерал Слашов — никакой еще не демонический литературный Хлудов, а просто небездарный кокаинист-золотопогонник — при поддержке кавкорпуса Барбовича бодал наши свежезахваченные плацдармы на левом берегу Днепра.

Сплошной линии фронта еще не сложилось, возникли ничейные зоны, гроздя пустых пузырей, которые каждый мечтал проткнуть первым, но боялся соваться наобум. И у белых, и у нас для серьезной разведки боем не хватало сил. А для детальной разведки с воздуха не хватало аэропланов.

Отец, суровый большевик, никак не выделял дочку среди прочего воинства. Красноармеец Марыля — и точка. Не знаю, как уж они меж собой общались в частном порядке, но если все в траншею — так и она в траншею, если усиленная группа в дозор — так и дочка в дозор, наверное, в качестве усиления. Нет, я не иронизирую — доверял он ей абсолютно, и стрелок она была отменный. А тут прижало выяснить, где против нас, завершая торопливую перегруппировку, сосредотачиваются изрядно потрепанные, чуть ли не до половины личного состава потерявшие части генерала Ангуладзе.

Почему-то в помощь Маше он послал именно меня. Она, разумеется, за старшего...

Ну, к тому времени я не простым бойцом уже был. Уже удостоился от комиссара подарка — именного нагана с гравировкой «За мужество, проявленное в боях с врагами пролетариата»; этот наган, всегда смазанный и заряженный, и по сей день увесисто покоился в ящике моего стола. Однако мало ли было в то время таких вот бесшабашно храбрых по обе стороны фронта... Правда, партийный стаж у меня к тому времени созрел нешутейный, для рядового бойца странный и даже как-то непростительный... Нет, не хочу гадать. Потом мы с ним никогда об этом не говорили. Послал и послал. Двоих.

Мы проплутали между Магдалиновкой и Марьяновским хутором едва не до темноты. Решили на завтра двинуться на Черненьку и укрылись на ночь в брошенном, одиноко грустившем на окраине Магдалиновки доме с выбитыми окнами. Ночевать под открытым небом нам было не привыкать, но если есть возможность обойтись без этого, кто откажется? Размыкаться по разным комнатам не рискнули: она прилегла на хозяйской перине, а я на полу у комода, накрытого белой скатёркой. Жили тут люди, видно, достаточные и бросили свое обиталище совсем недавно. Мы это поняли,

когда, стоило нам улечься в надежде выспаться, на нас темными сомкнутыми цепями, точно каппелевцы, двинулись по стенам сверху клопы.

До конца дней своих буду им благодарен. Не дали они нам, вымотанным до одури, провалиться в сон сразу; случись такое, мы проспали бы ввалившихся в тот же дом на каких-то полчаса позже нас пятерых беляков. Сонных бы они нас и повязали. А может, и порешили. Кой черт их к нам занес — не знаю; были ли они тоже дозором, или дезертирами, или отбившимися от своей части и шедшими ей вдогон разгильдяями, выяснять оказалось некогда. Мы от них услышали одно лишь слово — удивленное «краснопузые». А они от нас вовсе ни единого; а потом были только матюги, хрип и стон.

Вынужденный встречный бой в ограниченном пространстве, да еще в поздних сумерках, почти в темноте — самый паскудный подарок, какой можно получить после изнурительного дня. У них численное превосходство, зато мы в доме уже освоились. Когда накатывает таврийская ночь, помнить, где стена, где дверь, где клеть, где выход в сени, а где висит в тяжелом окладе икона, которую недолго сорвать, чтобы треснуть проснувшуюся голову по темечку, — дорогого стоит.

Это нас и спасло.

А их погубило.

Иногда все же странно бывает убивать людей, которые не только говорят на одном с тобой языке, но даже матерятся, как ты. Казалось бы, уж который год мы пускали друг другу кровь на потребу и потеху, как я теперь твердо знаю, англосаксам и прочей лощеной сволочи, уж пора было бы привыкнуть; но когда вот так, неожиданно-негаданно, только-только оставшись наедине с вождельной женщиной посреди хмельной степной ночи...

Вся недолга заняла минут пять. По одному русскому в минуту. А мы с Машей по два раза успели спасти друг другу жизнь; вот такая вышла круговерть.

Под конец я, кряхтя от ярости и натуги, просто руками задушил предпоследнего, а последнему, раздробив лицо прикладом винтовки, вышибла мозги Маша, потому что некогда ей оказалось передернуть затвор; парнишка, уже раненый, уже распластанный на дощатом, гулком под сапогами полу, успел зацепить ее сердце мушкой револьвера и только спустить курок не успел.

Потом я валялся навзничь, хрипло дыша, и грудь мне продавливала мертвая рука такого же тюни-лапотка, как я, волею случая оказавшегося на той стороне; уже не часть человека, но всего лишь тяжелая чужая вещь, мешавшая отдышаться, и я, едва очухавшись, ее скинул. И клянусь, помню как сейчас, в голове всплыло вдруг ни к селу ни к городу: проделана большая работа... А потом красноармеец Маша упала на колени рядом со мной, уткнулась лицом мне в грудь и заревела ревмя.

Рядом с нами остывали и деревенели тела тех, для кого слово «русский», наверное, и впрямь было синонимом «царский», а я гладил ее стриженную наголо от вшей голову сведенными судорогой пальцами, еще помнящими хруст вражьего кадыка, и бормотал что-то нелепое. Не надо... Все, все... Машенька...

И скрюченные пальцы, обжегшись о смерть, словно сами собой погнались за жизнью и расстегнули верхнюю пуговку на ее гимнастерке.

А она, будто того и ждала, сама рывком раздернула вторую и третью.

Так это и случилось у нас.

Она же девочкой оказалась!

Помню, это меня потрясло сильнее всего. Мы были рядом, уже снова порознь, хотя и вплотную, но каждый опять отдельно, и я, сам чуть не плача от щемящего страдания, бормотал: «Ты же погибнуть могла... Маленькая такая... Сто раз могла по-

гибнуть...» А она неумело тыкалась мокрыми от слез губами мне в плечи, в грудь и заклинала невнятно: «Но теперь я... Ты же меня... теперь даже если — то я все равно уже... да? Да?»

Уже много позже, в тридцать шестом, в Париже, на какой-то бессмысленной и по политическим соображениям совершенно необходимой конференции с тамошними левыми я разговорился на кофе-брейке с одной крупной защитницей женских прав. Убейте, не помню, как звали. Мадлен... Жаклин... Она и на официальной части не скупилась на гневные обвинения: дескать, советский гнет лишил женщин наших среднеазиатских республик законного права на борьбу за свои права, и на перерыве ее понесло на ту же тему — самую, видимо, для Европы актуальную на второй год бойни в Эфиопии, на четвертый Гитлера у власти.

— В советской Средней Азии женщины пользуются равными правами с мужчинами, одеваются, как хотят, получают светское образование... — терпеливо втолковывал я. — Чего вам еще надо?

— Чтобы они добились всего этого сами, а не получили как подачку из рук тирани, — ответила она, глядя на меня гордо и победительно: вот я какая смелая, режу правду-матку и не собираюсь смягчать выражений, а попробуй, мол, упрекни меня в том, что я хамлю, как дура, — сам же окажешься дураком.

— Но это — тысячи жертв. Вы что, не знаете, чем кончались такие попытки в Северной Африке или на подмандатных вам, европейцам, территориях Переднего Востока? Женщин убивали, насиловали, жгли живьем...

— Настоящая борьба всегда сопряжена с жертвами, — изящно держа маленькую чашечку кофе наманикюренными пальцами, небрежно сообщила она мне и, будто в доказательство своей решимости бороться, тряхнула ухоженной гривой; в воздухе закружились дорогие ароматы. Я едва не чихнул.

Казалось, они тут не соприкасаются со взавправдашним миром и живут во вселенной словесных самоутверждений. Неважно, что на деле происходит. Неважно, какие последствия будут иметь слова. Лишь бы сказать что-то такое, чего не говорили до тебя. Такое, что еще пуще соответствовало бы выдуманному, выщепенному из сытого пальца представлениям, не имеющим ни единой связи с реальностью, кроме желания, чтобы тебя в этой реальности заметили.

— Хорошо, — я примирительно улыбнулся. — Это ваша гражданская позиция. Ваше социальное желание. Я понял. Общественное. А не могли бы вы мне поведать какое-то ваше личное желание? Сокровенное?

У нее загорелись глаза. Я понял, что сейчас она опять устроит сама себе удалое шоу про всемогущую и бескомпромиссную себя. И, разумеется, не ошибся. Так легко оказалось все знать про нее наперед. Она была проста, как погремущка.

— Я мечтаю о том, чтобы кто-нибудь у вас в Политбюро наконец набрался храбрости и убил Сталина.

Меня не то что разозлить, но даже обескуражить было невозможно. Не дома же. Я галантно улыбнулся. За эти годы я научился улыбаться так, как у них во время деловых встреч улыбались все: одними зубами. Глаза оставались ледяными. Так улыбаются волки, приступая к еде.

— Не могу отказать столь очаровательной женщине, — сказал я. — Я вернусь в Москву и исполню ваше желание. И после этого вам станет не о чем мечтать? Как же вы жить-то будете?

Вот тут она растерялась. Ее взгляд отплыл в сторону. Красными коготками она повертела чашечку на блюде. Ей, видимо, самой стало интересно: а о чем она мечтает? Она попыталась прислушаться к настоящей себе. И потом еще несколько мгновений размышляла, стоит ли открывать душу взавправду, а не на выхвалку. Но

стремление поговорить о себе, любимой, победило. Она беседовала со мной как со случайным попугачиком, а в таких разговорах люди порой бывают куда откровеннее, чем с самыми близкими друзьями. Программные шлепки мне она уже отвесила, победительницей себя уже чувствовала, а пооткровенничать еще хотелось. Она прекрасно понимала: даже если бы я попробовал кому-то передать ее слова, русско-му большевику ни один цивилизованный человек никогда и ни в чем не поверит.

— Очень хочется влюбиться, — продолжая смотреть в сторону, задумчиво сказала она.

Тут я, несмотря на всю свою закалку, почти удивился.

— У красивой дамы в Париже с этим проблемы? — я поднял брови и развел руками. — Никогда не поверю. Мадам, вы кокетка!

Она покачала головой.

— Секс стал доступнее презервативов, — проговорила она. — Но превратился во что-то вроде рутины правозащитного движения. Предпоследний пункт повестки дня. Встретились, поглядывая на часы, прямым действием реализовали свое право на личную свободу — и снова в бой.

— Ах, в бой... — понимающе сказал я.

И подумал: несчастные люди.

А потом подумал: не дай им боже нашего счастья.

Не поймут.

У слову сказать, Машиного отца успели арестовать при Ежове. Взяли прямо в его кабинете в Коминтерне. Но — повезло, это был уже излет, конец июля. Я не успел даже начать суетиться, обиняками выясняя, в чем дело, — в заместители опальному, обессилевшему злому гному поставили Лаврентия, реальные полномочия фактически передав ему. И вскоре мы, опять счастливые, в который раз счастливые, встречали обалдевшего и разозленного тестя дома. В отличие от, увы, многих мы отделались лишь, как говорится, легким испугом — хотя, к чести Лаврентия напомним, вовсе не одни только мы. Правда, обратно на работу тестя так и не взяли. И теперь он, не желая и носу казать в город, покуда осеннее ненастье не выгонит, сидел на нашей даче в Опалихе, попивая то горилку, то wyborovu, что мне поочередно привозили по знакомству то из киевского, то из познанского торгпредств, и тихо клял предавший идеалы революции сталинский режим.

— Ну что? — спросил я. — Давай спать?

Маша в ответ всхрипнула.

Я погасил ночник.

А поговорить?

Осень в тот год как началась в апреле, так и тянулась до самой зимы.

За плачущим окошком металось серое месиво. Бесплотные полотнища домов напротив висели в мути унылыми тенями, и в них, словно прорехи, маячили блеклые окна, освещенные изнутри.

По случаю выходного я работал дома, и хотя уже шло к полудню, мне тоже приходилось жечь настольный свет.

В дверь кабинета постучали, а потом в открывшуюся щель просунулась Сережкина голова.

— Ты как, не очень занят? — спросил сын.

Я с удовольствием откинулся в кресле и выгнул спину, заложив за голову руки со сцепленными пальцами.

— Рад буду прерваться, — сказал я. — Всю работу не переделаешь. Не так уж часто ты теперь достаиваешь меня беседой.

Он уселся в другое кресло, стоявшее сбоку от стола, у окошка.

Я смотрел сыну в глаза спокойно и выжидающе.

А разбуженный его появлением поганый безмозглый червяк в темном подполе моей души завертелся и заерзал, задергал вправо-влево острой головенкой, желая немедленно знать: ну, как там у них с Надеждой? Уже? Или еще? Вот эти молодые простецкие губы, и формой, и цветом так похожие на давние мои, уже встречались с ее вишневыми губами, очерченными с изысканностью кленового листа? Уже целовали ей грудь?

О том, как развиваются их с Надей отношения, сын ничего не рассказывал; да и с какой стати он, взрослый, плечистый, летающий выше облаков, принялся бы рассказывать старому папке о своих похождениях или их отсутствии?

— Ну, ладно, — сказал я. — Предположим. Крошка сын к отцу пришел. И спросила кроха?..

Я намеренно придал последней фразе несколько вопросительную интонацию. Мол, какие проблемы?

Молодой сталинский сокол — а кого еще и называть так, если не Сережку, и не таких, как он? — от неловкости взъерошил волосы, но ответил почти без паузы:

— Коммунизм-то хорошо. А что там будет плохо?

— Ого! — сказал я.

Надо было собраться с мыслями, и я взял неприметный тайм-аут.

— Тогда для начала все-таки анекдот. Почти по теме. Пап, откуда берутся дети? Ах вот ты о чем, сынок, сказал отец и глубоко задумался.

Вежливо, но мимолетно улыбнувшись, он наклонился вперед, словно решил было пойти на таран своей лобастой головой, но в последний момент передумал. Я понял: у него что-то случилось важное и так просто мне не отшутиться.

— Коммунизм мы лет через пять-семь построим, — убежденно сказал он. — Сейчас такой темп взяли, что... Ну, если Гитлера бить придется, то через десять. Это понятно. А дальше-то что?

— То есть как? — картинно опешил я. — Эк тебя, сынище...

— Ну что мы тогда делать будем?

— Серега, ну нельзя так ставить вопрос. Ты дом себе новый ставишь, свой, по своей задумке — так какой смысл спрашивать, что будешь делать потом, когда туда переселишься? Будешь жить! Дом — он не для конкретного занятия, а для жизни вообще!

— В том-то и дело! — горячо сказал он и опять взволнованно взъерошил себе волосы. — Жить. Дом не цель, а средство. И коммунизм тоже. Жить — это ведь не в четырех стенах сидеть, любуясь мебелью. Жить — это и есть что-то делать! А что? Растапливать полярные льды? Так еще неизвестно, будет ли от этого польза, ученые пока точно не сказали. На Луну летать? Я бы душу заложил, чтобы повести ракету, но ведь я же первый понимаю, что всем туда не полететь, да и не надо. Не всем же этого хочется. И даже если хочется — опять-таки: зачем? Зачем на Луну? Чтобы построить там базу и потом лететь на Марс? А тогда зачем на Марс? Понимаешь, пап, я подумал: коммунизм — это же всего лишь ученое слово, а на самом деле это когда каждому человеку интересно жить. А так бывает, только когда делаешь, что хочешь. Ведь коммунизм — это свобода, какой раньше никогда не было! Свобода делать, что хочешь! А люди хотят черт знает чего.

— А, — с некоторым опозданием уразумел я. — Вот что ты...

— Ну да! — горячо и нетерпеливо поддакнул он. — Если всякому дать свободу делать, чего вздумалось, многие так накуролесят, что небо с овчинку покажется.

А если одним давать свободу, а другим не давать — то кто решит, кому дать, а кому нет? Какие желания правильные, наши, а какие — из-за пережитков старого строя? Партком? Или вообще — органы? Тогда какая, к фигам, свобода?

— Вообще-то считается, что при коммунизме будет чрезвычайно сильная педагогика, — осторожно сказал я. — С детства все будут очень хорошо понимать и помнить, что такое хорошо и что такое плохо.

— То есть сызмальства что-то вроде программки будут в мозги вбивать? — запальчиво спросил сын, и мне показалось, что это он говорит уже не совсем от души, но со слов, скорее всего, слишком уж образованной Надежды.

— А ты бы чего хотел? — я с нарочитой суровостью сдвинул брови. — Вот сам подумай, сын. Почему люди так не любят несвободу? Не потому, что свободный всегда ест сытнее или у него всегда женщин больше. Частенько бывает наоборот. Несвобода — это когда тебе приходится под каким-то внешним давлением поступать против совести. Вот тебе стыдно что-то делать, тошно, тоска берет, знаешь, что на всю жизнь потом останется в душе червоточина — а тебе говорят: делай, иначе твою мать повесим. Твоего ребенка удушим газом. Или просто тебе самому жрать станет нечего. И ты делаешь. Ненавидишь себя, проклинаешь всех вокруг, целый мир тебе становится омерзителен — но делаешь. Вот что такое несвобода. А свобода — это возможность поступать по совести. Чувствуешь, что поступаешь правильно, честно, благородно, как подобает, и тебе ничего за это не грозит, никто тебя не осудит, никто не помешает, никто не схватит за локти. Поэтому делаешь — и радость: хорошо поступил, да к тому же еще и не пострадал. Вот свобода. Но совесть же не программка с бумажки, которую начальник торопливо на коленке нацарапал. Это результат культурного программирования. Тысячу лет народы на ощупь тыркались, выясняя, что можно, а что нельзя. Что к общей пользе, а что к общему вреду. Каждый немножко по-своему, потому что история у всех немножко разная. И результаты их мучений закрепились в культурах как голос совести. А вот если распадается культура и прекращается программирование — свобода превращается в кровавый бардак: кто сильнее, тот и свободней. Если совести нет, поступать по совести в принципе нельзя, и тогда о свободе говорить бессмысленно. А если совесть есть, то разом появляется и свобода, и ее пределы.

Сын помолчал, напряженно хмурясь. Ветер на улице задул свирепее, и косой мелкий дождь, в котором становилось все меньше снега, принялся в такт порывам то сильней, то слабей жужжать на слепнушем от воды стекле.

— Но человек же все равно не машинка железная. И программа эта... она все равно куда сложнее. Не могут же все в равной степени...

— Да, конечно. Не могут. Считается, что тех людей, у кого засбоило, мало-помалу скорректируют товарищи... старшие коллеги... Да просто — жизнь. Осуждение тех, кто дорог или кто уважаем.

Он опять помолчал.

— То есть если человек сделал что-то не так — при коммунизме его никто не простит, а, наоборот, будут пальцами показывать: ты не прав!

— Ну что за мания у тебя — искать общее решение для проблем такого сложного уровня, как жизнь. Дитя ты еще, Сережка. Это же не элероны-лонжероны. Однозначности тут нет и быть не может. Но в целом — как в реке. Завихрения есть, стремнины, заводи, перекаты, омуты иногда, но вся она целиком все-таки течет к морю, а не от него.

— Но тогда получается, пап, что коммунизм — это не экономика никакая, не строй, не формация... Это просто люди. Не организация, не уровень производства — просто сами люди? Неважно, сколько там киловатт-часов или кубометров древесины производится на душу населения, важно только, какова сама душа?

— Ну, — сказал я, пораженный этим неожиданным и, наверное, правильным выводом, который в таком вот обнаженном виде мне в голову никогда не приходил, — можно сказать и так. Хотя, должен тебе напомнить, сильно с голодухи совесть может затихнуть даже у самых совестливых. Это тоже надо иметь в виду.

— Но тут же дело в правильной мере! — снова разгорячился он, принявшись страстно, как всякий новообращенный, развивать только что открывшуюся истину. — Чтобы не много и не мало. Чтобы и не голод, и не ожирение. Слушай, но тогда, может, партии надо было сразу честно сказать: хотите ходить в полотняных штанах и брезентовых штиблетах, но жить в доброте и чистоте, отзывчивости и правде? Или хотите «роллс-ройсы», и «паккарды», и разные галстуки на каждый день, но зато рвать друг друга зубами и когтями ради этих дурацких галстуков?

Тут уж пришел мой черед помолчать и послушать, как лихорадочными волнами налетает на изрыдавшееся окно мелкая водяная дробь и пыль. Почему-то стало очень грустно.

Когда вечные вопросы довести до детской простоты и уже тогда взглянуть им в лицо — всегда делается очень грустно. И как-то даже безнадежно.

— Ты, наверное, ответил бы, что предпочитаешь чистоту и правду, — тихо сказал я. — Я тоже... Еще кто-то... Но уж слишком для многих выбор не показался бы таким простым, как для нас с тобой. И к тому же... Как всегда, найдется множество очень эрудированных и умных, языки подвешены так, что мама не горюй, и они заголосят: да что ж вы народ-то обманываете! Видно, просто хотите держать добрых людей в черном теле и устроить себе роскошную жизнь за их счет! На самом деле у нас будут и галстуки на каждый день, и хрустальные дворцы для доярок, и при этом все мы будем бескорыстны, добры и отзывчивы. И ведь многие сами будут верить в свои слова! Потому что им так хочется. Когда человеку чего-то сильно хочется, он всегда может доказать, что это и правильно, и достижимо... И чем больше человек знает, чем он умней — тем легче и убедительней он это докажет. Знаешь, когда-то один мой хороший товарищ замечательно сказал: мозг есть механизм для оправдания того, что нравится, и обвинения того, что не нравится. А ведь голодный народ добротой соблазнить трудно, а сытостью — легче легкого.

Серезка надолго умолк. Но — сидел, не уходил. Похоже, он хотел теперь сам что-то рассказать, но не решался. В подвале души щекотно вскинулся червячок, заставив душу екнуть: может, про Надежду?

— Да что у тебя случилось-то, сын? — спросил я.

Он вздохнул и откинулся на спинку кресла.

— Да тут такое дело... — запнулся. — Помнишь Вадьку Некрылова?

Похотливый червь разочарованно обмяк и опять свернулся колечком.

— Имя помню, — сказал я. — От тебя слышал не раз... А лично... Вроде бы мы не встречались. Это товарищ твой, так ведь?

— Не просто товарищ, — мотнул головой Серезка. — В училище все годы вместе, на соседних койках. В одной эскадрилье вместе... Летчик прирожденный. И в стратонавтику я его уговорил, стало быть, и тут вместе. И вот поди ж ты. Занесло его пивка попить в компании с двумя штатскими. Они-то в гражданском, а он в форме. Пивка попили, водочкой полирнули... В общем, вдрабадан. А тут патруль. А он еще и драться с патрулем полез. Ну, штатским — ничего, а ему... сам понимаешь. А я-то его знаю! Никто его, как я, не знает! И вот я поручился за него. Пошел на самый верх, добился приема в парткоме... Я же комсорг группы, кому, как не мне... Поручился. Целую речь там закатил, минут на пятнадцать. И, понимаешь, уломал, поверили. Отделался Вадька выговором, но не уволили, не выгнали...

Он смятенно умолк. Я понимал. Рассказывать такое — не о коммунизме спорить. И стало предельно ясно, с какой радости его заинтересовали отвлеченные материи.

Нам всегда только кажется, будто мы отвлеченные материи обсуждаем. Даже когда мы этого не осознаем, мы всего лишь мусолим личные проблемы. Самые насущные, самые простые. Самые человеческие.

— И вот теперь я думаю, — мучительно выдавил он. — Может, я ему только хуже сделал?

— Почему?

— Ну ты же сам сказал. При коммунизме осуждение окружающих — единственный механизм исправления неправильного поведения...

Тогда я потянулся к нему и потрепал его по коленке. Эх ты, сталинский сокол... Так и хотелось взять его на руки и побаюкать, как встарь. У киски боли, у собачки боли, а у Сереженьки — заживи...

— Этого никогда нельзя знать наперед, — сказал я. — Может, ты его, наоборот, спас. Только будущее покажет.

— А пока не покажет — мне что же, каждый день на луну выть?

— Нет. Просто жить. Знаешь, у попов была красивая сказка...

— Вот только поповщины не надо!

— Да погоди ты. Шалаву одну хотели камнями побить насмерть, а этот их Христос сказал: вы сами-то, ребята, кто такие? Святых не наблюдаю! Так что разошлись, пока я добрый! А шалаве сказал: иди и впредь не балуй.

— Ну да, — поразмыслив, мрачно подхватил Сережка. — И она так усовестилась, что записалась в народovolки. И под римского кесаря бомбу кинула.

Мы помолчали, ощущая, как распрямляются согнувшиеся было спины, а уныние, точно ненароком пролитая с небес ледяная густая вода, высыхает на нас обоих, испаряется стремглав под семейным солнышком, и облегченно захохотали. Все. Жизнь взяла свое.

Сын, еще посмеиваясь, встал, благодарно коснулся рукой моего плеча и, повернувшись, пошел к двери. На пороге оглянулся.

— Да, я же совсем забыл сказать. Надя нас на будущей неделе зовет на какое-то культурное мероприятие. В литературное кафе, что ли...

От горла до паха покатила медленная ледяная обвал.

— Нас? — с трудом сохраняя небрежный тон, спросил я. — Или все ж таки тебя?

— Представь — нас всех. Маму, тебя, ну, меня. Она же, знаешь, светская такая, благовоспитанная... Типа «будем дружить домами». И вся в искусстве, в литературе, в поэзии... В Третьяковку вот водила меня...

— Ну и как? — не удержался я.

— Облачность ноль баллов, видимость хорошая, — ответил он. — Теперь вот какие-то ее знакомые пронюхали про диспут о современной литературе, это жуть как престижно у них считается, чтобы туда попасть. А она сразу нас хомутает. Пойдешь?

— А маме ты говорил?

— Нет еще. Сейчас вот к слову пришлось.

Не было ничего проще, чем отказаться. Я уже собрался было так и поступить. Уже открыл рот. И тут-то и кинулся башкой в омут.

— Честно говоря, я бы сходил. Грех терять случай посмотреть на властителей дум в естественной обстановке.

— Тогда я так и передам.

— Передай. И маме скажи, не забудь.

Оставшись один, я понял, что на ум уже ничего не идет. Надо было успокоиться и хоть чаю выпить, что ли...

Маша сидела за просторным кухонным столом, присматривая, верно, за готовившимся дать пену бульоном, и работала — судя по всему, правила какие-то свои лекционные наметки. Похоже, наспех. Новые указания поступили, не иначе. В глаза мне бросилась крупная, свежая правка красным карандашом: зачеркнуто было «Сохранение и укрепление выстроенной ими тюрьмы народов являлось для русских предметом национальной гордости» и поверх, с выгнутым залетом на чистое боковое поле страницы, размашисто вставлено: «Русский царизм старательно стравливал находившиеся под его гнетом народы и сеял между ними бессмысленную вражду, самим этим народам ненужную и не свойственную».

После того вечера Надежда не вставала между мною и Машей ни разу, ни вживе, ни холодным призраком, мешающим коснуться друг друга; и все же что-то происходило с нами. Вирус. И не понять было, кто оказался ему подвержен сильней.

Первый жутковатый сигнал послала мне наша прогулка в Сокольниках.

В прошлый выходной, улучив сверкающий золотом и синеваой погожий день, мы отправились в любимый парк. У нас получалось выбраться туда от силы два-три раза в году, и всякий выход долго вспоминался потом как яркая перебивка безмятежностью нескончаемой череды серых хлопот. Как вспышка истинной жизни. С гордостью за дело рук человеческих мы доехали до парка на гулком, все еще непривычном метро и неторопливо пошли сквозь шелестящую тишину по любимым тропинкам. Загребали ногами листья, как прежде, я вел ее под руку, как прежде...

И были каждый сам по себе.

Не о чем оказалось говорить. Впервые. Я-то рассчитывал, что мирное блуждание среди выученных назубок, давно уже в лицо узнаваемых деревьев, кустов и уютных лавочек нас реанимирует, мол, деревья те же, скамейки те же, и мы станем те же; не тут-то было. Наоборот. Заповедник свободы и покоя стал будто картонным. В обрамлении неизменных красот мы окончательно ощутили, что изменились. Ошеломленный, я пытался чуть ли не по-бабьи щебетать обо всем сразу, наугад нащупывая, на что жена срезонирует, пытаюсь разговаривать ее и снова соединиться с ней, как всегда прежде: смертельно соскучившись друг по другу за целые недели рабочих авралов, когда мы разве что парой фраз успевали перекинуться утром или перед сном, мы под этими самыми кронами оставались наконец наедине, в сладостной неторопливости — и наговориться не могли, и смеялись, как дети. А теперь мои слова на пути валились наземь вокруг жены, точно мрущие на лету мухи.

Она оторвалась от бумаг и подняла голову. Сдвинула на лоб очки.

— Ну как? — спросила она.

— Что? — спросил я.

— Работаешь?

— Ух, работаю.

— Напряженно?

— Что ты имеешь в виду? Работаю напряженно или в мире напряженно?

— В мире.

— В высшей степени.

— Слушай... — нерешительно протянула она. — Я тебя никогда ни о чем не спрашиваю, у вас там все секретно, я знаю. Но сейчас даже в очередях говорят, что с Польшей какие-то проблемы. Претензии немцев на Данциг...

— Никаких проблем, — сказал я, осторожно трогая гладкий бок чайника. Горячий. Потянулся и снял с полки свой стакан с краснозвездным подстаканником. — Йэшче Польска нэ згинэла.

— Я серьезно, — сказала Маша.

— И я серьезно. Оттяпали под шумок у несчастных чехов Тешин... Дескать, если эсэсовцам можно, чем мы хуже?

— Ну, знаешь, тешинский повят — это действительно исконные польские земли.

— Маша, Берлин — исконно славянский город. Может, сделаем предьяву фюреру?

— Не смешно, — сухо сказала она. — Я хочу знать только одно: мы спасем Польшу?

— Кто бы нас спас, — ответил я.

Она негодуяще помотала головой и надела очки снова. Будто отгородилась.

— Этот ваш вечный эгоизм... — сказала она.

Властители дум

В последний момент Маша отказалась идти с нами. И голова у нее разболелась, и с годовым отчетом она не поспевает... Странно. Сама же поначалу ухватилась за идею побаловаться культурой.

В дыму первого морозца светили окруженные мерцающими пузырями московские фонари. Сновали по Садово-Кудринской да по Малой Никитской приодевшиеся, забывшие хоть на субботний вечер про вражеское окружение и про линию партии возбужденные и добрые в преддверии отдыха люди. Стоявшие у входа тесной группой молодые, беспримесно веселые, издали замахали руками Сережке и, надеюсь, мне, и окружили нас, и с пол-оборота загалдели о чем-то своем, так что я сразу оказался от них наособицу. Буржуазные церемонии тут были не в чести; Сережка меня даже не представил никому, ни с кем не познакомил — мол, и так разберемся, по ходу. Я прятал глаза; они не увидели Надежду сразу и хотели немедленно ее нашарить, вырвать из гущи себе на потребу, и потому я не смел не то что озираться в поисках, но вообще уткнул взгляд в асфальт. И едва не споткнулся на ступеньках перед входом. Тогда ее голос, тупо ударивший меня в сердце, вдруг запросто назвал меня по имени-отчеству, а ее пальцы подхватили мой локоть.

— Не тушуйтесь. Мы совсем не марсиане.

— Да и я не инженер Лось, — нашелся я, вовремя вспомнив Толстого с его слюнявой «Аэлитой».

— Я знаю, — сказала она. — Вы лучше. Надежнее.

Я наконец взглянул. Ее беретик съехал чуть набок. Из-под него фонтаном били пахнущие чистотой волосы. Ее глаза смеялись, щеки покраснелись, улыбающиеся губы были полуоткрыты. Я чуть не взвыл с тоски. Другой рукой она подхватила под руку Сережку и так, крепко спянной тройцей, мы вошли в клуб.

— Вообще-то говоря, — начал Сережка, — субсветовые эффекты во время марсианской экспедиции можно было описывать только по крайней неграмотности...

Внутри в фойе стоял штатский патруль — как я понял, более играя, нежели кого-то от кого-то охраняя всерьез. Ребята резвились, не ведая, куда девать избыток молодого юмора и задора. Старший караульный с каменным лицом спросил: «Среди созвездий и млечных путей?» Парень в кожаном полупальто, бывший в нашей компании, надо полагать, вроде заводилы, сурово отчеканил: «Советская проза всех развитей!» И нас всех с хохотом пропустили.

В зале кафе, куда мы вошли, раздевшись в роскошном и даже несколько староремжимном гардеробе, оказалось полутемно. На сцене торчали микрофоны и громоздился музыкальный инвентарь, живо напоминая последние сцены «Веселых ребят». Ну да, ага. Вот именно. Тюх, тюх, тюх, разгорелся наш уют... Овальные, обильно сдобренные салфетками столы были обсижены мужчинами в костюмах с галстуками и женщинами в вечерних платьях и даже серьгах. Перед кем-то стояли тарелки,

перед кем-то графинчики и рюмки, но, когда мы вошли, все в основном слушали. На сцене пока не пели, но говорили. Один говорил.

Обмениваясь вполголоса только самыми необходимыми репликами, мы не без труда нашли свободный стол и принялись гнездиться вокруг него. Надежда так и держала нас с Сережкой по бокам вплотную к себе; ее обнаженные плечи мерцали, будто яшмовые. Я, зажавшись в железные рукавицы и оттого начав вести себя, как на работе, на саммите каком-нибудь, с автоматической галантностью отодвинул для нее стул от стола, предлагая садиться. У нее с веселым удивлением взлетели брови.

Оказалось, докладчик напоминал собравшимся коллизию, из-за которой разгорелся сыр-бор. С неделю назад в «Красном литераторе» вышла передовица, поставившая буквально все перспективы пролетарской словесности в зависимость от отмены цензурного запрета на то, что называют непечатными выражениями. По-простому — на матюги. Новая жизнь требует новой литературы. Новой литературе нужны новые выразительные средства. основополагающие принципы социалистического реализма обязывают писателя, если он действительно честный и преданный идеалам марксизма-ленинизма-сталинизма советский писатель, отображать жизнь не в эстетском застое, но в революционном развитии. Как следствие — повседневную речь народа он тоже должен отображать так, как она есть, без лакировки и ханжества.

— Современный читатель презирает святош и чистюль с их высосанными из пальца проблемами и велеречивостью феодальных времен, — по-революционному жестикулируя кулаками, чеканил человек на сцене. — Он им не верит. Он не верит, что у таких персонажей есть чему поучиться. Речь современного человека труда конкретна, искренна, сочна и бьет точно в цель. На такую речь мы и должны ориентировать читателя. Нет в наше время более важной проблемы у советской культуры, нет более масштабной задачи, чем добиться наконец полной отмены запретов на то, что старорежимные фарисеи продолжают на буржуазный манер называть обценной лексикой!

Потом выяснилось, что та программная статья не только нарисовала желанную перспективу, но и призвала к конкретным действиям. А именно — под опубликованным воззванием с требованиями отменить «позорные мешанские запреты» и «дать наконец литературе говорить языком живой жизни» следовало подписываться. Когда на документе накопилось бы достаточное количество известных и даже громких имен, его предполагалось передать напрямую в Наркомпрос.

Скандал разгорелся четыре дня назад, когда активисты с воззванием наперевес пришли, вымогая подпись, к Ахматовой (это поэтесса такая), и она только что не спустила их с лестницы.

Принесли вино — хоть залейся, и закуски — бутербродики с икрой, с красной и белой рыбкой. Я и не знал, что партия этак балует своих мастеров культуры. На кремлевский буфет тянет. Сам пугаясь своей смелости, я, чтобы чокнуться, решительно повернулся к чутко тянувшейся в сторону говоруна Надежде, и ее приоткрытый рот и блестящие глаза оказались от меня на расстоянии вытянутых губ. В сумерках зала зрочки были огромными, точно от белладонны или любви. Я отшатнулся, заслонившись бокалом, как щитом. Тукнул его краем в ее бокал.

Потом, взяв себя в руки, потянулся мимо Надежды к Сережке и чокнулся еще и с ним.

— Будьте счастливы, ребята, — отечески произнес я.

— Взаимно, батюшка, взаимно, — сказал сын, салютуя мне своим бокалом, а потом разом, видно, что с удовольствием, махнул до половины.

Надежда улыбнулась.

— Только все вместе, — уточнила она и пригубила.

Шут его знает, что она этим хотела сказать. Чтобы не выдумывать слишком уж лестных для себя, вконец нескромных толкований, я неторопливо, но не прерываясь, время от времени катая вино от щеки к щеке, глоточками вытянул весь бокал. Вкусно. Мягкое тепло закралось в солнечное сплетение, воровато тронуло сердце.

Человек на сцене продолжал неумоимо месить кулаками воздух. Точь-в-точь Троцкий на дивизионном митинге.

— Может, эта святая блудница хочет сказать, будто не знает таких слов? Никогда их не слышала и не говорила? Может, она всю жизнь пролежала на розовых лепестках? Да нет! Ходила она по Шпалерной, моталась она у «Крестов»! Может, пока она моталась у «Крестов», ни одного крепкого словечка не произнесла? Не верю! Вот не верю, и ни один нормальный человек не поверит этой старой ханже. Просто она кривит душой! Хочет быть красивее, чем есть! Не любит правду, не признается! А может, и пуще того? Может, барынька намекает, что мы все по сравнению с ней быдло? Что ж! Умеющие кое-как рифмовать старорежимные распутницы нам не указ, и мы ей тоже напомним! Все разом!

— Ну и хамло, — вполголоса сказал сидящий напротив меня рослый парень, произносивший у дверей отзыв на пароль. И окончательно мне понравился.

В конце концов распечатку воззвания пустили по столам, чтобы всяк мог незамедлительно поставить подпись. По заключительным фразам речи можно было понять, что воззвание в нынешней редакции дополнено осуждением «некоторых безнадежно отставших от жизни двуличных стихоплетов и стихоплетов, ставящих палки в колеса стремительному паровозу новой литературы».

— А вы как к мату относитесь? — вдруг спросила персонально меня Надежда.

И я заметил, что на меня уставились за нашим столом все. Что ж она им наплела про меня, недоуменно подумал я.

— Знаете, товарищи, — сказал я, — мне его жалко.

— Жалко? — удивленно переспросила задорная конопатая девушка, сидевшая рядом с рослым.

— Ну конечно. Это же слова-реакции, слова-физиологизмы. Вот если ударил себя молотком по пальцу или уронил топор на ногу, непременно надо сказать... — я нарочито запнулся. Они замерли, предвкушая, как я бабахну. — Ну, например, «блин», — с улыбкой обманул я их ожидания. Они облегченно и разочарованно перевели дух. — Тогда сразу становится не так больно. Если это говорить на каждом шагу, если читать в книжках и газетах, то что тогда останется для молотка по пальцу? Вы представьте, чем придется снимать боль, скажем, монтеру, когда ему на ногу рухнут тяжелые клещи? — я выждал и голосом типа «дама с камелиями» с придыханием воскликнул: — Ах, боже мой!

Молодежь захихикала от души.

Не знаю, моя ли в том была заслуга, или так оно случилось бы и без моего натужного юмора, но наша компания в полном составе пренебрегла воззванием и послала его подальше. В смысле — дальше.

— Кто же вы все-таки по работе? — спросила Надежда, когда мы единодушно спроварили на соседний стол дурацкую и подлую бумажку. — Я никак не могу понять. Мне иногда кажется, вы тоже писатель.

— Ну что ты, Надежда, — сказал я. — Ты мне льстишь. Я всего лишь клерк в аппарате правительства. В Наркомате по иностранным делам... Ох! Вот опять перепутал. Никак не привыкну... По новой конституции надо говорить не «по иностранным делам», а «иностранных дел»... В общем, бумажки перекладываю.

Она смерила меня взглядом; сперва он был просто недоверчивым, а потом как-то вдруг пропитался укоризной.

— Тоже врете, — сказала она.

— Почему ты мне не веришь?

— Потому что врете, вот и не верю. От чиновников пахнет пылью или сургучом, — брезгливо сказала она и, помедлив, задумчиво добавила: — А от вас пахнет медом.

Все-таки я тогда угадал, подумал я. Они нас носом и выбирают, и отвергают.

— И что это значит?

— Сама еще не знаю, — ответила она.

Мы засмотрелись друг другу в глаза. Я опомнился первым, отвернулся. Будто бы выпить. Долил себе из бутылки и, сделав пару глотков, попытался обратить все в шутку.

— Гречишным или липовым?

Она не поддержала.

— Неважно. Мне важнее понять: пчела я или кто.

— Глубоко, — сказал я. Я не мог понять, кокетничает она или откровенничает, флиртует или раскрывает душу. Слишком уж мне хотелось, чтобы второе. И я прятался за первое.

Из-под потолка заиграли музыку, и Сережка позвал Надежду танцевать. Она не ломалась, вскочила сразу и, пока он за руку тащил ее в свободную часть зала, коротко обернулась на меня, будто прося то ли разрешения, то ли прощения. И тут же отвернулась.

Мой пожилой организм уже просился до ветру. Было ужасно неловко, сидя рядом с Надеждой, время от времени ощущать грешное напряжение в паху, но стократ стыднее оказалась резь в мочевом пузыре.

Пойди я чуть раньше или чуть позже...

В общем, я пошел именно тогда, когда только и смог перехватить внезапно зацепивший меня взгляд вроде бы незнакомой женщины, как раз встававшей из-за самого неудобного, прямо у выхода из кафе, столика. Она собралась, по-видимому, уходить; если бы она не поднялась, то ни она меня не увидела бы за спинами сидящих, ни я ее. Судя по тому, что при ней не было ни друга, ни подруги, я подумал, что она либо не дождалась того, кого ждала, либо, наоборот, кто-то оставил ее одну. В ее позе, в ее движениях была некая безнадежность; я был бы недостоин своей работы, если бы не умел вычитывать такое влет. Я отпрянул взглядом, но боковым зрением успел уловить, что, увидев меня, она изумилась и замерла, как бы заколебавшись с уходом; ее лицо продолжало маячить у меня перед глазами, пока я искал свой нужник и пока мыл руки потом. А когда я шел обратно, непринужденно не глядя в ее сторону, то обнаружил, что она снова смиренно сидит на покинутом было месте.

Теперь ее лицо казалось мне смутно знакомым.

Только этого мне не хватало.

Я попытался успокоить себя тем, что отнес ложные узнавания на хмель. Вероятно, пытаясь утопить плотского беса, я нагрузился и сам. И, похоже, с бесом как раз не очень-то преуспел, коль мне мерещится внимание незнакомок.

Лавируя между столами, я пошел с нарочитой неспешностью, глубоко, ритмично дыша и нелепо надеясь до возвращения к своей компании протрезветь; и тогда вместо крошева отдельно долетающих слов вокруг меня, накатывая одна за одной, заколыхались волны чужих бесед.

— ...До чего же спокойно, размеренно, глубокомысленно люди жили. Одному мерещился закат Европы, другому конец истории... Даже не понимали, на краю какой пропасти стоят. А вот пройдет годик-другой, и где-нибудь в сороковом или сорок первом им вгонят по самые гланды, какой тут конец истории...

— ...Я тебе вот что скажу... Ик! Культурный москвич — это тот, кто, когда поест, сразу начинает пиздеть про ГУЛАГ...

Но тут разговоры задавил воем и хрустом динамиков сунувшийся подбородком в микрофон очередной человек на сцене. Уже не тот, что агитировал за матершину, а типично эстрадный; если я не путаю, таких почему-то называют не по-людски диджеями. За его спиной выстроились готовые к бою лихие музыканты в невообразимых робах, вроде как металлурги у мартенов, в защитных очках на пол-лица, но в галстуках-бабочках.

Вой медлительно опал, и немного отстранившийся от микрофона диджей жизне-радостно выкрикнул:

— А теперь любимая нами всеми группа «Конница и модница» урежет классику!

Расфуфыренные металлурги с готовностью впаяли по своим струнным, духовым и ударным. По ударным — в особенности.

Я ломаю слоистые скалы
В час отлива на илистом дне.
И таскает осел мой усталый
Их куски на мохнатой спине!
У-ля-ля-ля-ля!
Ех, ех, ех, ех!

Я уже видел, подходя к нашему столу, что Сережка и Надежда всё танцуют, танцуют обнявшись и почти прижавшись друг к другу, и мне бы следовало, конечно, по-отцовски радоваться за них, а вот не получалось. И потому меня все раздражало. Даже эта пусть дурацкая, но вполне ведь невинная песня. Ну да, кафешантанная поп-культура даже изысканный стих, памятный мне еще по молодым годам — только вот не вспомнить, кто его написал, — ухитрилась превратить в шлягер. Но что уж тут ужасного? Однако мизантропия хлынула так, точно ее долго копили в водохранилище, и вот пустили наконец крутить турбины души: чем тебе скалы-то помешали, бездельник? Миллионы лет формировались. Красивые, наверное, были. Неповторимые. А сколько в них живности всякой обитало! Но приходит утонченный эрудит, который сам про себя уверен, что и мухи не обидит, а жаждет одной лишь красоты, и между делом — тюк! Тюк! Дурацкое дело нехитрое, ломать не строить. А осел, бедняга, отдувайся.

Умники ломают, сами не ведая зачем. Для самовыражения и самоуважения. Чтобы оставить след в мироздании. Для красного словца. Чтобы заметили другие такие же умники. Потому что мысль так пошла. От глубинной неуверенности в себе: ведь любого строителя может постигнуть неудача, но разрушителю хотя бы частичный успех гарантирован. Из благородного стремления к совершенству: в храм не ходят, лба не крестят, но безупречного совершенства хотят уже теперь. Впрочем, порой и не очень из благородного: чтобы совершенство поместилось во дворе между коттеджем и гаражом...

А ослы разгребай за ними.

Я ударил заржавленным ломом
По слоистому камню на дне...
Е, е, е-е-е!

Во-во, подумал я.

Загляните в любую песочницу. Уже в три года дети делятся на тех, кто, высунув от сосредоточенного напряжения язык, печет куличи, и тех, кто с хохотом их топчет. Из первых вырастают творцы, созидатели, строители и другая рабочая скотина. А из вторых... Из вторых много кто вырастает. Тут, наверное, могло бы поправить дело то, о чем мы так славно пофилософствовали давеча с сыном, — осуждение со стороны окружающих. Поэтому, взрослея, эти вторые стараются собраться замкнутой кастой, наперебой одобряют и хвалят друг друга, а всех, кто их осуждает, что было сил полагают злобными, агрессивными недоумками.

Песня кончилась.

Танцующие замерли явно в нетерпеливом ожидании, когда грянет снова и можно будет снова. Только вот Надежда как-то затрепыхалась у Сережки в руках. И тут запели арфы и флейты, а потом сладкий, как патока, тенор полил в зал тягучую сахарозу:

За фабричной заставой,
Где закаты в дыму,
Жил парнишка кудрявый,
Лет семнадцать ему.

Ударник со всей дури влупил по барабанам так, будто конный взвод галопом проскакал по деревянному мосту; истошно взвыли усиленные электричеством гитары, и смиренное сладкоголосье смел бандитский хриплый баритон:

Когда я был мальчишкой,
Носил я брюки клеш,
Соломенную шляпу,
В кармане финский нож.

И вновь в потрясенные уши потекли едва слышные после акустического удара райские арфы и ангельские голоса.

Перед девушкой верной
Был он тих и несмел.
Ей любви своей первой
Объяснить не умел.
И она не успела
Даже слово сказать.
За рабочее дело
Он ушел воевать.

Опять взревел тяжелый металл.

Я мать свою зарезал,
Отца свою прибил,
Сестренку-гимназистку
В колодце утопил!

Как кастраты из папской капеллы, хрустально зазвенели бесплотные ангелы:

«Умираю, но скоро
Наше солнце взойдет...»

Шел парнишке в ту пору
Восемнадцатый год.

И снова хрипло отыгрались потные волосатые бесы:

Сижу я за решеткой
И думаю о том,
Как дядю-часового
Пристукнуть кирпичом!

Коллаж был элементарен, на том и строился эффект — и все же что-то угадывалось в нем не простое, но глубинное, даже общечеловеческое: вечная потуга ополщить идеал реальностью, желанное — сушим, мечту — явью. Если поверять одно другим, сравнивать их по убедительности, идеал всегда окажется в дураках. Беспроигрышная позиция, наверняка за умного сойдешь, за честного, не желающего жить в розовых очках. Ломай себе слоистые скалы...

Если мы — ослы, то кто те?

И пока ум подыскивал слово, из памяти сами собой выплыли стройными рядами прущие в поисках свежей кровушки изголодавшиеся клопы.

Чем бы они питались, если бы в жилах мечтателей не текло что-то живое? Над чем бы иронизировали?

Запахавшиеся, возбужденные, щеки пунцовые, рты до ушей, из кучи малы скачущих в странном нынешнем танце выпали Сережка и Надежда и, держась за руки, вернулись к столу, где мрачно и гордо восседал я весь в мыслях о роде людском, наедине с объедками и недопитым.

Надя упала на стул рядом со мной, от нее веяло жаром. Молодым разгоряченным телом. Радостью невозбранно дурачиться что есть сил. Сережка сказал:

— Ну, тогда оставляю тебя под надежной защитой.

— Ага, — энергично кивнула она, еще чуть задыхаясь; ее грудь под тонкой тканью вздымалась часто и без утайки. И что ей, в самом деле, таиться? Девушка просто дышит.

А он торопливо зашагал обратно, где смешавшиеся пары принялись строить какой-то сложный многослойный круг.

— Это что они там затевают? — спросил я.

— Сиртаки, — небрежно ответила она.

Я не понял, но не стал уточнять. Сиртаки так сиртаки...

— А ты что же отлыниваешь?

— Туфли новые сдуру надела, — огорченно призналась она. — Теперь как русалочка — хожу по ножам. А вы почему ни разу не присоединились?

— Я не умею.

— Не верю. Сережка наконец раскололся. Я уж и так и этак... Вы, оказывается, дипломат.

— Ну, вроде того. Средней руки.

— Так вас разве не учат специально танцам?

— Тех, кто должен тамошних дам окучивать, может, и учат. А я — так... Рабочий осел.

— Почему осел? — удивилась она.

Я сделал широкий жест в сторону сцены.

— И кричит, и трубит он — отратно, что идет налегке хоть назад.

Она засмеялась.

— А! — понимающе сказала она. — Из Блока!

— Точно! — я хлопнул себя по лбу. — Блок. Я все никак вспомнить не мог. Помню — смешная такая такелажная фамилия...

Она посмотрела на меня недоверчиво и пытливо, словно хотела удостовериться, что я не придуриваюсь. Потом сказала:

— Ну, тогда я буду та, что круженьем и пеньем зовет.

Легко поднявшись, она выгнулась стрункой и красиво вскинула обнаженные руки — точно две скрестившиеся лебединые шеи вытянулись над нею. Крутнулась на месте, изящная и гибкая; размахисто полыхнуло платье, волосы вздулись широким черным пропеллером.

— А спую как-нибудь потом. Тут и без меня певунов хватает, вон опять готовят-ся... Вы лучше скажите мне вот что. Раз вы дипломат. Что у нас в дипломатии творится? Мой папа говорит, мы опять переживаем. У всей Европы с Гитлером вполне приличные отношения, и только мы задираемся. Плохой, плохой... Вконец затравили беднягу. В конце концов, это дело германского народа. Они там пусть и разбираются. Нельзя же так! У нас у самих-то что, проблем уже не осталось? Чем кумушек считать, трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться!

Я глубоко вздохнул и досчитал до десяти.

— Это есть наша самая большая военная тайна, — сказал я. — Плывут пароходы — привет Европе. Летят самолеты — привет Европе. А идут пионеры — салют Европе.

— Нет, ну правда, — клянчащим детским голосом сказала она. — Мне же интересно. Это какая-то тонкая стратегия?

— Ага, — сказал я. — Именно.

— Ну, как хотите, — обиделась она. — Я к вам всей душой, а вы...

— А я к тебе всей дипломатией.

— Вы в основном в Москве? — спросила она. — Или больше в разъездах?

Я прикинул. Так на так, наверное...

— Больше в Москве, — сказал я.

— Это хорошо.

— Почему?

— Не было еще такого, чтобы я хотела и не добилась. С некоторых пор меня заинтересовали секреты нашей дипломатии.

— Надежда, не забивай себе голову этой нудятиной. Мой тебе совет.

— Не отвергитесь, — сказала она. — Даже и не надейтесь.

— Ты лучше стратонавтикой интересуйся, — посоветовал я. — Такое красивое и мужественное занятие.

— А я интересуюсь, — серьезно ответила она. — Уже четыре месяца. Я даже знаю, что гондолы стратостатов — это прототипы будущих космических кабин. Сережка только об этом и говорит.

— Ну и не лезь в политическую грязь, — сказал я и сразу ощутил, что это прозвучало грубо. Но слово не воробей. Она отпила еще глоток и ответила:

— Я всегда все сама решаю.

Из кафе мы ушли вместе, и в гардеробе одевались вместе, но стоило выйти на морозец, я сказал:

— Вы как хотите, а я погуляю.

Сережка нахмурился:

— Если я приду, а тебя еще не будет, мама мне голову оторвет.

Я усмехнулся и прощально помахал ему рукой.

— Мы вас ничем не обидели? — вдруг крикнула мне вслед Надежда.

Я оглянулся:

— И-а! И-а! И-а!

С губ моих один за другим вывалились в ночной воздух текущие клубки мерцающего пара. Ребята засмеялись, хотя, конечно, только Надежда могла понять, с чего это я вдруг перешел на ослиный язык. Но засмеялись все. Наверное, это было и впрямь смешно: пожилой дядька подвыпил и слегка впал в детство; а настроение у всех было такое славное, такое легкое, что палец покажи — и уже весело.

Мне хотелось остаться одному. Если не вдвоем с ней, то одному.

В этот поздний час на улицах стало безлюдно. Раскатисто звеня, прокатил освещенный изнутри, как аквариум, трамвай с заиндеветыми по краям окнами; видно было, что полупустой. От морозных вдохов ноздри склеивались и будто тоже покрывались внутри инеем — это было приятно, напоминало детство. Нарочито медленно я шел к набережной, чтобы полюбоваться с моста сияющим в ночи, как сказочный коммунизм, Кремлем. И тут сзади меня окликнули по имени.

Я резко обернулся.

Нет, это была не Надя. Уж конечно, не Надя. С чего бы Наде гоняться за мной.

Это оказалась совсем другая женщина. В выношенной шубке, с головой, едва ли не по-старушечьи замотанной в пуховый платок, с затравленным взглядом, заранее умоляющим и заранее не верящим в то, что получится умолить.

Сначала я узнал в ней ту, что собиралась уходить из кафе и так внезапно передумала, увидев меня.

Потом узнал уже в той...

— Ты меня не узнаешь? — спросила она.

Это была Аня. Анюта, Аннушка, первая моя, еще гимназическая, любовь.

Впрочем, тогда она этого так и не узнала. А потом мы и не виделись. Вот до этого вечера. Я никак не умел в детстве об этом сказать. Да, собственно, и теперь не научился. А уж в детстве...

Мои хорошие родители отдавали последние гроши, на грань нищеты себя поставили, только чтобы сын получил образование. Так я попал в гимназию. Ни они, ни я даже не подозревали, насколько белой вороной я там окажусь. Им не довелось убедиться, что они голодовали не зря и учение мне все-таки пригодилось в жизни; пока я геройствовал на фронтах, их свалил сныпняк, и я даже не знаю, где их схоронили. Я учился, переходил из класса в класс, на это мне ума хватало с лихвой, но его никак не хватало, чтобы понять или хотя бы почувствовать, насколько я отдельно от остальных. Мне казалось, я почти вместе. Ребенок не видит пропасть, ему, с его маленьким ростом, видны только канавки, ямки, рытвинки, которые, кажется, так легко перешагнуть. Вот еще, мол, разок покидаемся снежками, вот еще одну книжку прочитаю из тех, про которые они говорят, и врасу.

Они все были сплошь: Руссо-Шамиссо, Рембо-Мирабо, Мюссе-гляссе, Сантана-Монтана... А я — я неплохо разбирался в навозе. Я знал ласковую поговорку «Сынок, съешь блинок» (чтобы прочувствовать ее вполне, надо представлять, что блины у нас в доме бывали разве что на Масленую) или практичную «Сей в грязь — будешь князь» (в том смысле, что сажать надо рано, пока еще земля по весне не просохла). Я смешил сверстников присказками «Моряк с печки бряк, растянулся, как червяк» или «Коза-дерева, прямо девка-егоза», совершенно не ощущая сексуального, а не ровен час, и скотоложеского подтекста — ведь для меня коза была просто наша домашняя Лущка с мягкой шерсткой, доверчивым носом и теплым выменем, которую нипочем нельзя забыть покормить; а если вдруг наозорничает, вот тогда и пригодится эта присказка... Или, например, если кто-то из ребят вдруг ненароком пукал, я, по деревенской привычке, веселил их прибаутками «Перни раз —

потешь нас!» или «Сери, Агаша, пока изба наша!». Мне даже в голову не приходило, что они смеются не вместе со мной, а надо мной.

Я смотрел сверху вниз на осунувшееся, изможденное лицо Ани, на ее неловкую скованность, какой и в помине не было в те давние годы, когда в любом разговоре со мной она чуть ли не поминутно всплескивала руками: «Ты что, этого не читал? Ты что, этого не видел? Ты что, этого не знаешь?» А из-под постаревшего, костистого лица, из-под нездоровой пористой кожи мало-помалу начинало светиться иное, бывшее, самое красивое, какое только может быть, потому что именно тогдашняя красота каленым паттерном, неизгладимой печатью бьет по всем будущим годам, сколько бы их ни было впереди, и остается единственной красотой на всю оставшуюся жизнь.

— Аня, — пораженно сказал я. — Откуда ты, Аннушка?

Она принужденно улыбнулась.

— Из кафе. Я там ждала. Надеялась попросить председателя нашей группы журналистов о помо... об одной вещи. Он обещал прийти, я по телефону заранее договорилась. И не пришел. Да я и знала, что не придет. Я уж уходила собиралась и вдруг увидела тебя — такого... важного... Я подумала, это судьба.

— Какой же я важный, Аня? Я ничего не понимаю. Мы же не виделись... Чуть ли не сорок лет не виделись. Аня, как ты меня узнала?

— Ну, ты не так уж переменился. А потом, я случайно знаю, что ты теперь среди начальства. Высоко взлетел...

— Анечка, стоп. Здесь холодно и неудобно. Что нам тут стоять? Пошли к нам, еще не очень поздно, а домой тебя на машине отвезут, я позвоню в гараж. Поболтаем... Ты как? Ты в Москве? Ты про наших про кого-нибудь знаешь? Всех же разбросало кого куда...

— Погоди, — сказала она, никак не отвечая ни голосом, ни взглядом на мой внезапный и совершенно неподдельный восторг. Ее шелушащийся лоб собрался морщинами. — Погоди, не гони. Я специально пошла за тобой и ждала, когда ты один останешься, потому что вдруг подведу тебя и твою молодежь под монастырь. Может, ты и общаться со мной теперь не захочешь. И уж всяко мне, наверное, нельзя к тебе домой, а тебе нельзя ко мне, я же теперь чээсвээр.

Падение с высот бурлящего веселья и благородной грусти было столь внезапным, что я, даже приложившись всем телом, не сразу опомнился.

— Что?

— Член семьи врага народа, — пояснила она, и вдруг ее голос напомнил мне тот, давнишний, когда она вот так же снисходительно и почти с презрением поясняла мне то, что вообще-то должны назубок знать все. — Веню вот уже полторы недели как взяли. Без объяснений, и ни от кого не могу добиться ни слова...

Я сглотнул.

Улицы совсем опустели. Ни людей, ни машин.

Опять истошно зазвенел, разухабисто выворачивая на набережную, сверкающий слепыми от инея окнами трамвай.

— Кто такой Веня?

— Мой муж. Вениамин Шпиц, журналист. Ты, наверное, не знаешь.

— Так, — сказал я. — Ну, говори, говори.

— А что тут говорить, — она кривовато усмехнулась. — Все как у всех. Но когда я тебя увидела, я подумала... Может, ты... ну... можешь как-то помочь?

Запинаясь, она выдавила сокровенное и умолкла. Потом ей, наверное, показалось, что она перегнула палку и запросила слишком много сразу.

— Ну, хотя бы узнать, что с ним, из-за чего все это...

— Хорошо, — не колеблясь, сказал я. — Я попытаюсь. Я, как ты понимаешь, не свят дух, но попытаюсь. Но... Аня. Мы так давно... Я не знаю... Как ты живешь?

— Как всегда.

— Но ведь все так изменилось.

— Я не заметила. Мы все в этой стране всегда как подопытные мышки. Один тест на сообразительность закончился, начался другой. Убрали лабиринт с ломтиком сала посередине, поставили кормушку с педалькой, педальку надо нажать лапкой два раза, и кормушка откроется. А мышки... Мышки остались те же самые.

— Ты биолог?

— Я чээсвээр, — ожесточенно сказала она.

Я глубоко вздохнул.

— Ну, про сейчас я понял, но... До этих полутора недель ведь тоже было много всего?

Мало-помалу я отходил от шока внезапной встречи, внезапного обрушения из одной жизни в иную, и воспоминания неторопливой чередой начали проявляться в памяти, как на листах фотобумаги.

— Ну конечно, мы как выпускной отгуляли, так с тех пор и не виделись. Это же конец мая был, как раз после Цусимы. Всё в цвету... Ты в белом фартучке, с бантами... Помнишь, вы кричали: ура микадо! Царю конец!

— А ты не кричал, — сказала она.

— Ты помнишь? — я готов был ее расцеловать за это. — Помнишь? Знаешь, я хотел... Чтобы как все. Но у меня язык не повернулся.

— Зато теперь ты при делах, — сухо сказала она. — Под новым царем устроился.

Черная неподвижная Москва стыла и дыбилась вокруг нас, делая вид, что беззаботно засыпает, и серебрилась непорочным инеем, бодро дышала морозом, светила разноцветными окнами — а моя школьная Аня была чээсвээр, и ненавидела меня за это, и просила у меня помощи.

— Хорошо, — сказал я. — Попробую. Как мне тебя найти?

— Ты обещал?

— Я обещал.

Она попятилась от меня — точно отшатнулась. И уже тогда сказала:

— Проще простого. Спроси адрес в НКВД.

И почти бегом бросилась прочь по будто вымершей улице, которая еще десять минут назад казалась мне уютной и безмятежной, даже какой-то предпраздничной. И ведь правда, скоро Новый год. А что людей нет — так все уже дома, с семьями, чаи гоняют, читают детям книжки вслух, целуются, выпивают; суббота ж... Полы жеваной, плешивой шубки мотались из стороны в сторону, словно подгоняя шлепками ее беспомощные, худые ноги, петляющие каблуками в воздухе.

Перед тем как завернуть за угол, она остановилась так резко, что поскользнулась и едва не упала. Кругом, сколько хватал глаз, так и не появилось ни души, и она могла себе позволить говорить с расстояния трех десятков шагов, будто стояла рядом. Вполоборота глядя на меня, громко спросила:

— Ты ведь был в меня влюблен?

— Да! — крикнул я, нелепо надеясь, что хотя бы это повалит стенку, которую жизнь вбила между нами.

Она мгновение постояла, глядя на меня, как встарь, свысока. Потом вдруг чуть развела руками: дескать, ну, не обессудь, сам дурак.

Назавтра мне повезло. На последних минутах обеденного перерыва я, возвращаясь из столовой, заметил на лестнице выше себя широкий, лоснящийся на спине пиджак Лаврентия и в три прыжка догнал нового главу спецслужб.

— Пламенный партийный, — сказал я.

Он прострелил меня зайчиком от пенсне и ответил в столь же легкой манере:

— Взаимно.

— Слушай, Лаврентий, хочешь делом доказать, что народ всегда прав?

Он молча усмехнулся, не давая поймать себя на слове, но явно приглашая продолжать. Я так и знал, что ему станет любопытно. Я выждал. Пусть и уклончиво, но ему все же пришлось подать голос.

— Народ всегда прав, — согласился он.

— В народе говорят: блат главней наркома.

— Спорно, но и так бывает.

Разговор заструился. Что и требовалось.

— Вот я к тебе, считай, по благу и обращаюсь. Чай, мы не посторонние. Недели полторы назад был арестован такой журналист — Вениамин Шпиц. Или даже еще и не арестован, а так просто. Ты как нарком не мог бы прояснить, что он там начудил? Может, опять ваши перестарались? На молоке обжегшись, на воду...

Память у него была, надо отдать ему должное, потрясающая.

— Шпиц, — сказал он, поморщившись. — Ага. Мыслитель-гуманист. Не имеет права на существование никакая система, если она ставит себя выше индивидуальности, — явно цитируя по памяти, презрительно прогнусавил он. — Пассажир для трамвая или трамвай для пассажира? Человек для государства или государство для человека? Сразу продолжение напрашивается, — заговорил он нормальным голосом и, значит, уже от себя. — Лес для зайца или заяц для леса? Червяк для земли или земля для червяка? Долой океан со всеми его обитателями, если он ставит себя выше одной отдельно взятой селедки... Гуманизм, однако!

— Ну, червяк — это ты уж слишком. Я бы так поставил вопрос: семья для человека или человек для семьи?

— Именно. Курица для яйца или яйцо для курицы... На кой хрен тебе этот краснобай сдался?

— Тайный любовник.

Лаврентий помолчал.

Он был, очевидно, недоволен, но причин с ходу послать меня на берег дальний у него не нашлось, а неформальный обмен услугами в товарищеском кругу дорогого стоит.

— Ладно, я посмотрю, что можно сделать. Ты у себя будешь? Я отзвонюсь. Хотя не понимаю. Таких гуманистов у нас двенадцать на дюжину...

На этом он мог бы и закончить. Но все же дал понять, что моя просьба ему неприятна. Правда, сделал это предельно тактично, даже с юмором, который у него прорезался иногда. Просто процитировал любимую нами обоими фильму, одну из лучших, что были сняты при старом режиме:

— Знай, Копченый, на этот раз рассердил ты меня всерьез!

Оставалось лишь дружелюбно посмеяться вместе.

Он действительно позвонил. И оказался непривычно многословен, точно, сам того не осознавая, пытался оправдаться.

— Ну, как мы с тобой и думали, ерунда. Ляпал, конечно, как и все они, но если всех, кто ляпает, сажать... Фишка в том, что не на всех пишут. На него вот написали. И ведь и я знаю, и ты знаешь, что девяносто процентов этой писанины — хлам. Кому-то жилплощадь соседа понравилась, кому-то жена сослуживца приглянулась... А не реагировать мы не можем. Сами все время долбим: бдительность, бдительность... И если граждане увидят, что они проявляют бдительность, а власть не реагирует, то... Все остановится.

— Мы у них заложники, они — у нас, — сказал я.

— Ну да. Круговорот дерьма в природе...

По телефону грузинский акцент почему-то ощущался сильнее. «Кругаворот дэрма...»

— В общем, я взял на карандаш, не дергайся. Отделается минимумом.

— Спасибо, дорогой.

— Да ладно, — благодушно отмахнулся он и тут же намекнул мягко, но веско: — Сочтемся.

— А на Ахматову донос уже написали? — не утерпел я.

Он помолчал мгновение, а когда снова заговорил, чувствовалось, что насторожился. Даже акцент почти пропал.

— Откуда знаешь?

— Нетрудно догадаться. Статьейками в газетах и воззваниями такую махину не сковырнешь, а свобода материться нужна новой культуре во что бы ни стало.

— Циник ты, — сказал Лаврентий, хохотнув, и повесил трубку.

Он сдержал слово. Шпиц получил каких-то два года, да и то его почти сразу расконвоировали, а задолго до истечения срока перевели на поселение. Там он встретил новую жену — дочку какого-то крупного настоящего контрреволюционера, эсера, что ли, и с нею они жили, как говорится, долго и счастливо, перебравшись снова в столицу еще до конца войны. Были родившиеся в новом браке дети. Были премии и награды. Шпиц пережил всех, кто его сажал, и всех, кто за него хлопотал, и уже в конце восьмидесятых стал-таки знаменитым публицистом, на все лады обличая ужасы сталинского террора. Несколько статей написал, например, доказывая, что меня убили по тайному распоряжению вождя... «Новый мир» и «Знамя» с такими статьями в ту пору зачитывали до дыр.

А моя Анюта, выцветшая, как старуха, худая, как скелет, умерла в эвакуации в сорок третьем, в полном одиночестве. Умерла глупо, нелепо. Всего-то простудилась. Но никого не оказалось вовремя рядом — микстуру подать, стакан воды поднести. Умерла, зашлась кашлем в горячке моя гордая гимназистка с большим белым бантом на голове...

Я в ту пору был уже так далеко, что ничего этого не ведал и не мог помочь. В последний момент узнал случайно и все, что успел — это ее встретить.

Дружище

Хлесткий порывистый ветер волнами гнал снежную пыль. Струи поземки, ядовито шурша, безголовыми змеями вились по брусчатке. Ритмично хлопали полы шинели замершего подбородком вперед, с уставленной в небо винтовкой ближнего караульного красноармейца, неподвижного, точно шахматная пешка или стойкий оловянный солдатик. Царь-пушку и горку ядер к ней окатывало белесым дымом то слева, то справа; в щелях между ядрами и в зубастой пасти свирепого монстра, ощерившегося из лафета, уже набухли снежные опухоли.

От мороза и ветра у Кобы слезились глаза, и на кончике носа то и дело проступала капля. Он машинально смахивал ее, но через несколько минут она набегала снова.

Вечерело. Белый бегущий снег становился серым, а низкое серое небо — сизым.

Коба положил руку на холодное колесо. На черном, массивном, чугунном его маленькая светлая ладонь выглядела особенно беззащитной; казалась, вот-вот примерзнет.

— Как думаешь, — спросил он, — она правда никогда не стреляла?

Я еще раз посмотрел на бесчисленные сложные рельефы, превращавшие убийственную машину в произведение искусства, и ответил:

— Есть такое мнение.

— Но в принципе могла она стрелять или нет?

— Из такой красоты стрелять — это кем же надо быть, Коба?

Он помолчал и уронил:

— Красота — это для мирных и сытых.

— Да перестань. Как раз на краю все начинаешь видеть и чувствовать особенно остро. И в первую очередь — красоту.

Он отнял ладонь от ледяного чугуна и пренебрежительно отмахнулся.

— Еще скажи, что красота спасет мир.

— А что?

— Не что, а кто. Мы. Большевики.

Что тут ответишь? Ни возразить нельзя, ни согласиться. Даже если кого-то мы и впрямь спасем, то кто спасет нас? Но лучше не задаваться такими вопросами; цепочка может оказаться длиннее, чем мы думаем, и, выбирая ее звеньшко за звеньшком, не ровен час, в поповские выдумки упруешься. Я выждал мгновение и вернул разговор назад.

— А почему ты спрашиваешь?

Он опять помолчал. Смахнул каплю. Бедный парень с винторезом, подумал я. Ему и пошевелиться-то нельзя, если вдруг сопля набежит. Особенно когда такие люди рядом. Небось стоит и в душе клянёт нас на чем свет стоит. Уйдем — просморкается...

А мы, как на грех, стоим да стоим.

— Ко мне тут с проектом нового ледокола приходили, — нехотя сказал Коба. — Ты же знаешь, как Севморпуть нуждается в ледоколах. И вот сочинили этакую громадину... Чуть не с километр длиной. И название у них уже готово: «Иосиф Сталин».

— Кто бы сомневался, — сказал я.

Он фыркнул в обледеневшие усы.

— Я сразу представил, как будет выглядеть, скажем, заголовок передовицы в «Известиях»: «Иосиф Сталин затерт льдами».

— А сколько сразу народу сажать придется, — подхватил я. — Почитай, всю редакцию.

— Юмор у тебя... — он покачал головой. — В общем, мне эта идея сразу показалась пустышкой. А для очистки совести я проект Крылову послал.

— Великий корабел, — согласился я.

— Потом принял его, все чин чинарем... И он разом эти бумаги, чертежи, расчеты, обоснования, всю эту кипу несчастную двумя руками кидает мне на стол и ядовито говорит: вот, дескать, был у нас Царь-колокол, который никогда не звонил, Царь-пушка, которая никогда не стреляла, а будет еще Царь-ледокол, который никогда не поплывет.

— Сильно, — сказал я, живо представив эту сцену. — Могучий старик.

— Старик-то могучий, я и сам знаю, но вот о чем думали проектировщики? Ты у нас психолог, скажи. На что они рассчитывали?

— На конфетку.

— Конфетку все хотят. Но надо же мозги включать иногда. Слушай, неужели меня так низко ценят? Неужели думают, что если старому Кобе грубо и бессмысленно польстить, он сразу Сталинские премии метать начнет?

— Прделана большая работа... — сказал я.

Он не принял шутки. Сокрушенно проговорил:

— Как этим людям доверять после такого?

— Не драматизируй. Коллектив хотел сделать тебя приятно.

— Мне не надо приятно! — вдруг рявкнул он. — Меня от такого приятно тошнит! Они что, хотят меня сделать дураком, который согнутую спину ценит больше дела? Мне надо, чтобы работало! Чтобы все работало! Кто честно работает, у того ни один волос с головы не упадет. А кто честно и хорошо работает, тот уж без конфетки не останется.

Я только покосился на него, но смолчал.

Иногда у меня едва с языка не срывалось: «Тебе не совестно?»

Глупее подобных вопросов ничего нельзя придумать. Это вроде как женщины спрашивают: «Ты меня еще любишь?»

Если у человека есть совесть, ему всегда за что-то совестно. Не совестно только тем, у кого совести нет. Любой прохожий и меня мог бы так же спросить, и я, если бы захотел ответить искренне, сказал бы: «Еще как».

Ну и что дальше?

Вот я спрошу его, и он, представим на минутку, ответит: «Совестно».

Может, миллионы убитых с четырнадцатого по двадцать первый сразу восстанут из могил, бодро отряхнутся и побегут к станкам, возьмутся за плуги и сеялки? Поведут брачные хороводы, рожать начнут? Или, может, те, кто выжил, но, начав привыкать к рекам крови еще в бессмысленной империалистической бойне, привык к ним так, что иного спора, кроме перестрелки, и вообразить не может — сразу сделаются трепетными человеколюбцами? Может, в Заполярье зацветут олеандры и народ сам собой потянется к Таймыру, в Коми, на Ямал и Колыму, чтобы зашибить большую денюгу и, радикально решая пресловутый квартирный вопрос, прямо по месту работы выстроить просторные семейные коттеджи у теплых вод лазурного Ледовитого океана, заодно давая стране позарез ей нужные никель, медь, хром, золото, лес? Может, вдруг сделаются неколебимыми патриотами те десятки, а то и сотни тысяч простых советских граждан, тайком сходящих с ума от ненависти к новым порядкам, а потому инфантильно путающих эсэсовцев с меценатами и загодя готовых встретить хлебом-солью хоть Гитлера, хоть кого в нелепой вере, что он зачем-то вернет им Россию, которую они потеряли? Может, прибалты, нагулявшие под царями жирок и культурку, ни с того ни с сего вспомнят, как при немецких баронах их секли на мызах и не пускали внутрь городских стен, а вспомнив, в очередной раз повернутся, точно изба на курногах, к западу задом и к востоку передом? Может, финская граница, сама собой приподнявшись, вежливо отодвинется и заново ляжет на карельские мхи уже не в тридцати километрах от Ленинграда, а, скажем, в двухстах? Может, самураи, соблюдая все тонкости восточного этикета, покаянно попросят прощения за причиненное беспокойство, покинут Маньчжурию и перестанут испытывать на излом наши погранзаставы? Может, поляки вдруг проникнутся идеями славянского братства, Крупп объявит о плане конверсии и переключится на производство сковородок и детских колясок, а Гитлер уйдет в монастырь?

Только для тех, у кого слово и есть их дело, театральщина ценна и значима. Коба сказал: «Совестно». Занавес. Элегантные, упитанные зрители расходятся, рассаживаются в свои авто, переговариваясь вполголоса: ах, сильно, ах, психологично, ах, не в бровь, а в глаз. Как дело измены, как совесть тирана, осенняя ночка черна... И переходят к аперитивам.

Они-то сами хорошие, они замечательные, они никому и ничему не изменяли, никому не причиняли вреда, им в этой жизни ни за что не совестно.

Коба смахнул каплю с носа, пожевал, точно морж, усами, что стали от никотина желтыми, как его глаза, и спросил:

— Твой отчет завтра?

— Да.

— Ну, а между нами, кратенько... Как там?

— Если кратенько, то как всегда. Хоть головой об стенку бейся.

Он помолчал, хмурясь, а потом, растопырив коленки под шинелью, чуть присел, глумливо развел руками и сказал:

— Простите, товарищ, но других партнеров у меня для вас нет!

— И у меня для вас, — примирительно ответил я.

Мы неторопливо двинулись к Успенскому собору, и я будто собственным телом почувствовал, с каким облегчением наконец-то позволил себе расслабиться одеревеневший на ледяном ветру красноармеец. Вот сейчас для очистки совести оглянется украдкой, зажмет пальцем одну ноздрю и ударит соплей об землю. Потом сменит руку, зажмет другую ноздрю... Только бы винтовку не выронил, бедняга.

Теперь ветер бодал нас сзади и ощутимо драил нам вьюгой спины.

— Ты ведь через Варшаву ехал?

— Да.

— Что паны?

— Много чего. Что тебя интересует?

— Ну, наверное, то же, что и тебя. Пойдут они вместе с Гитлером против нас? Или по-прежнему кобенятся и не могут даже тут определиться?

— С учетом того, что еще пару месяцев назад они были с немцами вась-вась, а теперь — уже в раздумьях, я думаю, отработают назад. От душевного единения с Адиком они уже отсосали максимум возможного. И начинают это осознать. Украиную фюрер им не отдаст, самому нужна. А когда до фюрера дойдет, что шляхтичи его кидают, он взбесится реально. Если тебя интересует мой прогноз...

— Не набивай себе цену, не кокетничай. Я ведь уже спросил. Чего еще надо?

— Ладно, Коба, не кипятись. Думаю, сейчас паны постараются этак незаметно и невесомо, на пуантах, перебежать под крылышко демократий. С расчетом получить все, что им обещает Гитлер, а то и побольше, но при том без усилий и риска. Гитлер нападает на нас через Прибалтику, вязнет тут, год-два мы воюем на обоюдное истощение, а потом, все в шоколаде, вступают англичане с французами. Добивают Гитлера в спину, и то, что он успел оттяпать у нас, достается им. Как освободителям одновременно и от нацистов, и от большевиков. И освободители потом отдают это панам за их красивые глаза и антисоветские вопли. Может, паны под конец и войсками поучаствуют, в обозе у демократов. Чтоб хоть разок крикнуть «Хэндэ хох!» и за этот героизм уж наверняка получить все до Волги. Вот такие в Варшаве, я полагаю, девичьи грезы.

Снегопад усиливался. Сумеречно-золотые купола собора, летящие сквозь полосатый ветер, выросли над нами все выше.

— Похоже на правду, — сказал Коба. Помолчал. — Ах, упустили мы шанс.

Обида на неудачу в польской войне сидела в нем куда глубже и ядовитей, чем он обычно показывал на людях. А сейчас, от этих новостей его, похоже, опять торкнуло. Потому что он вдруг с болью проговорил:

— Ну кто ж мог знать, что поляки наши шифровки читают, как свою газету!

Это была правда. Группа Яна Ковалевского проявила себя тогда блистательно, а мы — как полные растяпы. Польский генштаб получал директивы Троцкого раньше наших собственных командармов.

— Прошлого не воротишь, — сказал я. — Всякая революция чревата депрофессионализацией. Это один из ее главных недостатков. Пока кадры нарастут, пока наладишь собственных спецов, да чтобы были на уровне требований времени — а оно, пока мы в революциях друг друга мутузим, на месте тоже ведь не стоит...

Помнишь, как мы хихикали, повторяя одну из любимых обличительных присказок Георгий-Валентиныча: умные нам не надобны, надобны верные. Вот, мол, какой косный и бездарный царский режим! Умных отвергает, на бездарных только и полагается, лишь бы верны были... Но ведь именно всякая революция в стократной мере просто обречена на это!

— Георгий твой Валентиныч... — непонятно пробурчал Коба. Что-то, наверное, хотел сказать про Плеханова нелестное. Но, зная меня, не стал. Помедлил немного, потом повел рукой в сторону собора: — Идеологи мои и это тоже все взорвать хотели. Я не дал.

— А почему? — с неподдельным любопытством спросил я.

Он вдруг смущенно усмехнулся и ответил по-честному:

— А черт его знает. Наверное, на всякий случай.

Я ткнул пальцем в рябое от снежного лета небо:

— Надеешься, там плюстик поставят?

Он вместо ответа безнадежно втянул воздух носом. В носу мокро забулькало.

— Ну и что нам с панами делать?

— Пока ждать, я думаю. Ничего еще не определилось. Понятно, что сами по себе они способны исключительно на гадости, а на что-то доброе их могут подвигнуть только Чемберлен с Даладьё. С этими и надо работать. Хотя уже муторно.

— То есть Литвинову с его коллективной безопасностью по-прежнему карт-бланш.

— Угу. И любой ценой заткнуть прибалтийский коридор.

— Как легко вы, чистоплюи-моралисты, словами бросаетесь, — с невеселой иронией отметил он. — Любой ценой... А когда старый Коба сделает, тут-то вой и пойдут: дорого!

Стало неловко. Я сказал:

— Прости.

Мы пошли вокруг собора. Некоторое время молчали, дыша снежной пылью.

Он покосился на меня.

— Как твоя?

Почему-то я сразу понял, о чем он. Мы давно уже понимали друг друга с полуслова. Иногда мне приходило в голову, что именно это и может оказаться для меня самым опасным.

— Ничего пока, — сказал я. — Только спрашивает, спасем ли мы Польшу.

Он сокрушенно покачал головой. Смахнул каплю. Потом сказал:

— А вот если бы Тухачонок не облажался тогда на Днестре, была бы она у тебя сейчас не гордая полячка, а добродушная, хлебосольная украинка.

— Может быть. Хотя не все так просто.

Да, может быть.

Да, не все так просто.

Месяца не прошло после жуткой развязки нашей с панами войны, а в культурном народе уже шутили: «Редкая птица долетит теперь до середины Днестра, потому что там ее подстрелит дефензива». Впрочем, на том берегу Гоголь тоже был родной, и язык остался тем же, и наперехват стремглав, как встречный пал, тамошние интеллигенты пустили ту же фразу, лишь заменив дефензиву на гипеу.

Сколько их было, зеркальных шпилек...

Полякам подобный бадминтон пришелся не по нутру.

На одном языке переругивались, на одних и тех же впечатлениях и воспоминаниях строили друг другу предельно стержовые, но неизменно свойские язвы — это напоминало перебранку по нелепости повздоровивших не вполне трезвых родственников, а не столь чаемую Варшавой осмысленную, фундаментальную враждебность.

Когда люди, ядовито хихикая, ковыряют друг друга пальцем в бок, это не рвет, а, скорее, укрепляет, продлевает связи между ними. Ну не могут они друг без друга, хоть тресни.

Поэтому сначала в Кракове, культурной столице, потом в Варшаве, под плотным казенным приглядом, а там и в Киеве, главном городе новообретенного креса, стали возникать кружки движения «Лагидна полонизация» — специально для новых подданных Речи Посполитой. Это называлось направлением в искусстве, точнее постколониальным стилем (в том смысле, что поработанное москвитами население наконец-то обрело шанс, ополячившись, стать свободным), хотя даже мне, отнюдь не спецу в изяществах, было очевидно, что к искусству ожесточенная глупая байда не имела и не могла иметь никакого отношения. Наоборот, она лишней раз свидетельствовала: нацизм, какая бы нация за него от бессилия ни хваталась, ничего не способен создать сам, а может лишь воровать у истинных творцов и уродовать по своему обличью, превращая то ли в карикатуры на самое себя, то ли в чучела чужого величия, только подчеркивающие разницу между настоящим и злющим. «Поляки мы. Не азиаты мы с раскосыми хохляцкими глазами...» Это для русскоговорящих. Для совсем уж упертых украинцев игрались и более сложные игры. «Як умру, то на могыли мене не ховайте. Тяло разом з версетями в дупу запихайте...» Чуть ли не три века миллионы местных были у панов холопами, и надо было срочно, в считанные годы, вернуть их в прежнее состояние.

В итоге новые подданные гордых поляков начали резать. Жечь. Сбивались в банды и топили целыми семьями местную высшую расу в колодцах, запекали в углях, как голубей... Облажайся Тухачевский не на Днестре, а, скажем, на Буге или уж вовсе на Висле — наверное, те же самые люди жгли бы не поляков, а нас. Рязанских и омских мальчишек в красноармейской форме, носатых харьковских комиссаров... Хотя мы, конечно, по отношению к тому же Шевченке никогда ничего подобного себе не позволяли и не позволяем, но было бы желание резать, а повод найдется. Надо же бороться за свободу, если больше ничего не умеешь. Одно слово — крес.

В ответ, вздымаясь свинцовой пургой и километровыми стенами колючей проволоки, естественно, пошли репрессии. Естественно, под них, за редчайшими исключениями, попадали не те. Тех-то еще найти надо, поймать, добыть, обезвредить, а нормальный работающий обыватель, ежащийся, вертящийся и изворачивающийся между молотом и наковальней, он — вот он, всегда под рукой.

И ныне население от Днестра до Карпат, за исключением разве что совсем уж отмороженных, тех, кто с истошными воплями «Слава Украине!» потрошив полякив целыми деревнями и ховався потом в лесах, смотрело с надеждой лишь на Восток и вполголоса, украдкой, как пароль или молитву, передавало друг другу: «Сталин прийде — порядок наведе...» И, разумеется, у панов сразу оказались во всем повинны большевики — мол, без подстрекательства и снабжения из-за советской границы тупые аборигены никак не додумались бы их резать, любили бы, надо полагать, и рончки лобызали...

А я советовал ждать.

Не переборщить бы с выжиданием...

Коба утешительно тронул меня за плечо кончиками пальцев.

— Ничего, — сказал он мягко. — Это все ничего. Перемелется — мука будет. Пока жива — все хорошо.

Это была истинная правда, на все времена. И уж он-то после самоубийства своей Нади знал это наверняка. Он имел право сравнивать «пока жива» и «после». В ответ я лишь благодарно приобнял его. И сразу убрал руку. С дружеской фамильярностью тоже лучше было не переборщить.

— Моя-то вот... — глухо сказал он. Потом мотнул головой; это была почти судорога. — А знаешь... Я вот думаю... Ведь могла бы и меня.

— Не могла, — сразу сказал я.

Густели сумерки. Снег вылетал из ниоткуда, клубился мимо и улетал в никуда. Вдали, по ту сторону величаво текущей в темном воздухе хлопчатой реки, дрожали в кремлевских корпусах освещенные окна.

Мы шли уже мимо Тайницкой башни, когда Коба все же спросил:

— Ты думаешь?

— Не могла, — твердо повторил я. — Коба, она ж по душе-то русская была до мозга костей. А мы, если что не так, всегда виним прежде всего себя. Вечно на себя грехи берем. Я не доделал, я не сумел, я не дообъяснил, я не удержал, я не предотвратил... Не могла.

Он долго безмолвствовал, хлюпая носом. Наверное, ему хотелось спросить: «Так что ж, она на себя мои грехи взяла?», но он не решался, потому что боялся услышать в ответ мое «Да» и понятия не имел, что тогда со мной делать.

— Почему-то самые хорошие люди всегда погибают первыми, — сказал он глухо.

— Они же потому и хорошие, что действуют бескорыстно, а значит — произвольно. И собой прикрывают других тоже произвольно. Вот первыми и погибают...

Он повел плечами, будто ежась. Впрочем, может, ему и впрямь было всего лишь холодно.

— Только бы не война, — глухо сказал он. — Выбьют как раз тех, кого мы успели вырастить за эту четверть века. Самых преданных, самых верящих... Они всех остальных и прикроют собой. Шушеру всякую. Тех, кто придумывают Царь-ледоколы. На кого потом опереться, когда окажемся на пороге коммунизма? Глядишь, на пороге-то окажемся, а в дом не попадем.

— Коба, — тихо спросил я. — А ты еще веришь в него? В коммунизм?

Он даже остановился.

Повернулся ко мне. Внимательно, с прищуром уставился желтыми и блестящими, точно восковыми, глазами.

— А ты?

Я глубоко вздохнул.

— Даже не знаю, как сказать...

— Уж договаривай, — неприязненно потребовал он.

— Вот, скажем, человек ночью в пустыне. Он замерзает. Он не знает, куда идти. Верит ли он в то, что утром взойдет солнце, станет тепло и покажется дорога? Он просто ждет. Просто ждет, как спасения. Вот и я. Жду не дождусь.

Он отвернулся от меня и снова зашагал вдоль кремлевской стены.

— Ты его ждешь, — медленно и веско сказал он, не оборачиваясь, — а я его строю.

Не догоняя, я пристроился на шаг за ним. Некоторое время мы шли молча. Он горбился все сильнее. Наконец не выдержал и остановился; снова повернувшись ко мне, уставился исподлобья странным, беспомощным и одновременно угрожающим взглядом.

— Думаешь, он сам собой решит разом все наши проблемы? Твои? Мои? И не надейся.

Качусь

После обеда я присел поработать буквально на краешек стула, чтобы не увлечься и не потерять контроля за временем. И, разумеется, все равно засосало. Около пяти Маша, приоткрыв дверь кабинета, сказала:

— Тебя к телефону. По-моему, Серезина Надежда.

Мне показалось, «Серезина» прозвучало с намеком. Хотя, может, и впрямь лишь показалось; нечистая совесть гораздо вздуть на ровном месте грозные, но пу-стые страшилки.

— Ох, мать честная, — пробормотал я, торопливо вставая.

Телефон у нас висел на стенке в прихожей, вроде как на перекрестке всех до-рог, один на всех. Я, смиряя себя и стараясь двигаться степенно и солидно, вышел из кабинета, а Маша тем временем вернулась на кухню и даже дверь притворила за собой.

— Это Надя, — услышал я в трубке в ответ на свое «алё». Вот вроде и знал уже, кто звонит, а сердце все равно вскинулось. — Извините, что трезвоню, но я подумала, вы можете заработать и обо всем забыть. Вот и решила напомнить.

— Правильно решила, — ответил я. — Спасибо, Наденька. Сейчас выезжаю.

— А Мария Григорьевна не передумала?

— Да вроде нет. Сейчас еще разок спрошу для верности.

— Спросите, пожалуйста. До свидания. Я тоже уже через несколько минут выхожу.

— Не прощаюсь, — сказал я и повесил черную трубку на рычаг.

Маша, засунув руки в карманы халата, стояла у кухонного окна, уставленного между рам банками с заготовками и снедью, и вроде бы глядела на дома напротив; там, чуть ли в каждом окошке, обещая незатейливое счастье, переливались ячеистые раду-ги новогодних гирлянд.

— Ты не передумала?

— Нет, конечно, — ответила она, не оборачиваясь. — Не поеду и тебе не советую. Что за дурацкая идея — болтаться между молодыми. Они из вежливости нас позвали, а ты и купился. Думаешь, им интересны твои разглагольствования?

— А вдруг?

— Ну чему ты можешь нынешних научить? Врагу не сдастся наш гордый «Варяг»?

— Смело, товарищи, в ногу, — напомнил я.

— Да у них и ноги-то уже совсем другие.

— Те же ноги, те же, — я добродушно засмеялся, а у самого от одного только сло-ва «ноги» внутри опять будто жеребята забрыкались. — Разве что постройнее немнож-ко. Да и это, в общем, ненадолго.

Маша наконец обернулась, и я сразу понял, что ляпнул лишку. Я-то, наоборот, хот-ел ее этак ненавязчиво утешить — мол, не переживай, любая молодость ненадолго, и наша, и не наша; но она поняла по-своему.

— Теперь ясно, на что тебя потянуло. И отчего ты так спешишь. Действительно, молодость проходит быстро.

— Ой, вот не надо, — проговорил я, и у меня словно теркой по коже провели от того, как ненатурально это прозвучало. Пошло, даже комично, словно в третьесортном во-девеле царских времен.

— Ну, как знаешь, — она чуть пожала плечами. — Я предупредила.

До парка Горького дорога стала куда короче и легче после того, как на прошлый Первомай открыли для движения очередную нашу гордость и красоту — летящий Крымский мост, весь из себя социалистический, как серп и молот, поистине один из символов новой Москвы; до сих пор он был праздничным загляденьем для сотен тысяч москвичей и, как говорится, гостей столицы. Я решил пойти пешком: время позволяло, засидевшееся тело просило движения, а усталые от бумаг глаза — про-стора. К тому же, пока я топаю, Серезка должен был обязательно успеть добраться до места встречи. Не хватало еще мне прийти раньше него и оказаться хоть ненадолго с Надеждой наедине. Нехорошо это было бы. Почему-то нечестно.

Новогоднее шампанское веселье уже отстрелялось пробками и петардами, отшумело тостами и плясовым топотом, сотрясавшим абажуры и люстры у соседей внизу, отрыгалось похмельем у особо жаждущих, и теперь, в первое воскресенье января тридцать девятого года, толпы трезвого и потому неподдельно веселого люда высыпали на улицы.

Невесомо струились над улицами пухлые, крахмальные от инея провода. Праздничными колоколами звенели и гремели трамваи, жужжали троллейбусы, деловитые и кургузые, как шмели. Сквозь любой мороз грело душу немного комичное, но невыразимо теплое шествие воздушных шариков над головами. Дети, дети, дети. Хохочущие, хнычущие, клянчашие, визжащие от смертельной обиды (не купили шарик) или восторга (купили шарик); советский ребенок не избалован, ему немного надо для счастья. Впрочем, как и взрослому... Одни тузились, пока родители не глядят, другие, доверительно агукая, обсуждали что-то, только им ведомое, недоступное даже тем, кому перевалило за, скажем, семь. Мальчишки постарше в детских буденовках с красными звездами на весь лоб ухитрялись прямо тут же со стуком сражаться на деревянных саблях; как раз когда я проходил мимо, один с претензией на геройский голос тоненько крикнул: «За Каховку!», и я вздрогнул. Обнималась, смеялась, отплясывала посреди тротуаров молодежь. Катили коляски молодые супруги; им с произвольной уважительностью давали дорогу, чтобы истинным творцам будущего не приходилось лавировать в гуще. Старики с мечтательными лицами, глядя куда-то вдаль, наверное, в прошлое, вышагивали молча, с нежностью держа под руку своих старух: наговорились за десятилетия, но не налюбились.

А где-то в тысячах километров от этого немудреного веселья озабоченные и по самые уши ученые питомцы Оксфордов, Сорбонн и Гейдельбергов, пронашивая безупречно пошитые фракные пары, неумоимо пересаживались из «роллс-ройсов» в ампирные кресла и обратно и, объясняясь обиняками и намеками, ничего не называя прямо, прошупывали одни других, пытаясь сговориться, как бы им, рискуя поменьше, натравить на нас самого ополумевшего из них. На Надежду и Машу. На Сережку. На меня. На Кобу, в конце концов.

Чтобы не было ни этих шариков, ни этих буденовок. Ни этого смеха, ни этих колясок. Чтобы хоть на сей раз наверняка сжить со свету этих непонятных непотопляемых стариков с их верными двужильными старухами. Чтобы горел, как в Смутное время, Кремль. Чтобы дети, с визгом бегающие сейчас вокруг родителей в пятнашки и догонялки, лупцующие крашеными деревяшками кто Петлюру, кто Колчака, гордые кто новыми ботинками, кто новой шапочкой или хнычущие от трудно представимых взрослыми обид, снова, как уже было два десятка лет назад, превратились в чумазые жилистые тени в лохмотьях, клянчили хлеба у пролетающих мимо авто или сбивались в крысиные стаи, готовые с детской, значит, самой страшной, жестокостью резать хоть за пачку папирос, хоть за пластинку жвачки, хоть просто со скуки. Чтобы несчастные колхозники, и так-то, мягко говоря, небогатые, перешли на лебеду навсегда и перед тем, как вымереть и освободить для высшей расы жизненное пространство, лишились даже права говорить на родном языке, потому что даровая рабочая сила нужна не только страшным большевикам, но и высоко нравственным повелителям денег, а они теперь все, как на грех, не говорят по-русски. Чтобы никто из уцелевших в бойне ни в праздник, ни в будни и носа не смел показать из дому без бумажки, называемой аусвайс.

Но даже не это главное; что нас, голодухой или паспортами испугаешь, что ли? Главное — что тем, кто выживет, надо будет усвоить крепко и навсегда: все мы, и с носами картошкой, и с носами с горбинкой, суть навоз их истории, мрачный и опасный уродливый курьез где-то сбоку, из века в век мешающий жить тем, кто

всегда прав, всегда красив, всегда всего достоин, нескончаемо и невозбранно справедлив и даже в любых зверствах своих все равно безоговорочно благороднее нас. И чтобы мешать им поменьше, мы, пока вовсе не передохнем, должны рассыпаться, сникнуть, перестать жить вместе и действовать заодно, забыть, что и мы — не толпа, не скопище, а народ. Со своими бедами, своими жертвами, своими ошибками и своими триумфами, круговерть которых за тысячу лет выковала и выточила нас такими, какие мы есть, и иными быть не можем.

А пока они там, за кордоном, играли в гольф, в крикет и в натравливание на СССР, посреди их хваленной избалованной Европы, поразительным образом ими не замечаемый, разрастался гигантский коричневый пузырь, то ли гнойник, то ли канцер, и его рукопожатый канцлер уже растапливал печи лагерных крематориев, запасал «циклон Б», шлифовал панцеркриг и, сладко вздрагивая, предвкушал глобальную расовую чистку.

И нам, не нюхавшим ни Оксфорда, ни Сорбонны, в подавляющей массе своей появившимся на свет в избах, где не было ни единой книжки, самим-то далеко не ангелам — а откуда тут взяться ангелам? — просто не оставалось иного выхода, кроме как перехитрить благоухающих парижскими парфюмами пауков, а выпестованного ими канцлера, лгуна из лгунов, подлеца из подлецов, обмануть, облапошить и, если придется, раздавить. Не потому, что мы такие уж хорошие или умные. Нет. Уж кто-кто, а я-то знал цену и себе, и Кобе, и Лаврентию, и всем.

А потому, что больше некому.

Народ ощутимо загомонил громче, а потом издалека послышалась, приближаясь, строевая. С Остоженки, азартно лупя сапогами в замороженный асфальт и нестройно, но от души горланя, вывернула не меньше чем рота курсантов и почесала по проспекту, охранительно предводительствуемая лейтенантом с флажком в руке; народ их приветствовал вздетыми кулаками типа «Рот фронт», криками «Ура!», а пацаны, кто оружно, кто безоружно, пристраивались, рьяно отмахивая локтями, маршировать следом. Выходной выходным, а солдатикам все одно служба. А может, в баню.

Песня была и знакомая, и нет.

Паны да фашисты, француз-дегенерат
Снова готовят нам олигархат.
Но от тайги до британских морей
Красная армия всех сильней!

Сколько себя помню, в этой песне лишь последнее утверждение всегда остается неизменным. Персонажи первых строчек частенько менялись. И вот в очередной раз. Паны да фашисты — тут понятно, тут без разночтений. А француз-дегенерат... Вряд ли это обобщающий образ населения прекрасной Франции. Д'Артаньяна мы любим. Да был же, в конце концов, и Барту — правда, его-то как раз и убили, причем, как выяснилось позже, они же сами, под шумок, вроде бы стреляя в террориста. Скорее всего, имелся в виду их новопреставленный философ с жеваным лицом, вывернутыми мозгами и опять смешной фамилией, которую я, как и Блока, постоянно забывал: то ли Клоксман, то ли Глюксель... В последнем опусе, лебединой песне и, наверное, завете грядущим поколениям, он на пятистах страницах доказал, что тот, кто за свою жизнь не сменил раза три-четыре пол, не может считаться полноценным человеком и сколько-либо ответственно и разумно судить о чем-то важном; жесткая и безальтернативная привязанность к маскулинности или феминности свидетельствует об интеллектуальной немощи и моральной ущербности, а отсутствие опыта, получаемого противоположным полом, делает таких людей крайне недалекими.

Поскольку же в Советской России подобные операции вообще не практикуются и, видимо, негласно запрещены кровавой тиранией, тут, следовательно, коротает век сборище заведомых недочеловеков; всю жизнь протомившись в гендерной темнице, они ничего не понимают в жизни и свободе. Любое их мнение по любому поводу не только не представляет ценности, но вообще должно восприниматься как болезненный истероидный симптом.

Нобелевскую премию получил.

Какая уж тут коллективная безопасность...

Не получится у Литвинова ничего. Не получится.

И что нам тогда?

Один на один против всех?

Я мучительно думал об этом, шагая над темным ледяным провалом по вздрагивающему от трамваев телу моста, от одной далекой вереницы набережных огней до другой, столь же далекой, но вскоре забыл.

Ведь в снежном сиянии фонарей, в курящемся морозном мареве, сторонясь беззаботной суতোлки дышащих паром людей, прямо под восклицательным знаком на темнеющей выше света кумачовой полосе, где угадывалась надпись «Высшая цель партии — благо народа!», меня уже ждала, притопывая и озираясь по сторонам, Надежда.

Я глубоко вздохнул, точно перед атакой, и только потом до меня дошло, что Сережки не видно и, стало быть, мы, по крайней мере до его прихода, обречены быть вдвоем.

Она увидела меня, обрадованно замахала рукой и почти побежала мне навстречу. Я заулыбался, а в голове, выметая все умные мысли и возвышенные переживания, почему-то запульсировало простое, как мычание: кубарем качуся под гору в сугроб... под гору в сугроб... качуся...

— А где же парень-то наш? — спросил я, когда мы сошлись. Она стояла передо мной, как лист перед травой, в короткой шубке, рейтузах в обтяжку и шапочке с помпозным набекрень, с алыми от зимы щеками, и глядела виновато.

— Ну ужас какой-то! — сказала она. — Я боялась, что и вы не придете, тогда бы совсем тоска. Представляете, я уже на лестницу выходила, а он позвонил в последний момент и сказал, что не сможет. Там у них какая-то техника новая поступила, надо срочно принимать и разбираться... Что именно — он не сказал, конечно. Военный человек... Приказали — и все разом меняется. Кошмар!

Я представил, как Сережка приходит домой после аврала измотанный, дерганный, и тут выясняется, что папа, он же верный мамин муж, все еще веселится в парке отдыха и развлечений тет-а-тет с его девушкой.

Сильно.

Надо было развернуться и пойти обратно. Надо было.

— Только не вздумайте уйти! — торопливо упредила она и обеими руками ухватила меня за локоть. Ароматный пар ее дыхания окатил мне лицо.

И вкрадчиво, но ощутимо потянула меня в сторону ворот.

— Надя, я ведь на коньках не умею, — проговорил я, еще упираясь. — Я-то, старый дурень, думал, посижу на лавке, полюбуюсь на вас...

— Ну, полюбуется на меня одну, — не задумываясь, парировала она. — Я постараюсь недолго, полчасака... Ну ведь все равно пришли уже! И вы, и я!

Что правда, то правда.

Перед колоннадой ворот, на самом ходу, дородная от надетой под белый халат дохи улыбчивая женщина торговала с лотка мороженым — вся в светящемся студеном дыму, точно раздобревшая и подобревшая на русских хлебах Снежная Королева. Мороженое в мороз — это наш фирменный шик. И ведь ели вовсю. Очередь будто плыла в фосфоресцирующем тумане.

— Может, попробуете? Я буду вас держать! — храбро пообещала она.

Я засмеялся. Мне стало бесшабашно и легко. Все равно уже все случилось.

— Надя, ласточка, мне послезавтра опять за кордон ехать. Ты представляешь, что будет, если я себе что-нибудь сломаю? Или просто морду расквашу? Войду на конференцию, а глаз подбит, и лиловый нос набок. Что ж это будет за конференция?

— Ну и семейка у вас, — сказала она со вздохом. — Никто себе не принадлежит. Даже непонятно, как с вами дружить.

Я не сразу нашелся что ответить.

— Романтика, — сказал я потом.

— Знаете, я романтику как-то иначе себе представляла.

Я заинтересовался совершенно искренне.

— Как?

— Ну... Погода-природа, любовь-морковь... Звезды, соловьи... А иногда для остро-ты — мы сидим себе под цветущим кустом, и тут фашистский шпион ползет. Мы его в четыре руки вяжем и тащим в ближайший райотдел НКВД. Потом, натурально, опять под куст. Усталые, но довольные. Пока смерть не разлучит нас. А тут, получается, я — до гроба, а мужчина мой — до свистка.

— У нас советская романтика, Надя.

— А-а... — понимающе сказала она. Подумала и сказала: — Плохо мое дело.

На освещение парка отдыха партия электричества явно не жалела. Мы подошли, и открылся сверкающий, как операционная, простор катка.

Над светозарным ледяным лугом вились разноцветные зимние бабочки. Большие и маленькие. Одни — лихо, другие — неуклюже, третьи — просто так. Падали, охали, терли ушибы, хохотали, выписывали кренделя, хватались за руки, съезжались и разъезжались, роняли друг друга и помогали друг другу подняться... Жизнь в миниатюре. Замечательная, разная. Трудная. Твердая, бьющая больно. Невозвратимая.

Вокруг катка, на случай хоккейных дел, тянулись длинные скамьи без спинок. На них тоже было немало народа: родители гордо и встревоженно следили за осваивающими ледяную забаву чадами. Я пристроился среди них.

Башку Сереге оторву за такие фокусы. Ей позвонил, а домой...

А если бы позвонил? Что, я не пошел бы?

Да. Не пошел бы.

Сердце увидело ее раньше, чем глаза, и горячо толкнулось в горло. Она выскользнула на лед. Придерживаясь рукой за дощатое ограждение, шурясь, окинула взглядом ряды скамеек. Фонари били ей в глаза, и она не сразу разглядела меня в темной бездне за оградой. Потом, просияв, размашисто покатила в мою сторону.

Я забыл дышать.

Никакой купальник не сделал бы ее столь нагой. Купальник откровенен, и груб, и не богат ничем, кроме мяса, заслоняющего человека. А она парила, словно фея. Словно душа. Плоти не было — лишь непорочный соблазн, невесомая идея девичьего тела, сотканная из сверкающего света. Вся тут, лепестком на ладони — и недоступная, как звезда.

Она улыбалась. Она смотрела мне прямо в лицо, будто говорила: вот я, нате. Так смотрела, что едва не врезалась в катившую поперечным курсом пару — коренастый лохматый парень и рослая девушка скользили вместе, точно спаянные друг с другом; со скрежетом плеснув из-под коньков ледяной крошкой, Надежда увернулась и успокоительно помахала мне рукой, увидев, что я вскочил от ужаса. Потеряв скорость, она тогда уж и совсем замерла, поразмыслила мгновение, а потом мощно толкнулась, подняла ногу, так что юбочка вообще потерялась, и, уцепив

рукой за кончик поднятого на уровень груди конька, долгой дугой покатила мимо меня, показывая себя во всей красе.

Она озорничала?

Она надо мной издевалась?

Или она меня соблазняла?

Или она хотела покорять всех и каждого? Подвернулся отец друга — давай отца друга?

Сейчас мне было все равно. Я так хотел ее, что это ощущалось, как боль.

Стройная, нежная, голая и молодая. Откуда вдруг мне в мозг влетела и лопнула эта ручная бомба, какая вражья пятерня ее кинула? Даже в глазах потемнело. Четыре раскаленных осколка-слова впились в сердце. Стройная, нежная, голая и молодая...

Неразрывность ее играющего тела и моего привороженного взгляда была столь заметна, что минут через десять ко мне поближе пересел замотанный в серый пуховый платок, в латаном пальтишке старик. Продолжая искоса поглядывать на лихо раскатывающую туда-сюда по льду мелюзгу, он проговорил:

— Ваша-то для вас как старается!

Я не подыскал слов для ответа. Он пожевал челюстями и проговорил:

— Видно, любит очень. Это нынче редко встретишь — чтобы к родителям такое отношение... Красивая девочка. Теперь бы мужа ей подыскать хорошего.

— Да нашли вроде, — отрывисто ответил я.

— Тогда счастья им... А я вот тоже внучку хочу в кружок записать, а не знаю как. Вроде все тренера умелые, а поди-ка скажи наперед, кто лучше выучит. Ваша-то у кого была?

— Честное слово, не знаю, — сказал я. — Это она все сама.

Он помолчал, а потом застенчиво спросил:

— А платили сколько?

— Правда, не знаю, — с сожалением ответил я.

Он посидел еще, а потом отодвинулся.

Наконец она натешилась и покатила вон с поля, а я, дождавшись, когда она скроется, вскочил и галопом поскакал в поисках сортира: не хватало еще, чтобы приспичило, когда будем, гуляя, идти по городу назад.

И успел к точке встречи первым.

Издали снова улыбаясь мне, она торопливо подошла; уже одетая, упакованная в зимнее, и все равно: стройная, нежная, голая и молодая.

Я знаю, я видел.

— Ну как?

— Потрясающе.

— Вы не замерзли?

— Нет.

— Не заскучали?

— Нет.

— Как я вам?

Стройная, нежная, голая и молодая...

— Сердце в клочья, — сказал я.

Она легко и радостно засмеялась.

— Пошли?

— погоди, — сказал я. И тут до меня дошло, что, кажется, она вдруг сорвалась ко мне на «ты». Словно после близости. Не «пойдемте», а просто «пошли». Горло забухло горячим густым клеем. Я глотнул. — У нас тут еще одно дело.

Повернулся и пошел к лавкам. Она постояла, не сразу поняв, а потом вприпрыжку бросилась за мной.

Дед так и сидел, сгорбившись и нахохлившись, точно замерзающий воробей. Сквозь обмотанный вокруг головы платок он слышал наши шаги, лишь когда мы подошли вплотную; тогда он резко обернулся и уставился на нас снизу вверх недоумевающим взглядом.

— Надя, расскажи дедушке, где, у кого и почему тебя всей этой науке учили, — сказал я.

Она ничуть не удивилась. Через мгновение как ни в чем не бывало она уже что-то такое втолковывала, сыпала какими-то фамилиями и названиями кружков... Дед слушал, ошалело кивал, даже торопился что-то записывать тупым огрызком карандаша на полях мятых «Известий». Когда Надя иссякла, он неловкими движениями застывших на морозе пальцев спрятал газету и карандаш обратно за пазуху, помотал головой, словно стараясь получше утрясти и уложить кучу полученных сведений, пошамкал и сказал:

— Ну, спасибо, дочка. Славная ты. Дай тебе бог здоровья...

Перевел на меня благодарный взгляд выцветших, утопающих в морщинах глаз. Потом опять глянул на нее и добавил:

— Папу береги. Он у тебя добрый. Таким трудно.

— Обещаю! — не моргнув глазом, ответила она. — Честное комсомольское!

Словно еще наэлектризованные каждый своим, она — движением, я — желанием, мы гуськом выбрались из узостей между лавками.

Некоторое время, опасливо не касаясь друг друга, шли молча.

Было неловко; непонятно, о чем говорить. После того как она чуть ли не полчаса самозабвенно и бесстыдно предлагала мне себя и на все лады отдавалась моему взгляду, а я, старый похотливый козел, брал, брал, невозможно было вести себя, как прежде. А как надо теперь, мы еще не знали.

— Сбережешь вас! — сказала она потом, и я поймал ее «вы». Она опять к нему вернулась? Или ее «пошли» вовсе не значило того, что мне померещилось? Или теперь она просто-напросто имела в виду нас с сыном? Я не знал. — Когда вас по месяцу не видно.

— Сережку береги, — заставил себя сказать я. — Он за кордон не катается. И тоже добрый.

Она посмотрела на меня, на сей раз — совсем серьезно. И ответила:

— Можете быть уверены.

И почти без паузы бабахнула:

— А вы Марью Григорьевну очень любите?

Когда жену вот так вдруг называют по имени-отчеству, даже не сразу сообразишь, о ком речь.

А когда сообразишь, попробуй ответить.

— Как себя, — сказал я.

Это была правда.

Любит ли человек свое сердце? Свои ноги? Он об этом никогда не думает, он просто без них жить не может. Иногда они подводят, иногда даже болят. Тогда ногу надо мазать мазью, например, со змеиным ядом, а для сердца — глотать какой-нибудь валидол или нитроглицерин. Но вряд ли сыщется болван, который своей волей предложит: что-то у меня нога разболелась, отрежьте. А оставшись с культяпкой, радостно завопит: свобода! И правильно, что не скажет и не завопит. Ведь все наоборот: фантомные боли так и будут мучить до конца дней, а вдобавок и скакать весь остаток жизни придется на костыле или протезе.

Она вдруг преданно и просто, совсем по-семейному, взяла меня под руку обеими руками.

— А как вы познакомились?

Ох, спросила бы что полегче. Рассказывать ей про по одному русскому в минуту? Сейчас?

— Романтики там было больше, чем надо, Надя. А цветущие кусты — горели. А звезд не было видно, потому что на все небо — дым. А соловьев распугали взрывы, и даже те, что не попадали с веток замертво, потеряли слух и голос. И даже морковь потоптала конница. Осталась одна любовь. Да и та вся в кровянице, потому что война. И не за Родину, не с Главным Буржуином каким-нибудь, а нас с нами, за разные правды. Печенка с легкими подралась, мозг с сердцем.

— Ужас какой, — тихо сказала она после паузы.

А дома все было как всегда.

Или все делали вид, что все как всегда.

— Ну, ты загулял, — сказала Маша. — Одиннадцатый час уже. Голодный? Садись, я ужин дважды разогревала. И Сережка тоже в нетях. Звонил недавно, что будет только к утру. Какие-то там клапана у него барахлят...

— А все-таки напрасно ты не пошла. Народ на улицы высыпал, веселье такое...

— Зато я план-проспект на новый семестр закончила. На завтра никаких дел не осталось, можем в Сокольники поехать. Хочешь?

— Отличная мысль, — сказал я. — Конечно, хочу. С осени не были. Надо как следует надышаться перед душным поездом. Коленка как, не мешает?

— Вроде нет... Ты в Лондон сначала?

— Да. Думаю с Майским в деталях потолковать на месте. А потом... Потом по обстоятельствам. С немчурой интересные подвижки наметились...

Ни она, ни я даже не заикались о том, где я все это время был и с кем. Гулял. Народ гуляет, и я с народом.

Но когда я, приняв душ перед сном, выходил из ванной, то невзначай застал ее в прихожей за странным занятием: она нюхала воротник моего пальто. Увидев, как открывается дверь, она суетливо отшатнулась, точно я на мелком воровстве ее поймал, и не очень ловко сделала вид, будто всего лишь поправляет висящую на вешалке одежду, расправляет складки.

Только ночью, лежа без сна рядом с вроде бы спящей женой, я сообразил: она проверяла, не пахнет ли от меня чужими духами.

Стройная, нежная, голая и молодая...

Пропал.

Варево

— Так что чистый водевиль, — закончил я. — Было бы смешно, если бы не было так грустно. Ваня любит Мэри, Мэри, как и подобает продвинутой европейской гёрл, льнет к Гретхен, а Гретхен строит глазки Ване. Мы рвемся к союзу с демократиями, демократии спят и видят, как бы заключить союз с Гитлером, а Гитлер, похоже, начинает обхаживать нас.

— И вдобавок Ваню в койку к Гретхен со спины пихает... э-э... Харуми, — добавил Коба. — Из Маньчжурии. Да-а... Свальный грех. Варенья хочешь?

Не дожидаясь ответа, он с трудом, слегка даже побряхтев, поднялся из-за стола. Шаркая, подошел к буфету, открыл скрипучую дверцу. Достал двухлитровую стеклянную банку с вареньем и две розетки. Пошаркал обратно к столу.

— Вкусное, кизилковое, — похвастался он. — К Октябрьской годовщине из Гори прислали. Попробуй. Очень полезно.

Да, подумал я. Дорого дали бы все газеты мира за фото русского диктатора за вечерним чаепитием.

Шлепанцы, пузырящиеся на коленях синие треники. Футболка с изображением разрывающего цепи мускулистого пролетария и надписью «Сим победиши». А поверх футболки накинута знаменитый френч. Когда Коба стал открывать банку, френч поехал набок; Коба раздраженно дернул плечом, накидывая френч обратно, и едва не выронил крышку. Потом искоса поглядел на меня.

— Мешает, — застенчиво пояснил он. — А без него мерзну.

— А котельную пошибче раскочегарить?

Он посмотрел на меня, как на идиота.

— Вся страна экономит, — сказал он. — А я тут жировать буду? Не буду и другим не советую.

— Некоторые жируют, — не удержался я.

Дрожащей ложечкой он заботливо положил мне варенья и двинул наполненную розетку ко мне. Пахло вкусным, терпким и живым. Только тогда он обронил:

— Все в свое время.

За окном, отодвигая ночь куда-то на край Москвы, мерцала алыми кирпичами одна из башен кремлевской стены. На шпиле, властно прорывая темноту, растопырясь едва не на пол-окна, горела тревожным и торжествующим светом рубиновая звезда. Она казалась массивной и веской и стояла, будто вкопанная в черное небо; но, подумал я, даже настоящие звезды, и впрямь, казалось бы, столетиями неподвижные, мчатся в пустоте с невообразимой скоростью, от чего-то удаляясь, к чему-то приближаясь...

— Ненавижу революции, — сказал Коба.

Я чуть со стула не свалился. Дожили, подумал я.

Почему-то вспомнилось, как нас в ночи вообще без единой звезды выгружали на туруханской пересылке. Перед пешим этапом надо было построиться, что-то не клеилось, нас пересчитывали по головам и раз, и два, и никак не сходилась численность бумажная и численность живая; нас держали на режущем ветру полчаса, час... Напротив мерз и молча терпел, помаленьку зверея, взвод охраны, но они хоть были в шинелях, а мы — в трепещущих арестантских робах. И тогда мы обнялись. Сколько осталось сил, обхватили деревенеющими руками хлипкие плечи друг друга — Коба, Мироныч, Яша, Серго, Слава, Зиновьев с Каменевым, уже тогда, при всем внешнем несходстве, чем-то похожие на Траляля и Труляля из «Алисы», Бухарчик, Ягода, я, Федька Ильин-Раскольников, самый знаменитый невозвращенец прошлого, тридцать восьмого, года, и все прочие, несть им числа, Трилиссеры и Шпигельгласы. И, давясь плотным, как ледовитая вода, туруханским ветром, перхая, задыхаясь, затаили: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке...»

Оскальзываясь сапогами по натоптанному снегу и путаясь в полах длинной шинели, одной рукой придерживая мотающуюся саблю, а другой — трясая жалким револьвером, вдоль строя бегал ротмистр и, срываясь на петуха, орал: «Прекратить!» Те из нас, кто шел не по первой ходке, рассказывали, что он служит тут, сколько они себя помнят, оттого и получил, верно, странное прозвище — Вечный Руслан. У мерзнувшего караульного взвода чесались винтовки, и парни только ждали приказа; хоть какое-то развлечение и хоть какой-то в их стоянии смысл... Но приказа Руслан так и не дал. Потом я понял: он ведь законность соблюдал, а не светлое будущее строил. Приди ему хоть на миг в голову, что мы — не преступные люди, а всего лишь помехи на пути прогресса, нас бы мигом положили там вместе со всеми нашими песенками.

Но тогда мы чувствовали себя несгибаемыми великанами, наперекор всей косной силе старого мира обнявшимися навсегда. И мечтали, мечтали, мечтали. Верили, верили, верили. Ведь было ясно, было очевидно любому мало-мальски образованному человеку, что стоит лишь пасть нелепому, отжившему, насквозь прогнившему, точно плесневелый гриб, режиму, всей этой жадной до власти своре трясущихся и мялящих стариков в лентах и орденах, как жизнь сразу наладится: все обратные связи и социальные лифты заработают, материальные блага хлынут как из рога изобилия, потому что раскрепостятся производительные силы, и люди, унылые подневольные рабы самодержавия, при новом строе буквально бросятся работать. И рухнет вековая стенка между нами и Европой, мы сразу станем там своими, долгожданными. Ведь это они придумали социализм, а мы его сделаем... Ледяной наждак ветра продирает до кишок, губы трескались в кровь, на вдохах смерзались связки в глотках, но мы, ни в единую ноту не попадая, упрямо тянули: «Не дам и самой ломаной гитары...»

— С каких это пор ты их возненавидел? — негромко спросил я.

Он некоторое время помешивал ложечкой чай.

— Так, знаешь, мало-помалу. Вот и ты недавно говорил об умных и верных... Да и вообще. Ненавижу. Моя бы воля — не допустил бы ни единой. Время фанатиков и жуликов, подхалимов и авантюристов... — Кончиком ложечки он взял варенье, положил в рот, покатал там, разминая языком, и проглотил. На миг его рябое лицо стало блаженным, почти детским. — А если уж предыдущий режим довел народ до иступления и революция рванула, надо поскорей ее свернуть, заткнуть, превратить в праздники и годовщины, оставить от нее только имена героев и память славных побед... И снова строить нормальную жизнь для нормальных людей. Для честных работяг, а не речистых пройдох. Для умельцев, а не для убийц.

— Коба, дорогой, но ведь революции иногда и происходят из-за того, что окостеневшие режимы становятся раздольем именно для пройдох и болтунов, а честным работягам ходу нет.

Он шумно отхлебнул чаю.

— Вечно ты какую-нибудь гадость скажешь...

— Я просто размышляю. Кто-то из великих сформулировал: зло — это добро, перешедшее рамки применимости.

— Знать бы заранее, где эти рамки, — сварливо отозвался он, — не жизнь была бы, а хванчкара.

Порывшись во внутреннем кармане френча, он достал какую-то бумажку, сложенную вчетверо, и кинул мне через стол.

— Сегодняшняя, — скупое пояснил он. И, не утерпев, вернул: — Вас, дипломатов, таким не обременяют.

Я развернул, ничего хорошего не ожидая. И точно.

Это оказался бланк расшифровки строго секретной депеши с заголовком «Москва ЦК ВКП(б) тов. Сталину, тов. Берии», входящий номер 742. И ниже — будничнейший бюрократический текст, отпечатанный на видавшей виды машинке со сбитой лентой и подсакивающими буквами: «Ввиду засоренности края правотроцкистскими и кулацко-белогвардейскими элементами просим ЦК разрешить дополнительные лимиты по первой категории на 1 тыс. человек, по второй категории на 5 тыс. человек. Секретарь крайкома Карнаухов».

Я аккуратно сложил бумажку и шелкнул ее по столу обратно Кобе.

— Тысячу на расстрел, пять — в трудовой спецконтингент, — сказал Коба, глядя на меня даже с некоторым любопытством.

Я молчал. Досчитал до десяти. Потом до двадцати. Попробовал варенье: вкусно. Прихлебнул чаю: уже не жгло.

— У Лаврентия на объектах вечно рабочих рук не хватает, — проворчал Коба. — Смертность в среднем по лагерям мы все-таки понизили, но объем работ-то растет... А ты мне про рамки.

— А по первой категории зачем столько? — все же не выдержал я. — Хороший способ строить нормальную жизнь для работающих ребят, а, Коба?

Он со свистом вдохнул и выдохнул воздух носом.

— Маркс чего-то недодумал, — признался он. — У Ильича на это, наверное, просто времени не хватило, помер, а может, и мозгов. Лейба, с...к, ему все извилины заплел своими трудармиями и вообще идеей, что взявшие власть большевики должны относиться к России как колонизаторы к покоренной стране дикарей. А это же вопрос вопросов. Ради чего человек работает? При капитализме — ради денег. Бедный — чтобы с голоду не сдохнуть, а кто посостоятельней — чтобы всех обскакать, стать вовсе богатым, сидеть на золотом толчке и об окружающих ноги вытирать. Стимул — самоутверждение, индивидуализм. Это отвратительно, но это понятно. А у нас? Понятия не имею. Нигде не написано. Мы как кур в ошип попали. И получается, что пока мы этого не поняли, остается только один стимул. Вернее, два. Они накрепко связаны один с другим. Воодушевление и страх. На одних лучше действует воодушевление, но это самые замечательные люди, а таких всегда меньшинство. Молодежь мы так воспитываем. И, может, ей страх уже будет не нужен. Потому я и долдоню вам каждый день: мир дайте, мир! Дайте время, чтобы они в возраст вошли, своих детей завели и воспитали уже сами, взяли дела в свои руки... Если их вот сейчас выкосят, останутся только те, кто, коли не дают надежды разбогатеть, работать может только со страху. А сколько можно такое длить? — он с отвращением отмахнул шифровку ладонью по столу, и та спорхнула на пол. — Вот о чем надо думать... Вот бы чем заняться: открыть, ради чего человек при социализме работает. Но ведь не дают спокойно разобрататься, тормозат по пустякам. То война, то блокада, то санкции какие-нибудь...

Он поднялся. Наискось пошел по комнате и, на миг заслонив головой пристальный красный глаз звезды на башне, взял с подоконника трубку. Принялся раскуривать. Френч опять съехал, и Коба опять дернул плечом.

— Одно могу тебе обещать, — проговорил он почти мстительно. — При следующей ротации этот Карнаухов у меня загремит. Нельзя при власти оставлять людей, которые шлют вот такие шифровки. Они вообще людей сгноят, всех без разбору. Без категорий. Не напасешься на них.

— Коба, погоди. Ведь тем, кто будет вязать его и его аппарат, волей-неволей придется стать еще хуже!

Он вздрогнул и посмотрел на меня исподлобья так, что я понял: если я и не перешел черту, то уж всяко топчу ее.

Потому что поставил под сомнение его судорожную, последнюю надежду очередной ротацией наконец-то очистить мир и оставить в нем лишь тех, кто пригоден к коммунизму.

Он понял, что я это понял. Надо отдать ему должное: людей он понимал. Несколько мгновений, не мигая, он смотрел мне в глаза и явно пытался определить: испугался я или всего лишь огорчился от того, что допустил бестактность? Даже думать не хочу, чем кончилось бы дело, если бы он решил, что я испугался.

Дымя трубкой, он неторопливо вернулся к столу, уселся и вдруг предупредительно спросил:

— Дым не мешает?

— Когда мне твой дым мешал?

— Мало ли... Годы идут, бронхи портятся... — И тут же, словно не отвлекался на попытку разглядеть, не стал ли я врагом, вернулся к тому, что его так заботило: —

Понимаешь, я тревожусь очень. Если нынешних молодых положат, другого шанса уже не будет. Кризисы перепроизводства возможны не только в материальной сфере. Перепроизводство смыслов куда страшней. Капитализм захватывает область идеалов. Даже мечты становятся товаром. Я же вижу, скоро из всех дыр полезут говоруны, и каждый будет предлагать свой вариант светлого будущего. А волноваться будут лишь о том, как бы выкачать из простаков побольше денег для благоустройства собственного настоящего. На каждого рядового окажется по пять комбригов и пятнадцать политуриков, и все пойдет вразнос.

Покачал головой. Пыхнул трубкой.

— Капитализм — мерзейшая вещь... Он делает ставку на эгоизм и корысть. На все самое подлое, даже извращенное, называет это правами человека и потому побеждает. А стоит лишь попробовать опереться на лучшее — на сострадание, честь, любовь, бескорыстие, преданность, получается гнет. Неужели человек и впрямь дрянь? Придумай мне, чем с капитализмом можно бороться, кроме расстрелов, — страстно попросил он вдруг. Его жуткие глаза сделались умоляющими, и это было, пожалуй, жутче жуткого. — Придумай, пожалуйста.

— Знаешь, — сказал я, — может, сама природа человека упрется. Ты вот боишься, что идеалы превратятся в товар. А я боюсь, и это не предел. Наука способна на штучки и пострашней. Она вообще самую жизнь делает товаром. Физиология была во все века главным коммунистом. Родился умным — так умен за просто так. Родился красивым — так красив даром. Король болеет, а у смерда щеки кровь с молоком. Скоро все может стать иначе. Известно ведь, что капитализм устойчив, только когда круг платных услуг постоянно расширяется. Чтобы покупали все больше, больше и больше. Но ведь жрать сытней, чем брюхо позволяет, человек не может. Количество одежек тоже особо не нарастишь. На одну задницу десяток унитазов — и все, опять предел. Ни в какой особняк сто сортиров не воткнешь. Или, скажем, купил пять машин, меняешь их каждый год... И тут рубеж есть. Когда все это увеличивать окажется уже нельзя, примутся за самого человека.

— Как так?

— Да ничего особо нового. Это ведь не вдруг началось. Раньше каждый человеческий организм был натуральное хозяйство, что-то вроде феодального замка на самообеспечении. Но потом — прогресс, товарное производство. На что знаний хватало, на то и замахивались. Скажем, за кордоном чуть ли не каждый год начинают продавать новые средства от похмелья. Якобы все круче и круче. Значит, вместо того, чтобы вечером выпить вдосталь, человек в инстинктивном расчете на утреннюю химию гарантированно насосется сверх меры, а утром, чтоб не мучиться, непременно тяпнет еще и похмелину какого-то. То есть дважды заплатит зря. Не перебрал бы вечером, не понадобилось бы зелье утром. Организму двойной вред, а экономике — двойная польза. Или медицину взять. Врачи ведь сейчас не болезни лечат, а симптомы. Нет, чтобы вдумчиво выяснить, где у данного пациента корень бед — его сразу пилюлей хрясь! Зачем им, чтобы человек стал здоровым? Он ведь тогда, может, несколько лет к врачу не придет. Что врач — сумасшедший? Поэтому мы сначала один симптом снимем, от такого лечения заболит что-то еще, мы и этот симптом снимем, а когда организм разрегулируется вконец, мы его тогда со всех концов лечить начнем, втридорога... Люди хиреют, фарминдустрия процветает. Но с основными функциями люди до сих пор справляются сами. Сами дышат, сами едят, сами спят, сами размножаются, сами умирают, в конце концов. Однако, как писали классики, прогресс остановить нельзя. Молекулярная биология, генетика... Ученые, святые люди, думают, они в гены влезут, чтобы победить самые страшные болезни. Может, и победят, но таких болезней одна на тысячу человек,

а подсадят на чудеса всех поголовно. Общественный строй все повернет по-своему. Чтобы нарастить мышцы — укольчик, но плати. Чтобы поумнеть — другой укольчик, но опять плати. Хочешь, чтобы тебя полюбили страстно и преданно — нет проблем, только плати. Хочешь быть молодым до ста лет? Пожалуйста, но столько плати, что мама не горюй. В итоге капитализм вырастит человека, который ничего не может сам и во всех своих проявлениях зависит от рынка. Помереть сам не может, эвтаназия нужна — плати. Зачать не может, потому что надо не абы кого, а с заранее подобранными гениальными генами — то есть опять за бешеные деньги. Родить не может, надо зародыш в искусственную среду пристроить — снова лезь в кошелек. Иммуитета своего нет, помирает от малейшего чиха, если таблеток вовремя не наглотаешься — плати. С женщиной переспать сам не может, потому что какая же уважающая себя женщина согласится спать с задохликом, который, жмот этакий, в постель заманил, а на таблетку поскупился? Буржуазные дамы — существа без предрассудков, мигом сравнят тех, кто с таблеткой и кто без, и поплетутся как миленькие к тому, кто шибче и дольше. Им же там невдомек, что таблетки могут кончиться. А пресса еще и благом все это выставит. Как, мол, теперь у нас все прогрессивно и эффективно, не то что у варваров или нищих. Рожает сам? Неудачник! Дышишь сам, обед перевариваешь сам, помираешь сам? Жизнь не удалась. Купи-купи-купи! И в конце концов человек окажется абсолютно не жизнеспособен. А тогда любой сбой экономики — и нет человека. Без таблетки ни жену порадовать, ни на горшок сходить. Электричество на часок в аптеке погасло — и все, катастрофа, сверхчеловеки мрут.

— Тебе бы книжки страшные писать, — проговорил Коба, но чувствовалось, что его проняло. Все это время он слушал, не прерывая, и лишь время от времени тихонько сипела трубка.

— А потом еще вот что прикинь. Ведь ум, здоровье, любовь, дети — это не новая мебель и не престижное авто. Без новой мебели еще можно, а без основных функций — нет. Когда все, из чего сама жизнь состоит, выставят недостаточным, унижительным, требующим усиления... а потом, чего доброго, оно и впрямь срабатывать перестанет, потому что стимуляция подавит естество, тогда самое элементарное и важное станет исключительно покупным. Люди примутся рвать друг другу глотки из-за денег так, как никогда прежде. И мир вообще сделается непригоден для жизни. Такая перспектива может всерьез напугать и заставить образумиться. Заставит искать выход, а он неизбежно окажется не капиталистическим, не рыночным. А может, и до этого... Раньше или позже все, кому станет не хватать денег на то, чтобы просто жить, остервеенеют. И тогда, думаю, даже европейцы опять схватятся за давно позабытые красные флаги.

Коба слушал, и лицо его все больше мрачнело.

— Укольчики-то, наверное, в цену аэроплана окажутся, — сказал он.

— Ну уж не дешево, — согласился я. — Это ж целые новые технологии.

— Плохо, — сказал он. — Куда ни кинь, все клин. Если при капитализме богатые — с уколами и таблетками, а бедные — без, выродимся в два вида, элои и морлоки, в стиле мистера Уэльса. Да еще хуже. Элои без сети снабжения и услуг дня не протянут, а морлоки ничего не соображают, отстояли день у прилавка или станка, и по пиву... И тогда чуть что — конец человечеству. А при коммунизме как такое организовать, чтобы вся эта генетика всем поровну и бесплатно? Ну, как мы в школах прививки перwokлашкам делаем? Чтобы экономика могла такое вытянуть, чуть не всю страну в лагерь загнать придется. В Москве — коммунизм, а от МКАДа до Чукотки — один сплошной СоюзЛag. Это уже не коммунизм получится, а говно.

— Есть у меня мыслишка... — ответил я. — Давно поделиться хочу... Надо все производство средств потребления снова в частные руки отдать. И уж подавно всякие там закулочные, кондитерские, парикмахерские и прочие фабрики игрушек и грампла-

стинок. И доход казне изымать от них только через налоги. Там будут работать те, кто хочет богатеть. А в ключевые отрасли пойдут те, кто работает на будущее от души. Погоди, дослушай. Мы с нашей дешевизной рабочей силы и умением из двух палок и тележного колеса «роллс-ройс» за ночь сварганить завалим ширпотребом и страну, и весь мир. Через несколько лет наш госсектор, наша оборонка, наши инфраструктурные проекты и наша фундаментальная наука будут буквально купаться в деньгах. Понимаю, есть опасность: когда перед глазами постоянно маячит частный предприниматель, управленцев будет будоражить страсть к наживе, она ж, сволочь, заразная. Стало быть, нужна очень жесткая идеология. В нэп у нас ее еще не было, по сути. Были партийные энтузиасты, но сложившейся идеологии не было, и кадрового аппарата, проверенного, набравшего опыт, работающего, дисциплинированного, тоже еще не было. Теперь все это уже есть. И предпринимателей в партию брать, но зато если, скажем, налог не платит или о рабочих не заботится, не по судам его годами таскать, а в двадцать четыре часа брать на воспитание по партийной линии. Аппарат уже есть, вера в коммунизм еще есть. Сейчас или никогда, Коба!

Я и подумать не мог, что в наспех наболтанном, поневоле детсадовском виде набросал тогда схему будущих реформ Дэн Сяопина — тех, что спустя полвека спасли Китай и за считанные десятилетия сделали его мировым лидером.

Но у Китая рядом был Советский Союз, потом его правопреемница Россия, а они, даже проеденные почти насквозь, одним фактом своего существования из последних сил ухитрялись делать большие войны немислимыми. И, значит, дали китайским товарищам эти десятилетия.

У нас в тридцать девятом не было рядом никого. Разве что маршал Чойбалсан со своими табунами... Но по большому счету — никогошеньки.

Коба, как обычно, все понял по-своему. Когда я, иссякнув, наконец умолк, он несколько раз глубоко затянулся трубочным дымом, пыхнул раз, пыхнул два, а потом сказал:

— Надо же... Мне до сих пор и в голову не приходило. Генетика... Паскудная наука какая, оказывается. Надо будет с ней разобраться, когда руки дойдут.

Я залпом допил остывший чай и отодвинул стакан.

— Ладно, Коба, — сказал я. — Спасибо за угощение. Пора мне домой, там уж меня заждались. Я ведь с вокзала сразу к тебе...

— Послушай, у меня там баночка есть пустая, как раз на двести грамм. Хочешь, вареньем поделюсь? Вкусно же. Своих порадуешь.

— Спасибо, не стоит.

Он пыхнул трубкой и вдруг добродушно улыбнулся в желтые усы.

— Обиделся, — мягко сказал он. — Думаешь, старый Коба выжил из ума и не слышит дельных советов, — опять пыхнул и уставился мимо меня куда-то вдаль. — Эх, дружище! Если бы не война на носу!

Когда мы с Машей оказались наконец в спальне вдвоем, она одним движением скинула халат и осталась в короткой полупрозрачной рубашке; до сих пор я такие только в западных журналах видел, на модных картинках.

— Смотри, какую я, пока ты по Европам катался, ночнушку-соблазнушку купила по случаю, — сказала она и покрутилась передо мной; разрезанный по бокам подол рубашки, как стрекозиные крылья, замерцал вокруг ее обнажившихся ног и живота и, померкнув, снова все накрыл, когда она замерла.

— Нравится?

Какая она стройная для своих лет, с удовольствием и гордостью подумал я и сказал:

— Какая ты у меня стройная.

— Да уж какая есть, — ответила она.

— Ну, иди ко мне.

— Соскучился?

— Да. А ты?

Она чуть помедлила, потом призналась:

— Очень.

И сделала шаг к постели. Остановилась и спросила:

— А ты меня еще любишь?

— Да, — сказал я и с облегчением почувствовал, что не соврал.

Она сделала еще шаг.

— А ее?

— Кого? — спросил я и сам едва не сморщился от лицемерной кислятины в своем голосе.

Маша помолчала, явно колеблясь, а потом все-таки не решилась.

— Мировую революцию, — сказала она.

Я с облечением засмеялся.

— Обожаю! Только, знаешь... Без взаимности. Иди ко мне.

И она пошла. И мы были вместе, и я был этому рад; и она дышала так прерывисто, словно, как встарь, становилась счастливой. Но в какой-то миг мне подумалось, что она лишь по старой домашней привычке любит меня, и ничего в том уже нет, кроме уюта, который хочется во что бы то ни стало длить и никому не отдавать — ни надежды спастись, ни порыва спасти, всего лишь желание иметь; от этой мысли я едва не опал, не кончив, и пришлось грубо, бестолково заторопиться. И когда мы раскатились, меня душило разочарование; я и близко не успел натешиться своим ласковым владичеством, и не выбил из ее упругой податливости ни единого вскрика.

Некоторое время мы молчали, унимая дыхание, а потом она сказала сухо:

— Похоже, по мировой революции ты все-таки соскучился больше.

— О чем ты? — спросил я.

Мне казалось, я знаю о чем. Оказалось — не вполне. А может, она и сама не поняла еще, к кому ревнует больше.

— Я так ждала тебя, а ты — первым делом в Кремль... К этому...

— Маша...

Я попробовал ее обнять, но она предупредила грудным, напряженным голосом:

— Не трогай меня.

Невозможно было поверить, что всего лишь полгода назад в близости у нее делалось лицо двадцатилетней, а я любил ее так, как даже двадцатилетнюю не любил, потому что гордился собой и тем, что могу хотя бы на несколько минут вернуть ей молодость...

Я провалился в сон, как в прорубь.

А проснулся будто от тихого выстрела. Открыл глаза.

Была глубокая ночь. Была ватная тишина, которую нарушал один-единственный звук. Маша стояла у окна, закусив губу, и в щель между занавесками, таясь, будто с той стороны ее выцеливал врангелевский снайпер, выглядывала на улицу. Снаружи, далеко-далеко внизу, урчал, приближаясь, мотор неторопливой ночной машины, и по потолку, как стрелка на отсчитывающем жизнь циферблате, проворачивалась длинная узкая полоса света. Звук проехал под нами и стал, удаляясь, меркнуть. Полоса на потолке сжалась в спицу, остановилась и медленно погасла.

У Маши беззвучно шевельнулись пересохшие губы. Потом она прошептала:

— Не к нам.

В первый момент, спросонок, у меня волосы встали дыбом. Но для Кобы этим завершить разговор было бы мелко.

- Спи, — сказал я. — Если у нас с тобой и закончится, то не так.
 - А как? — сверкнув на меня из темноты глазами, жадно спросила она.
 - Пока не знаю, — сказал я. — Но не так. Спи.
- Когда она легла, я снова попытался ее обнять, но она отодвинулась.

Попробуй отдохни

Жизнь всем недодает.

И не о том даже речь, что она сначала дает, не предлагая, а просто кидает тебе россыпью и то, и это: справляйся, мол, и если справишься — рули; а потом, именно когда ты плохо-бедно научился справляться и рулить, принимается все отбирать назад. Я о другом. Всяк смолоду уверен, что дослужится у жизни до генерала, а если чуточку повезет, то и до маршала. Но погибает в неравном бою с жизнью хорошо если старшим лейтенантом.

Жизнь — капкан. Его стальные челюсти лязгают, стоит тебе появиться на свет. Некоторое время ты вообще не можешь понять, что произошло, потом начинаешь приспособливаться. Но рычишь ли ты, вздыбив шерсть, на каждого, кто приближается, или с надеждой ждешь, не подойдет ли кто и не вызволит ли из зазубренных тисков, или яростно пытаешься отгрызть пойманную жизнью лапу и хоть так освободиться, или только и занят тем, что уныло слизывает кровь с развороченного мяса, тщетно пытаясь унять боль — длину цепи капкана ничем не изменишь, и кончается все одинаково.

Чего бы я только ни отдал, чтобы вновь почувствовать себя молодым. Чтобы впереди — будоражащая неизвестность, которая слаще любых побед. Зовущая бездна, где таится и ждет все. Где ничто еще не выбрано и поэтому ничто не потеряно. Ничто еще не выиграно и потому ничто не проиграно.

Казалось, совсем еще недавно — готовился к жизни, предвкушал ее, раскинутую ко всем горизонтам сразу, жаркую и необъятную, точно степной летний ветер. Потом наторилась главная колея, жизнь превратилась из почки в желтеющий лист; из точки, в которой, как утверждают физики, заключена бесконечность — в бильярдный шар, катящийся по прямой в свою неизбежную лузу. Но еще остаются иллюзии. Несбывшееся позовет, позовет за собою меня... Катись, выбиваясь из сил, и ждешь — вот-вот что-то случится... не награда, конечно — наград вообще не бывает, но — ударит в бок какой-то иной неведомый шар, направление изменится, и все вдруг станет, как сначала. А потом понимаешь: ничего уже не случится и нечего ждать. Несбывшееся — это всего лишь внезапная боль в суставе, которой прежде не было, или грудная жаба, или апоплексия. Или арест — может, у себя, может, за кордоном. А то и пуля из-за угла. А то и война. В гробу я видел такое несбывшееся и его зов.

А ведь ничего еще толком и не было! Только-только чиркнул по краешку!

Стыдно быть влюбленным стариком. Смысл и суть любви — отслаивать от себя в будущее новое поколение, дарить бытие тем, кто тебя заменит; а тут всего лишь отчаянная жажда затосковавшей плоти прожуркнуть, как воришка, в поколение своих детей. Зацепиться за жизнь. Ухватить ее, улетающую с усталым карканьем, хоть за перышко хвоста. Мучительная и заведомо безнадежная попытка удержаться на скользком склоне, что день ото дня дыбится все круче.

Редкий выходной, когда я дома и свободен, и, будто назло, все разбрелись. У жены как раз на сегодня назначили какие-то курсы повышения; прежде чем учить других, научитесь-ка сами. Сережка с Надей уехали на оздоровительную базу авиаторов где-то под Рузой — поймать последние снежные деньки, побегать на лыжах...

Только тесть сидел у себя, как сын, — то ли читал что-то, то ли неотрывно в телевизор пялился, потягивая крепкое. И я тоже сидел, как сын. Пялился в окно и думал о том, о чем век бы не думать.

Я Надю больше не видел после катка. И не то чтобы мы сознательно избегали друг друга; при той жизни, какой в те годы приходилось жить, эти буржуйские сопли были избыточными, как шелковые бантики на солдатском сапоге.

Некогда, и все.

За окном догорал морозный мартовский вечер — прозрачный, звонкий и наполненный светом, как сосулька. Когда-то такие вечера сами по себе были словно обещание. Я сидел в кресле перед окном, на коленях у меня лежала корешком вверх раскрытая книга, и это длилось, верно, уже не меньше часа.

Там, где в розовой дымке тонуло слепящее пятно солнца, за лесами, за долами, Гитлер доедал Чехию. А цивилизованный мир стыдливо отводил глаза и на очередные ноты нашего Литвинова, справедливые, точные, возмущенные, почти пророческие, внимания обращал не более чем на жужжание надоевшей мухи. Тут люди едят, а она, понимаешь, опять за свое... Не твоя тарелка! Кыш!

И даже мне уже было плевать. Устал.

А может, и вовсе надорвался.

Они в Рузе... С компанией, конечно, но ведь всегда можно найти номер на двоих... Они там... Что?

Уже?

Еще?

В дверь моего кабинета стукнул кулак.

— Ау? — сказал я, поворачиваясь вместе с креслом.

Дверь приоткрылась, и, не пересекая порога, внутрь просунулся тесть.

Он обрюзг и исхудал, втянувшиеся щеки и костлявые скулы были покрыты пегой седой щетиной. Иногда меня ужас брал: и это наш комиссар, жестокий и прекрасный создатель счастливого завтра? Где твоя кожанка, папа Гриша? Где твой пыльный шлем?

— Думаешь? — спросил он.

— Есть немного, — ответил я.

— Это правильно, — сказал он. — Есть о чем подумать.

— Заходи.

Он помялся.

— Давай лучше ко мне, — сказал он.

Я помедлил, потом поднялся. Я сразу понял, что это значит.

И не ошибся.

— Садись, — сказал тесть. — Выпьешь?

Я сел и сказал:

— Куда ж деваться.

— Не хочешь — не дам. Самому больше достанется.

— Пригублю, а там видно будет, — дипломатично ответил я.

Если бы вся дипломатия сводилась к таким проблемам!

Он вынул из серванта вторую рюмку, вернулся к столику и стремительно, почти не потеряв кавалерийской сноровки, расплескал водку на двоих.

Хряпнули, конечно, и крякнули хором. По пищеводу прокатило, в желудке зажглось. Закусили, аккуратно взяв с блюда по мышинной дольке сыра.

— Не так часто бывает, что мы с тобой вдвоем остаемся, — сказал тесть, прожевав. Кашлянул. — А поговорить пора.

— Что стряслось, папа Гриша?

Он помедлил, языком очищая зубы после закуси. Сначала верхние, потом, видно было по блуждающему вздутию на щеке — боковые.

— Я тебя понимаю, — сказал он. — Ты мужик, и я мужик. Молодой был — ни одной юбки не пропускал. На перине так на перине, в тачанке так в тачанке... И если б Марылька мне не дочь, слова бы тебе не сказал. Мужик на то и создан, чтобы девки не скучали. Дают — бери. Тем более годы твои такие, что... Седина в бороду — бес в ребро. Как не потешиться напоследок?

— Ты о чем, папа Гриша? — безмятежно спросил я.

— Если б я знал! — в сердцах сказал он.

— Так тогда какого...

— Мне одно ведомо. Тебя в семье почти что и не застанешь никогда. А Марылька, хоть баба и работающая, но все ж таки ночует в доме. И вот я вижу в последние месяцы, что она не в себе. То гимнастикой какой-то мается... Встанет ни свет ни заря — и ну задом крутить да ногами лежа дрыгать. Тебе-то невдомек, при тебе она ничего такого себе не позволяет, но когда ты в отъезде... Страшно смотреть, как женщина себя изводит. То не жрет ничего, то какие-то травки заваривает... И каждые два-три дня перед трельяжем крутится. И еще в ванной — нагишом, наверное. Я так понимаю, проверяет, не помолодела ли... А потом плачет в подушку.

У меня сжалось горло. Вот оно как...

Девочке-то моей тоже, выходит, несладко.

Тесть умолк, пытливо сверля меня взглядом. Будто хотел досверлить до мозга.

И взять пробы мыслей.

— Так разве ж это плохо? — спросил я.

— Было бы не плохо, если б она просто дурочку валяла с этими всеми упражнениями да отварами. У каждого — своя блажь перед старостью. Но коли плачет... Значит, она себя сравнивать с кем-то начала. Я так понимаю, ты где-то завел молоденькую. А Марылька ж гордая. В глаза тебе слова сказать не может, но пытается остаться... снова стать... И сама видит, что чудес не бывает.

— Выдумала она себе все, — сказал я, сам не понимая, сколько в моих словах правды, а сколько — кривды.

Факт, что я никого не завел. Ниже пояса не завел, да. Но...

Иной каждую неделю на сторону бегаёт, а думает об этом и мучается меньше, чем думаю и мучаюсь на ровном месте я. Может, для того и бегают? Чтобы не думать? Если и впрямь изменить — измена не так заметна? Вроде как в сортир сходил, облегчился — и опять гоп-ля-ля, свеж и бодр. Сыт и спокоен. А вот если постеснялся сбегать до ветру вовремя — нет потом муки горше...

— Ну, не знаю, — протянул тесть с сомнением. — Я же вижу, что у вас в последнее время нелады. И стонать вы у меня за стенкой уж которую неделю перестали... И вообще — смотрите дружка на дружку как чужие. Слова говорите те же, а голоса мертвые.

— Сейчас я тебе одну вещь скажу, — хмелея, решил я. — Только ты еще налей сначала.

Он не заставил себя упрашивать.

Внутри опять полыхнуло, подбросили черти уголька под сковородку. Кровь побежала бодрей. Стало мерещиться, что жизнь прекрасна. Но я давно уже уяснил: можно вернуться на то самое место, где был когда-то счастлив, и даже сесть так же, как тогда, и выпить хоть литр. Ну, где тут мое несбывшееся, ау? Но в прежнего себя и после литра не вернешься.

— Я ж сколько раз пытался по-хорошему, — признался я. — Понимаешь... Ну не отвечает! Чем я ласковей — тем ей смешней. Иронизирует только. Хоть бы сказала,

что ей против шерсти-то — тогда бы, может, слово за слово и размотали. Но не могу добиться. Это уж, знаешь, папа Гриша, не тебе, а мне впору думать про измены. Стенкой какой-то закрылась, и все.

Он помолчал, крутя рюмку в руках. Потом взял было двумя пальцами дольку сыра, подержал и опять отложил.

— Старееет девка и переживает, что старееет... Может, ей кажется, что ты к ней теперь только из жалости?

— Да ведь в человеке столько намешано, что и не разберешь. Может, и за жалость иногда сердце зацепит, как рыбу за губу, — а когда дернешь, сердце-то все целиком ловится. Мне ее и впрямь жалко бывает — хоть сам плачь. Так мне ее всю жизнь жалко было, еще с тех времен, когда она, девчонка, в шинели и сапогах степную грязь месила...

— Вот этого не надо, — отрезал он. — Жалость — плохое чувство, гадкое. Ваш же Достоевский, помнится, писал, что жалость унижает.

— Не читал, но если так, то это он, наверное, в казино продулся в пух и прах и весь свет возненавидел, вот и ляпнул. Есть простая русская песня, папа Гриша: жалю — значит люблю. В ней знания человека в сто раз больше, чем во всем Достоевском. Слушай, жалость и сострадание — синонимы? А жалость и сочувствие? А какая может быть любовь без со-страдания и со-чувствия? Только та, о какой ты сначала говорил: на перине так на перине, в тачанке так в тачанке...

Его взгляд мечтательно помутнел. Потом, встряхнувшись, он разлил еще по одной. Махнули и эту. Голова поплыла.

— Эх, да я понимаю тебя, — слегка осипнув, начал тесть по кругу. — Последние годочки идут... Даже завидую, честное слово. Будет-то еще хуже, будет совсем кирдык.

Он сказал это так, будто ждал и дожидаться не мог, когда моим способностям настанет кирдык.

— Нет, ты не увиливай, — во хмелю я тоже умел быть настырным. — Скажи сам — если бы тебя кто-то вот сейчас пусть хоть из жалости полюбил? Ты бы в ответ расстрелял, что ли, перед строем? За унижение?

— Расстрелял не расстрелял, но задницу веником надрал бы.

— Экий ты европеец, однако. Садомазо...

— Мы всегда были форпостом европейской цивилизации на востоке, — вдруг сообщил он. Тоже, видно, захмелел. Но я не дал себя сбить.

— Нет, ты скажи. Вот сейчас пришла бы к тебе молодая, красивая и прошептала застенчиво: я все понимаю и влюбиться в вас на всю жизнь, конечно, не могу, но вы замечательный человек, герой Гражданской, и лагеря избежали лишь каким-то чудом, и дочку хорошую воспитали, и вообще вы столько вынесли, столько пережили, столько дел переделали... И вот я пришла, и делайте со мной, что вам заблагорассудится, а я только счастлива буду, что бескорыстно подарила радость хорошему человеку на склоне его лет...

У комиссара отвисла блестящая от слюны губа.

А я осекся, потому что понял: я не про него говорю, а про себя. Не ему мечту подсовываю для примера, а про свою рассказываю.

А он точно так же малость раньше открылся — форпост он, и точка...

Все-таки о чем бы мы ни говорили: о философии, о психологии, о политике, о полетах в стратосферу, о повышении трудовых показателей — мы только о собственной душе говорим. Пытаемся про нее миру рассказать под любым предлогом, любым соусом и даже сами этого не сознаем. И никак иначе. Сквозь любую тему душа просвечивает. Из одной по пояс высовывается, точно через окошко вовсе сбежать решила, из другой — только глазком высверкивает, как мышка из норки... Но из любой.

Некоторое время мы сидели молча и думали каждый о своем. Потом он глубоко вздохнул, точно просыпаясь от сладких грез. Да так оно, похоже, и было.

— Не устоял бы, — честно сказал он. И печально усмехнулся: — Только мне б, наверное, даже тут ничего не обломилось. Поздно. Знаешь, как говорят: раньше ссал — боялся забор смыть, а нынче ссу — боюсь носки закапать... Так ты что — не устоял?

— Да ко мне и не приходил никто, папа Гриша... — ответил я.

— Сколько ж ты меня этим Гришей срамить будешь, — вдруг возмутился он. — Гжегош я, Гжегош! Вспомни наконец! До Лубянки еще мог кой-как на Гришу откликаться, но уж теперь — не-ет... Дудки! Ты мне скажи вот, скажи, казенный человек, до постов дослужившийся. За что мы кровь проливали? За новый мир или за то, чтобы вашу русскую империю подлатать?

— Опять ты за свое...

— А за чье же мне? За твое, что ли? О бабах уж поговорили.

Я понял: ненароком припомнив, что ему ничего не светит даже в той райской ситуации, которую я нам придумал, он вынь да положь должен был чем-то утвердиться.

Тем более что, верно, решил, будто я это не придумал, а случай из жизни рассказал. Да притом у меня еще не кирдык.

— Чтобы новый мир построить, одних митингов и расстрелов мало, — терпеливо сказал я, с лязгом передернув в душе стрелки разговора. — Вот в чем беда, папа Гжегош. Нужна индустрия. Нужна оборонка. Нужна наука и ресурсы к ней. Организация нужна, как часы. Урожай чтобы росли и поезда чтоб ходили. Стало быть, нужно государство, причем настолько сильное, чтобы старый мир в него и сунуться не смел. Но когда такое государство возникает, ему становится до лампочки новый мир. Его и старый вполне устраивает. И вот по этому лезвию надо ухитриться проскочить. Трудно. Страшно. То в одну сторону заносит, то в другую. То к мечте, которая бессильна, то к силе, которая ни на что доброе не годна. Но иного пути нет вообще.

— Как сложно у тебя все, — брезгливо сказал он.

Снаружи совсем уж стемнело, и в окнах напротив то тут, то там принялись зажигаться беззвучные, манящие чужим уютom огни. Но мы не включали свет. Бутылка и рюмки мерцали, и потерять их было нельзя. А то, что нам мерещилось, не мог бы высветить никакой абажур.

— А я теперь, знаешь, рад, что паны накостыляли вашему Тухачевскому, — сказал он перехваченным голосом. Откашлялся. — Раньше переживал, мучился... А теперь думаю — правильно. Все ж таки Польша уцелела.

Я глубоко вздохнул и досчитал до десяти. Потом напомнил:

— Панская.

— Панская, конечно, — согласился он. — Но, главное, все-таки польская.

— Кто скажет слово «русский» в положительном смысле, того шлепну, — напомнил я. — «Русский» — значит «царский»! А польский — значит панский? Не надо ли шлепнуть того, кто скажет слово «польский» в положительном смысле?

Мне казалось — аргумент неопровержимый. Но это только в моей системе координат. У него была иная. Он и ухом не повел.

— Даже сравнивать нельзя, — отрезал он.

Я уже не мог сдаться.

— Почему, собственно?

— Потому что национальная диктатура уж всяко лучше интернациональной тирании.

— Да чем же лучше?

— А тем, что у нее есть Родина, Ойчызна, а у интернациональной тирании — одни только красивые дурацкие сказки.

Я покачал головой.

— Чтобы ты оказался прав, осталось доказать две пустяковины.

— Ну?

— Первая — это что коммунизм всего лишь красивая сказка, вокруг которой сплотилось много очень глупых людей.

— А вторая?

— А вторая, что Ойчызна — это НЕ красивая сказка, вокруг которой сплотилось много очень глупых людей.

Он засопел, начиная, похоже, гневаться.

— Тебе не понять, — пробурчал он. — Поляки — народ, и им этого доказывать не надо. А русские — кто? Нет таких. Пустое слово. Чудь, жмудь, меря, мордва, якуты всякие, литовцы, татары, монголы... аланы... Все есть. А русских нет. Они фантазия, вроде коммунизма. Да, собственно, это оно и есть. Склеить какую-то русскость — это ваш давний коммунизм, который князья-кровососы придумали где-то после Куликова поля. И как со всяким коммунизмом — жидко обдрилились.

— Пошел ты на х..., папа Гжегош, — ответил я и встал.

Он, недобро щурясь исподлобья, посмотрел на меня снизу вверх. Вот так он смотрел когда-то на стоявших перед ним с выбитыми зубами и связанными за спиной руками золотопогонников.

— Да стоит только на тебя глянуть, чтобы понять — это истинная правда, то, что я говорю. Русские — это подданные московского царя, и только. Московиты. Вот ты нашел себе нового царя, лижешь ему задницу и уверен, что в мире снова правильный порядок. Виват, Россия! Слушай, зятек, а не тебе ли я обязан тремя неделями на нарах и нынешним бездельем?

— Проспись, комиссар, — сказал я, повернулся и, стараясь не пошатываться, пошел вон.

Маша воротилась из своего института лишь в десятом часу.

— Представляешь, — со смехом принялась рассказывать она, переодеваясь передо мной в домашнее безо всякого стеснения, но равнодушно, как перед мебелью. — Ивана Грозного теперь велено полагать прогрессивным! Как в народе говорят: куды мы котимся? Скоро, наверное, вообще большевики станут плохие, а цари — хорошие!

От нее веяло льдистой уличной свежестью. Она была оживленная, бодрая, раскрасневшаяся — то ли с мартовского вечернего морозца, то ли еще с чего. Как я ни силился, мне, честно говоря, даже вообразить не удавалось, какие такие курсы усовершенствования могут быть в выходной день чуть ли не до ночи. И впрямь впору было уже мне придумывать адюльтеры. Но не получалось. То есть придумать-то я мог, а вот отнестись как к реальности — нет. Все равно что придумывать себе хвост или жабры. Головой, нарочно — получается, на то и голова. Но примерить на жизнь — никак. Не налезало.

Я подошел к ней и положил руки на ее гладкие, сдобные, лишь тонкими бретельками комбинации перехлестнутые плечи.

— Маша, — сказал я как можно мягче и задушевней. — Мы не ссорились, поэтому даже помириться не можем. Но что-то у нас не так, тебе не кажется? Мы ведь даже целоваться перестали.

В ответ она лишь расхохоталась мне в лицо. Помахала ладонью у носа, картинно разгоняя дурной дух.

— О-о! — сказала она. — Я понимаю. Конечно, чем больше водки в крови, тем сильнее потребность в любви. Но только опомнись, муженек, открой глаза пошире. Это всего лишь я, твоя верная старая Машка, а вовсе не мировая революция! Не смей дышать на меня перегаром.

Совет мудрецов

В те дни Политбюро заседало чуть ли не дважды в неделю.

Третью веку спустя Анчаров — помните такого? — в песне «Ты припомни, Россия» поэтически выразится: «Каждый год словно храм, уцелевший в огне». Но в тридцать девятом счет шел даже не на годы. Каждый новый месяц без войны был окрыляющим триумфом; снова листок с единичкой выпархивает из отрывного календаря, а пушки молчат. Счастье.

Нездорово пухлый, щекастый Литвинов закончил свой безрадостный отчет. Поди объясни народу, только что избавленному от карточной системы, что это народный комиссар от нездорового сердца такой; любой простой работяга непременно скажет в ответ: «У всех у них там сердце нездоровое. Не жрал бы в три горла — здоровей бы был». Сама по себе сытая внешность не криминал, конечно; мало ли среди нас тучных. Жданов, к примеру. Но тут уже всякое лыко могло оказаться в строку. И поэтому у Литвинова предательски подрагивал голос. Он чувствовал, что земля под ним горит и рушится. Тупость демократов сгубила его карьеру. Никаких явных признаков близкого падения не просматривалось; напротив, Коба вел себя с несчастным подчеркнуто уважительно, корректно до ужаса. Но именно — до ужаса: мы давно уже усвоили, чем пахнет подобная корректность. Особенно когда, словно отвлекшись на раскуривание трубки, называл наркома не обычным «Максим Максимович», как в газетах, а по-настоящему: Меер-Генох Моисеевич. Тут занервничаешь. Можно ни единым волоском не быть антисемитом, можно быть хоть обожателем евреев, но и тогда ясно как день: Меер-Геноху, если его даже Галифакс не считает за равного, с Риббентропом искать взаимопонимания вообще дико. Особенно после «хрустальной ночи».

Неспроста же все германские зондажи последних недель шли через Анастаса или Славу, минуя официальную верхушку Наркоминдела.

— Так, — сказал Коба, стоя вплотную к нам. — Благодарю Максима Максимовича за этот исчерпывающий, скрупулезный и в высшей степени информативный доклад, — он дружелюбно улыбнулся Литвинову. — Виден огромный опыт, видно искреннее старание. Спасибо, — он пыхнул трубкой. Помолчал, сделал поворот на месте и медленно, чуть вразвалку, двинулся от стола к окошку. — Какие будут мнения, товарищи?

Идет направо — песнь заводит...

— Клим? — не оборачиваясь, хлестко спросил он.

Клим шумно втянул воздух носом и выпрямил спину.

— Какие тут могут быть мнения, товарищ Сталин? — проговорил он. — Армия в полной боевой. Готова выполнить любой приказ.

— Например? — с хищной мягкостью уточнил Коба.

— Ну... — Клим растерялся на миг, но тут же ему показалось, что он понял, где ловушка, и сразу постарался вырваться от нее подальше. — Товарищ Сталин, подменить собой политическое руководство никогда не пытался и в мыслях такого не держу.

— Понятно, — сказал Коба после долгой паузы, за время которой он словно бы успел мысленно прощупать этот незамысловатый ответ со всех сторон. — Анастас?

Тот, словно то ли сдаваясь, то ли отгораживаясь, поднял на уровень груди обе настежь открытые ладони с растопыренными пальцами.

— Насколько я понимаю, к торговле данный вопрос не относится.

— Политика — та же торговля, — резко сказал Коба. — Ты мне, я тебе... И проценты.

Анастас опустил руки, вовремя сообразив, что избрал не вполне правильную тактику.

— Что касается торговли, могу сказать, что в последние недели с германской стороны идут такие авансы, будто они нам золотые горы предложить готовы. Но кто же верит нацистам?

— Вот так же, — задумчиво сказал Слава, — и Чемберлен, наверное, когда ему Галифакс рассказывает о наших предложениях, сидит и думает: ну кто же верит большевикам?

— А Чемберлену-то кто поверит? — резонно ответил, останавливаясь у окна, вопросом на вопрос Коба.

И то правда. После всего, что британцы наворотили за последний год... Предали и продали всех, кто им доверялся. Но все равно — белые и пушистые, символ демократии, средоточие миролюбия и прогресса. Опостытели, честно говоря. Хоть стелись перед ними, хоть пляши краковяк — только задницу почешут и опять расползутся по своим Гемпширам, Стаффордширам и прочим ширам. Хоббиты хреновы.

И при этом разумной альтернативы все едино — нет. Вот же ситуация патовая: и вброд нельзя, и вплавь невозможно.

— Вячеслав Михайлович? — подчеркнуто с отчеством обратился к Славе Коба.

— Ну не хотят они нас, — ответил тот угрюмо. — Насильно мил не будешь. Даже девку, которая не хочет, и то уломать можно. А вот премьера или президента великой державы — нипочем.

— А мы им не себя предлагаем, — возразил Коба, пыхнул трубкой и, повернувшись на каблуках, опять пошел к нам. Налево — сказку говорит.... — Мы им их же собственную безопасность предлагаем.

— Видать, у них о собственной безопасности иные представления, — пробормотал Слава.

— Мне ли не знать, — уронил Коба. — Но предлагать надо уметь, — и он перевел взгляд на Анастаса. Тот сразу подобрался. — Потому я и говорю: торговля. Когда-нибудь мы научимся рекламировать свои товары? Хотя бы политические?

Слава упрямо набычился.

— Мне вот Шуленбург уже который раз рекламирует их товары, — сказал он. — Прямо вот так они теперь и формулируют: в лавке рейха для советских потребителей найдутся любые товары: от войны до сотрудничества. А у меня от подобных речей уши вянут.

Коба пыхнул трубкой.

— Мы — большевики, — сказал он веско, — и нам эта терминология, разумеется, чужда и отвратительна. Но при переговорах с капиталистическими партнерами мы обязаны для пользы дела говорить с ними на доступном им языке.

Бедный Литвинов так и стоял молча, между столом и дверью, и хоть и не тянулся по стойке «смирно» — это было бы уж слишком, однако не решался даже вытереть пот с искрящегося, нездорово желтого лба. И слушал беседу так, словно все это его уже не трогало и он не имел к процессу выработки решений ни малейшего касательства.

Коба вопросительно посмотрел на меня.

— Уважаемый Максим Максимович убедительно показал, что шансы на достижение взаимопонимания с великими державами по-прежнему ничтожны, — сказал я. — Но разумной альтернативы попыткам найти такое взаимопонимание я не вижу. В конце концов, Гитлер уже прет напролом. У него, похоже, все тормоза сорвало от безнаказанности. И это работает нам на руку. Это все-таки может постепенно заставить демократии отказаться от пассивности.

— Надежды юношей питают... — саркастически сказал Коба. Сделал поворот на месте, пошел обратно. Помолчал. Тревожно поскрипывал пол.

— Никитушка?

Хрущев вошел в состав Политбюро буквально на днях, в конце марта. Когда Коба неожиданно назвал его по имени, да еще так ласково, он буквально подскочил.

— За Украину я ручаюсь, товарищ Сталин, — не задумываясь, как автоответчик, отрапортовал он.

При чем тут была Украина и в каком, собственно, смысле он за нее ручался — никто не понял, но в Кремль Никита пересел именно из Харькова, с поста первого секретаря компартии братской республики, и, в общем, ясно было, что ни о чем, помимо своей былой епархии, он толково сказать пока не мог.

— Ну и на том спасибо, — мягко одобрил Коба и пыхнул трубкой. И только тут словно бы вспомнил про Литвинова и как бы спохватился. — Да вы присядьте пока, Максим Максимович. Что ж вы все стоите да стоите? В ногах правды нет.

Литвинов слабо улыбнулся, сияясь выказать благодарность, добрел нетвердо до ближайшего свободного стула и почти рухнул на него. Дрожащей рукой вытянул, путаясь в пиджаке, из кармана брюк носовой платок размером с детскую простынку и принялся, шумно отдуваясь, вытирать лицо и шею.

— Итак, что мы имеем? — поучительно спросил Коба, сделал очередной поворот на месте и пошел к окну. — Мы имеем очевидное намерение нацистской Германии без войны превратить СССР в свой сырьевой придаток, добиться с опорой на наши ресурсы подавляющего военного превосходства и получить, таким образом, на континенте полную свободу рук. Вероятно, попутно ставится цель изобразить нас своим союзником и углубить наш раскол с демократиями. Мы имеем не менее очевидное стремление демократий, сделав Гитлера своим сторожевым псом в Европе, натравить его на СССР. Вероятно, ценой очередного сговора наподобие Мюнхенского, теперь за счет Польши. Как докладывает разведка, нападение Германии на Польшу — дело почти решенное. После победы Гитлер выходит на границу СССР практически на всем ее стратегическом протяжении. С учетом уже очевидной ориентации на рейх малых прибалтийских стран возможный фронт грозит протянуться от Нарвы до Днепра. Активность Гитлера в Финляндии и готовность финнов к еще более тесному сотрудничеству с ним показывают, что на стороне рейха могут выступить и финны, значит, мы получим дополнительный фронт от Сестрорецка до Мурманска. Город на Неве, колыбель трех революций и, что немаловажно, важнейший промышленный и научный центр страны, всеми нами любимый Ленинград, находится от эстонской границы на расстоянии менее полутора сотен километров, а от финской — менее тридцати. Если Гитлер начнет давно им анонсированную войну за жизненное пространство на Востоке и при этом не будет находиться в конфликте с демократиями, он, как минимум, получит надежный тыл на Западе, а как максимум — военное сотрудничество с ним. Тогда демократии, если Гитлер продвинется достаточно далеко, под любым предлогом вцепятся в нас тоже, чтобы и Гитлеру много не отдать, и свой кусок урвать. Например, со стороны Кавказа, опираясь на свои подмандатные территории на Ближнем Востоке. Значит, в компании еще и с Турцией. Их ближайшей целью будет отрезать нас от бакинской нефти, а затем развить наступление в Поволжье, отсекая Центральную Россию от Урала и Сибири. То есть мы вполне можем столкнуться с объединенным вторжением всех великих европейских держав, при том имея на востоке, на маньчжурской границе, вторжение японское.

Он умолк. Сделал поворот на месте и пошел от окна к столу. Тишину нарушали лишь помаленьку успокаивающееся хриплое дыхание Литвинова в одном углу да тиканье больших напольных часов в другом. Да еще время от времени тоненько, словно в живое тыкали скальпелем, ойкал паркет.

Подойдя к торцу стола вплотную, Коба остановился. Оглядел нас добрым взглядом и мягко спросил:

— Ну что? Просрали страну, товарищи?
Ясное дело, никто и не подумал отвечать.

Да он, ясное дело, и не ждал ответа.

— Максим Максимович, — сказал Коба.

Литвинов, заглотив побольше воздуха так, что его вдох прозвучал, будто всхлип, вскочил.

— Слушаю вас, товарищ Сталин.

— Да вы сидите, сидите. Отдыхайте. Вам беречь надо нервы, они вам еще понадобятся.

Это прозвучало так, что человек с нервами послабее мог бы, пожалуй, и напустить в штаны. Мы обмерли. Но Коба сделал едва заметную паузу и уточнил с улыбкой:

— Для изнурительных бесед с нашими демократическими партнерами. Товарищи понимают: подобные собеседники не сахар и не мед.

Мы все перевели дух. Литвинов постоял мгновение, размышляя, насколько серьезно это разрешение, а потом все же уселся. Возможно, ноги не держали.

Коба, постояв возле стола, повернулся к нам спиной и снова закружил по своей золотой цепи.

— До Первомая еще почти две недели, — сказал он. — Вот эти две недели, Максим Максимович, Политбюро дает вам для последней попытки добиться от Чемберлена и Даладье хоть какой-то ясности. Возможно, Гитлер своей нарастающей наглостью и впрямь хоть немного вгонит им ума. Если эта попытка окажется, как и все предыдущие, безрезультатной, нам придется очень серьезно пересмотреть всю нашу внешнюю политику и проанализировать возникшие угрозы заново, с чистого листа. Политбюро не исключает, что мы вынуждены будем согласиться на кредит, который немцы так стараются нам предоставить, и послушать наконец, чего они хотят взамен. Ввиду угрозы войны одновременно чуть ли не со всеми промышленно развитыми странами нам надо мобилизовать ресурсы. Пригодятся и те несчастные миллионы марок, которые Шуленбург столь настойчиво предлагает нашему уважаемому Анастасу Ивановичу.

Поражало то, что, перечислив подробности надвигающегося кошмара, он, не проявляя ни малейших сомнений и колебаний, говорил о нашей борьбе с целым миром как о деле заранее решенном и вполне выполнимом. Как о единственно возможном варианте действий. Он готов был воевать за Союз и против всей Европы, и против всей Азии разом. Хотя, разумеется, совсем этого не хотел. Да и кто захочет?

Странно, но после его слов мы несколько успокоились и даже почувствовали себя увереннее. Казалось бы, выть надо от ужаса и бессилия — ну не получается ничего, ну никак, хоть башку расшиби. Но его твердость поразительным образом заражала всех, объясняй ее как хочешь — тупостью, бессердечием, отсутствием воображения, маниакальным состоянием (умники готовы любой героизм объяснять психическими отклонениями, а нормальные — только они сами). Конечно, заражала в разной степени. Люди вообще разные. Но плечи расправлялись, факт.

На этом повестка дня оказалась практически исчерпана, решение — принято, и хотя оно было, пожалуй, единственно верным, все понимали, что на самом деле это не решение, а лишь попытка его оттянуть. В то, что за пару недель Литвинову удастся сдвинуть дело с мертвой точки, уже не верил никто. И теперь эта директива была ему дана только, что называется, для очистки совести.

Но ведь может же случиться чудо...

Скажем, Гитлер и впрямь отчебучит что-то такое, чем даже миротворца Чемберлена проймет.

А может, теперешней аннексии Чехии и ее превращения в немецкий протекторат демократам и хватит, чтобы очнуться. Просто до них доходит как до жирафов.

Хоть молись за это. Честное слово, хоть молись.

— Все свободны, товарищи.

Расходились молча. И в коридоре, длинном, устланном тягучим красным ковром, тоже по большей части угрюмо молчали. Послеполуденное апрельское солнце сквозь широкие окна выжаривало коридор, и по ту сторону стекол юная, как Надежда, листва готовилась, ликуя, задымить светло-зеленым дымом. А мы шли по ковровой чересполосице пылающих алым огнем пятен света и багровых теней и думали о насущном.

Мы хоть попытались

Вот и этот Первомай укатился в прошлое. Москва, отпыхав бродячими кострами развевающихся кумачей, отшагав по Красной площади в обличье избыточных урожаев, непобедимых танков и ударников с физкультурницами, в очередной раз сказала свое веское «ура» и вновь прикипела к рабочим местам. Погода в ту весну радовала так, будто обещала и впрямь мир, труд и май, вечный май. Но от души порадоваться безмятежному теплу и весеннему сиянию могли, пожалуй, лишь старики да школьники после уроков. Бодряя музыка уличных репродукторов, создававших по центральным районам города сплошную сеть покрытия, все эти «Кудрявая, что ж ты не рада» и «Нам нет преград», целыми днями звучала по большей части именно для них, для старых и малых. Но уж когда истекал рабочий день и усталый народ опрометью бросался в театры, библиотеки, продуктовые магазины и убогие жилища — тут ему куда было не деться от того, что много позже начнут высокомерно называть сталинской пропагандой.

Пройдут десятилетия, сплутся и забудутся «Ландыши», «Хороши вечера на Оби», «А у нас во дворе», «Бирюсинка», «Мой адрес — Советский Союз», «Арлекино», «Зайка моя», «Я убью тебя, лодочник» и множество иных пролетающих мошками хитов; но даже в двадцать первом веке, который тогда, в конце тридцатых, виделся нам одухотворенным и трудолюбивым царством давно победившего коммунизма и давно обнявшей всех доброты — даже и тогда, если вдруг возникала необходимость навалиться всем миром на какое-то трудное дело или отпраздновать какую-то общую победу, из тьмы времен будто сами собой выныривали те самые мелодии, что нескончаемо омывали Москву в ту давнюю стародавнюю пору. И я прекрасно понимал почему. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Они создавались в полушаге от громохання залитых кровью жерновов, но с ощущением, какое только и способно делать что человека, что страну молодыми, — ощущением манящего простора впереди. Никогда такого уже не повторялось. И, наверное, не повторится.

Через несколько дней после майских праздников фон Шуленбург попросил меня о приватной встрече.

Мы договорились с послом Германского рейха встретиться по возможности просто, чтоб заранее никому со стороны и в голову не могло прийти, куда нас занесет. Во-первых, потому, что в случайно выбранной забегаловке уж точно не случилось бы никаких подслушивающих устройств. Все столичные шалманы на прослушку не поставишь. Во-вторых, топтунам, буде таковые увяжутся либо за мной, либо за ним, либо за нами обоими, вне зависимости от того, у какой именно из двух высоких договаривающихся сторон они будут на службе, сложнее окажется остаться

незамеченными. Намереваясь висеть на хвосте у двух элегантных джентльменов, собравшихся на совместный ланч, они загодя должны будут мимикрировать с учетом того, что им придется перекусить по соседству. И стоит нам забрести в простонародную щель, они, если рискнут увязаться за нами, сразу станут заметны.

Хотя, надо признать, сами мы с Шуленбургом выглядели в блинной «Маросейка» как папуасы на льдине.

Присесть было негде. Только высокие столики с круглыми, в пятнах чего-то засохшего, мраморными столешницами и облепленные черными зернами мух извилистые липкие ленты, свисавшие с потолка. Видимо, с целью возбуждения аппетита.

Для блезиру мы взяли бочкового кофе с плавающими в нем темными пленками и по коржику. На нас оглядывались поверх пенных пивных кружек. Иногда добродушно и понимающе ухмылялись: во, мол, как у интеллигентов трубы с утра горят, аж до ресторана не добежать. Немногочисленные в этот час, сплошь пожилые затрапезные посетители с любопытством косили: будем мы что-то доливать в стаканы или обойдемся как-то иначе? Мы обошлись иначе. Прямой, как палка, надраенный, как представительский лимузин, благоухающий фон Шуленбург подsunул край коржика под усы и осторожно, кончиками зубов, попробовал надкусить один раз, потом другой; на его длинном костистом лице отразилось опасливое недоумение типа «эту страну не победить». Он отложил коржик и стал, чуть нагнувшись, присматриваться к содержимому стакана. Тот уже минут пять как стоял на тяжелом мраморе неподвижно, но темные колышущиеся пленки продолжали жить в нем своей жизнью, то подплывая к граненым стенкам, то пропадая в мутно-бежевой глубине, и вроде даже слегка помахивали плавниками-крыльями, точно древние скаты в глубинах насыщенного первоэлементами мезозойского моря.

Я хрустел коржилом, прихлебывал кофе и выжидательно посматривал на Шуленбурга поверх своего стакана; в конце концов, он просил о встрече, а не я. Ну, и давал ему возможность маленько освоиться. В общем, не форсировал.

Посол наконец решился.

— То, что я хочу сказать, является абсолютно неофициальной, исключительно моей точкой зрения на происходящие события, — сказал он церемонно. — И я решил переговорить именно с вами, учитывая, во-первых, наши давние доверительные отношения, во-вторых, то, что формально вы не являетесь дипломатом высшего уровня и, следовательно, меньше связаны в суждениях и высказываниях, и, в-третьих, то, что, насколько нам теперь известно, ваше реальное влияние порой оказывается несопоставимо выше того, что предполагал бы ваш официальный пост.

— Спасибо за лестные слова, — я поблагодарил его коротким наклоном головы. — Вы знаете, граф, с каким уважением я к вам отношусь. И я заверяю вас, что все, сказанное вами, если оно предназначено только для меня, дальше меня не уйдет, а если оно предназначено для неофициальной передачи на самый верх, я сделаю все возможное, чтобы такая передача состоялась как можно скорее.

— Я знал, что вы меня правильно поймете, — ответил Шуленбург. — Сразу скажу, что я рассчитываю, скорее, на последнее. Впрочем, в конечном счете выбирать между первым и вторым я предоставляю вам. В сущности, — с обезоруживающей откровенностью и даже как-то застенчиво сообщил он, — я сейчас собираюсь совершить государственную измену.

— Граф, — поспешно сказал я, — не надо громких слов. Если у вас есть хотя бы малейшие колебания по поводу целесообразности продолжения нашей беседы...

— Нет, — отрезал он. — Нет у меня таких колебаний. Видите ли... — Он глубоко вздохнул. — В течение нескольких последних месяцев я и горстка моих единомышленников здесь, в посольстве, и в центральном аппарате нашего МИДа приклады-

вали титанические и, смею сказать, довольно рискованные усилия, целью которых являлось улучшение отношений между Германским рейхом и Советским Союзом. Мы абсолютно убеждены в правильности такой политики потому, что, во-первых, нам нужны ваши сырьевые ресурсы, а вам — наши технологии. Нам есть что дать вам, а вам есть что дать нам. Мы реально можем сделать друг друга сильнее. Но во-вторых, и это важнее всего, именно так мы можем обеспечить мир. На авантюры чаще всего идут от отчаяния, от безвыходности. Создав долгосрочный блок, достаточно самостоятельный и независимый от остального мира и в ресурсном, и в технологическом отношении, мы могли бы сделать войну совершенно необязательной.

У меня просто-таки в зобу дыхание сперло. Я отставил полупустой стакан и слушал, боясь пропустить хоть слово.

Посол помолчал, дав мне несколько мгновений, чтобы усвоить и осмыслить услышанное. Зачем-то подул на лежащий на его блюде нетронутый коржик — с того волной слетели крошки и маленькой поземкой пронеслись по мрамору столика; потом продолжил.

— Нынешний расклад сил на мировой арене делает создание такого блока еще более актуальным. Я был бы даже рад, если бы вам удалось заключить некий пакт с англичанами и французами на случай войны с нами. А с нами — некий пакт на случай мира, следовательно, куда более важный. В отличие от пакта на случай войны, мирный пакт начал бы работать сразу после подписания. В то же время антигерманский пакт между вами и демократиями мог бы предостеречь наше... — Он запнулся, подбирая слово. — Наше не всегда уравновешенное руководство от опрометчивых действий. Мир сразу сделался бы более выгодным, а война — более рискованной. Вы понимаете эту комбинацию?

— Еще бы, — сказал я, стараясь пока лишь слушать и ни в коем случае не вдумываться, насколько все это реально, насколько соответствует действительности. Начнешь анализировать — не ровен час, что-то пропустишь. Важно было запомнить все: слова, интонацию, паузы и недоговоренности, даже движения глаз. Сердце у меня билось так, будто я через две ступеньки шпарил вверх по лестнице небоскреба.

— Английские гарантии безопасности Польше ситуацию по большому счету даже улучшают. Смотрите. Польша опирается на Англию. Англия, Франция и Россия опираются друг на друга и на свой антивоенный договор — прошу заметить, не антигерманский в узком национально-политическом смысле, но именно антивоенный, поскольку он обязывает к действиям только в случае нападения Германии на какую-либо из трех перечисленных стран, а в силу гарантий Англии Польше — то и в случае нападения на Польшу. При этом, с другой стороны, Германия и Россия опираются на Россию и Германию, гарантированно получая одна от другой все, что им нужно для укрепления собственной обороноспособности. Поэтому все успокаиваются. Никто не чувствует себя припертым к стенке. Ни над кем не нависает никакой дамоклов меч. Ни у кого не возникает обманчивых соблазнов. Все осознают, что ни единый конфликт не может быть локализован и любая военная авантюра немедленно приведет к новой общеевропейской катастрофе. В этих условиях наши разногласия с Польшей по поводу Данцига и восточнопрусского коридора могут быть решены на переговорах неторопливо, хладнокровно и взаимоприемлемо. Более того — только в такой обстановке они и могут быть решены!

Он глубоко вздохнул.

— В течение нескольких месяцев, по крайней мере начиная с ноября, я и мои единомышленники в Берлине всячески пытались довести эти и еще множество подобных доводов до нашего руководства. И по официальным инстанциям МИДа, и любыми иными способами. В последние недели наши усилия, похоже, увенчались

успехом, и высшее руководство рейха, я сужу по многим признакам, начало склоняться именно к этой политике.

— Я могу вас только поблагодарить и поздравить, — осторожно сказал я.

Он угрюмо наклонил лысую длинную голову так, что едва не воткнул хрящеватый нос и усы в стынущий кофе.

— Я не знаю, стоит ли меня поздравлять, — сказал он глухо. — Может быть, лучше проклясть и не верить ни единому слову. Ни моему, ни вообще кого-либо из немцев, что будут сулить вам мир и дружбу. Дело в том, что я не могу поручиться, принята ли эта политика руководством рейха искренне, как долгосрочная и обязывающая, или в Берлине решили воспользоваться нашими планами, чтобы использовать ресурсы СССР для решения конкретной задачи — разгрома Польши, а затем вести дела, не придавая договоренностям, за которые я так боролся, ни малейшего значения. Понимаете, — с болью сказал он, — я этого не знаю! Вот сейчас я говорю с вами, и мне неведомо, спаситель я или подлый обманщик.

Эта вспышка отчаянной откровенности потрясла меня.

— И вот что я хочу вам сказать, — проговорил он, справившись с волнением. — Вот о чем я хочу попросить. Вот для чего я все это, собственно, затеял.

Опять помолчал.

— Ситуация меняется едва ли не каждый день. Намерения могут меняться вместе с ней. То, что вчера было планом дезинформационного прикрытия, в изменившихся условиях может стать планом реального конструктивного взаимодействия. И наоборот. Поэтому. Поэтому, — он глубоко вздохнул, будто собрался нырнуть с высоты. — То, что я предлагаю... о чем прошу... очень рискованно. Я понимаю. Как отнестись к моим словам, решать вам, и только вам. Но когда в Кремль начнут поступать те или иные наши официальные предложения, через меня или по каким-то иным каналам, более выгодные, менее выгодные, постарайтесь отнестись к ним с пониманием. Я не могу исключить, что в данный момент они будут обманом, но они могут перестать быть обманом и стать основой для союза. Даже если некий уровень отношений достигнут лишь с целью усыпить бдительность партнера и затем от них отказаться, то в случае, если отношения устраивают и приносят пользу, от них можно захотеть не отказываться. А я и мои единомышленники со своей стороны будем делать все возможное, чтобы так и случилось.

Он запнулся на мгновение и добавил:

— Вот что я хотел вам сказать.

И вдруг решительно взял свой стакан кофе и выпил большими глотками. Пленки к этому времени успели осесть на дно, но Шуленбург испил чашу до дна, точно теперь, после всего, что он мне наговорил, не боялся уже ничего. Даже русского кофе.

— Спасибо, граф, — медленно сказал я. — Спасибо. Я крайне вам признателен. Прежде всего — за ваши миротворческие усилия и, разумеется, за откровенность. Я самым тщательным образом проанализирую эту информацию и уже потом решу, как дальше с ней поступить.

— Разумеется, — чуть осипшим после гастрономического подвига голосом сказал Шуленбург. Видно, кофейные скаты все еще всплескивали плавниками у него в горле.

— Со своей стороны, — осторожно, взвешивая каждое слово, продолжил я, — хочу уже теперь, вне зависимости от того, как руководство моей страны отнесется к тому, что вы рассказали, заверить вас и ваше руководство: СССР всегда был и навсегда останется приверженцем политики мира. Хотя бы потому, что перед нами стоят слишком крупные внутренние задачи. Это же элементарно. Да, мы с вами за последние годы немало крови попортили друг другу. Советское правительство

не могло игнорировать то, что основой идеологии и политики Германского рейха являются, во-первых, яростный и бескомпромиссный антикоммунизм, а во-вторых, многократно заявленное намерение военной силой расширить жизненное пространство Германии за счет европейской части СССР, прямо истребляя наше население. Но как вы совершенно справедливо отметили, граф, политика может меняться, подчиняясь велениям времени. У нас говорят: худой мир лучше доброй ссоры. Думаю, не ошибусь, заверив вас, что мое руководство приветствовало бы любое улучшение отношений между Советским Союзом и Германским рейхом, если такое улучшение не потребует отказа от наших принципиальных ценностей.

Шуленбург точным движением извлек из кармана брюк носовой платок и аристократично промокнул губы.

— Отрадно слышать, — проговорил он. Сказав главное, он, судя по всему, начал мало-помалу отмякать. Даже бисеринки пота на лысине, такой гладкой и ухоженной, что она, казалось, отбрасывала блики, быстро просыхали. Лысину ему даже не пришлось промокивать. Пряча платок обратно в карман, он глубоко вздохнул. Тоже знак сходящего напряжения. — Знаете, я человек старой школы... еще бисмарковской... У таких крупных и сильных стран, как Германия и Россия, не может не быть разногласий и противоречий. Это понятно. Уж слишком близко мы друг к другу расположены. Но именно эта близость должна бы вынуждать нас к большей взаимной... не побоюсь этого слова... кротости. А по отношению к окружающему миру мы, никоим образом не ущемляя друг друга, могли бы, и должны были бы, проводить более слаженную и скоординированную политику. Вы согласны?

— Звучит как ангельское пение, — улыбнулся я.

— Но это же вполне реально, — начал горячиться он. — Это же вполне прагматично! Атлантический мир одинаково чужд и вам, и нам. У нас всегда было много общего. Особенно теперь, когда наши политические и идеологические системы еще более близки, чем при царе и кайзере!

Я досчитал до десяти, потом сказал:

— Тут я не могу с вами согласиться в той степени, в какой мне бы этого хотелось.

Он, чувствуя, что обязательную и главную часть встречи завершил, причем завершил не безуспешно, склонен был, видимо, поговорить и на более общие темы. Они, видимо, его тоже волновали.

— Это ваше право, конечно, — примирительно сказал он. — Политические режимы, установившиеся в наших странах в результате свалившихся на нас бед, представляют немалые неудобства для порядочных людей. Но для наших стран в целом они являются гарантией спасения. Если только порядочные люди не оставят их на произвол судьбы. Потому что... — Он опять глубоко вздохнул. — Потому что страшно даже представить, что может случиться с нашими странами и с миром в целом, если ваши и наши органы власти покинут все порядочные люди и в них останутся одни непорядочные.

Я поймал себя на том, что тоже вздохнул. Видно, и меня взяло за живое. Получалось, что мне о самом важном не с кем поговорить, кроме как с вражеским интеллигентом, — а ведь не с кем. Я сказал:

— Тут я не могу с вами не согласиться.

Он с сочувственным пониманием покивал.

— Но только по последнему пункту, — сказал я. — В целом же...

— Что в целом?

— Я бы хотел, граф, чтобы между нами не оставалось никаких недомолвок. Это было бы не достойно ни вас, ни меня. Поэтому представьте себе двух подростков. Один мечтает быть грозой двора, мечтает быть в состоянии, если ему заблагорассудится,

отнять у одного велосипед, у другого совок и ведро и царить посреди всей детворы: этому дам, у этого отберу, этому нос расквашу, этот мне принесет денег на конфеты. Другой мечтает, когда вырастет, стать великим альпинистом и взойти на Эверест. Чтобы их мечты сбылись, оба по утрам истязают себя зарядкой, обливаются ледяной водой, ворочают гири и едят поменьше жирного. Для внешнего наблюдателя их поведение выглядит одинаково. Если судить только по поведению, игнорируя цели, которые оба ставят, можно решить, будто они близнецы-братья.

Шуленбург долго молчал, глядя на меня то ли с восхищением, то ли с состраданием.

— Эверест — это, разумеется, ваш коммунизм, а грозой двора, разумеется, хочет стать Германия, — уточнил он потом.

— Разумеется, — ответил я.

— Но ведь с тем же успехом я могу сказать, что именно вы с вашей идеей мировой революции мечтаете стать грозой двора, а как раз Германия всего лишь пытается взойти на Эверест национального возрождения. Распределение ролей тут зависит единственно от того, к какому народу ты принадлежишь и какую страну любишь.

— Рад был бы согласиться с вашей диалектикой уже хотя бы из скромности и из уважения к вам, граф, — возразил я. — Но не проходит. Прошлое не может быть Эверестом, им может быть исключительно будущее. Только в далеком прошлом полноценным человеком считали лишь людей своего племени. Только в будущем — надеюсь, не очень далеком — любого первого встречного будут априори считать полноценным человеком. Вы строите мир племенного господства, и, стало быть, ваш Эверест направлен вниз, это не гора, а яма. Не вершина, а могила. Имеет смысл надсаживаться, чтобы попробовать пешком дойти до неба. Пусть не дойдешь, но всяко поднимешься выше туч. А вот рвать жилы, чтобы выкопать себе... Простите.

— Вы не приемлете национал-социализма, и по вполне понятным причинам, — задумчиво сказал Шуленбург. — Это исторический конкурент коммунизма, полный его антипод. Однако, насколько я знаю, большевики с большим уважением относятся к французской революции. Так вспомните: французы восхищаются ею и полагают себя ее детьми до сих пор. Они прощают якобинцам и голод, и террор, и бойню в Вандее. Почему? Потому что революция была национальной, и именно революционеры называли себя патриотами и защитниками Отечества. Французы прощают Наполеону полтора десятка лет сплошной войны и три миллиона французских трупов, сгнивших по всей Европе. Почему? Потому что он назывался императором французов, а не... Если бы в ту пору в Париже выходила бонапартистская газета «Правда», она гордо именовала бы его, наверное, вождем мировой буржуазии. И тем, разумеется, выкопала бы ему яму, а вовсе не вознесла на Эверест. Ваш Маркс фатально ошибся. Именно у пролетариев есть Отечество, и именно благодаря этому есть кому каждое Отечество благоустраивать и защищать. Отечества нет только у крупного капитала. И пролетариат никогда не сможет переиграть капитал на этом поле. Лозунг «Кто-нибудь всех стран, соединяйтесь!» успешнее всего реализуется именно буржуазией. Уже потому хотя бы, что пролетарий в лучшем случае едет по миру на «копейке» или «народном автомобиле», а буржуа летит на личном бизнес-джете.

— Да, — сказал я, — тут Маркс ошибся. Чтобы это понять, нам понадобилось несколько лет кровавых ошибок. Но в конце концов мы решили строить социализм в одной отдельно взятой стране. Внутри наших границ нет буржуазии. Это во-первых. А во-вторых... Понимаете, каждый национальный характер имеет свои достоинства и свои недостатки. Их воспитала в нем история, их не отменишь ни уговорами, ни пулями. Но со своими недостатками каждый народ ежедневно сталкивается внутри себя сам и потому изживает сам. А вот достоинства каждого идут

в общую копилку и расширяют пространство маневра всей страны. И ровно в той степени, в какой каждый народ пополняет эту копилку, он начинает ощущать себя ответственным за общее Отечество. Знаете, как у нас говорят: что отдал — то твое. Крепче всего человек любит не тех, кто дарит ему, а тех, кому дарит он. Так он почему-то устроен. Когда этому главному свойству человека перестанут мешать — это, наверное, и будет коммунизм. Только многонациональная страна с давней традицией совместного бытия может попробовать построить такое. За каких-то двадцать лет мы в этом направлении уже очень много сделали. Если бы не бесконечные и, скажу вам откровенно, поперек горла вставшие ноты, ультиматумы, блокады, санкции, провокации, теракты и инциденты, сделали бы и еще больше. Но мы все равно сделаем. А вот уже потом наш пример мало-помалу окажет воздействие и на другие народы, за пределами наших нынешних границ. Мирно. Пример же нацизма, уж простите, может породить лишь другой нацизм. А нацизмы всегда будут враждебны один другому. Я высшая раса! Нет, я высшая раса! Со всеми вытекающими последствиями. Вы ведь лучше меня знаете, как после столкновения немцев с французским национализмом проснулся и расцвел национализм немецкий — и через каких-то полвека после Бонапарта именно Германия жестоко разгромила именно Францию. И, между прочим, как раз с этого началось то, что мы с вами расхлебываем по сей день.

Шуленбург опустил взгляд и некоторое время задумчиво рассматривал свой нетронутый коржик. Потом покачал головой.

— Я мог бы, наверное, возразить в том смысле, что никто не знает будущего и важно лишь то, что есть сейчас, — устало проговорил он. — Только на основе существующего в данный момент, на основе уже сделанного и достигнутого имеет смысл выносить оценки. Но я и сам понимаю, насколько это уязвимая позиция. Я был бы рад... возможно, даже счастлив поговорить с вами на эту тему в спокойной обстановке, у камина, в креслах, с бокалом доброго рейнвейна в руке... Не думая о войне. Но сейчас у меня отчего-то нет сил длить этот спор. Просто нет сил. Я знаю одно. Одно, — повторил он и запнулся. Оторвал наконец взгляд от несчастного коржика и вскинул на меня запавшие, больные глаза. — Если англосаксы раздавят нас поодиночке, они потом уж точно убедят весь мир навсегда, будто мы с вами — из одного адского инкубатора. И уж они-то любого первого встречного наверняка будут полагать априорно полноценным — но только потому, что к этому времени сделают любого неполноценным. Чтоб не был озабочен никакими Эверестами, ни национальными, ни интернациональными, но мечтал лишь первым ворваться в торговый центр в день распродажи. Подумайте об этом, когда будете решать, с кем вам более по дороге хотя бы до первого перекрестка.

— Хорошо, граф, — медленно сказал я после паузы. — Подумаю. И еще раз спасибо вам. Надеюсь, раньше или позже нам представится случай посидеть у камина в Германии. Или, скажем, у речки на зорьке в России. Там вам понравится еще больше, чем в этой блинной. Русские комары — такие интернационалисты!

Он озадаченно сдвинул брови, а потом понял, что это шутка, и мы оба улыбнулись. Уж конечно, комару что ариец, что недочеловек... Он ведь даже коммуниста от нациста отличить не в состоянии.

- Вот там и доспорим, — добавил я.
- Это было бы прекрасно. Пойдемте?
- Пойдемте.

Мы вышли из блинной под слепящее майское солнце, на размякший тротуар. Лысина посла засверкала. Мягкая и глуховатая тишина блинной, рокошущая приглушенными беседами у столиков, позвякивающая и почавкивающая, сменилась звонким простором весеннего ветра и задора репродукторов.

— Можете не провожать меня к посольству, — сказал Шуленбург. — Я бы хотел пройтись один и подумать. Да и с точки зрения... — он выразительно повел взглядом по сторонам.

— Мне тоже есть о чем подумать, — ответил я, кивнув.

Несколько мгновений мы неловко потоптались один напротив другого; потом как-то одновременно потянули друг другу руки и, с облегчением обнаружив ответный порыв, обменялись крепким, долгим рукопожатием.

— Берегите себя, — сказал я.

Он ответил:

— Того и вам желаю.

И мы разошлись.

Нам больше не привелось увидеться ни в Германии, ни в России; мы увиделись совсем в другом месте.

А в сорок четвертом — вряд ли я скажу то, чего кто-то не знает, но не напомнить не имею права — Шуленбург принял участие в заговоре против Гитлера и был в ноябре казнен.

Не ржавеет

Когда я вошел, она безразлично скользнула по мне взглядом и не узнала. Я не вписывался в ее мир, не сочетался с ним; мне было здесь не место.

Смутно ощутив неладное, она вернулась глазами. Не приближаясь, я улыбнулся ей и приветственно помахал. Ее взгляд шарахнулся от моего, точно напоролся на что-то колкое. Она торопливо вернулась к делу: отпустила уже оставившему на прилавке деньги старику с клюкой пузырек слабительного, украшенный фонтанчиком притиснутого резинкой к горлышку рецептурного листка, что-то заботливо старику пояснила вполголоса и лишь тогда, повернувшись в глубину аптеки, громко позвала:

— Ильнара! Ильнарочка! Подмени на пять минут!

Выйдя из-за стойки, Аня подошла ко мне.

— Надо поговорить, — сказал я.

— Идем.

В ее голосе не было ни приветливости, ни тепла.

Коротким коридором, освещенным единственной лампой в железной сетке, загроможденным пустыми коробками, мы вышли во внутренний двор — скорее, пятачок, покрытый крошащимся асфальтом. У слепой стены напротив тяжело кисли два помойных бака; из них, точно комковатое адское тесто, пер душный хлам. Прямо у выхода тихо мучился, размахивая ветвями на ветру, выросший из трещины в асфальте куст сирени, отцветший и потому словно обожженный. Под ним тянула исчирканную узкую спину скамья. У ножки ее, полная окурков, доживала свой век мятая ржавая кастрюля с отломанной ручкой. По-хозяйски роились матерые мухи.

— Садись, — сказала Аня и сама резко опустилась на скамейку. Достала из кармана белого халата пачку папирос, выщелкнула одну. Подождала, видимо, уверенная, что я должен дать ей огня. Я сел рядом и развел руками.

— Не курю, — сказал я, — и нет ни спичек, ни зажигалки.

Ее лицо презрительно дрогнуло: мол, даже спичек у тебя нет. Она достала спички, размашисто и умело, в горсть, чиркнула и закурила. Выдохнула облако дыма. Его тут же сорвало ветром.

— Что? — спросила она.

— Пришел сказать, что я все сделал. Насколько сумел. Вчера мне сообщили, что твоего Шпица перевели на поселение. Это значит, его можно навестить.

Я вынул листок бумаги, где аккуратно и разборчиво, во всех подробностях загодя расписал, когда и как двигаться, какие документы иметь и какие вещи можно захватить. Протянул ей.

— Вот.

Она взяла. То и дело затягиваясь папиросой, наскоро просмотрела — не вчитываясь, а просто оценивая для начала. Попробовала неловко, одной рукой, сложить листок пополам. Получилось неровно. Она зажала дымящую папиросу губами и уже обеими руками перегнула мою памятку, сложила, потом перегнула еще раз, еще раз сложила, тщательно прогладила пальцами сгиб и сунула в папиросный карман.

— Спасибо, — сказала она, глядя мимо меня.

Я смотрел ей в щеку. Землистая кожа, обтянутые скулы, пучки морщинок вокруг глаз... Сейчас, при свете дня, все это было куда заметнее, чем полгода назад в интимном сумраке писательского кафе или на зимней ночной улице. Волосы поредели и выцвели. Шея как у ошипанной куры. Рано она это, рано...

— Ждешь благодарности? — спросила она.

— Вроде бы уже дождался, — я попытался пошутить. — Ты ведь сказала волшебное слово.

— Говорят, функционеры твоего уровня за спасибо палец о палец не ударят.

— Как интересно, — ответил я. — А что надо?

Она несколько раз молча затянулась. Искорки пепла кровавой россыпью повалились вниз и разлетелись по асфальту.

— Денег у меня нет. Ценности, какие и были в семье, давно ушли на еду. Все, что я могу в качестве благодарности — это тебе отжаться, но не буду.

— Аня, — против воли я засмеялся. — Откуда у тебя такие познания по части общення с номенклатурой?

— Не вчера родилась.

— Тогда вот что. Расскажи мне в качестве благодарности, видишься ли ты с кем-то из наших. Как они? Кого куда разбросало?

— Ах, вот чего ты хочешь... — уже с откровенной враждебностью произнесла она. Догоревшая папироса начала гаснуть. Аня достала другую и, плотно прижав к первой, прикурила. Метко послала скособоченный окурочок в кастрюлю.

— Это тоже криминал? — мягко спросил я.

— Ты думаешь, я не понимаю, зачем ты здесь? — спросила она в ответ. — Тщеславие, одно тщеславие. Вас сажают, а я вот хожу и могу спасти, а могу и не спасти. Калиф Гарун. Наверное, ты об этом с детства мечтал. Мой муж — умнейший и добрейший человек. Лучший человек, какого я знала. Чем он-то вам не угодил? А сидит. А я вот, мол, одно словечко скажу, и те, перед кем вся страна на коленях, сделают по-моему. Осчастливил и надулся, как насосавшийся крови клоп. Теперь хочешь, чтобы я и про других тебе что-нибудь рассказала такое, чтобы ты мог раздуться еще толще. — Затянулась. — Вы там у себя творите с нами, что хотите. И еще благодарности ждете за это. А послушать, как самые прекрасные ребята бьются кто где, кто кочегаром, кто дворником, — это лучше всякой благодарности. Хотя вот им бы, добрым, умным и честным, как раз и править страной. Они бы ни капли крови не пролили. Со всем миром были в бы в дружбе. Ни единой слезинки бы из-за них... Ну куда там. А ты хочешь слушать и думать про себя: вот я, бездарь и недоучка, жалкий заморыш, теперь вершитель ваших судеб!

Она умолкла, буквально задохнувшись от ярости. Всосалась в папиросу, и та с готовностью швырнула ей на колени и в ветер очередной фонтан искр.

— Зачем же ты меня о помощи просила, если я такой мерзкий? — тихо спросил я.

Она помолчала. Выдохнула дым. Покачала головой. Ее лицо сморщилось от неприязни к самой себе.

— От безвыходности, — отрывисто сказала она.

— Вот видишь, — проговорил я. — От безвыходности люди иногда делают то, чего вовсе не хотят. И то, что в других наверняка осудили бы. Почему ты думаешь, что у меня не бывает безвыходности? Почему ты думаешь, что не бывает безвыходности у тех, кто, как ты говоришь, делает с вами, что хочет?

Она хлестко глянула на меня даже не с негодованием — с гадливым недоумением. Словно я сморозил такую несусветную глупость, какой даже названия не подобрать. Снова отвернулась и непримиримо отрезала:

— У вас власть. Вы за все отвечаете. Вы же сами все это устроили!

— Нет, — мягко проговорил я. — Это устроили те, кто кричал: ура микадо!

Если б не они, хотел сказать я, бандиты остались бы бандитами и мыкались бы по тюрьмам, получая свое, мечтатели остались бы мечтателями и писали бы замечательные книги, лечили бы и спасали людей, и ни тем, ни другим не пришлось бы бок о бок разгребать руины, наполовину мародерствуя, наполовину мечтая. А революция оказалась бы именно революцией: насильственным изменением строя в стране, а не насильственным изменением страны.

Но пока я мучительно старался выразить все это покороче и потактичней, чтобы, не ровен час, не обидеть, она решила, что уже поняла.

На несколько мгновений ее будто парализовало. Она так и замерла щекой ко мне, сутулясь, почти горбясь, с тлеющей папиросой в прокуренных пальцах. Потом размашисто кинула окурков в кастрюлю. Промахнулась; окурков, разматывая струйку дыма, покотился по битому асфальту. Встала. И, сощурившись, изо всех сил ударила меня по щеке.

У меня глупо, как у игрушечного болвана, мотнулась голова. Это было очень неожиданно и больно. До слез больно.

Она всматривалась в мое лицо с такой жадностью, что даже пригнулась, как охотница. И, конечно, заметила, что на глазах у меня нахохлились слезы.

— Плачешь? — спросила она. — Это хорошо. Может, поймешь, как мы плачем.

— Аня, — сказал я, улыбнувшись еще подрагивавшими от боли губами. — Ты же сейчас, почитай, меня расстреляла.

— И что? Теперь ждать ареста? За осуществление действий террористического характера в отношении представителя советской власти, да? Или кто ты там?

— В меру отпущенных тебе возможностей, конечно, — добавил я. — Но вполне без суда и следствия. Согласно пролетарской справедливости. Руководствуясь исключительно классовым чутьем. А ведь ты только что заверяла: если бы правили такие, как ты, ни у кого бы ни единой слезинки не пролилось. Значит, у вас в расчет тоже идут слезинки лишь строго определенного круга лиц?

Ее разгоревшееся лицо разочарованно обмякло.

— Фигляр, — сказала она. — Шут гороховый. До тебя вообще не достучаться. У тебя просто нет сердца. Ни достоинства, ни жалости... Труп с полномочиями.

Резко повернувшись, она шагнула обратно к двери; каблук подвернулся на выбоине в асфальте. Едва не рухнув, она с яростным негодованием всплеснула ловающими равновесие руками. Я почувствовал, как ее пронзило: было бы совершенно некстати сейчас повалиться, совершенно не в образе. Нет, не упала. Выровнялась. Ушла.

Хлопнула вбитая в косяк пружиной тяжелая дверь.

Я остался сидеть.

Во всяком случае, бумагу с инструкцией она получила. Все остальное было неважно. Не очень важно.

Менее важно.

Она потом никогда не рассказывала мне о своей поездке к мужу, а я, разумеется, не спрашивал. Но много позже, окольно, я узнал, что она сорвалась туда, ни дня не медля. С собранной на последние деньги передачей — скромная снедь из той, что не грозит испортиться по дороге, теплые вещи, любимые книги Шпица и вроде бы какие-то его черновики, — поволоклась через полстраны, махнув рукой на угрозу увольнения за самовольную отлучку до наступления очередного отпуска.

Она добралась примерно через неделю после того, как в хибару Шпица перебралась к нему жить его тамошняя, тоже из ссыльных — впоследствии действительно ставшая, как я уже говорил, его новой женой. С присущей эсеровским дамам страстной экзальтацией она вообще не пустила Аню на порог; объяснила ей положение, обругала последними словами и захлопнула перед носом дверь, оставив ее стоять в ошеломлении на крыльце с вещевым мешком в руках и тщетно отмахиваться от визжащих в восторге туч гнуса: неожиданная добыча оказалась беззащитна. Ане некуда было деться. Катер обратно уходил лишь наутро. Но тогда она еще не заплакала. Она просто не могла поверить, что все это происходит на самом деле. Где-то на краю поселка лениво перебрехивались собаки; из-за перелеска, от пристани, поверх пилящего воя насекомых брезжила бравурная музыка. Потом Шпиц все же вышел. Пряча глаза, забрал вещмешок. Потоптался. «Страшное время, Анька, — сказал он, — страшное. Советская власть нас всех убила». И ушел в дом. И она услышала, как со скрипом задвинулся с той стороны деревянный, грубо струганный засов-вертушка. Наверное, они там побоялись, что она станет к ним ломиться.

Породнимся?

Мы с Машей держались чуть позади сына, точно принца эскортировали на коронацию — а на самом деле готовые каждый со своей стороны поддержать его, если что. Сережка, припадая на недолеченную ногу и неумело опираясь на трость, сосредоточенно, как гусак, вышагивал впереди; его хоть и выписали, но для полного восстановления, сказал врач, понадобится еще месяца три, а легкая хромота (это уже лишь мне на ушко) грозила остаться на всю жизнь. Восемь сбитых на счету, а на девятом споткнулся: уже раненный, уже теряя устойчивость, все же достал японца на вираже, так что тот тоже задымил, но осталось неясно, рухнул он в конце концов или, как и Сережка, дотянул. Наш герой, разумеется, и сегодня предпочел быть в форме, и тут даже Маша, всегда мечтавшая хоть по праздникам видеть сына при костюме и галстукке, не могла ничего возразить: на груди ребенка маленькой кремлевской звездой горел позавчера врученный орден.

На лестнице стоял душноватый теплый запах недавней влажной уборки. В доме для крупных научных работников оказался лифт не хуже нашего — просторный, в широкой зарешеченной шахте, и сквозь серую ячеистую вязь охранительной сетки виднелись свисающие дохлыми питонами темные шланги; к двери лифта вели две цементные ступеньки. Сережка, хромая, преодолел их первым, свободной рукой надавил никелированную ручку и распахнул лязгнувшую дверцу. Шагнул навстречу своему отражению в зеркале на противоположной стене кабины. Громко екнул продавившийся пол. Мы вошли. Сын хозяйски захлопнул дверцу, нажал кнопку «3»; он нас, понимаете ли, транспортировал, а не мы его. Лифт передернулся и, железно бабахая нутром, натужно потянул нас вверх.

Сережка явно волновался. И Маша волновалась. А я... Я улыбался.

Вчера уже глубоко вечером, под конец рабочего дня, ко мне без звонка, без предупреждения, этак запросто по-соседски, зашел Лаврентий. Поздравил с выздоровлением сына-героя, с заслуженной правительственной наградой... Трудно было поверить, что он заглянул на огонек лишь ради этого. Он зигзагом перешел с Сережкиного подвига и ранения на воздушные бои над Халхин-Голом в целом, о роли авиации в современной войне, о тактике и стратегии истребительных частей, потом о преимуществах японских «ки» над нашими «ишачками». За окном медленно остывало, густело и сахарилось сладкое варенье летнего вечера; я зажег в кабинете свет. Лаврентий прервался и, неслыханное дело, спросил: «Я тебе не мешаю? Не задерживаю?» Что-то большое сдохло в лесу, подумал я, отвечая, разумеется, как он и ожидал: что ты, старина, конечно, нет, я тебе всегда рад, только, дескать, в самолетах я мало что смыслю, разве лишь то, что сын рассказывает. Да дело не в самолетах, нетерпеливо ответил Лаврентий. То есть и в самолетах тоже, потому что создание новой техники затягивается, а время не ждет. Но при всем значении авиации новая техника ею ведь не исчерпывается, так? Тут возразить было трудно.

Вот взять ученых, продолжал Лаврентий. Сколько у них времени впустую до сих пор тратится на быт. Быт у нас в стране, прямо скажем, еще не очень отлажен, но даже будь он, как в раю, там все равно возникли бы иные, уже райские, проблемы: что велеть приготовить на обед, что на ужин, какой мебельный гарнитур поставить в гостиной, а какой — в спальне и всякая подобная хрень. Вместо того чтобы над чертежами или расчетами корпеть, у кульманов и вычислителей отдавать все силы ума повышению обороноспособности первого в мире государства рабочих и крестьян, золотые мозги республики ходят с женами в распределители, торгсины и даже обычные продуктовые да кондитерские, а то присматривают, какой костюм себе, супруге или детям купить, примеряют их... Это же какая прорва времени валит в никуда! А потом еще и хвастаются друг перед другом: у меня вот такая мебель и вот такая шуба, а у меня вот какой телевизор... Вместо того чтобы хвастаться тем, кто сколько вчера навывчислял, напереводил, наоткрывал и наконструировал.

Ученые и прочие инженеры народ ведь тщеславный, честолюбивый. В этом ничего худого нет, даже наоборот. Надо, однако, чтобы все их самоутверждение, вся их полезная для дела конкуренция сосредоточена была в сфере научных и технических достижений, а не разбазаривались на бытовую суету, на попытки утирать носы друг дружке добытым невесть где и как редкостным барахлом или успехами у баб. Формулами пусть носы дружка дружке утирают, двигателями, заработавшими с невиданной отдачей, сверхмощной взрывчаткой, оптикой с немислимым доселе разрешением, прирученными радиоволнами. И ничем, кроме. Время сейчас не то, чтобы женами, шубами и мебелью мериться.

А уж на их внутренние интриги сколько времени и сил у них у самих же выигрывает — это отдельная песня. Научные склоки тянутся годами, и вреда от них общему делу больше, чем от немецких и японских шпионов, вместе взятых. А вот если поставить всех в равные условия, да чтобы ни один не был полноправным начальником, и ни один — старшим помощником младшего чертежника, вот тогда научно-технический прогресс так рванет, что пальчики оближешь.

Преамбула заняла уже более четверти часа. Я начал догадываться, куда он гнет, и не очень удивился, когда он вкрадчиво подытожил: «А у меня в шарашках все это, в общем, так и есть».

Я смолчал. Спору нет, его закрытые КБ в последнее время начали и впрямь давать неплохой выход. Я бы даже сказал: обнадеживающий. Кстати, и в области авиа-

строения. Но мне претило. Я подумал-подумал, и единственно, что нашел сказать, это: «Знаешь, частенько успех у баб дает такие творческие прорывы, что никакое освобождение от тягот быта не сравнится».

Он с готовностью улыбнулся и уронил: «Со знанием дела говоришь». Я насто-рожился. Он это почувствовал и замахал на меня руками: нет, нет, я пошутил, мы знаем, ты жене верен! мы только не знаем, почему ты ей верен, но это же совершенно не наше дело!

Ого, подумал я. К чему это? Намекает, что у них там уже телескоп поставлен, чтобы рассмотреть, когда же я наконец Надю пригублю-приголублю? Зачем? Или это у него проходная реплика, а на воре — то есть на мне — уже и шапка полыхнуть готова? Я счел за благо поддержать его тон и рискнул запросто показать ему кулак.

Он добродушно засмеялся.

А потом продолжил: и вот у меня в связи с этим к тебе дело. Не в службу, а в дружбу. Сына твоего выписали на днях, и раньше или позже он тебя с родителями невесты, конечно, познакомит. Я в твою порядочность и в твое чутье верю, как редко кому верю. Ты будешь объективен, и ты будешь честен. Это все знают. Папашка ее считается довольно крупным исследователем и организатором науки. С другой стороны, он этакий, знаешь, вольнодумец. И не скрывает этого, а даже бравирует, и я боюсь, на неокрепшие мозги молодых сотрудников может повлиять, сам того не желая, не лучшим образом. Вот присмотрелся бы ты к нему. Не лучше ли будет и ему, и стране, если мы его освободим от лишних бытовых хлопот и научных дрызг. Понимаешь?

Я досчитал до десяти.

Потом, изо всех сил сохраняя не то что спокойствие, а полную дружескую непри-нужденность, спросил: а на него что, уже накатал кто-то? Лаврентий с досадой по-морщился: да это неважно, не в этом дело. Он катает, на него катают... Надо в прин-ципе понять, не будет ли, с одной стороны, ему самому лучше работаться в спокой-ной обстановке. А с другой — накатать-то могут в любой момент. Причем, не ровен час, отыщется настолько резвый мастер пера, что по его бумажке придется уже не в первоклассное КБ человека водворять, а гнать на лесоповал. А он же без пяти ми-нут тебе родственник. Пожалей старика.

За эти последние минуты дружеского разговора майка на мне стала — хоть выжми.

Присмотрюсь, пообещал я.

Он тут же поднялся. Я твой должник, сказал он. И ушел.

А я еще минут десять сидел в кабинете, успокаиваясь и приводя мысли в порядок.

Нас, конечно, ждали. Надя, рдея, как маков цвет, чмокнула Сережку в щеку, сер-дечно поприветствовала Машу (та ответила тем же — ну прямо лучшие подруги) и, стараясь не глядеть в глаза, по-мужски протянула мне ладошку для рукопожатия. Я аккуратно тронул ее прохладные нервные пальцы. Состоялась церемония взаим-ного официального представления. Мельком оценив обстановку квартиры, я не-волью вспомнил Лаврентия; тут, похоже, и впрямь о комфорте и роскоши заботи-лись не в меру. Хрусталь, ковры, красное дерево, на стенах картины в массивных ви-тневатых рамах и какие-то африканские маски...

А ее отца я сразу узнал.

А он меня — нет.

Ну еще бы. Он тогда по сторонам не смотрел, только на шефа и по большей части на себя. Любоваться собой он умел, и было чем. В свое время он слыл одним из самых блестящих членов плехановского кружка, мыслил тонко и точно, гово-рил красиво, доказательно и умно. Порой даже слишком умно. Помню, как я любо-вался им из своего угла, как восхищался, и, что греха таить, завидовал, и пытался за-учивать те выражения и термины, что легко и беспрестанно, целыми пригоршнями,

как зерна с ладони сеятеля, слетали с его языка. Помню, в какое тягостное недоумение я впал, когда мой кумир оказался в числе защитников трактата, о котором я, кажется, упоминал уже: насчет спасительности для российской экономики, политики и культуры немедленного перевода письма на латиницу. Должен признаться, таких защитников оказалось немного, и даже сам шеф в этом смысле оказался куда скептичнее; но тем с большим пылом и изяществом нынешний отец Нади, элегантный, уверенный, страстный, отстаивал, даже вопреки мнению самого Плеханова, свои взгляды. И как отстаивал!

Дискретный прогресс идентичности... Адаптационная трансформация архетипов...

Я в те времена и слов-то таких не слыхивал.

Лишь много позже я начал понимать, что это не более чем шаманство. Авла-савла-лакавла... Что такое дискретный прогресс? Это значит: у меня в имени прогресс, а вы там в деревне и так перебьетесь. А что такое дискретный прогресс идентичности? Это значит: я мыслю по-европейски и, значит, уже умный, а вы еще мыслите масштабами своего болота и, стало быть, дураки, поэтому то, что говорю я — важно и правильно, а то, что говорите вы — лягушачье кваканье.

Вот так переложить по-простому, и сразу становится ясно, что ничего нового не произнесено. Все старо как мир.

Понемногу разгорался костерок общей беседы, и каждому перепала от него толика тепла.

Маша была в ударе, шутила, подтрунивала, восхищалась, с готовностью ахала, хотя по временам мне чудилось, что ее веселое возбуждение имеет некий привкус истеричности. Смеялась она громче и как-то дольше обычного. И стреляла взглядом по сторонам, особенно на Надю: видите? я вся смеюсь, мне весело!

Анастасия Ильинишна оказалась на хозяйстве; домработницы у них то ли не было, то ли ее отпустили на этот вечер, чтобы не замутняла интим. Надя попробовала было взять на себя таскание блюд, обновление салфеток и прочую столовую лабуду, но мама ей не позволила и, чуть вперевалку кружа между кухней и столовой, ласково любовалась, как пригоже и ладно ее дочь и Сережка смотрятся рядом. От молодых будто теплое излучение катилось, то ли инфракрасное, то ли пожестче; солнечный ветер, давление которого я ощущал всей кожей.

Иногда, случайно, мы сталкивались с Надей взглядами, и тотчас они чуть ли не с деревянным стуком отскакивали друг от друга. Но даже глядя в другую сторону, я ощущал их с Сережкой, и когда они дотрагивались один до другого, меня било током.

Первая бутылка перетекла в нас, и тут, как обычно бывает, оказалось, что своей очереди в холодильнике дожидается вторая. Мало-помалу Маша и Анастасия Ильинишна замкнулись друг на друга: а как вы печете? А чем вы приправляете? Я, знаете ли, вот чем... А если в фольге...

Хозяин за столом царил, и царил по праву. Все тосты были его. Он лучился доброжелательностью, он был снисходителен и добр, как Дед Мороз, и столь же исполнен даров. Всех нас он со своих высот называл замечательными, прекрасными, умнейшими из умнейших и достойнейшими из достойнейших. Не знаю, что ему рассказывала о нас Надя; похоже, он, как и она сама в памятный первый вечер, держал меня за кого-то уровня инженера средней руки. Ну, может, если она о дипломатии все же обмолвилась — старшего письмоводителя в канцелярии наркомата. Я ему был не конкурент, и потому он души во мне не чаял.

Слегка захмелели наконец.

Я пропустил момент, когда разговор перестал быть ни о чем. Что-то, кажется, Маша спросила Анастасию Ильинишну насчет телевизора, вернее, кинокартины, недавно прошедшей по телевизору.

— Мы не смотрим, — опередив жену, снисходительно ответил Маше Надин отец. — Не по нраву нам нынешняя промывка мозгов.

— Это как? — спросил Сережка.

Будущий тесть посмотрел на него с удивлением и досадой. Будто сказав нечто совершенно простое, всем известное и очевидное, например «горшок» или «книга», и вполне готовый развивать мысль дальше, он на ровном месте столкнулся с нелепым непониманием; собеседник бестактно прервал его вопросом: «Что такое горшок?»

— Ну, как вам... — явно несколько смешавшись, проговорил ученый. — Вот, скажем, часто говорят об экономических трудностях. В таком, знаете ли, браваурном ключе: мол, преодолеем, превозможём... И в то же время — того еще у нас нету, этого нету... Никто не скажет честно, что мы сами во всех трудностях и нехватках виноваты. Советовали же в начале двадцатых умные люди сдать все в концессии англичанам, французам, американцам, японцам. Сейчас жили бы припеваючи, как сыр в масле катались. И, кстати, не возникло бы никакой угрозы войны, о чем сейчас опять-таки столь много и столь пафосно говорят. Если бы все ресурсы и производственные мощности Союза принадлежали передовым государствам, они бы свою собственность и защищали, потому что кто же расстанется со своей собственностью? Понимаете?

— С трудом, — хладнокровно ответил Сережка.

— Ну, молодой человек, вам просто не хватает кругозора. А может, информированности. Свою историю надо знать! — с доброй улыбкой отец Нади поднял назидательный палец.

Этот человек явно был заточен исключительно на общение с собственными подобиями или теми, кто смотрел ему в рот. С теми, кто либо вообще молчит, либо говорит с ним на одном языке. Если ему попадались иные, он этого даже не понимал.

Один язык — это очень важно, конечно. Скажем, для нас демократия — это всенародное одобрение, а для европейцев — беспрепятственная скупка. Для нас тирания — это коммунистов сажают, а для них — куш уплыл. Но надо же хотя бы вовремя сообщать, кто перед тобой...

— А теперь смотрите, что получается. Сначала противопоставили себя всему свету. Вызвали его, так сказать, на бой кровавый, святой и правый. Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. А когда свет наконец обратил на наш писк свое внимание, мы тут же заверещали: мы за мир! А зачем было играть в нелепую самостоятельность толстозадой ленивой России? Мы за мир, видите ли! И, разумеется, нам не верят. И правильно делают. Три года назад в Испанию вот полезли, а кто нас звал?

— Ее правительство, — сказала Надя. Я чувствовал, что ей, славной моей, нет, славной нашей девочке, что было сил хочется поддержать и защитить Сережку, но она не знает как. А тут все-таки был факт, и она сразу вставила словечко, не утерпела.

— Наденька, я тебя умоляю. Мы это правительство им поставили с условием, что оно нас позовет, оно нас и позвало. Ладно, морок кончился. В Испании наконец-то мир. Нет, нам опять нейдет: понесла нас нелегкая за тридевять земель в Монголию воевать. В Монголию, ты только подумай! Где мы, а где Монголия? Не навоевались еще, что ли? Опять в войнушку кому-то поиграть захотелось? Сколько крови в Гражданскую было пролито — нет, не идет урок впрок. Я вам открою секрет Полишинеля: у нас нет иного врага, кроме собственного правительства. Если японцы Монголию хотят — отдать им, и дело с концом, только пусть приплатят. Сколько можно было бы выручить дополнительных средств для финансирования социальных программ, для повышения окладов ученых, например. В конце концов, на улучшение бытовых условий в лагерях...

Я улыбнулся.

— Разворуют, — сказал я. — Вы даже не представляете, наверное, насколько именно там, где вроде бы самый жесткий порядок, вольготно воровать.

Он влет, по одной этой реплике, принял меня за собрата и мигом отмяк. С его лица сошло праведное возмущение и вновь сменилось снисходительным добродушием.

— Ну, как раз это я вполне могу понять, — лукаво пророкотал он. — Однако, честное слово, не вижу в том ничего дурного. Все равно деньги пойдут на повышение благосостояния граждан, а это ведь главное. Не тех граждан, так этих... Не зря же солнце нашей поэзии, наше все, еще когда припечатал: ворюга мне милей, чем кровопийца! У самих народ с голой задницей ходит, а они монголам школы строят. А потом вынуждены сами же защищать эти школы от бомбежек. Двойной убыток.

— Папа, — не выдержала Надя. У нее даже голос дрожал. — Папа, Сережа ранен был в небе над этой самой Монголией.

Ученый посмотрел на Сережку, как впервые. Его апломб на миг словно бы стусеивался — но только на миг.

— С твоих слов, Наденька, мне помнилось, что наш герой посвятил себя исследованию стратосферы, — проговорил он.

— Так и было, — невозмутимо ответил сын. — Но когда самураи вторглись, я попросил послать меня туда.

Будущий тесть поджал губы.

— Что ж, — задумчиво сказал он. — Человек, который по собственному хотению едет на другой край света, чтобы убивать живущих там людей, должен быть готов к тому, что в ответ его хотя бы ранят.

Бедная Надя уже не знала, что делать. Она не могла разорваться. Не могла ни Сережку бросить, ни на отца напасть. И тогда она сделала, наверное, лучшее, что может в такой ситуации женщина: невидимо для окружающих взяла под столом Сережкину ладонь с двух сторон обеими своими, погладила, а потом плотно прижала к себе чуть повыше колена. Меня опять прожгло вольтажом; не своей, так Сережкиной рукой я почувствовал преданную девичью плоть под паутинкой летнего платья. Вот что важно, говорила она руке; все остальное пустяки, а я тут, я твоя, дай срок — я заслону тебя и утешу, и это будет самым главным в жизни.

И тогда ребенок показал, что не лыком шит.

— Я думал, — спокойно сказал Сережка, — крупные ученые еще помнят, что в Монголии живут монголы, в Китае — китайцы, а японцы — в Японии. Монголов я и пальцем не трогал.

Анастасия Ильинишна от такой дерзости беззвучно ахнула.

Но будущий тесть оказался непробиваем. А может, включил дурака.

— Ах, молодой человек, — сказал он, — вам просто не хватает образования. Раскопки близ Чжоукоудяня показывают, что распространение синантропа...

Минуты три он просвещал нас относительно последних достижений антропологии. Не знаю, смог бы он объяснить простыми словами, при чем тут разнообразие гипотез насчет этногенеза племен, заселивших Японию в незапамятные времена; в контексте разговора это была чистая авла-савла-лакавла.

Потом он неожиданно стал сбавлять обороты.

— А вообще, — сказал он, откидываясь спиной на спинку стула и как бы показывая этим, что инцидент исчерпан, — все это пустяки. Мгновение истории. Не лучшее ее мгновение, что и говорить, но одно из последних мгновений перед рассветом. Пройдет лет двадцать, тридцать... По историческим масштабам — безделица. И воевать станет незачем. Ведь люди воюют за ресурсы. Только дети тузятся из-за фантазмагорий типа «Моя мама лучше — нет, моя мама лучше». Взрослые люди гибнут,

как говорится, за металл. Но и металл уже становится не так важен, как прежде. Главный ресурс — энергия. Когда энергии станет вдосталь, людям просто не из-за чего станет устраивать друг другу кровопускания. А это время не за горами. Вы, возможно, слышали о внутриатомной энергии? Рано сейчас говорить в деталях, но пометать-то не вредно? Году этак в семидесятом, семьдесят пятом...

И вот мы опять благоговейно слушали, не перебивая. С этого момента, думал я, пожалуйста, поподробнее. Мне нужно было составить впечатление. Но он не шел дальше неопределенных сладких видений: из каждой розетки, дескать, польется неисчерпаемый поток счастья. Столько всего сможет невозбранно крутиться и вертеться, что и сам человек от полного довольства преобразится неузнаваемо. Ах, если бы ученые головы могли уже теперь снабдить надежными источниками внутриатомной энергии японцев и немцев, те тут же перестали бы щериться на остальной мир, сделались бы сытыми и добрыми, и угроза войны рассосалась сама собой. Изобилие ресурсов — залог миролюбия. Увы, все это благолепие еще не близко. Наука только-только подступает, а от теорий до практики — годы и десятилетия упорного труда... Так что истинной задачей нашего правительства, если бы оно и впрямь думало о людях и о мире во всем мире, было бы любой ценой затушевывать, нивелировать конфликты, сидя тише воды и ниже травы, жертвенно уступать передовым государствам и в Европе, и в Азии и тянуть время до того момента, когда мирный атом насытит людские амбиции и сделает жирный вечный мир неизбежным и необратимым. Вот тогда и нам с главных мировых столов начнут перепадать куски попитательней. Когда я понял, что к конкретике он сам не перейдет, я решил его малость потормозить; не зря же я чуть ли не ночь напролет готовился к встрече.

— А я слышал, после открытия Флёрвым и Петржаком спонтанного деления урана в вашей науке многое изменилось, — сказал я. — Все оказалось и ближе, и страшнее. И вроде сверхбомба какая-то уже чуть ли не на подходе. Это слухи?

Он буквально онемел, отшатнувшись. Его припечатало к спинке стула так, будто домашний хомячок вместо того, чтобы в очередной раз уютно хрюкнуть, неожиданно произнес: «Гражданин, пройдемте». Я тогда даже не подозревал, на какую болезную мозоль наступил ему, упомянув деятельность ленинградского физтеха. Но сразу понял: стоит от благостного словоблудия перейти к тому, что касается его лично, олимпийское добродушие с него сдувает, как пух с одуванчика.

Придя в себя, он ядовито засмеялся.

— Гоша Флёрв! — сказал он с издевкой. — Как же, как же! Да он квартально отчета толком написать не может! Сумбур в голове! Пятилетнего плана собственной работы не в состоянии сформулировать, органически не в силах указать, какое открытие будет делать через три года, какое — через четыре. А ведь социализм — это не буржуазная стихия, это плановое хозяйство! Вы знаете, уважаемый, я по долгу службы присматриваюсь иногда к тому, что творит со своими птенцами Абрам Федорович Иоффе, и надивиться не могу. Им там буквально, извиняюсь, закон не писан. Вы знаете, какой у Флёрва показатель цитируемости? Не знаете? И никто не знает. Потому что никакой. Знаете, сколько у него работ за истекший год зарегистрировано в системах индексации? Одна! В скобках прописью — одна! Да и та весьма сомнительного свойства, и к тому же в соавторстве. Действительно — с Костей Петржаком. Между прочим, поляком по национальности, что само по себе настораживает. Вы знаете, какой у него пэ рэ эн дэ?

— Кто? — оторопело переспросил я.

Он отрывисто засмеялся.

— Вот! Вы, милостивый государь, даже слов таких не знаете! А беретесь меня учить физике!

И хотя вроде бы я ничему не брался его учить, а просто задал невиннейший вопрос, отчего-то оказавшийся для него неудобным, следующие минут пять он уязвленно и запальчиво разъяснял мне тонкости тех методик, при помощи которых в ученом обществе, во исполнение указа Кобы о повышении материального благосостояния работников умственного труда, обязаны оценивать трудовое рвение друг друга. Я знал, что у всех бездушных, но пыхтящих от натуги железяк и впрямь обязательно вычисляют ка пэ дэ — коэффициент полезного действия. Там-то понятно: надо всего лишь рассчитать отношение полезной работы к затраченной энергии, и дело в шляпе. Но в своем Наркоминделе я и не подозревал, какую бездну показателей ныне требуется, то и дело забрасывая свои прямые обязанности, самим же ученым перелопачивать и перемолачивать, чтобы нелицеприятно, без предвзятости и пристрастий, по однозначным формальным критериям отделять в своей среде зерна от плевала, агнцев от козлиц и талантов от бездарей. В итоге этих вычислений и появлялся на свет показатель результативности научной деятельности — тот самый пэ рэ эн дэ, в соответствии с которым надлежало определять надбавку к окладу за подотчетный месяц: два рубля, три или целых пять.

После лекции разговор перестал клеиться. Да и шампанское кончилось, и мы, еще посмеиваясь, еще обмениваясь какими-то невинными, ничем не чреватými репликами, вскоре как-то разом ощутили, что церемония иссякла. Сережка так и просидел остаток вечера с рукой на Надиной ноге и, пользуясь тем, что под скатертью не видно, бережно поднимался все выше и выше и добрался в конце концов до самой стратосферы. Каким-то чудом я и сына, и Надю все время чувствовал. Может, потому что сам хотел. Да руки коротки. Надя обмирала при всяком его поползновении, но не возражала ни сном ни духом; однако по тому целомудренному столбняку, что нападал на нее, стоило Сережке погладить повыше хоть мизинчиком, я подумал, что у них, похоже, ничего еще не было, похоже, они действительно ждали свадьбы. И стало быть, эта красивая, стройная, умная, славная, молодая женщина все еще, конечно, была девчонкой, школьницей, ее тело ждало и дожидаться не могло великого метаморфоза, чтобы выпустить из куколки бабочку; эта мысль петляла и кувыркалась в моей голове, при всяком кувырке залепляя мне горло чем-то горячим.

А вот это, похоже, в свою очередь все время чувствовала Маша.

В общем-то, вечер удался. Из четырех с лишним часов пира напряг подпортил каких-то минут двадцать, и благодаря самообладанию и доброй воле пировавших ничуть не погубил дела. В целом все оказалось лучезарно: роскошный стол, радушие и приветливость наперегонки, вкрадчивые, но непреклонные ласки молодых, не оставлявшие сомнений в том, что светлое будущее не за горами, умные мужские разговоры и домовитые женские; Маша и Анастасия Ильинишна, наспех записав друг другу несколько кулинарных рецептов, договорились делиться опытом и впредь. Переполненные общением, уставшие и говорить, и слушать, на обратном пути мы, в общем, помалкивали.

Уже перед сном Маша, сидя на кровати в одной рубашке, выставив круглое белое колено и одну ногу поджав под себя, другую свесив на пол, некоторое время мерила меня взглядом, а потом задумчиво сказала:

- Знаешь... У меня такое чувство, что эта девочка к тебе неровно дышит.
- Да ты с ума сошла! — возмутился я. Пожалуй, чуть более поспешно, чем надо бы.
- И ты к ней.
- Маша...
- Я видела, как вы друг на друга смотрели.
- Я на нее вообще не смотрел.
- Вот именно.

- Ну, знаешь...
- И она на тебя. Я уже давно...
- Маша, — я попытался обнять ее, но она вывернулась.
- Нет, это не выход.
- Что не выход? Откуда не выход?

Она отвернулась. Сгорбилась, глядя в угол. Глухо сказала:

- Ты будешь меня, а думать, что ее. Не хочу. Не могу.

Наутро после собиравшейся всякий понедельник коллегии, куда Лаврентий непременно являлся со сводкой сведений, поступивших по каналам политической разведки за истекшую неделю, я решил не откладывать дела в долгий ящик и подошел к нему. Дипломаты неторопливо выходили один за другим; кто-то, с наготове торчащей из рта папирсой, нервно щелкал зажигалкой на ходу, кто-то вполголоса, почти на ухо собеседнику, мрачно комментировал услышанное, а Лаврентий, еще сидя, аккуратно постукивал бумагами о столешницу, выравнивая края. Я навис над ним и сказал:

- Есть разговор.

Он вскинул на меня глаза над очками.

- Понял. Сейчас.

Разложил пригодившиеся ему во время доклада бумаги по прозрачным корочкам, потом убрал корочки в кожаную, с клапанами, папку. Щелкнул застежкой. Тем временем зал опустел, остались только мы. Теперь уже я удобно присел на краешек стола.

— Я, как верный друг и надежный партийный товарищ, поспешил исполнить твоя просьбу.

- Ты о папаше?
- Угу.

Глядя с любопытством, он откинулся на спинку кресла, чтобы удобней было смотреть вверх.

- Ценю, старина. Говори, не томи.

— Он, наверное, неплохой организатор и преподаватель, но в смысле реального дела, боюсь, от него даже в шарашке толку не будет.

У Лаврентия разочарованно вытянулось лицо.

- Даже так?

— Люди подобного склада очень полезны для создания научной среды, духа постоянной дискуссии, интеллектуального фехтования днем и ночью. Это без них никак. А вот лично двигать мысль вперед, мне кажется, ему не по зубам. Ну, и вольнодумство его такое, знаешь, нелепое. Пародия. Никого он с пути истинного уже не собьет. Накушались.

Лаврентий некоторое время молчал, задумчиво потирая вытянутым указательным пальцем губы от носа к подбородку и обратно. Будто делил собравшийся в гузку рот пополам.

— С одной стороны, хорошо, — сказал он. — Я и за него рад, и за тебя. Будьте здоровы, живите богато — а мы уезжаем до дому, до хаты. Но с другой... Ты меня в тяжелое положение поставил. Понимаешь, он очень сильно под Иоффе копает. Есть у меня подозрение, что хочет ленинградский физтех под себя подгрести.

У меня вырвалось:

- Так вот в чем дело!

- А что? — цепко спросил он. — Был разговор?

— Не то что непосредственно про физтех... Но вот Флёрва он с пол-оборота честить начал.

- Флёрв? Кто такой?

— Да не это важно...

— Для меня-то важней всего вот что. Если кто-то под кого-то прикапывается, надо принимать меры либо к тому под кого, либо к тому кто. Невозможно не реагировать и оставить в покое обоих. Поэтому если твоего не трогать, то... А Абрама беспокоить очень не хочется. Матерый человечисше.

— Замни для ясности.

— Тебе хорошо говорить... — уныло произнес он. — А мне потом, если всплывет, самому так по шее наkostenяют...

— Эх, Лаврентий, — сказал я. — Нам ли быть в печали!

Он покачал головой и поднялся. Взял свою папку, хотел идти, но я остановил его, тронув за локоть.

— А знаешь, как они у себя там в науке пискьями меряются?

— Что? — ошеломленно спросил он.

— Не знаешь?

Я кратенько пересказал ему вчерашнюю лекцию будущего тестя про пэ рэ эн дэ и прочие академические деликатесы. И про то, что за публикацию за кордоном они себе циферку вдвое больше начисляют, чем за публикацию на Родине. И, стало быть, еще рублем это стимулируют. И про то, что во исполнение указа Кобы (а Наркомфин при всем том ни рубля лишнего не выделил) научных их непосредственное начальство обязывает писать заявления с просьбами о переводе на полставки, чтобы они хотя бы прежние деньги получали, а согласно отчетности полочки сразу увеличиваются вдвое; и скоро, глядишь, Коба с чистым сердцем объявит народу, что вот, зарплаты счастливым работникам науки доведены, как и было обещано, до средних по региону.

— То есть чистое вредительство, Лаврентий. И все это под носом у партии!

Я не стал говорить, что еще вчера, слушая будущего тестя, припомнил удивившую меня несколько месяцев назад фразу Кобы — дескать, смертность по лагерям удалось понизить. Наверное, как зарплаты повысили, так и смертность понизили... Но походя тему лагерей с Лаврентием лучше было не трогать. Шут его знает; может, наверху этой пищевой цепочки был он сам.

Я и договорить не успел, а у него негодующе и хищно зашевелились волосатенькие пальцы; похоже, руки наркома зачесались в предвкушении принятия немедленных мер. Но это длилось лишь несколько мгновений. Даже очень могущественный человек всегда должен сознавать — и если не зарвался, то сознает — пределы своего могущества. Он может стараться их обойти, поднырнуть под них, он может прикладывать осторожные системные усилия для того, чтобы их раздвинуть, но очертя голову бодать эти пределы не станет. Глупо и опасно.

— Думаю, партия в курсе и рулит, как и во всем, — смиренно сказал он. — Но так или иначе, это не моя сфера ответственности. Это тебе в Наркомпрос. Или, еще лучше, в отдел ЦК по образованию и науке. Мне это не нравится, я бы повел дело иначе, но соваться в это не буду. И тебе не советую.

— Ладно, — разочарованно сказал я. И добавил на всякий случай: — ЦК виднее, конечно.

Надо отдать Лаврентию должное. Когда его поставили курировать атомный проект, он действительно повел дело иначе. И плевать ему было, что у Курчатова или, скажем, у того же Флёрва индекс Хирша жидковат, а у сопляка Сахарова и вообще равен нулю.

Как говорится, результат не заставил себя ждать.

Огонь

А вот эта «черная маруся» оказалась наша.

Когда ночью под окнами проезжает машина, ее медленно всплывающий из тишины приглушенный рык не нарушает сна, потому что, не обрываясь затишьем, говорит: я мимо — и честно тонет вдали. Если не спишь, тоже не тревожит. Проехала — и уехала, а ты остаешься в уюте, в сонном безмолвии по эту сторону родных каменных стен, таких прочных.

Но вот когда ночная машина останавливается у твоего подъезда...

Точно пещерный человек, сквозь собственный раскатистый храп слышавший непонятный шорох на самом пороге своего каменного обиталища, ты от внезапной тишины просыпаешься сразу.

И твоя жена тоже.

С полминуты мы лежали, не подавая вида, что проснулись, боясь даже дышать, и глядели в потолок. Там, лучась сквозь неплотно задернутые шторы, осветительной бомбой залегла меловая полоса. Когда гулко ударила внизу дверь парадного, мы переглянулись.

С лестницы донесся глухой железный вой карабкающегося вверх лифта.

— Оденусь на всякий случай, — стараясь говорить очень спокойно, предупредил я и откинул одеяло.

— Ты думаешь...

— Ничего я не думаю, Маш. Говорю же — на всякий случай. Что мне, трудно потом штаны опять снять?

Я успел надеть и домашние брюки, и футболку и торопливо приглаживал ладонью встрепанные со сна волосы, когда в дверь позвонили.

Звонок был не расстрельный. Не длинный и не короткий, бытовой, будто соседка пришла за солью или, скажем, попросится телевизор посмотреть. Только почему в четвертом часу? Хотя вдруг ей не спится... Я зажег свет в прихожей и открыл.

Не соседка.

— Чем могу? — спросил я, сглотнув.

Классика. Трое в штатском.

Без нахрапа, точно неторопливые бульдозеры, что само по себе было бы обнадеживающим знаком, если б я вообще хоть что-то понимал, они вошли один за другим, ни слова не говоря; и только когда выстроились вдоль низкого стеллажа, где мирно дремала наша обувь, один из них, с бритой головой, коренастый и очень, очень крепкий, проговорил:

— Добрый вечер. Могу я видеть капитана...

— Что? — обомлел я.

Он назвал Сережку.

Им был нужен не я. И не Маша. И не папа Гжегош. Им нужен был сын.

— Да, он дома. Он на долечивании после...

— Мы знаем, — прервал бритоголовый. — Разбудите.

— А в чем дело?

— Есть вопросы.

Я в каком-то ступоре засосал собственную нижнюю губу и не двинулся с места. Смотрел в глаза бритоголовому и не мог пошевелиться.

— Раньше начнем, — сказал тот, — раньше кончим.

Я пошел в Сережкину комнату. Гости смиренно остались в прихожей, даже не пробуя сунуться дальше. Это тоже можно было понять как добрый знак. И обыска вроде не предвиделось.

Я тронул посапывавшего Сережку за голое плечо. Вот это нервы. Молодость. Не то что машина под окнами его не разбудила, но даже незнакомые голоса в прихожей. Однако при том надо отдать ему должное: от моего легчайшего прикосновения он проснулся мгновенно, по-военному.

— Что?

— Подъем, боевая тревога, — негромко сказал я и не добавил более ни слова. Встанет, выйдет, поймет сам.

Через каких-то три минуты сын, с орденом на груди и клюкой в руке, в безупречно сидящей, разглаженной ладонью и заправленной в рюмочку гимнастерке, поскрипывая ремнями, вышел в прихожую. Троица впилась в него одинаковыми глазами.

— Вам придется проехать с нами, — сказал бритоголовый.

На лице сына не дрогнул ни единый мускул.

— От винта, — ответил он.

Бритоголовый перевел взгляд на меня.

— Извините за беспокойство, — сказал он. — Можете продолжать сон.

Я едва сдержал уже готовый вырваться визгливый хохот. Ненавижу истерики, но тут... Едва сдержал.

Когда они вышли, и дверь закрылась, и металлический вой лифта, прерываемый клацаньем на этажах, потянулся, удаляясь, вниз, я на несколько мгновений прислонился к стене спиной. Ноги не держали. Открылась дверь в комнату тестя. Он был уже полностью одет и в руке держал узелок.

— Опоздал, — сказал я. — Долго штаны натягиваешь. Это не к тебе, папа Гжегош. В одну реку не ходят дважды.

— Еще как ходят, — ответил он, озираясь и пытаясь понять кого.

— За Сережкой, — сказал я. От изумления у него на миг округлились глаза, а потом на лице проступило мрачное торжество: мол, я так и знал.

— Ну что? — спросил он. — Уже и новых героев в ту же молотилку?

— Слушай, форпост Европы, — сказала я. — Только не сейчас.

Не смертельно, лихорадочно думал я. Не смертельно. Ни его, ни меня пальцем не тронули... Назвали на «вы»... Не сорвали награды и знаки различия... Не отобрали трость — а ведь стало бы, если моча в голову ударит или если получена соответствующая инструкция. Демонстративно вежливы были, просто демонстративно. Извинились — это вообще ни в какие ворота. Не смертельно. Совершенно другой код. Непонятно — да. Но явно не смертельно.

— Что теперь? — спросил тесть.

— А ты разве не слышал? — ответил я. — Можешь продолжать сон.

Он дернул губами и, резко повернувшись, ушел к себе. Плотно закрыл дверь.

Все равно я услышал, как звякнул стакан.

В спальне горел ночник. Маша сидела на кровати, обхватив колени руками и глядя в стену.

— Ты им отдал его без единого слова, — сказала она, глянув на меня коротко и непримиримо.

— С этими говорить не о чем, — ответил я.

— Ты им его отдал! — крикнула она.

— Ты бы хотела, чтоб я начал отстреливаться? Вот тогда бы нам всем конец.

— А так — всего лишь ему, да?

— Нет, — сказал я. — Не глупи. Это не то, что тебе показалось.

— А что? На прием в Кремль так не увозят.

— Да.

— Так что тогда?

— Еще не знаю.

Было без четверти четыре. Звонить куда-то — бессмысленно. Коба, возможно, и не спит еще, но наверняка не будет обрадован, если ему жахнуть сейчас по мозгам нашими проблемами. Лаврентию звонить раньше девяти утра тоже не стоило. Озверевает попусту, безо всякой пользы для дела. Минут пять я катал варианты и так и этак; очень трудно было сосредоточиться под осуждающим и нетерпеливым взглядом Маши. Ничего не вытанцовывалось; по всему получалось, надо ждать. Пусть каких-то несколько часов, и пусть даже они могли оказаться для сына нелегкими.

— Хочешь брому? — спросил я.

— Ты за кого меня принимаешь? — спросила она. Действительно, она не проронила ни звука, ни слезинки. — За кисейную барышню? Не дожدهшься. Я колючую проволоку под пулеметным огнем резала. И не вздумай меня утешать руками. Я ничего не забыла.

— Чего ты не забыла? — устало спросил я.

— Ничего не забыла.

— Чего ничего?

Она не ответила.

Больше мы не разговаривали. Сохранять неподвижность было труднее всего. Тело требовало действий: стрелять, бежать, ползти, карабкаться, закладывать адские машины. Душить. Но было бы бездарно и недостойно бегать из угла в угол. Маша тоже осталась сидеть — в полупрозрачной соблазнюшке, такой беспомощно-трогательной сейчас, точно любимый зайка на подушке больного ребенка; со спутанными волосами на плечах, грудью в голубых прожилках, сухими глазами и ускользающим от меня взглядом.

Светало. Снаружи зазвучало утро; подали голоса просыпающиеся птицы, невозбранно прокатил по пустой улице первый троллейбус, что-то уронил дворник. Еще час, думал я. Еще какой-то час. С кого начать? Кому звонить первому, чтобы не напортачить и не сделать хуже? Наверное, сначала окольно... Климю? Он же оборонный нарком, его подпись еще не просохла на приказе о Сережкином награждении... Васе Сталину? Занавески на окнах медленно пропитывались розовым соком и начали светиться, как лепестки цветов на просвет. И в этот момент в замке лестничной двери заскрежетал ключ.

Меня будто вытряхнули из кресла. Я влетел в прихожую как раз, когда открылась дверь, и успел увидеть, как Сережка — невредимый, без единого синяка, без единой царапины, в нетронутой, по-прежнему безупречно сидящей форме — втискивается с лестничной площадки. Он двигался медленно и неуверенно, точно забыл, как работают и за что отвечают руки-ноги, и вспоминает на ходу. Притворил дверь. Замок щелкнул. Сын отвернулся от двери и только тогда увидел меня. Механически улыбнулся; глаза остались мертвыми.

— Все нормально, пап, — сказал он. — Перепугал я вас? Все нормально. Мама как? Сердце не прихватило? Ты ей валидолу дал?

Его взгляд съехал с меня вбок; я обернулся. Маша, белая, как скатерть, уже стояла в дверях, прислонясь плечом к косяку. Сережка шагнул к ней, обнял свободной рукой и чмокнул в щеку.

— Порядок, мам, — сказал он. — Погода летная.

Он пристроил трость у двери, неловко переобулся в домашнее и, хромя, двинулся к двери деда. Постучал. Услышал изнутри «Заходи!» и зашел. Остановился на пороге.

— Дед, — сказал он, — у тебя всегда ведь водка есть. Поделись.

Из прихожей в открытую до половины дверь было видно, как папа Гжегош, и впрямь, похоже, пытавшийся снова спать, вскочил с постели в одних трусах. Метнул-

ся на высохших, но по-прежнему волосатых кавалерийских ногах к потайному припасу и без единого слова рассекретил бутылку и стакан. Трясушейся рукой, расплескивая, налил до краев. Протянул Сережке; стакан скакал в его пальцах. Сережка взял и, как воду, выпил до дна. Окаменевшая у косяка Маша вдруг суматошно встрепенулась, точно испугнутая курица, и, смешно шлепая босыми ногами, побежала на кухню. Сережка ткнул пустым стаканом в сторону деда.

— Еще? — со знанием дела спросил тот.

Сын немного подышал обожженным горлом и сипло сказал:

— Да.

Маша, торопливо семеня, уже бежала назад с неровно нарезанными ломтиками ветчины и сыра на блюде.

— Закуси, Сереженька, — пролепетала она, умоляюще тыча блюдцем в сына. — Закуси.

— Спасибо, мам. Сейчас.

Он принял у деда стакан и, не задумываясь, понес ко рту. Маша ждала рядом с закуской в одной руке, а палец другой по-детски сунула в рот; я подумал, что она впопыхах порезалась. И тут водка дошла.

— Я дрянь! — страдающе сказал сын. — Я дрянь, понимаете? Мразь, слизь! Из-за таких, как я, слюнтяев нам коммунизм и не построить.

Никто не нашелся что ответить.

Он подождал мгновение, а потом выхлебал второй стакан так же, как и первый: механически, одинаковыми ритмичными глотками. Наконец-то нашарил, не глядя, ломоть сыру и положил в рот. Начал жевать. Потом перестал. Его повело. У него ослабели ноги, и он с пустым стаканом в руке, с раздутой левой щекой опустился на дедов стул.

— Ведь я же поручился за него, — сквозь непрожеванную закуску невнятно пожаловался он. — Поручился. Я в него верил. Я ему как себе верил!

Помолчал. Потом у него заслезились глаза.

— А теперь меня про него допрашивают... Лучше бы меня арестовали, — беспомощно сказал он. — Заслужил, — он громко икнул. — Но теперь — вот!

Его пальцы сжались так, что я испугался, как бы он не раздавил стекло. Пустым кулаком он что было сил ударил себя по колену.

— Вот так надо! — выкрикнул он с яростью и болью. Ударил сызнава. — Вот так! Чуть-чуть оступился, слегка напортачил — все! Нет тебе веры! Как кремень надо! Как кремень!!! Слабаков в расход! Никому!!! Нельзя!!! Помогать!!!

Изо рта его фонтанами летели крошки и слюна.

— Проглоти, Сереженька, — беспомощно сказала Маша. — Проглоти... И вот еще возьми кусочек... Ты же любишь ветчинку. Вот ветчинка, видишь? Скушай...

Я позвонил в половине одиннадцатого. Не мог больше ждать.

— Коба, мне срочно нужно уехать. Срочно.

— Ты спятил, — всю расслабленность и незлобивую сварливость, столь свойственную людям, когда их беспокоят поутру, с него смело. — Что ты несешь? Риббентроп прилетает.

— Я успею, — сказал я.

Слева до самого берега тянулись пойменные луга, уютно горя яркой зеленью, по которой так и тянуло порскнуть босиком, а за светлым зеркалом реки синей заманчивой полосой стоял, обещая грибов, лес. Справа впереди уже проросли из ровного поля косо торчащие в небо фермы обвалившегося корпуса, и по мере того, как норовистая «эмка» скакала по проселку, они раздвигались вширь и вздымались к безмятежному небосводу все выше, точно никак не желающий угомониться обугленный труп

тянул скрюченные пальцы, мечтая напоследок выдрать из живой синевы слепащие стога облаков и неутомимые серпики птиц.

— Любит вас товарищ Сталин, — сказал начальник полигона. Это должно было прозвучать добродушно, но сквозь добродушие прозвучали нотки неосознаваемой, непроизвольной зависти. — Ох, любит!

— Товарищ Сталин не меня любит, — честно ответил я. — Он со мной спорить любит. Это разные вещи.

— Нам тут кремлевские тонкости до лампочки, — сказал начальник полигона. — Это все ваши дела. Я знаю одно: чтобы вот так вдруг оказывать, как в приказе сказано, всяческое содействие...

— Все очень просто, — сказал я. — Мне скрывать нечего, и темнить я тоже не собираюсь. Мой сын служил с Некрыловым. Когда тот совершил проступок, ручался за него. И теперь сам не свой, себя винит. Думает, всему виной некрыловская халатность. Да и у самого неприятности не исключены, допрашивали уже. Мол, почему вы за него поручились, как давно вы его знаете, что он вам за поручительство сулил...

— Вот оно что, — помедлив с открытым ртом, пробормотал начальник полигона. — То-то я отметил себе: фамилия у вас знакомая. Думал — однофамильцы.

— Сынище мной никогда не козыряет, — сказал я. — Да и я им. Хотя мне им, во всяком случае, уже пора. Девять сбитых над Халхин-Голом.

Начальник полигона показал мне большой палец, а потом сказал:

— Яблочко от яблоньки.

— Наверное.

— Тогда понимаю. Однако вряд ли смогу помочь. Мы до очага возгорания-то только пару часов назад докопались.

Машина остановилась у большой, кипящей цветами клумбы, по ту сторону которой красовался уютный административный корпусок. Чье-то бывшее имение, не иначе — светло-желтые стены, белые колонны, треугольный фронтон и бельведер, приспособленный, похоже, под командно-диспетчерскую вышку... Мы наконец покинули кабину. Разминая ноги, обошли вокруг клумбы, здание управления сдвинулось в сторону, и за ним вдали открылось пожарище. Ветер душил запахом гари. Точно целый мир сгорел.

— Обидно, — проронил начальник полигона. — Я сам чуть в петлю не полез. И, между нами говоря, еще неизвестно, не засунут ли меня туда доблестные органы. Полгода готовились, новое оборудование гоняли на всех режимах, газгольдеры, насосы... Ткань перебрали, прощупали вручную чуть ли не каждый сантиметр — не пересохла ли. Это ж крайняя тренировка была. На среду предварительно уже наметили действительный подъем. Может, я еще застрелюсь. Seriously. Вот дождусь хотя бы первых результатов расследования и застрелюсь. Я ж всю душу вложил.

Я помолчал, а потом сказал:

— Если те, кто душу вкладывает, перестреляются, кто работать-то станет?

Он невесело засмеялся. Покачал головой, потом сказал:

— И то верно. Вот же... Я слышал, у буржуев такая профессия есть — психотерапевт. Вам бы, я гляжу, туда!

— Мне и тут есть чем заняться. Не хватало еще буржуям муки их совести поганой облегчать. Пусть их покрючит.

Возгорание произошло непосредственно в испытательной камере, и по понятным причинам уже через несколько минут полыхало так, что сделать, в сущности, ничего было нельзя. Погибло в бешеном химическом пламени и взрывах газгольдеров

пять человек, в том числе оба отработывавших экстремальные перепады давления стратонавта.

И вся вина Некрылова, вся, заключалась только в том, что он, согласно графику дежурств и вдобавок старший по званию, именно в день несчастья отвечал за противопожарную безопасность. Реально ли он не досмотрел чего, или случилась роковая случайность из тех, что предусмотреть нельзя: закоротило, искрануло, клапан потек, вентиль дефектный, прокладка потеряла эластичность... да шут ее знает, эту новую технику, где, когда и в чем бес попутает. Неизвестно. И даже если через месяц кропотливой работы или через два доведется выяснить, что вот именно из этой муфты в мир изошла трагедия, или вот от этой копеечной резинки размером с обручальное кольцо, или вот от этой медной волосинки, то и тогда, скорее всего, нельзя будет наверняка сказать, мог ли ответственный за безопасность, осуществляя штатную проверку и текущий осмотр, заметить неполадку и предотвратить сбой, или дефект был настолько незаметен, настолько внезапен, что даже самый добросовестный и дотошный человек не в силах был отвести огненную гибель.

Конечно, на то и назначаются ответственные, чтобы приглядывать за всем и, случись что, отвечать. Тут спору нет. Если назначать ответственных и не спрашивать в первую очередь с них, такие назначения превратятся в фарс, а то и в синекуру, а всерьез никто ни за чем приглядывать не станет. Иван кивает на Петра, нам ли не знать. Но по факту Некрылов за все уже ответил. Черные рассыпающиеся кости обоих стратонавтов лежали под обломками вперемешку, и даже понять, какие из них чьи, было невозможно.

Пять часов я просматривал то копии старых рекламаций, то протоколы бывших проверок, то наспех, курица лапой, набросанные текущие отчеты, что успевали подойти от бьющихся среди обгорелых руин спасателей и дознавателей. Доводил их до бешенства, приставая с расспросами, когда они хоть на полчаса отползали с погорелья, чтобы отдышаться, выпить воды и распрямить спину кто на мягком диване в вестибюле, кто просто на траве — потные, пропахшие горькой гарью, с воспаленными красными глазами, полными отчаяния, насмотревшимися на такое, что и на войне не всяк день увидишь... И понял — нет. Никогда люди не смогут узнать доподлинно, есть ли виноватые.

Ни обвинения, ни оправдания. Никогда.

На прощание мы обменялись с начальником полигона крепким рукопожатием. Солнце уже касалось горизонта. Как в детстве, оно садилось за лес. Картошка выкопана, ботва сметена в стожок — и сожжена. Сожжена. Вот такая теперь наша ботва.

— Спасибо вам.

— Да не за что. Привет Москве.

Он помолчал и фатовато спросил:

— Так не стреляться, говорите?

— Я бы подождал, — приняв его ернический тон, ответил я. Пожалуй, он единственно сейчас подходил, а то пришлось бы впасть в пафос, ненавистный всем дельным людям.

Начальник полигона глубоко вздохнул. Запрокинул голову так, что едва не потерял фуражку; в последний момент поймал ее на затылке, с минуту смотрел в предвечернее небо. В прозрачную зовущую глубину, которой было еще так невообразимо много над летающими высоко-высоко стрижами. Потом сказал с болью:

— Прощай.

— Стратосфера куда не денется, — поняв, сказал я.

— А мы?

Я в ответ только сжал его локоть.

— Думали до войны успеть, — негромко признался он. Помолчал. — А теперь не знаю...

Долго мы смотрели в небо оба. Каждый видел свое.

Домой я вернулся около десяти вечера во вторник. Успел.

Сережка к этому времени уже проспался и протрезвел, но ему все еще было нехорошо. После алкогольного удара всегда тоска, а тут еще и впрямь тоска. Когда я вошел к нему, он лежал в майке и трусах на кровати, закинув за голову руки, и смотрел в потолок. На звук открываемой двери он лишь слегка повернул голову.

— Привет, пап, — негромко сказал он.

— Привет, сын. Живой?

— Пациент скорее жив, чем мертв. Мама за тебя тут волновалась.

— Успел, как видишь.

— Ну и что там?

— Там... Вот что там.

Я присел на край его постели.

— Никто и никогда не сможет теперь сказать точно и определенно, виноват Вадим или нет. Запомни. Ты за него поручился, но ты никогда не будешь знать, прав ты был или нет. И теперь тебе с этим жить.

Он не ответил, но у него задрожали губы.

— Но ты ведь сталинский сокол, а не фашистский ас. А знаешь, чем отличается сталинский сокол от фашистского бубнового аса? Не мастерством, нет. Мастерами и они быть умеют. Еще какими. И не любовью к семье. Семью они еще как могут любить, порой крепче нашего. Но фашистскому асу, чтобы спасти незнакомого человека, надо знать, что тому уже череп циркулем измерили и просчитали челюстной угол и что они там еще делают — все сделали и сказали: ариец. Тогда ас скажет: йа, йа, ви есть под моя защита. А сталинский сокол, если видит человека в беде, защищает его, не спрашивая. Ничего о нем не зная. Достаточно того, что тот в беде. Большевик, меньшевик, красный, белый, ариец, не ариец, виноват он в своей жизни в чем-то или не виноват... Человек. Человек, о котором могут подумать хуже, чем он, возможно, был, — это тоже человек в беде. Перестань гадать, виноват Некрылов или нет. Бери его под свое крыло, сокол. Навсегда.

Он глубоко вздохнул, и я понял, что, пока я говорил, он не дышал.

И настала ночь. И настало утро.

Вот о чем я не хочу вспоминать, о чем категорически не собираюсь рассказывать, так это о переговорах. Формально — потому что и ни к чему, об этом уже столько написано, что черт ногу сломит, читать не перечитать. А по сути — потому, что даже теперь мне об этом вспоминать просто тошно. Просто тошно. Сколько можно было биться головой в стену? То есть сколько надо, столько и можно, и мы бились бы и дальше хоть месяц, хоть год, но не то что года, а и месяца у нас впереди не было, потому что просвещенные европейцы с промеренными черепами уже прогревали моторы.

Риббентроп со свитой еще утром приземлились в Москве и ждали, раздражаясь все пуще, но смиренно терпя, а мы по-прежнему глубокомысленно витийствовали с Драксом и Думенком. Это было как издевательство. Хотя почему, собственно, «как»? Когда английский адмирал на пятый, что ли, день таких долгожданных, так мучительно доставшихся переговоров вдруг сообщил, что у него нет полномочий на заключение вообще каких-либо договоренностей, но если мы все теперь переедем обратно в Лондон, то он их вскоре легко получит, оставалось только смеяться.

И нынче, после перерыва, демократы вновь так и не смогли похвастаться ни документальными подтверждениями своих прерогатив, ни хотя бы черновыми планами

реального военного взаимодействия, ни тем, что уж на худой-то конец уговорили гордых шляхтичей позволить нашей славной троице их спасти.

Оставались даже не недели — считанные дни до первых бомб, до первых оторванных детских рук и ног, до первых женщин, раздавленных стенами своих же любовно обставленных гнездышек, до Гляйвица, до Вестерплатте, а эти... И, главное, были уверены, что все козыри у них на руках, и чем дольше мы будем просиживать штаны, тем для мира лучше. Хотелось отбросить политесы за их уже явной ненадобностью и попросту спросить, глядя в глаза: вы хоть понимаете, что творите? Но даже это, я прекрасно понимал, их бы не пробило. Только пожмут плечами своих блестящих, вычурных мундиров, смотрившихся рядом с простецкой формой Клима, как елочные игрушки рядом с рабочим мастерком, да брови поднимут: йес, уи, мы ищем взаимоприемлемые развязки весьма сложных и щекотливых международных... И потом — еще полчаса говорильни. А рожи самодовольные, упоенные своей неуязвимостью и заведомым, априорным превосходством: я, конечно, всех умней, всех умней, всех умней. Дом я строю из камней...

В середине дня Коба собрал нас на короткое совещание. Пора было что-то решать.

— Клим?

— Глухо, Коба, — с необычной для себя резкостью ответил Клим. Его буквально трясло от бешенства. — Глухо. Это кастраты. Они не то что воевать — они на Гитлера голос повысвить и то не посмеют. Языками почесать приплыли.

— Вячеслав Михайлович?

Слава некоторое время только сопел. Видимо, подбирал формулировки помягче. Потом заговорил.

— Англичане и французы, в сущности, заталкивают нас в союзники к Гитлеру, — сказал он. — И я не исключаю, что не без дальнего прицела. Когда перед ними окажется союз двух враждебных им государств, они с чистой совестью начнут с нас. Например, с бомбардировок Баку и Грозного, чтобы лишить нас нефти с перспективой оккупировать Кавказ. И скажут: это мы с Гитлером так боремся, чтоб его танки встали и самолеты попадали.

— О военном союзе с Германским рейхом речи не идет, — сдержанно напомнил Коба. — Только ненападение и наш нейтралитет. Все.

— С них станется любой наш договор задним числом назвать военным и потом действовать соответственно.

— Ну, это все эмоции. Домыслы, — Коба помолчал. Он даже не курил сегодня, и это как нельзя лучше показывало, что и он, в общении с демократами непосредственно не участвовавший, тоже кипит. — Как ты оцениваешь перспективы продолжения переговоров?

— Никак. У них установка на пустое затягивание, это уже очевидно. Как ни трудно в это поверить, какой бы дикой с нашей точки зрения такая установка ни казалась — она есть. Уже ручаюсь. А поляки... — он умолк. Похоже, просто не находил слов. Посопел, потом развел руками. — На проблеме прохода к германской границе через свою территорию их просто заклинило. А если такого прохода не будет, все договоры бесполезны. В случае конфликта нас же и обвинят, что мы не выполняем союзных обязательств. И демократам плевать будет, что нам к немцам просто не подойти.

— Анастас?

Тот тоже ответил не сразу, то ли собираясь с мыслями, то ли пытаясь сформулировать их как можно более обтекаемо.

— В смысле развития нашей промышленности, повышения обороноспособности, ускорения технологической модернизации... — начал он, как по писаному, но

потом загнулся. Укусил себя за верхнюю губу. И наконец решился: — Немецкие предложения представляются достаточно приемлемыми.

Коба посмотрел на меня.

Я молчал.

И он молчал. А раз он молчал, то и все молчали.

Он смотрел, не мигая.

Я досчитал до десяти.

— Есть лишь один способ сделать возникновение нашего военного союза с Францией и Англией против Германии неизбежным, — сказал я. — Автоматическим.

И замолк. Мне казалось, я уже сказал достаточно. Любой сообразит, о чем речь, а мне не хотелось говорить дальше. Язык присыхал к нёбу. Или к глотке. Кто его разберет, куда он присыхает.

— Какой же? — с подчеркнутой заинтересованностью спросил Коба, словно бы совсем не догадываясь, о чем я. Придуривался, конечно. Я был уверен: уж он-то понял меня с полуслова.

Я долго не отвечал. А потом вдруг увидел себя со стороны. Как троечник на экзамене, подумал я. Каждое слово — клещами...

— Использовать факт того, что Англия посулила гарантии Польше, — сказала я.

Было так тихо, что казалось, если еще чуток напрячь слух, можно услышать, как бьет в Лондоне Биг-Бен, отрубая последние часы буколической жизни старой доброй Англии. Великой колониальной империи, владычицы морей.

Если хочешь что-то продлить в неизменности навсегда — потеряешь непременно и страшно. И уж воистину навсегда.

— Поконкретнее, пожалуйста, — сказал Коба.

Я понял: он от меня не отстанет. Он хотел, чтобы я назвал все своими именами. Наверное, думал, что этим, как настоящий друг, помогает мне преодолеть то, что он считал пусть простительной, но все же слабостью. Простить-то, мол, можно, семья — это святое, но изживать — пора.

Ну что ж...

— Если мы заключаем пакт с немцами, Гитлер с высокой степенью вероятности нападает на Польшу, — ни на кого не глядя, бесстрастно начал я. — Если не нападает, то и прекрасно. Мы получаем немецкие технологии и кредиты, немцы — наше сырье. Но если нападает, Англия и Франция из страха окончательно потерять лицо и расстаться со статусами великих держав объявят войну Германии. Как они станут воевать — это уж другой вопрос, это не наше дело, но, во всяком случае, станут. Если Англия и Франция находятся в состоянии войны с Германией, а Германия нападает на СССР — тогда Англия, Франция и СССР автоматически оказываются по одну сторону фронта. Союз, какого мы добивались в течение двух лет, возникает сам собой. И даже если наши хитроумные западные партнеры попытаются от реального взаимодействия увильнуть, все равно мы вступим в войну, как минимум, не имея их на стороне Гитлера. Что, если вспомнить их маневры последних лет, уже немало. А как максимум — имея союзниками. Против их воли, разумеется, но в состоянии войны отвернуться они не смогут.

Некоторое время Коба бессмысленно шарил по карманам в поисках трубки. Потом нащупал, даже покрутил в пальцах, но вынимать не стал и осведомился:

— Есть другие мнения, товарищи?

— А как же Польша? — неловко спросил Анастас.

Коба резко обернулся к нему. Его усы неприязненно шевелились.

— Вот я прям щас зарыдаю, — сказал он. Помолчал. — Ответь, дорогой. Руководитель Советского Союза при конфликте интересов двух стран, одной из которых являет-

ся Советский Союз, чьи интересы должен предпочесть? Той страны, за которую он отвечает, или той, которая только и знала, что вредила стране, за которую он отвечает?

Анастас с мгновенно запыхавшим лицом опустил голову и уткнулся взглядом в сукно стола.

И тут я вдруг словно услышал голос Маши: вы спасете Польшу?

— Надо еще отметить, — в полной тишине сказал я, — что это единственный шанс без войны спасти от немцев хотя бы ту часть Польши, которая не против того, чтобы ее спасли. Ту, где Варшава вынуждена то и дело предпринимать карательные акции. Там нас многие ждут. В конце концов, даже по плану Керзона эти территории должны были отойти нам.

— Гарное предложение, — вдруг подал голос Никита. И добавил мечтательно: — Подрастим Украину. Республиканскую столицу в Киев перенесем... А может, и союзную, товарищ Сталин? А? Все ж таки мать городов русских.

— Думаю, — с отеческой симпатией глядя на Никиту, мягко сказал Коба, — у нас будет довольно много более срочных дел.

Он помолчал, то ли собираясь с мыслями, то ли выжидая, не предложит ли кто чуда.

— Что ж, — для очистки совести он еще раз обвел нас взглядом. — Есть еще какие-то мнения? Предложения? Замечания? Возражения? Не стесняйтесь, товарищи. Надо принимать решение.

Ответом ему была тишина.

— Тогда, — сказал Коба, — так и поступим.

Буднично сказал, запросто. Словно выбрал удочку, с какой пойдет на зорьке по плотву.

Если англичане и французы двигались, как вареные, и вообще напоминали лениво болтающиеся в остывшем бульоне клецки, то Риббентроп со своей бандой влетел, как гоночный «феррари» в коровник.

Он сверкал запонками и зубами, чеканил шаг и речь, льстил, расточал, обещал и заверял. У Риббентропа счет шел на часы. Вернуться в Берлин с пустыми руками он не мог. Ни по личным соображениям — фюрер бы с него три шкуры снял, ни в виду ближайшего будущего, уже бесповоротно подставленного «юнкерсам» и «хейнкелям». А мы...

Дипломатия дипломатией, но когда мы оказались с полномочными эмиссарами рейха под одним потолком, внутри одних стен, мне стало чудиться, будто мы в чумном бараке. Хотелось дышать пореже и помельче, а лучше бы вообще не впускать воздух в легкие. Не ровен час, подхватишь.

И, похоже, такое чувство было не у меня одного, потому что даже стальной Коба под конец сорвался. Подписи уже были поставлены, когда на суетливом импровизированном банкете он, поднимая бокал, вроде бы с обычной своей неторопливостью и невозмутимостью сказал: «Я знаю, как немецкий народ любит своего фюрера, и поэтому хочу выпить за его здоровье». Ах, красавица, с невольным восхищением подумал я. Сумел найти формулировку и не вызывая хамскую, и вполне однозначную. Если перевести с дипломатического на человеческий, она значила вот что: лично я с вашим фюрером в одном поле и гадить не сел бы, но поскольку вы его демократически выбрали и по сию пору обожаете, то получите и распишитесь. И Риббентроп это понял. И ничего не мог поделать: с протокольной точки зрения фраза была безупречно корректной, да еще с уважительным упоминанием того самого дас дойче фольк, именем которого и сам фюрер оправдывал все. Рейхсминистр, конечно, не подал виду, он дежурно цвел победным цветом, вылаивал комплименты, совал свою пятерню туда-сюда для страстных рукопожатий, но я был уверен: он запомнит. И припомнит. Если мы дадим ему такой шанс.

А вот с Шуленбургом я взглядами так и не смог встретиться. Он был как механический. Говорил — точно заводной будильник трезвонил. Завод кончался — умолкал. И явственно избегал меня. Даже он не верил своему министру. Что уж было говорить о нас.

Когда все завершилось, мы не смогли разойтись.

Невмоготу было остаться в одиночестве, наедине с мыслями, с совестью глаза в глаза. Не сговариваясь, потянулись снова к Кобе в кабинет. Он не возражал. Хотелось прополоскать руки и души с хлоркой.

Ну, руки — это уж кто как сумеет, а вот для душ у мужчин существует лишь одна достойная хлорка. Не валерьянку же глотать.

Выпили киндзмараули. Выпили хванчкары. Не брало. Коба пошептался о чем-то с Анастасом, и вскоре принесли несколько бутылок армянского коньяку. Разлили; наскоро подышав изысканным ароматом, заглотили. Непроницаемые тяжкие гардины на окнах мало-помалу стали наливать тревожным оранжевым светом, словно по ту сторону разгорался не новый августовский день, а пожар.

Мы почти не разговаривали. Наговорились досыта, и, собственно, все уже было сказано. Говорить стало не о чем, оставалось лишь переварить произошедшее и, надрываясь, тянуть ляжку дальше. Тактичный и преданный ритуалам Анастас попробовал предложить тост за мир во всем мире, но Коба, благодарно положив ладонь на его руку, отрицательно покачал головой. Не то. Какой уж тут мир; чай, не дети. По первости незаметно, исподволь находя лазейки и щелочки в наросшей за годы и годы броне, коньяк все же начал просачиваться к сердцам; Коба пригорюнился и подпер щеку ладонью, смешно скособочив усы и щеку. Было тихо и глухо, а снаружи, из-за кремлевской стены, с пробуждающейся площади начали время от времени безмятежно и бодро поквакивать клаксоны ранних машин. Утро красило нежным светом — там. А мы — тут. Жуть как хотелось туда. И вдруг Коба облизнул пересохшие слипшиеся губы и, не снимая подбородка с руки, трясущимся голосом затянул:

Первый тайм мы уже отыграли...

Это было так жутко, что у меня волосы встали дыбом.

Все оторопели. Коба сидел напротив меня, и я видел: у него мокрые глаза. В первые секунды никто не нашелся, а может — не решился подхватить, и некоторое время он так и дребезжал в полном одиночестве, точно вытягивал со скрипучего барабана сквозь душные сумерки огромного кабинета светлую хлипкую проволоку канатодца, вот-вот готовую лопнуть:

И одно лишь сумели понять...

Клим приосанился и храбро вступил надтреснутым баском, точно подросток, у которого ломается голос:

Ничто на земле не проходит бесследно,
И юность ушедшая все же бессмертна...

Пятерня его сама собой шевельнулась у бедра в смутном поиске шашки, которой, как думалось когда-то, вполне хватит, чтобы установить лучезарную справедливость навсегда.

Рядом со мной Лаврентий мелко встряхнулся, словно вдруг озябнув, и с продирающей до костей тоской тоненько, застенчиво признался нараспев:

Как молоды мы были,
Как искрэннэ любили,
Как вэрили в сэба...

Я рывком обернулся к нему. Он смотрел в никуда, и мне казалось, в его остановившихся глазах, точно в запущенной рапидом кинохронике несбывшегося, лихорадочно скачут величавые дворцы культуры, светлые корпуса пионерских лагерей, утопающие в кипарисах, просторные НИИ — все, что он, доведись ему стать, как смолоду мечталось, архитектором, строил бы, строил и строил.

Чуть громче, чем было бы уместно, молодым бычком заголосил со своего края Никита:

Мы друзей за ошибки прощали,
Лишь измены простить не могли...

Это было уже слишком.

И опять же, видимо, не один я это почувствовал, потому что Анастас вполголо-са принялся с невинным видом подстилать кавказский ритм:

— Там-тибитам-тибитам-тибитам...

— Ча-ча-ча, — прикончил я.

Стало тихо. Коба посмотрел на меня, потом на Анастаса, потом снова на меня своими всегда будто неживыми, будто выточенными из янтаря желтыми глазами, что сейчас были полны слез, беспомощно встопорщил усы и сказал:

— Уроды вы. Ничего святого у вас не осталось.

Бедная дурочка

В тот последний вечер к нам робко позвонили.

Я поднял голову. Даже представить было трудно, кто мог так звонить. Тронули звонок и отдернулись, точно обожглись.

— Работай! — крикнула Маша из прихожей. — Я посмотрю, кого принесло.

Я снова уткнулся в бумаги, но через несколько мгновений почувал неладное.

И точно.

В дверях кабинета, выпрямившись напряженно и неестественно, словно от боли, с каменным лицом стояла Маша.

— Это тебя, — чужим ровным голосом сказала она.

Я с досадой поднялся. Я и подумать не мог, что это пришла судьба; что, как я ни юлил, она настигла меня в собственном доме.

В прихожей, на коврике у лестничной двери, не решаясь, видимо, сделать дальше хоть шагок, неловко озиралась Надя. Она была одета, как в турпоход выходного дня: синие американские брюки в облип, курточка, в расстегнутом вороте которой виднелся свитер, в руке — сумочка, за плечами — довольно объемистый, непонятно зачем нужный рюкзак. Ее лицо было пунцовым. Увидев меня, она несмело улыбнулась и даже чуть развела руками: мол, вот я, а вы, наверное, решили, буд-то это что-то важное?

— Здравствуйте, — сказала она.

— Здравствуй, Надя, — ответил я, силясь понять, не стал ли я пунцовым ей в тон. Судя по тому, как мне сделалось жарко, стал. Сзади на нас смотрела Маша.

— Заходи, Наденька, — с механическим радушием сказала она. — Хочешь чаю? Мы как раз собирались пить.

Это была, конечно, ложь.

— Спасибо, Мария Григорьевна, — торопливо ответила Надя. — Не надо. Я на минутку. Простите, если помешала... Я только хотела показать вашему мужу одну вещь.

— Интересно, — сказала Маша. — Что ж ты такое ему можешь показать, чего он еще не видел.

Это казалось совершенно невозможным, но Надя покраснела еще пуще. Стала буряк буряком. Она шевельнула губами — видимо, хотела что-то ответить, но так и не придумала что. Глаза у нее стали жалобные и беспомощные. Как у дитяти. Отшлепали ни за что.

— Ладно, — сказала Маша, уже не скрывая враждебности. Прошла в комнату сына и, прежде чем плотно закрыть за собой дверь, проговорила: — Все. Меня нет. Делайте что хотите.

Мы перевели дух, а потом перешли в гостиную; в ту самую, куда Сережка привел ее в первый вечер пить чай, и мне ударила в голову блажь прикрывать ее от бомб. Прикрыл? Нет? Прикрыл, но ненадолго? Я не знал.

Она, не снимая ни куртки, ни рюкзака, неловко села на краешек дивана.

— Я не помешала? — настойчиво спросила она.

— Хватит, Надя. Давай к делу.

Тогда она щелкнула замочком сумки и вынула сложенный пополам лист бумаги. Развернула и подала мне. В ее вытянутой тонкой руке лист трясся так, будто по нему барабанил дождь.

— Мама время от времени прокладывает полки на кухне чистыми листами. Или вот мне поручает. Чтобы на самих полках не оставалось следов от посуды. А для экономии мы используем папины черновики... С обратной-то стороны они чистые. И вот... Он, наверное, случайно не уничтожил.

На листе хорошей машинописной бумаги, посреди страницы, было от руки написано каллиграфическим почерком: «Кроме того, А. Ф. Иоффе окружил себя теми молодыми выскочками и барчуками от науки, что не могут похвастаться ни высокими индексами цитируемости, ни надлежащими показателями результативности, но единственно лишь либо местечковым, либо рабоче-крестьянским происхождением. Он стравливает их друг с другом, объясняя это тем, что обеспечивает здоровое творческое социалистическое соревнование. На деле же это ведет к развитию сионистских настроений среди одних и настроений великорусского шовинизма среди других».

Всю фразу охватывала аккуратно нарисованная фигурная скобка со стрелкой, указующей вправо, видимо, на отсутствующую страницу с основным текстом. Судя по всему, это была вставка, дополнение, сочиненное при редактировании черновика.

Чувствовалось: автор работал академично, невозмутимо, вдумчиво. Будто научный труд писал.

— Это донос? — просто спросила Надя.

Я досчитал до десяти и спокойно, ей в тон, ответил:

— Это донос.

— Я так сразу и поняла. Но все же спросила папу. Знаете... Вот не могла поверить и спросила прямо, и он мне ответил тоже прямо. Он даже не смутился. Знаете, что он мне ответил?

— Нет, — сказал я сквозь ком в горле. — Не знаю.

— Он сказал, что раз уж нам выпало жить в преступном государстве, мы-то ведь это государство не создавали, мы не имеем к нему отношения и потому имеем

полное право использовать наиболее эффективные его механизмы себе на пользу. Не наша вина в том, что здесь именно такие механизмы. И нам совершенно не зазорно ими пользоваться.

— Очень умно, — проговорил я.

— Вы же наверняка где-то бываете там, наверху, — сказала она. — И при этом вы лучше всех, кого я знаю. Сережка... Он защитник. Он самый смелый, самый славный и самый смешной. Но вы выше и добрее всех, это точно. Я хочу узнать у вас. Я не могу понять. У нас правда преступное государство?

Я помедлил. Она смотрела мне в глаза и ждала.

— Понимаешь, Надя... Из любой, какую ни возьми, государственной машины торчит много-много рычажков. Чтобы каждый человек мог чуть-чуть да управлять. Одни рычажки можно нажать только полной подлостью. Другие — только полной порядочностью. А третьи, их больше всего, отзываются лишь на сочетания подлости и порядочности. В разных пропорциях. Полной гарантии того, что машина тебя послушается, не дает ни один рычаг. Поэтому какой из них жать, когда тебе чего-то хочется, — это твой личный выбор. Только твой.

Надя смотрела мне в лицо. Ее глаза завораживали. Она ждала чуда. А может, просто любви. Но это и есть самое большое чудо, наверное. Мне хотелось заплакать.

— Я ушла из дома и мечтаю жить у вас, — сказала она. — Пустите?

Я едва не ахнул в голос, по-бабьи.

— Надя...

— Я так намучилась за эти месяцы, — призналась она. — Просто ужас. С Сереженькой мне легко, весело, я будто дышу, и все. Мы как два сапога пара. Как два конца одного шнурка. До него я даже не знала, что так бывает. Я все время хочу его видеть, с ним балагурить, смеяться, бегать куда-нибудь. Даже когда мы спорим и не соглашаемся, это радостно. Дескать, ну да, я думаю иначе, но если он в это верит, это ведь тоже мое. И жизнь будто становится вдвое шире. А... а на вас я гляжу, как на какой-то Эверест.

Где-то я недавно уже слышал про Эверест. Или сам говорил... Нет, не вспомнить сейчас. Не до того.

— Я готова хоть жизнью рискнуть, чтобы на этот Эверест забраться. Мне все время хочется для вас совершить какой-нибудь подвиг. Но сейчас не война, не голод... Я не могу вытащить вас из-под обстрела, не могу отдать вам последний кусок хлеба. Я не могу придумать другого подвига, кроме как стать вам... кем вы захотите. Я уже ничего не понимаю. Скажите вы мне. Скажите хоть вы. Кого я больше люблю: вас или Сережку?

Стройная, нежная, голая и молодая...

— Конечно, Сережку, — сказал я и улыбнулся. — Поверь, тут двух мнений быть не может.

Она сразу встала. Нервно затянула за чем-то молнию куртки до самой шеи.

— Его сейчас нет дома? — спросила она.

— Он в Опалихе, на даче, — сказал я. — Долечивается после ранения и переживает. Поправляет нервы осенними яблоками. Сейчас уже ничего. С ним такая история приключилась...

— Я знаю, — сказала она. — Это-то я знаю.

— Откуда?

— Вся сеть гудит, — ответила она и пошла к двери. Я суетливо вскочил проводить. У лестничной двери она вдруг вновь повернулась ко мне. — Надо его спасать, — сказала она и улыбнулась дрожащими губами. — Я как подумаю, что он грустный, так хоть на стенку лезь. Буду вам, значит, вроде дочки. Растолкуйте, как найти.

Я растолковал.

Когда снаружи уплывающей белугой завыл лифт, я прижался к закрывшейся лестничной двери лбом и некоторое время стоял так, думая только: всё. Всё. Всё. Потом оказалось, я шепчу это вслух.

— Всё, всё, — передразнила Маша, выходя. — Мастера трагедий. Девчонка влюблена в тебя по уши. А ты в нее. Какого лешего ты ее отпустил?

Я медленно повернулся и подошел к ней.

— Ведь ты же разлюбил меня. Я знаю.

— Нет.

— Да.

— Нет.

— Да. Быть таким благородным просто подло. Она бы тебе хоть сейчас дала.

— Ты с ума сошла.

— Я бы не помешала, клянусь. Я же рядом с ней — толстая некрасивая старуха. Скажи, почему ты ее отпустил?

Казалось, этот бессмысленный допрос доставлял ей наслаждение. Точно следователю-садисту. Я даже не мог понять, кого она этим больше мучила, кого ей больше хотелось унижить и растоптать — меня или себя.

— Потому что мы вместе много-много лет, — ответил я. — Потому что мы семья. Потому что сердце не терпит оставить тебя одну. Наедине со всем этим кошмаром. Потому что мы спасали друг друга сто раз. Потому что мы прошли через сто адов, и остались людьми, и вырастили замечательного сына. Потому что наш сын ее любит. Потому что у меня к тебе нежность, как к собственному ребенку. Разве этого мало?

— Мало! — отчаянно крикнула она. — Мало! Это все слова! Они ничего не значат, когда одна любовь уходит и приходит другая!

Наверное, она действительно так думала.

Я понял, что ничего не смогу объяснить. И если буду ее и дальше слушать, то через полчаса и сам себе не сумею растолковать, какого рожна, в самом деле, отказался от манящего простора впереди.

Оставалось смеяться.

— Ну, — улыбнулся я, — я же русский, а мы, как известно, прирожденные рабы. Не понимаем, зачем свобода...

Я еще не договорил, а уже успел увидеть, что шутка не удалась. Наоборот. Ее глаза наконец-то полыхнули сухим гневом, а побелевшие губы затряслись. То, что русские — рабы, было для нее столь непреложной истиной, что она вовсе не почувствовала шутки. И поняла меня так: я бы давно от тебя ушел, если б у меня хватило духу. Хотя я сказал совсем не это, а то, что сказал: мне не нужна свобода, состоящая в предательстве. Это ведь и будет лишь предательство, а не свобода.

— Лучше бы ты мне изменил, — ответила она негромко, с ледяной яростью. — По крайней мере, мне было бы за что тебя ненавидеть.

Мне стало так жутко, что пересохло в горле.

Самая страшная, самая неутолимая ненависть — это ненависть ни за что, ненависть за все. Ненависть оттого, что думаешь, будто к тебе снисходят. Оттого, что не можешь ответить смирением на смирение, великодушием на великодушие, преданностью на преданность и породненностью на породненность; а тот, кто все это каким-то непонятным образом с легкостью может, маячит рядом и вовсе не манит как пример, а жжет, точно непрерывный укор, неутомимое напоминание, нескончаемая издевка судьбы: не можешь! не можешь! я могу, а ты не можешь!

От такой ненависти нет лечения и нет спасения.

Наверное, если бы я и впрямь распластал на нашем диване эту красивую, нежную, голую и молодую и жена слышала бы из-за стенки ее самозабвенные вскрики

боли и счастья и мой самодовольный клекот насыщающегося самца — она не так ненавидела бы меня, как сейчас. Тогда мы, наверное, могли бы еще помириться. Дело, мол, житейское. Теперь — никогда.

Я сказал:

— Маша, я очень устал и пошел спать.

Удивительно, что, поворочавшись с полчаса, я действительно сумел забыться.

Я проснулся, словно опять услышал остановившуюся под окнами ночную машину.

Нет.

Потолок не разрезала световая полоса.

Беззвучно спал лифт.

Маша сидела на краю кровати и неподвижными глазами смотрела мне в лицо, обеими руками держа наган. Тот самый. Тот, которым наградил меня когда-то тесть за мужество, проявленное в боях с врагами пролетариата. Черный глазок, не дрожа, смотрел мне в грудь. Через открытую дверь спальни то ли из телевизора, то ли из черной тарелки репродуктора с кухни доносился монотонный голос Славы:

— ...От советского правительства нельзя требовать безразличного отношения к судьбе единокровных украинцев и белорусов, проживающих в Польше и раньше находившихся на положении бесправных наций, а теперь и вовсе брошенных на волю случая. Советское правительство считает своей священной обязанностью подать руку помощи своим братьям-украинцам и братьям-белорусам, населяющим Польшу. Ввиду всего этого правительство СССР заявляет, что сегодня отдало распоряжение Главному командованию Красной армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии. Советское правительство заявляет также, что одновременно оно намерено принять все меры к тому, чтобы выволить польский народ из злополучной войны, куда он был ввергнут его неразумными руководителями, и дать ему возможность зажить мирной жизнью...

Слава читал заявление, текст которого мы согласовали позавчера на Политбюро.

— Я знала, — шепотом сказала Маша. — Я всегда знала. Вы только и ждали момента, чтобы опять поработить Польшу. Вы всегда ее ненавидели. А ты... ты... был большевик, а стал... держиморда. Мы же все под «Варшавянку» от казаков на баррикадах отстреливались! Колонизатор.

Она умолкла. Она ждала, конечно, что я попытаюсь ответить. Объяснить, оправдаться, соврать. На кого-то свалить. Я молчал.

Я вдруг понял, что мне надоело.

— Все эти годы, — сказала она уже громче, в полный голос, — вы только и мечтали погубить маленькую прекрасную страну, которая сделала вам столько добра. А теперь улучили день, когда она оказалась совсем беззащитна, совсем одна-одинешенька, и на пару с этим упырем накинулись с двух сторон. Мрази. Подонки. Как ты мог. Предатель.

Я молчал.

— Предатель!!! — крикнула она что было сил. И все равно еще не могла решиться.

Я молчал.

— Это ты придумал? Ну скажи! Ты? Ни у кого, кроме тебя, ума бы не хватило на такую подлость! Они еще, видите ли, и спасают!! Подумать только! Знаю я, как вы спасаете!! Кто вас звал нас спасать?!

«Вас» и «нас», отметил я и чуть не спросил: а как спасаете вы? Но слова завязли. Это было бы невыносимо, омерзительно пафосно. Претенциозно до рвоты, до желчной горечи в рту. Однако что-то, наверно, мелькнуло у меня во взгляде — может быть, даже более хлесткое, чего я и в слова облечь не успел, потому что она,

уловив и поняв этот промельк, цепко сощурилась, по-прежнему глядя мне в глаза, стиснула зубы так, что вздулись скулы, и наконец выстрелила.

Боли не было, только сильный толчок. Да не такой уж и сильный; так нередко толкают в метро на выходе или посадке. Я скосил глаза вниз, чтобы посмотреть, много ли крови; оказалось — совсем мало, и я еще успел порадоваться, что уж от кровопотери-то, по крайней мере, не отчалою. Но тут сообразил, что вижу себя всего, с лицом. С всклоченной со сна шевелюрой цвета мышьиной шерсти, с приоткрытым неподвижным ртом и стеклянными глазами, нелепо и, пожалуй, даже потешно вылупленными в потолок. И порохом совсем не пахло. Наоборот, ни с того ни с сего налетели и волнами закружились, как в хороводе, самые сладкие, самые добрые ароматы, какие только помнила душа: точно прямо тут принялось расцветать росистое утро сплошного, колечком свившегося лета, когда навстречу солнцу, на радость людям и пчелам, наперегонки распахиваются и яблони, и сливы, и вишни, и шиповник, и сирень, и мята, и цветущая картошка. Тогда я понял.

Откуда-то из-под потолка, а может, уже и сквозь него я смотрел на бедную дурочку, которая из пустого гонора искалечила жизнь себе, а не ровен час, и нашему сыну. Как она оторопело смотрит на мой труп. Как роняет из ослабевших пальцев наган, которым так кстати снабдил меня четверть века назад ее отец, и тот беззвучно и медлительно, точно бумажный, порхает на пол. Как начинает кусать кулак и, похоже, кричать.

И странно, мне уже не было до нее никакого дела.

Нажав на спусковой крючок, она убила не меня, а мое сострадание. Мою отчаянную благодарность за каждый ее заботливый стежок на саване жизни, за каждый ломтик рая, который мы делили на двоих совсем не в раю. Мое чувство вины перед ней за то, что я не всемогущ, что мир мне не покорен, а от изменений в себе, вот таких, например, как от этой пули, я и себя-то спасти не могу, не то что ее. Мое желание быть вечно вместе, несмотря ни на кого и ни на что; мою, наверное, самонадеянную, но искреннюю, как у ребенка, надежду всегда прикрывать ее хоть сверху, от железных творений человеческих умов и рук, хоть снизу, от холода ждущей нас всех земли. Теперь я был совершенно свободен и мог делать все, что хочу.

Евгений СТЕПАНОВ

СТАРАЯ ПЕСЕНКА

Что тут поделаешь? Да, я такой —
Пьяный и странный. От жизни балдея,
Я по Фонтанке иду до Тверской,
А по Тверской я иду до Бродвея.
Крутится-вертится шар голубой,
Песенка эта, похоже, о чуде.
Черти меня искушают гурьбой,
Смерти желают добрейшие люди.
Но оживает, как нежность, вода,
Но оживают прибрежные камни.
Я бы не против уйти в никуда,
Только, похоже, еще не пора мне.
Ангел парит над Москвою-рекой,
Ангел парит над Невой и Гудзоном.
Что тут поделаешь? Да, я такой —
Я не дивлюсь никаким закидонам.

* * *

Фильмы любимы — советские,
Книги читаемы — детские.
Трудно меня изменить.
Трудно меня заманить
В новые нравы неправые,
В новые фильмы кровавые,
В ярко-зеленую муть.
Трудно меня обмануть.

* * *

А чего мне таить? Я счастливый болван,
Сам себе господин — я не выбился в боссы.
Если мне позвонит хитрый пранкер Вован,
Я отвечу на все — без утайки — вопросы.

Евгений Степанов — поэт, прозаик, издатель. Родился в 1964 году Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Стихи печатались в журналах «Нева», «Дружба народов», «Звезда», «Арион», «Урал», «Юность», «День и ночь», «Дон», «Интерпоэзия», «Новый берег», «Крещатик», «Слово», в альманахах «Поэзия» и «День поэзии», в «Литературной газете» и в других изданиях. Автор многих книг стихов, вышедших в России, США, Болгарии, Румынии. Живет и работает в Москве. Главный редактор журнала поэзии «Дети Ра» и портала «Читальный зал». Лауреат премии им. А. Дельвига.

Сколько всякой написано галиматый
Обо мне (да и мной, стихоплетом) — до черта.
А чего мне таить — вот ладони мои,
Вот лицо, вот мой дом возле аэропорта.

Я иду по земле, и тихонько пою,
И сажаю не граждан, а сосны и розы.
А чего-то таить, жизнь шифруя свою,
Нет такой для меня бессердечной угрозы.

РАЙЦЕНТР

Звезда полей...
Н. Рубцов

Несли меня — зачем? — шальные поезда.
А счастье было здесь, в раздолье чернозема.
Над городом моим — кулацкая звезда.
Душа моя поет — поскольку здесь я дома.

Смотри, смотри вокруг — стоят особняки,
Добротные дома и домики попроще.
И стелется туман сердечный вдоль реки,
И мы с тобой идем вдоль нашей вечной рощи.

Смотри, смотри вокруг — «Пятерочка», «Магнит»,
Новехонький сбербанк и обновленный рынок...
А в самом центре храм (как ранее) стоит,
И я смотрю на храм, как, может, смотрит инок.

Смотри, смотри вокруг, смотри, смотри в себя —
И ты увидишь мир не худшего пошиба.
И примешь этот мир, волнуясь и любя,
И скажешь, повзрослев, за все, за все спасибо.

АУТОТРЕНИНГ

Век безжалостен и крут,
Но хандрить не надо.
Дальше смерти не сошлют.
Жизнь — моя награда.

— Жизнь — почетная медаль, —
Говорю без фальши.
И болотную печаль
Я гоню подальше.

СТАРЫЙ ЧЕЛОВЕК

Я первый раз живу —
простите, не умею.
Константин Кедров

Я ошибся — я в ответе.
Заявляю, точно ТАСС:
Я живу на белом свете,
Извините, в первый раз.

Все впервые, все не просто,
Часто нелады с башкой.
И по всем стандартам ГОСТа —
Я какой-то не такой.

И пути порой кривые,
И — дурак — не слушал мать.
Все не просто, все впервые.
И впервые — помирать.

ДИАЛОГ

— Потом не будет слуг, и бар,
И денежного бремени.
Потом новатор Аватар
Найдет кильватер времени.

И оживет, воскреснет брат,
Простясь с холодной ямой.
— Но только много лет назад
Твердили то же самое.

ПОРТРЕТ

Грешен — успешен. Но я не хочу...
Сам над собою, как шут, хохочу.

Грешен — потешен, как дрогнувший князь.
Сам над собою рыдаю — стыдись.

Сам над собою — и сам по себе.
Тихо в моей электронной избе.

ЖИЛИ-ЛЮБИЛИ

Чахнет былая удаль,
Чакры сданы в утиль.
Время идет на убыль,
Быль превращая в пыль.

Жили-любили, жили,
Взяв пять минут займы.
Жили-любили или
Снились друг другу мы.

Александр ЛОМТЕВ

РАССКАЗЫ

ИВАН МАКАРЫЧ И АНЖЕЛА ДЭВИС

Давно это было. Когда еще существовали тринадцатая зарплата, автоматы с газировкой, субботники, демонстрации и очереди за колбасой. В общем, в середине второй половины двадцатого века.

Плыл к закату знойный август за распахнутым окном, но уже вяло терпкими нотами осеннего увядания; и загоревшие кто в Сочи, кто в Ялте служащие никак не могли настроиться на работу. Знакомый мой экономист небольшого управления Иван Макарыч Семенов работал над каким-то срочным отчетом. И как человек обстоятельный, подробный и ответственный ушел в работу с головой.

Когда он погружался в подобное состояние, коллеги старались лишний раз не трогать его, поскольку любая, даже самая мелкая просьба в такие дни выводила тишайшего Ивана Макарыча из равновесия. Он мог просто не заметить обратившегося, только поднять голову и минуту смотреть сквозь человека глазами, в которых быстро-быстро крутились циферки. Но мог и сильно рассердиться, и в раздражении, отодвинув большой калькулятор, сказать:

— Отчет, дорогая Мариванна, конечно же, может подождать! А уж начальник управления тем более подождет; что такое отчет! Тьфу!

И скажет он это так, не повышая, впрочем, голоса, что бедная тетка, которая и всего-то хотела предложить ему путевку на выходные в дом отдыха, просто забывала, за чем подошла.

Именно в такой период и случилось ЧП мирового масштаба. Арестовали и посадили в тюрьму Анжелу Дэвис. Анжела Дэвис, если кто не помнит, — чернокожая деятельница коммунистического движения в США, молодая, с пышной негритянской шевелюрой, она в одночасье стала символом борьбы против капитализма, а также за свободу и равноправие, как сегодня принято политкорректно выражаться, афроамериканцев. Это была темная история: активисты негритянской организации «Черные пантеры», то ли боровшиеся с наркомафией, то ли пытавшиеся занять ее место, в попытке освободить из зала суда троих чернокожих заключенных, захватили в заложники обвинителя, нескольких судей и присяжных. Тогда были убиты и сами «пантеровцы», и судья, и заложник-обвинитель. Дэвис оказалась каким-то образом втянута в эту историю. Она бежала, скрывалась от полиции, но ее выследили и арестовали. Уже значительно позже выяснилось, что девушка была будто бы

Александр Алексеевич Ломтев — журналист, писатель. Родился в 1956 году. Основатель и издатель культурно-просветительской газеты «Саровская пустынь». Публиковался в различных литературных журналах России. Автор книг «Путешествие с ангелом» (финалист Буниной премии 2008 года в номинации «Открытие года»), «Ундервуд», «Пепел памяти». Лауреат премии Союза писателей России «Имперская культура», премии «Патриот России» и др. Живет в г. Сарове Нижегородской области.

не так уж и невинна, что не чужды ей были и упражнения с наркотическими веществами, и с оружием, а недавно, уже в солидном возрасте, Анжела объявила, что она лесбиянка. Сегодня она вряд ли смогла бы претендовать на любовь тогдашнего советского лидера Леонида Ильича Брежнева, но тогда...

Молодая, вызывающе яркой внешности, типичная негритянка, она оказалась очень удобной фигурой в войне идеологий, ее имя было поднято на флаг, и лозунг «Свободу Анжеле Дэвис!» по популярности уступал в тот год мало какому другому.

Коллективу, в котором трудился Иван Макарович, сообщила о беде профсоюзная деятельница на неосвобожденной основе Натали Укропова. На «неосвобожденной» — это только так говорилось. Чтобы Натали занималась своей основной работой, мало кто видел. Да и как она могла сосредоточиться на работе, когда в мире происходили такие разнообразные и великие события, касающиеся всех и каждого! А когда Укропова ввязывалась в очередную общественную кампанию, она становилась такой же полувменяемой, как Иван Макарович. Азартно шла напролом, словно русская борзая за зайцем, добиваясь немислимых результатов.

Не знаю, кто затеял инициативу по сбору подписей в защиту Анжелы Дэвис, но Натали включилась в эту инициативу со всей пылкостью. Она металась по этажам управления с подписными листами, вылавливая в кабинетах, цехах и подсобках каждого, еще не поставившего своей закорючки — будь то сам начальник управления или нетрезвый сантехник, синюшным вурдалаком скрывающийся от дневного света в канализационном люке. Ей казалось, что вот именно эта пачка листов в ее серой папке с тесемочными завязками и решит судьбу пышноволосяй темнокожей девушки, олицетворявшей собой борьбу светлого с темным.

Не знаю, действительно ли все собранные подписи отправили потом в США, или все эти папки тихо сожгли через год на задах ЦК КПСС. Не помню даже, подписал ли я сам такой листок. Наверное, подписал. Поскольку однажды оказалось, что подписи в управлении поставили все. За одним исключением. Забившийся в угол дальнего своего кабинетика Иван Макарович каким-то образом избежал внимания Укроповой. И она ринулась исправлять недочет. Ей не советовали. Мягко намекали. Она не послушалась. Все, кто был в это время поблизости, отправились вслед за Натали, чтобы лично посмотреть, чем все это кончится.

Но кончилось не так, как надеялись добрые дамы из бухгалтерии.

Когда Натали положила перед экономистом разлинованный подписной листок, тот долго вглядывался в строчки, но, так ничего и не поняв, поднял глаза с бегающими в них циферками на Натали. Дамы из бухгалтерии затаили дыхание. Но ничего особенного не случилось. Иван Макарович тихо спросил:

- Что это?
- Сбор подписей в защиту Анжелы Дэвис.
- От чего защиты?
- От американского суда.
- А она не виновата?
- Нет!
- Точно?
- Да!
- А директор управления подписал?
- Да!

Иван Макарович взял, не глядя, первую попавшуюся под руку писчую принадлежность и размашисто что-то черкнул.

Натали Укропова с несколько округленными глазами подошла к коллегам и молча показала им подписной лист. Внизу во всю ширину листа красным фломастером было написано: «Освободить! Немедленно! Семенов».

Что интересно, Анжелу Дэвис вскоре освободили. О чем Натали Укропова оповестила всех посредством управленческой стенгазеты. Пробредавший мимо Иван Макарович остановился, прочитал сообщение, задумался, видимо, о чем-то вспомнил и, удовлетворенно кивнув головой, побрел дальше.

НА АМУРЕ

Шамана звали Борис, он был стар и нетороплив. Встав на колени у самой воды, из деревянной доски, похожей на лодочку-уточку, шаман бросал в Амур табак, черемшу и соль, что-то едва слышно бормотал и кланялся. Делал он все это, не обращая внимания ни на толпу туристов, щелкавших фотоаппаратами, ни на матросов причалившего прямо к берегу теплохода, спящих по трапу, ни на местных подростков, посмеивающихся и цыкающих плевками в реку. Завершая обряд, Борис налил из заранее откупоренной «чекушки» водки в два граненых зеленоватых стаканчика. Водку из одного стаканчика он с бормотанием выплеснул в Амур, второй стаканчик опрокинул в рот.

Гомонящих туристов повели в клуб, за ними потянулись и подростки, а Борис уселся на берегу и стал смотреть на бегущую воду Амура.

Он знал, что туристам покажут национальные ульчские пляски, руководительница ансамбля будет сетовать на то, что молодые ульчи плохо знают свой язык, что проходят его факультативно, по желанию, а желают не все, больше английский хотят изучать... Многие принимают православие, и, значит, надо или крестик, или бубен выбирать. Православному же нельзя шаманский бубен в руки брать...

Амур течет и течет нескончаемо, и жизнь течет, и все становится не так, как было, и как было, уже никогда не станет.

Вскоре туристы вернулись на теплоход, и тот, коротко взыв, отчалил, вспенив воду за кормой. Борис встал и вытащил из-под перевернутой лодки мешок. Достал котелок, треногу, завернутую в мокрую мешковину и лопухи рыбу и принялся ладить костерок...

...Солнце скрылось за грядой острых верхушек елей и пихт. Отец Василий запер церковку и побрел к берегу. Быстро темнело, и костер ярким цветком выделялся на серо-свинцовом фоне Амура. Из котелка над огнем уже вовсю валил пар, а шаман на куске брезента, брошенного на траву, раскладывал ломти черного хлеба. Увидев спускающегося к воде священника, Борис, натянув на ладонь рукав куртки, снял котелок с огня, поставил на брезент, достал из кармана деревянные ложки. Отец Василий перекрестился, быстро опрокинул граненый стаканчик и зачерпнул ухи.

Ночь быстро опускалась на берег, звезды высыпались на небосклон, выплыл из-за сопки месяц и повис прямо над крестом темневшей над рекой церквушки. Отец Василий отложил ложку и растянулся на принесенном с собой ватнике. Борис, сидя потурецки, затянул потихоньку что-то по-ульчски, мерно покачиваясь, словно кланяясь воде. Отец Василий прикрыл глаза и принялся нашептывать молитву.

Из поселка доносились звуки телевизора. «Значит, на улице никого, — подумал отец Василий, — все сериал смотрят...»

МЫКОЛА

Солнце зацепилось за корявые ветви дальних сосен и висело в них, наливаясь красным жаром. Но это был обман — оно совсем не грело. Мы брели по желтой песчаной дороге, которая превратилась в дно мелкой прозрачной речушки — апрельская талая вода сбегала в нее, и сквозь резину сапог и шерстяные носки мы чувствовали ее ледяной холод. И все же идти по залитой дороге было приятнее и легче, чем по ноздреватому серому снегу, который большими пятнами лежал среди густого кустарника. Лес потихоньку замолкал. И голос Мыколы резко раздавался среди замерших темных стволов.

— Тетерев — птица жутко осторожная. Подойти к ней трудно-трудно. А особенно глухарь... Ну, услышал ты глухаря, что делаешь? Пока он токует, ты махать, махать на звук, но как слышишь «чуфшшш-чуфшшшш» — сразу замри! Как прямо встал — так и замри. Так на выстрел и подойдешь, если не дурак...

Мыкола шагает нешироко, но быстро, вдруг сворачивает с дороги, исчезает в кустах и через минуту появляется совсем не там, где ожидаешь его увидеть.

Мальчишка, увязавшийся с нами на тягу, догоняет его, семенит сбоку, спрашивает:

— Дядь Мыкола, а кого труднее стрельнуть — глухаря или тетереу?

— Обоих трудно, вальдшнепа легче, красться не надо, встать только удачно, и жди себе.

Мы выбрали наконец на сухое место. Мыкола остановился, присел на корточки.

— Вот гляди, вишь, говна — это глухаря говны. Тут вот сосна, значит, тут сухо, здесь костер и разведем.

Мальчишка плюхнулся на покрытый сосновой иголкой пригорок:

— Ты, дядь Мыкола, прямо Дерсу Узала...

— Смеешься? Смейся, смейся, вот щас по лбу дерсну, и будет тебе узала.

— Мыкола, да это человек такой таежный был, — засмеялся мальчишка, — все о природе знал... как ты...

— Индеец, что ли?

— А ты что — индеец?

— Шел бы ты за дровами... Да с полу не бери — лежащее все отсырело, ломай стоячее. Жалко, дуба тут нет — сыро. Сухой дуб — самое жаркое дерево...

Огонь разгонял тьму, плясал на задумчивых лицах, на рыжей коре сосны. Мы, сморенные усталостью и ужином, задремывали. Только Мыкола все не мог успокоиться, вскакивал, убежал за чем-то во тьму или просто стоял, задрав голову к кронам, словно принюхивался и слушал что-то нами не слышимое. Потом подбрасывал сучьев в костер и снова садился.

— Спать станете, руки из рукавов фуфаяк выньте и к телу прижмите — так теплее. Под утро холодно будет, гляньте, как вызвездило...

Все задремали, а от меня сон что-то отлетел, да и Мыкола все возился, бормотал что-то сам с собой.

— Мыкола, ты зачем живешь?

Мыкола вопросу не удивился, помолчал, поворошил веткой в огне.

— А х... его знат. Ну вот, к примеру, нападут на нас американцы — они всех сейчас что-то бомбят. Или те же китайцы... Кто на войну пойдет? Меня забреют... А ты говоришь зачем. Занадом...

— А если войны не будет?

— Дак слава ж богу! Хорошо же, если не будет!..

Уже сквозь сон я слышал, как Мыкола поднимался, бормотал что-то, подбрасывая в угасающий костер ветки, и чувствовал, как тепло волнами наступает на окружающий нас ледяной апрель...

ЧЕРУСТИ ВО БЕКИ ВЕКОВ

1956 г. Я представляю себе: Казанский вокзал, непривычный — не сегодняшний, скудно освещенный качающимися фонарями и светом из окон, плывет в морозном мареве сквозь пар из канализационных люков и пар дыхания сотен людей. Ветер бьет снежными зарядами в слепые окна залов ожидания, закручивает ледяные смерчи меж стоящих на путях вагонов, выдувает из щелей и гонит по мерзлоте асфальту всякий мелкий сор, не попавший под метлу татарина-уборщика. Народ, груженный кто чемоданами, кто узлами и вещмешками, согнувшись, бредет в черно-белом месиве к поездам. Из хриплого репродуктора доносится женский голос, и все на вокзале на секунду замирают, вслушиваясь:

— *Уважаемые пассажиры, электропоезд до станции Черусти отправляется от седьмого пути...*

Не знаю, ходили ли тогда уже по Подмосковию электрички, но ясно представляю себе, как несколько согбренных непогодой фигур в снежной круговерти поворачивают к табличке седьмого пути...

...Дело было почти наверняка так. Ветер крутил снежные вихри над темными избами, над полузаметенной дорогой, над покосившимся крестом заколоченной церкви, подхватывал ранние дымки и, отрывая их от черных труб, уносил к дальнему, едва проступающему сквозь снежные завеси лесу. Я только что родился и не знал не только о том, что есть на свете какие-то Черусти, но и о том, что есть на свете Москва, Россия, что вот-вот мир вступит в космическую эру и над моей деревней, над Москвой и Казанским вокзалом, над неведомой станцией Черусти запищит новорожденный спутник: «бип, бип, бип»...

1966 г. Елка горит разноцветными огнями прямо посреди зала ожидания, и от этого вокзал — вечный котел, в котором бурлят, перемешиваются и варятся человеческие судьбы, — становится немного теплее и человечнее. Мы с отцом пробираемся сквозь толпу в поисках свободного местечка, на котором можно было бы переждать те несколько часов, что остались до отправления скорого Москва—Евпатория. В зале ожидания хаос из приезжающих, отъезжающих, встречающих и провожающих, а в моей голове хаос впечатлений одного дня в столице: кремлевские звезды из учебника, Красная площадь, которая вовсе не красная и не такая уж впечатляющая, как ожидалось, метро с волшебными лестницами, опускающими толпы людей в сказочные подземелья, и людские потоки, реки людей... И голос из репродуктора, объявляющий непонятное:

— *Уважаемые пассажиры, электропоезд до станции Черусти отправляется от седьмого пути...*

А в голове моей цветная каша из звуков, запахов, слов и надежд — то мраморные чертоги метро, то далекое, не виданное еще синее море, которое окажется на удивление зеленым; а вокруг раскинулась огромная страна, на просторах которой затерялись эти неведомые Черусти. А впереди оптимистично сияет кремлевскими звездами недалекий коммунизм. Его уже пообещал мне Хрущев, пораженный в са-

мое сердце американской кукурузой и бросивший клич: «Догнать и перегнать!..» И льется из невидимого динамика: «Утверждают космонавты и мечта-а-атели, что на Марсе будут я-а-аблони цвести...» А Марс одинаково далек и от Казанского вокзала города-героя Москвы, и от Евпатории, и от станции Черусти...

1976 г. Казанский вокзал кипит, перемешивает человеческую массу — перекресток направлений, устремлений, судеб.

Рюкзак да гитара, да «надо жить километрами, а не квадратными метрами...» И Казанский другой, и жизнь другая: веселая, зовущая, обещающая. С твердой уверенностью: у нас лучше! Ведь известно же, что простая американская молодежь (особенно негры) не может вот так запросто в отпуск набить рюкзаки спальниками, палатками и «Завтраком туриста» да и отправиться веселой компанией на край света, скажем, на Соловки!

— Эй, девушка! Пошли с нами в поход!

— Дураки, какая я вам девушка, я уже была в походе!

Скоро подойдет поезд, погрузится в него веселая ватага, распихает по углам, по багажным отсекам и полкам брюхатые рюкзаки; на столе появятся непременно набор советского пассажира: яйца вкрутую, куриная нога, огурчики-помидорчики, может быть, килька в томате и уж, наверное, бутылочка за три шестьдесят две; а тут и время для гитары.

— *Уважаемые пассажиры, электропоезд до станции Черусти отправляется от седьмого пути...*

Черусти-челюсти-челюскинцы-чебоксары-чебурашка... Интересно, что за Черусти, чем там люди живут? Но все едут к Черному морю, в Карелию, на Рижское взморье, в тайгу, кто за туманом, а кто и за деньгами. И это понятно. Но, скажите мне, кому и на кой черт нужно ехать в какие-то там Черусти?!

1986 г. Даже Казанский словно бы ускорился; да и как же: включишь уют, а из него — «перестройка, гласность, ускорение!» И хотя Горбачев еще только начал разливать сладким соловьем, наверное, начал что-то смекать и Ельцин, а по Москве уже бегал троллейбус, на котором будущий опальный коммунист поедет в народ. Москва жаждет перемен, воли, демократии и чего-то еще, чего и словами не высказать, но что тревожит скукоженную советскую душу и заставляет воображение рисовать черт-те что — что-то, что-то, что-то этакое! И хотя загадка «длинный, зеленый, колбасой пахнет» (ответ: поезд из Москвы в провинцию) еще весьма актуальна, но вот уже рядом, вот уже чувствуется по всему что-то новое и, конечно же, светлое и прекрасное.

— *Уважаемые пассажиры, электропоезд до станции Черусти отправляется от седьмого пути...*

Вон они, несознательные пассажиры до Черустей, все спешат к вагонам со своими тугими сумками, из которых чаще пахнет колбасой, чем философией, и не знают, да и знать не могут, что вот-вот разберут на сувениры Берлинскую стену, что вот-вот жизнь станет замечательной и в перестроенной деревне, и в гласной Москве, и в ускоренных Черустях! Эх, а не махнуть ли, братцы, в эти самые Черусти?!

2006 г. Казанский принимает поезд из Грозного на самый крайний путь. Ограда из скамеек, оцепление — за оцеплением под строгими взглядами ОМОНа пассажиры ручейком проходят через беспристрастную рамку металлоискателя; два бойца с собакой бредут вдоль состава. Взрывчатку обнаружат в восьмом вагоне, часовой

механизм не сработал по счастливой случайности: слабо закрепленный проводок от тряски соскочил с клеммы.

Давно утонул во мраке истории ЦК КПСС, а вместо него над горизонтом навис всемогущий Газпром. С верноподданнического плаката смотрит внимательный Путин, словно выбирает себе преемника в гуще пестрой толпы. Но какой может быть преемник на Казанском!

— *Уважаемые пассажиры, электропоезд до станции Черусти отправляется от седьмого пути...*

Путин смотрит на всех. И никто не смотрит на Путина. Разве что начальник вокзала глянет изредка: не покосилось ли, не налетела ли пыль... Правители приходят и уходят. Строй сменяет строй. Сгнил хрущевский ботинок, модные вот совсем еще недавно малиновые пиджаки, теперь полный отстой. В тайгу за туманами? Ха-ха-ха! Смешно пошутил. Очкарик сидит на корточках, ждет поезда и стучит чего-то на ноутбуке.

Ну и жизнь пошла... Жизнь выгнала из Евпатории и загнала в Анталью. Жизнь вообще вытворяет с нами, что хочет. Жизнь вывернула Россию наизнанку и переброила весь мир...

* * *

Если доживу до 2026 года, приеду на Казанский, куплю билет и, дождавшись знакомого:

— *Уважаемые пассажиры, электропоезд до станции Черусти отправляется от седьмого пути...* —

пойду к этому самому седьмому пути. А то ведь нехорошо как-то: изъездил весь мир от Кубы до Швеции, а что за Черусти такие, так и не узнал. Мир меняется со страшной скоростью, Земля вертится волчком, все быстрее и быстрее — того и глядишь, сорвет тебя центробежной силой со все уменьшающегося шарика и забросит неизвестно куда! За что держаться, братцы?..

Нет-нет, все в порядке... Я точно знаю: есть на свете вещи незыблемые и непоколебимые. Ветер, что крутит снежные вихри над темными избами, над полузаменной дорогой, над золоченым крестом восстановленной церкви; ранние дымки над деревенькой, предутренний клич петуха и вскрик пролетающей электрички; вот это броуновское движение неостановимого народа на российских вокзалах, толчея и кипение жизни... И неведомая станция Черусти, в конце концов, — да пребудет она во веки веков!

Аминь...

Андрей ШАЦКОВ

НАД РОДИНОЙ...
(Вечерний июнь)

Над Родиной, в тоске полынных трав,
Заходит солнце Спаса ярим оком.
Несутся табуны, хвосты задрав,
И березняк сочится свежим соком.

Течет светила огненный металл
На холм, открытый сказочным красотам,
Где я, как в детстве, руки разметал,
Чтоб насладиться девственным полетом.

«Не покидай меня, моя весна!» —
Кричу и не надеюсь докричаться.
Пока придет последняя война,
Позволь пребыть в уделе домочадца.

Позволь успеть благословить судьбу
За то, что жил в «неправильные» годы.
Но заступил Батыеву тропу
В урочный час свинцовой непогоды...

И бешено бежит по жилам кровь,
И мреет над рекой горячий аэр.
«Не покидай меня, моя любовь!»
Не оставляй извергнутым из рая.

Не покидай!
 Но близок смутный час.
Лишь вспомнится, наверно, накануне:
Сребристый облак. В небе — Волопас
Над Родиной в полуночном июне!

НА ТРОИЦУ

Покуда уныния грех не утих
И в душу метет листопадом,
На помощь приходят изограф и мних
И вкупе становятся рядом...

Андрей Владиславович Шацков родился в 1952 году в Москве. Автор одиннадцати поэтических книг. Член Союза писателей России и Международной ассоциации журналистов. Кавалер ордена Преподобного Сергия Радонежского РПЦ и многих литературных премий. Главный редактор альманаха «День поэзии — XXI век». Лауреат премии Правительства Российской Федерации 2013 года в области культуры. Проживает в Москве и в Рузе.

Пусть в Троицын день со смятенной душой,
Забывшей про Божие слово,
Пребудут в скорбях над тщетой, надо лжой
Три лика Андрея Рублева.

Три ангела в блеске цветенья поры,
В июньской, безоблачной сини
Раскинут крыла от библейской горы
До северных храмов России.

И ляжет на мир благодатная сень,
Даруя живому прохладу.
И Символом Веры отмеченный день
Со звонниц шагнет за ограду.

И будет ниспослан Березовый Дух
Развеять уныния иго...
И Сергия слово ложится на слух,
И легче — унынья верига!

ВДОХНОВЕНИЕ

Когда туманы млечны и легки
И утвердилось лето на престоле,
Как женщина, тропинкой вдоль реки,
Выходит утром вдохновенье в поле.

Как короток зари июньской век,
Вознесшей в небо вдохновенья пламя...
Но остановит время плавный бег
И пухом закружит над тополями.

И нежный абрис женского лица
Проявится в строке неясной тенью...
И нету слаще крестных мук Творца,
Спешащего навстречу вдохновенью!

СОРОКОВИНЫ

«Вот и лето, мама, снова лето.
Майский куст давным-давно цветет...»
Я живу — один, как странно это,
И веду сороковинам счет.

Трое суток... девять суток... сорок
И конец... Один всему конец.
Словно ворон, кружит черный морок,
И из снов ушел к тебе отец.

Ты устала, как же ты устала,
Если не смогла поднять глаза
На того, кому сиротство стало
Вечным словом...

Неба бирюза

Не синее взоров юной мамы,
Что глядят с портретов прошлых лет.
В траурном убранстве фоторамы
Сутемью замглился белый свет.

В старом кресле засыпает кошка,
Без хозяйки, погасив зрачки.
В недрах холодильника картошка
Выпускает первые ростки.

И крестом лежали мамы руки,
Те — что в детстве нянчили меня.
И стояли сумрачные внуки,
Перед гробом головы клоня.

Ты увидишь райские долины,
Если существует где-то рай.
Вот и все... Идут сороковины,
Бытия земного горький край.

Я застыл безмолвно и упрямо,
Скорбно в землю упирая взгляд:
«Вот и лето, снова лето, мама,
И апрель не возвратит назад!»

ЯСЕНЕВО (Диптих)

I.

Мне в это лето возвращенья нет.
И в этот дом не будет возвращенья.
Над Ясеновом звезд прощальный свет
И ясней серебряных свеченье.

За «Узким» в узких берегах пруды
И стены обветшалые усадьбы.
И ангельские крылья из слюды
Стрекоз,
творящих призрачные свадьбы.

Но не сложились судьбы и стихи.
И помнится, как горестная притча:

У церкви ограды — лопухи,
Невнятен глас невидимого притча.

В снега уходят: судьбы, имена.
В сугробах путь к утерянному раю...
Наш общий грех возьму на раменá
И понесу к неведомому краю.

II.

Над Ясеновом солнце и дожди...
Судьба опять ведет меня по кругу:
Переживать забытую разлуку
И возвращать на прежние пути.

С кем ты скучала, Ясная моя?
Кого ждала под вечер на пороге?
Он не писал тебе такие строки,
Но стать сумел удачливей меня.

И горек мне у твоего причала
То, что зовется в книгах «Отчий дым».
Я знал, что я тебе необходим.
Жаль, ты об этом ничего не знала...

Над Ясеновом стай стрижиных всхлип.
И самый долгий день на всю округу,
И я бреду, твою сжимая руку,
Среди до неба вымахавших лип.

Пустых внутри,
как чаша причащенья,
На дне которой сумеречен свет...
И я шепчу: разлуки вечной — нет,
Но к прошлому не будет возвращенья!

ПЕРЕД ТЕМ, КАК УЙТИ

Перед тем, как уйти в немоту, в темноту,
Оглянусь и к коленям твоим припаду.

Захочу заповедать, сказать, объяснить,
Что у нашей реки, где зеленая сныть,
Где, не зная покоя, свистят кулики,
Где в прощанье слились две щеки, две руки
В угасающем отблеске летнего дня,
Ты должна иногда вспоминать про меня!

Чтобы снова и снова шептала листва
Позабывшие в прошлом стихи и слова.

И звучали любви неземной голоса,
Поднимаясь туманом ночным в небеса.
Где на облаке светлом, под звездным венцом,
Будут ждать меня мама об руку с отцом.
Скажет мама: «Наверно, от суетных дел
Ты, как зазимком битый, мой сын, поседел.
Неужели никто в этом мире, сынок,
Приголубить тебя вместо мамы не смог?»

Перед тем, как навек улететь в синеву,
Поцелую сухими губами траву,
Где когда-то в следах потаенно-босых
Поутру высохали разливы росы.
Ворожила кукушка, и пел Гамаюн,
Прославляя июнь, светозарный июнь!..

Не по первому снегу — последнему льду,
Я по россыпи белых ромашек уйду!

И СНОВА ЛЕТО

И снова лето. Преклони
Перед влюбленностью колени!
Какие солнечные дни
И полдни без намека тени!

Как раскаленный воздух сух!
Какой дурманнный дух от сена!
Кружится тополиный пух,
И перед ним склони колена!

Взойди на холм. Взойди вдвоем,
Чтоб лучше виделось с обрыва,
Как светозарен окоем,
Как замерли неторопливо:

Литое зеркало воды
И чаек вычурные позы...
И только блестками слюды
Парят над озером стрекозы.

И я, запутавшись во лжи
И в объясненьях с кем попало,
Спешу упасть в объятья ржи,
Чтоб, руки разметав устало,

Следить, как снизойдет на нас
Ликующе и вдохновенно
Благословенный летний час —
Июня час благословенный!

РАССКАЗЫ

МУЗЫКАНТ

Повышение цен в нашей служебной столовой начальство объяснило новым сервисом. Специально подобранные девчухи убирали со столов остатки пищи, наводили чистоту. Разряженные в униформу (голубые передники с белыми оборочками), они неслышно, с напряженными от усердия личиками сновали между столами. Видимо, им запрещалось говорить с посетителями и даже улыбаться. Такой новоявленный менеджмент! Я обратил внимание на то, что самые усердные из этих девочек, заметив, что кто-то завершал трапезу, останавливались чуть поодаль и переминались с ноги на ногу. У меня была привычка, поев, посидеть, поговорить с тем, с кем делил застолье. Но как это делать, когда девочка-подросток маячит в ожидании, что ты наконец прекратишь точить ляды. Как-то я подозвал одну из них, посмотрел на нее в упор и сказал громко, что она «голубоглазенькая». Девочка покраснела. Позже, бывало, как увидит меня, слегка улыбнется и глаза отведет.

После повышения цен мой коллега Симон перестал ходить в столовую. В ответ на предложение отобедать он впадал в обличительный пафос:

— Я должен сильно поиздержаться для того, чтобы потом испытать облегчение, узнав, что твои объедки уберет некое ангелоподобное существо! Вот тебе и весь «севриз»!

Была у него такая манера — слова коверкать, когда ерничал. Таким образом он пародировал свою тещу — малограмотную особу.

В перерыв Симон стал спускаться к станции метро, где в ларьке покупал два пончика, один пирожок с мясом и бутылочку фанты. Потом через подземный переход направлялся в сквер, где, разместившись у фонтана, обедал. В этот момент на него нисходило умиротворение. После трапезы Симон тщательно мыл руки и губы у колонки с водой, вытирал их салфеткой, клал салфетку и порожнюю бутылку в целлофановый пакетик и выбрасывал его в урну.

Но одно обстоятельство нарушило заведенный Симоном порядок...

В тот день в подземном переходе он притормозил — обратил внимание на уличного музыканта. Маленького роста, сухощавый мужчина (очевидно, русский) играл на гитаре и пел. Обычных размеров инструмент казался непомерно большим в его руках. Надрывно тонкий голос достигал высоких нот. В этот момент жилы на его

Гурам Александрович Сванидзе родился в 1954 году в Тбилиси. Учился в Тбилиском государственном университете на отделении журналистики, окончил аспирантуру Института социологических исследований АН СССР в Москве. Кандидат философских наук. В течение двадцати лет работал в правозащитных организациях, из них шестнадцать — в Комитете по гражданской интеграции парламента Грузии. Автор сборников рассказов «Городок» и «Тополя». Неоднократно публиковался в русских, американских, израильских и грузинских журналах. Печатался в журналах «Нева», «Дружба народов», «Волга», «Сибирские огни», «Новая Юность», «Урал».

тощей шее набухали, а сам певец словно вырастал, вставая на носочки. Но когда казалось, что лопнут от натуги связки и голос сорвется, он плавно переходил на более низкий регистр и принимал более устойчивую позу. Симон мало разбирался в музыке. Его больше забавляло то, как «работал» гитарист. Наблюдая за уличным музыкантом, Симон стоял в сторонке и старался не попасться тому на глаза. У ног исполнителя лежала деревянная коробочка. Платить за «концерт» не входило в намерения моего приятеля.

Наслушавшись, вернее, насмотревшись на певца, Симон не заметил, как машинально умял пирожки.

С той поры мой приятель завел правило — обед совмещать с бесплатным прослушиванием эстрадных песен в подземном переходе. Его удивляло разнообразие репертуара исполнителя. Тот пел на трех языках: русском, грузинском и английском.

Но однажды, спустившись в подземку, Симон услышал треньканье гитары и гнусавый голос какого-то юнца. Знакомый музыкант стоял в сторонке. Вся его фигурка изображала покорное ожидание. Когда мой приятель возвращался, юнец по-прежнему что-то блял, а русский мужчина терпеливо ждал. Несколько озадаченный, Симон, не останавливаясь, проследовал на службу.

Через некоторое время музыкант совсем пропал. Сервису нашей столовой Симон по-прежнему предпочитал пикник в сквере у фонтана. О «концертах» в подземном переходе стал забывать.

Прошло время, и мой коллега встретил музыканта на вокзальной площади, но в совершенно новой роли. Разинув рот, мой коллега наблюдал, как из автобуса санитарной службы города высыпали дворники с метлами — все в оранжевой униформе и с фирменными значками. Среди них выделялся старый знакомый. Маленького роста мужчина был аккуратно выбрит и пострижен, одежда отутюжена, обувь блестя. Он проявлял энтузиазм, в какой-то момент погнавшись за обрывком газеты, который подхватил ветерок. Других дворников такое рвение товарища только забавляло. Они ухмылялись. В отличие от него, все они были небриты и неопрятны, фирменная униформа явно не первой свежести.

И вот через неделю мой не очень эмоциональный приятель чуть не изошел от прилива благостных чувств. Причиной стал тот самый музыкант-дворник. На маршрутном такси Симон, по делам службы, поднимался на Лоткинскую гору — в дальний район города. Шофер включил магнитофон. Песня, заполнившая салон, была специфической — тбилисский простонародный фольклор. Его обычно исполняют в дешевых ресторанах, где собирается не столь взыскательная по части культурных запросов публика. Симон вдруг оживился, заерзал на сиденье. Он узнал голос своего знакомого — надрывный тенорок с едва заметным русским акцентом выводил восточные рулады. «Неужели! Какой молодец, нашел-таки применение своим талантам!» — внутренне ликовал Симон.

Как-то я буквально силой заставил Симона спуститься со мной в столовую. На десерт мне хотелось поведать ему одну историю. Пока мы ели, он сидел напряженный и вроде как с опаской следил за девочками. Они, как обычно, легкими тенями передвигались по залу.

— Ты, конечно, помнишь Геру, нашего однокурсника? — обратился я к собеседнику и после его утвердительного кивка продолжил: — Вчера на улице случайно встретил его мать. Женщина выглядела несчастной. Она рассказала, что Гера потерял работу. Бедняга не выдержал, и у него произошел психический срыв. Он стал пропадать из дому. Причем с гитарой. На конечной станции метро в темном углу его застал родственник. Совершенно отрешенный Гера стоял и брэнчал нечто на гитаре, не замечая, что стоит по щиколотку в луже, что никто не обращает

на него внимания. Насколько помню, он не умел играть на гитаре. С помощью милиции его еле удалось привезти домой. Он еще гитарой отбивался, как булавой.

Симон сокрушенно кивал, когда слушал меня. Потом рассказал о музыканте из подземного перехода...

С некоторых пор я замечаю, что присматриваюсь к уличным музыкантам.

Вчера вечером, выходя из гастронома, я увидел одного из них — малого роста мужчину с гитарой, по внешности русского. Он пел тенорком. Бедняга приподнимался на носки, когда брал высокие ноты. Певец выглядел усталым, посеревшим, голос осип. Его небритое лицо было унылым. После того, как музыкант глянул в «копилку», на нем ясно читалось отчаяние. Видимо, коробочка была пуста. Певец разразился воплем. «Говно! Говно!!» — кричал он. Сидящие поблизости торговки семечками заулыбались жалостливо. Одна другой сказала:

— Каждый раз после неудачного дня вопит. Не матерится! Только кого он так называет?

Я подумал: неужели это знакомый Симона? Даже хотел было порасспросить о музыканте у торговок. Как я заметил, они ему сочувствовали, и не случайно. Мне довелось стать свидетелем сценки...

Гитарист был в сильном подпитии, качался из стороны в сторону. Видимо, после «рабочего дня» возвращался из питейного заведения. Без гитары. Вопреки обыновению, он не пел, а насвистывал мелодию. Как всегда, на тротуаре, у деревянной ограды, недалеко от гастронома, уткнувшись в нее, лежала убогая нищенка. Низким голосом она изображала пение. Музыкант картинно-весело подбежал и склонился над ней, бросил в ее коробочку деньги. Та только заулыбалась, что, вероятно, делала редко. Торговки семечками участливо обменялись взглядами.

РАРИТЕТ

Кто собирает марки, кто этикетки, а я коллекционирую записи арии Неморино из оперы «Любовный напиток» Доницетти. Скачиваю их из Интернета. Сегодня эту арию я слушаю в исполнении тридцати двух выдающихся теноров и поиск продолжаю. Иногда зову своих домашних к компьютеру, чтобы вместе с ними насладиться шедевром. Они с удовольствием составляют мне компанию, пока я не начинаю донимать их тем, что заставляю слушать эту арию в исполнении разных певцов.

Сам я не пою. Сказался хронический фарингит. Однажды мне в горло заглянул врач и сказал, что голосовые связки висят у меня безжизненно вместо того, чтобы быть натянутыми, как струны. Только в моменты, когда кто-либо из теноров брал высокие ноты, я невольно открывал рот, будто вторил исполнителю, но не издавал при этом ни звука.

Недавно я говорил по телефону с Н. Л. Он слышет знатоком итальянской культуры. Даже вел специальную передачу по радио. Вообще, воспринимал он искусство, и итальянскую оперу в частности, весьма своеобразно. Из его передач можно было узнать, кто из композиторов чем болел, с кем из примадонн заводил интрижки. Только после таких рассказов он пускал в эфир фрагменты опер. Кстати, ему принадлежит «ценное» наблюдение, касающееся русской оперы. Татьяна в опере «Евгений Онегин» Чайковского вначале ведет себя как сумасшедшая, а под конец она — женщина с развитым здравым смыслом. «В мировом репертуаре происходит наоборот!» — говорил он авторитетно. Из его слов трудно было понять, плохо или хорошо в этом случае поступил либреттист.

Н. Л. — тип саркастичный, ревнивый, «свою территорию» защищал с остервенением, «дабы разные профаны не совались», как он выразился однажды. На мое увлечение он отреагировал сначала настороженно.

— Если ты обратил внимание, у нас эту арию иногда исполняют по разным печальным поводам, — заметил Н. Л. во время нашего разговора по телефону, — но опера ведь комическая. Простой крестьянский парень Неморино покупает на последние деньги эликсир любви и дает выпить возлюбленной. На самом деле некий шарлатан продает ему обыкновенное вино. И вот девушка тайком роняет слезинку, что для возлюбленного становится доказательством ее любви.

— Вот именно роняет слезинку, тайком, «Una furtiva lagrima», а не проливает слезы у всех на виду, — послышалось на другом конце линии.

Под конец телефонной беседы Н. Л. заметил, что такое увлечение не делает чести моему вкусу, дескать, попса все это. В ответ я сказал, что если сам Паваротти исполняет арию, значит, она не попса. В ответ Н. Л. хмыкнул:

— Ничто другое Лучано не исполняет так плохо, как эту арию, — как бы с ленцой.

— А как остальные тридцать два исполнителя, которых я записал в свой альбом?

— Это не аргумент. За свою жизнь я слушал столько исполнителей, раз в пять больше собранных тобой.

Я не стал оспаривать этот далеко не безупречный довод.

Несколькими днями позже я прохаживался по улице. Из окон первого этажа одного из домов до меня донеслись звуки «Аве Марии» Шуберта. Впав в экстаз, группа, очевидно дилетантов, не то пела, не то кричала. Иногда чей-то голос требовал следовать нотам, ритму. Некоторое время было слышно фортепьянное исполнение мелодии. Но дилетанты не унимались. Я оценил изысканность музыкальных пристрастий незнакомых мне людей, но не мог одобрить беспардонность, с какой они коверкали красивейшую из мелодий. В это время мимо проходил один старичок. Его тоже привлекло «неправильное» исполнение шедевра. В отличие от меня, он не стал предаваться размышлениям — неожиданно подошел к окну и постучал тросточкой по железной решетке. Пение прекратилось. Из окна выглянула удивленная физиономия хозяина. Старичок отступил назад и робко сказал:

— Вы неправильно поете.

...Это был Сандро Геронтьевич — наш бывший хормейстер.

Возраст сильно на нем сказался. Некогда поджарый, он утратил свою статью, но был по-прежнему мягок. Видимо, улавливать фальшь и истреблять ее стало для него наваждением, что подвигало его на поступки, подобные этому.

В нашей школе Сандро, кроме того, что руководил хором, вел еще уроки пения. Сразу отмечу, петь в его хоре мне не довелось. Я разделил участь двух парней и одной девушки. Их Сандро Геронтьевич «вычислил» сразу. Пальцем указал на каждого и сказал, что они свободны и на следующее занятие могут не приходить. «Голос есть, но нет слуха!» — прозвучал вердикт. Потом он стал коситься на меня. Разделил хор на две части и заставил петь ту из них, в которой находился я. Затем еще раз поделил нашу половинку и заставил петь уже четвертинку, где опять-таки был я.

— Слух вроде имеется, но голоса нет, — прокомментировал хормейстер. Потом спросил озабоченно, не часто ли я болею ангиной.

Он заботился о чистоте звучания хора, но дисциплина была его слабым местом. Детишки строили ему рожи в спину, мальчики в хоре задирали девочек. Как бы сказали сегодня: «Ему не хватало харизмы». Поэтому на его занятиях «дежурили» педагоги по другим предметам. Некоторые из них даже вмешивались и давали советы. На меня, как портящего звучание хора, сначала указала учительница грузинского языка, а потом уже за меня принялся сам Сандро.

...Но помнить хормейстера у меня была еще одна причина. Из-за «поступка», который он себе позволил. Чего стоила одна его красная бабочка: она сформировала определенное к нему отношение. А тут еще...

Вообще, преподавать пение в школе у нас считалось неблагодарным трудом. Мы находились на том этапе созревания, когда подростковая одичалость достигает своего апогея. Это — когда «ненавидят школу», «ненавидят девчонок» (или наоборот) и когда нет ничего унижительней, чем стенная «дацзыбао»: некто + некто = любовь. Также зазорным считалось петь при всем честном народе и в таком неподобающем для этого месте, как школа. Уроки пения проводились формально — без... пения. В лучшем случае пересказывалось содержание песен или ученики зазубривали имена великих музыкантов.

В тот день у Сандро урок сложился. Класс был неожиданно милостив. Вероятно, под конец дня мы устали или на нас вдруг что-то «нашло». Во время урока стоял монотонный негромкий гомон. Педагогу, вконец замученному в других классах, он показался терпимым. Сандро был вне себя от благодарности и несколько раз лестно отозвался о классе. Учитель рассказал нам о композиторах и исполнителях. Тогда очень популярна была песня «Подмосковные вечера». На его предложение исполнить эту мелодию никто не отозвался. Сандро сам подал голос, что вызвало «нездоровые смешки» в классе. Тут бы ему остановиться, но нет...

Педагог глянул на свои ручные часы, поправил свою красную бабочку и обратился к классу:

— Ребята, я спою вам арию из итальянской оперы.

Никто ничего не сказал. Честной народ охватила оторопь. Сандро театрально сложил руки на груди, округлил губы, чуточку закатил глаза и чистым, но несильным тенорком запел «Una furtiva lagrima». Педагог старательно выводил мелодию, глаза даже несколько замаслились от умиления. Его тенор звучал в гулком помещении при полной тишине, которая могла только настораживать. Но вот исполнение закончилось. Тишина продлилась, я успел рассмотреть несколько удивленный и вопрошающий взгляд «маэстро», обращенный к классу. Взрыв дикого хохота и улюлюканья, переходящие в подвывания неоформившихся голосов, которыми исходили несчастные пубертанты, вызвал у него панику. Он быстро схватил школьный журнал и тросточку и удалился из класса. Вакхическое веселье продолжилось. Озабоченный воплями, доносившимися из класса, к нам забежал директор школы. Однако распоясавшийся контингент было не унять. К директору на помощь прибежал учитель физкультуры, известный своей склонностью к рукоприкладству... Прозвучал звонок, и все смолкли, страсти улеглись.

После такого «провала» жизни для Сандро в школе не стало. Он ушел, и некоторое время на уроках пения нам преподавали дополнительно то физику, то математику. Хора тоже не стало.

...Вчера в одной компании я встретил Н. Л. Мы долго беседовали на разные темы. Н. Л. недурственно исполнил на рояле несколько этюдов Шопена. Публика его обласкала, и он дал волю некоторым дурным особенностям своего характера. Например, отвратительно сплетничал. Когда мы прощались, Н. Л. не без иронии спросил меня о моей коллекции. Мол, есть ли пополнения. Было заметно, что он приготовился к тому, чтобы не удивиться.

— Да, имеется одно раритетное исполнение арии Неморино, — ответил я, — жаль, что не записал его в свое время. Тенор, наш, грузинский. Зовут его Сандро Геронтьевич С-швили.

Н. Л. напруг память, но такого исполнителя не вспомнил.

ОКТАБРЬ

Страсть Пааты к музицированию, овладевшая им в довольно почтенном возрасте, не могла показаться эксцентричной тем, кто знал его лет двадцать назад. Ему было тринадцать лет, когда он вдруг удивил всех игрой на фортепьяно. Многие из его сверстников умели играть на этом инструменте. В те времена считалось за правило хорошего тона определять детей в музыкальную школу. Если девочки еще как-то завершали полный курс, то мальчики к возрасту Пааты благополучно школу бросали. Впечатляло то, что первое произведение, которое в своей жизни исполнял Паата, была Четырнадцатая соната Бетховена, известная под названием «Лунная». Разобрал он ее самостоятельно по нотам, которые купил в магазине. В его доме не было инструмента, и он ходил по соседям, чтобы попеременно мучить их своими любительскими упражнениями. Позже, когда он предавался воспоминаниям о своем музыкальном прошлом и поминал шедевр Бетховена, непосвященные не верили, а посвященные допускали правдоподобность его ретроизлияний, но с оговоркой, что одолеть ему было под силу только первую часть. Мол, нотный текст простой, и техники особой не требуется.

Выводя томную элегичную мелодию первой части сонаты, Паата слегка закатывал глаза, видимо, все-таки от удовольствия, а не от страха допустить очередную ошибку. Что же тогда оправдывало труд, на который паренек обрек себя добровольно! Его не столь ловкие пальцы сбивались довольно часто, и весьма редко он доигрывал эту часть до конца. Через некоторое время, чтобы не докучать слушающим несовершенным исполнением, пианист-любитель исполнял избранные места и, особенно, экспрессивный конец. Здесь глаза уже не закатывались, а совсем закрывались. «Исполнитель» подолгу, не отпуская педаль, выдерживал заключительный аккорд, пока тот полностью не растворялся в воздухе, что весьма утомляло аудиторию. Однако она проявляла благосклонность. Зрители говорили о таланте Пааты. Хотя их больше завораживала серьезность предпочтений мальчика. Никто не догадывался, что способностей у него меньше, чем у тех его сверстников, кто умел на слух подбирать шлягеры и развлекал своим брэнчанием друзей на вечеринках.

В какой-то момент ввели себя в заблуждение и педагоги музыкальной школы, решившие, что набрали на вдруг раскрывшийся талант. Как и родители, которые долго присматривались к увлечению сына и наконец купили ему пианино. Сыграл роль хабитус Пааты: очки на интеллигентном лице, элегантное расположение пальцев на клавишах. И еще — недетская меланхолия. Действительно, педагогов и родителей должно было насторожить то, что во время занятий музыкой мальчик питал интерес преимущественно к реквиемам и похоронным мелодиям. Паата их напевал (почему-то в нос), покупал соответствующие пластинки. Он даже пытался исполнять их.

Что из этих занятий получилось — Паата умалчивает. Наверное, из-за обманутых ожиданий. Невыносимо было наблюдать, как разочарованно разводят руками преподаватели. Проявляя неделикатность по отношению к ребенку, они пытались оправдать себя в собственных глазах. От учебы в музыкальной школе, которая продлилась всего два года, остался этюд для беглости рук, который он вызубрил настолько, что пальцы сами выводили его на клавиатуре. Пианино в их доме надолго замолкло, а с некоторых пор привлекало внимание только тем, что на нем были помещены фото умерших родителей.

Потребность возобновить музыкальные опыты пришла к нему в самые трудные для всех времена. «Озарение снизошло» зимним утром. На улице было очень

темно, отчасти оттого, что власти позабыли перевести страну на зимнее время. В доме не было электричества. Паата сидел на краю постели. На ночь он не раздевался из-за отсутствия отопления. Ощущение несвежести донимало его. Вчера кончилась зубная паста, позавчера состоялся неудачный поход в баню. Она оказалась закрыта. Его меланхолия давно перешла в депрессию, проявляющуюся разными формами тяжести. К тому же оставался неприятный осадок от недавнего стресса. Его, поздно возвращавшегося домой, недалеко от сгоревшей во время городской войны гостиницы, чуть не зарезал один имбецил — хотел денег. Паата отдал мохеровое кашне.

Предстояло идти на постылую службу, и не исключено, что в слякоть, пешком, потому что иногда не работало метро. Зарплата его не превышала, в пересчете с купонов, двух долларов в месяц. Он готовил себе чай на чадающей керосинке, заедая его хлебом с повидлом... Его нервировало, что зубы крошатся, что на кухню повадилась крыса, что дом затхлый, что обувь совсем прохудилась, что он так и не женился...

Вдруг показалось, что на душе полегчало. Он начал сипло напевать мелодию. Она долго плутала в извивах его затейливой души и теперь тихо пробивалась наружу. Вчера, прохаживаясь по проспекту Руставели, Паата обратил внимание на самодельный лоток, на котором лежали подержанные ноты. Ими торговал мужчина, плохо одетый, измученный. Но его глаза были ясными. Торговец ладно насвистывал мелодию из альбома «Времена года» Чайковского. Именно ее пытался воспроизвести Паата, напрягая свои слабые голосовые связки. Он встал с постели, надел очки и зажег свечу. Альбом с нотами в книжном шкафу нашел довольно скоро. Нашел и заветную пьесу — «Октябрь». Паата не стал трогать застоявшееся пианино, так как знал, что оно совершенно расстроено и ему его не настроить. Он не стал торопить события. Ноты еще долго лежали нетронутыми на письменном столе. Его переполняла спокойная уверенность, приятное предвкушение, которое хотелось продлить. Это свое качество он сам назвал садомазохистским после того, как прочел Эриха Фромма. «Намеренное откладывание момента удовлетворения, а не потакание ему — с этого начинается культура», — не без кокетства отмечал Паата про себя.

Из своего увлечения он хотел сделать маленькую тайну и не возражал, если ее невзначай откроют и при этом приятно удивятся.

Прошла неделя, пока он нашел старого приятеля-настройщика, бывшего джазмена. Настройщик был настолько пьян, что Паате пришлось держать его под руку и нести чемоданчик с инструментами. Хозяин молча выслушивал хмельные монологи бывшего джазмена, пока тот возился с внутренним убранством инструмента. Не выказывая нетерпения, он ждал, когда настройщик перебирал толстыми пальцами клавиатуру, играя композиции Элингтона, когда бубнил тосты, в одиночку распивая припасенную заранее хозяином бутылку водки, а потом бесконечно нудно прощался. Кстати, когда бывший джазмен был уже за порогом, он вдруг как бы опомнился и, обернувшись, спросил хозяина: «Зачем тебе было настраивать свою развалюху?» Паата не растерялся и ответил: «Хочу ее продать. Совсем нет денег. Выручу что-нибудь». Уходящий гость хотел возразить, но тут Паата стукнул дверью перед его носом.

Методично и спокойно Паата принялся за пьесу. Каждый вечер, после работы, он часами просиживал за фортепьяно. И вот через месяц сквозь энтропию, создаваемую не желающими слушаться пальцами, уже начинала проглядывать мелодия: очарование поздней осени, нега легкой грусти, уходящий вдаль последний караван перелетных птиц, пролетающих над оголенным садом, подавал голоса.

Кроме удовольствия, пианист-любитель находил в занятиях музыкой еще и пользу. Он чувствовал, что его самочувствие улучшалось и, следуя привычке все анализировать, пришел к выводу: «Мои пальцы задали алгоритм моему сознанию. Это тот случай, когда собственные конечности помогают отдыхать тебе от самого себя!».

Жизнь обрела размеренность и перестала казаться чередой тягостных будней. Паата уже не мог нарушать распорядок. Приходилось даже отказываться от приглашений на разные parties. Они были настолько же редки, насколько предоставляли возможность нормально поесть.

А однажды его познакомили с одной привлекательной дамой. Познакомили не без умысла, и она сама об этом догадывалась. Во время беседы в какой-то момент новая знакомая прозрачно намекнула, что-де не прочь быть приглашенной на премьеру одного спектакля. Паата сделал неприлично длинную паузу, что стоило ему ее язвительного замечания: «Видимо, премьеры не про вас!» Откуда ей было знать, что именно в это время у Пааты «свидание» с фортепьяно. Он попытался исправить положение, но было поздно.

Как-то Паата попал на одни посиделки, где собиралась весьма интеллектуальная компания. При свете ламп, в холоде, потягивая плохо сваренный кофе, куря сигареты, гости говорили о Фрейде и т. п. Здесь Паата услышал много новых умных слов. Один знаменитый юноша использовал такое благозвучное выражение, как «эпиникии». Паата не рискнул выяснить, что оно означает. Обратила на себя внимание фраза одной психологини: «Художник не нуждается в зрителе. Пианист может играть и для себя только». «Неужели», — поймал он себя на мысли.

По мере того как улучшалось исполнение пьесы, ему мечталось произвести фурор, пусть «местного значения». Но произошла заминка. В автобусе Паата увидел девочку лет десяти, у которой в руках был нотный альбом Чайковского «Времена года». Он не выдержал и, улыбаясь с деланным умилением, спросил, не играет ли она что-нибудь из альбома. «Октябрь», — ответила девочка, покрасневшая от странных по месту и содержанию расспросов. Покраснел и Паата. Он не предполагал, что эту пьесу исполняют чуть ли в начальных классах. Ему стало стыдно за себя. Однако буквально в тот же день вечером дали электричество, и Паата посмотрел репортаж с конкурса Чайковского, где в качестве обязательной программы для маститых исполнителей были пьесы «Июнь» и «Октябрь» из «Времен года». Он торжествовал, весь вечер не вставал из-за пианино. «Играют многие, но немногие исполняют!»

С некоторых пор у него появилось что-то вроде искуса: как увидит пианино или рояль, начинает его внимательно осматривать, поднимать крышку, подбирать аккорды. Паата знал, что в городе нет семьи, которая не имела бы собственного инструмента, но не мог представить, что весь Тбилиси заставлен пианино и роялями. Их можно было увидеть в самых неожиданных местах и в девяти случаях из десяти вконец обшарпанными и расстроенными — совершенный хлам. В каждом укромном углу Паате мерещились рояли-инвалиды. Оставалось гадать, кто, зачем и как доводил их до такого состояния. На одном заводе, в стороне от оживленной проходной, Паата обратил внимание на два стоящих впритык друг к другу пианино. Они посерели от пыли. Рядом находился столик, за которым восседал столетний старичок в форме пожарного. Он тоже был весь серенький от пыли. Его никто не замечал. Разве что Паата увидел, когда смотрел, по своему новому обыкновению, на вышедшие из употребления музыкальные инструменты.

Паата ждал подходящего момента, чтобы открыться, и... сдерживал себя. Надо, чтобы сначала из музыкантов кто-нибудь послушал. Может быть, что подскажут. И вот однажды он встретил на улице пьяницу-настройщика. Тот стоял у гастронома с собутыльниками. После дежурных взаимных расспросов о житье-бытье Паату вдруг осенило: а не пригласить ли бывшего джазмена к себе, музыкант все-таки. Настройщик сначала решил, что у Пааты проблемы с пианино. «До сих пор не продал?» — последовал вопрос. В ответ Паата загадочно улыбнулся. В гости

настройщик пришел без опоздания и трезвым. Немножко посидели за столом. Слегка разгоряченный хозяин вдруг подсел к инструменту, поднял крышку, помассировал пальцы, сделал паузу... и заиграл. Когда обернулся, посмотрел на гостя. Лицо джазмена выражало серьезность и сосредоточенность. Оно как будто даже изменилось и разгладилось. После некоторого молчания он сказал: «Больше жизни! Октябрь бывает каждый год! А вообще недурственно», — заключил он и налил себе водки в стакан. Паата приободрился.

С дебютом долго не получалось. Во время одного застолья у коллеги он принял попытку ненавязчиво привлечь внимание к своей игре. Подошел к пианино, открыл крышку, но неудачно. Он сам не услышал первых аккордов. Народ был уже разморен от питья и курева, и всех тянуло больше горланить что-нибудь застольное.

В другой раз он затеял исполнение пьесы в доме начальника. Паата имел неосторожность обыграть того в шахматы и потом начать исполнять элегичную мелодию на рояле. Это было воспринято как издевка. Плохо скрывая раздражение, шеф стал демонстративно обзванивать других подчиненных, устраивая некоторым из них разнос. Он проявлял совершенное равнодушие к проникновенному исполнению Чайковского у себя в доме.

Но так долго продолжаться не могло. Развязка получилась неожиданной...

Некогда у Пааты была любовь. Ее звали Нинель. Она работала с Паатой в одной организации в бухгалтерии. Это была кроткая и незаметная девушка. Но, присмотревшись, можно было разглядеть красивое лицо (особенно глаза), тонкие, почти прозрачные запястья и трепетные пальцы. Паата влюбился в нее в момент, когда она своими слабыми руками пыталась открыть тяжелую дверь холодного металлического шкафа. Забыв о премии, которая ему причиталась, он зарделся и предложил проводить девушку до метро.

Она жила в Соллолаки, в некогда шикарном особняке, поделенном ныне на коммуналки. Нинель была из еврейской интеллигентной семьи. Ее родители-пенсионеры постоянно читали и принимали лекарства, поэтому дома у нее пахло библиотекой и аптекой. У стола неизменно неподвижно сидела древняя бабушка. Брат, как показалось Паате из рассказов, наиболее «живой» член семьи, уехал в Израиль.

Кротости Нинель не хватило на то, чтобы выносить его манеру долго предвкушать. У Пааты появился соперник. Его звали Бенья. Он работал корректором в одном из институтов и был одухотворен до шизоидности. Бенья был, мягко говоря, малого роста, к тому же еще согбен и худ из-за разных заболеваний. Но прямой взгляд и крепкое рукопожатие выдавали в нем характер. Как-то на улице один наглый милиционер прошелся насчет его не столь атлетического телосложения. Страж порядка был ошарашен, когда Бенья полез драться, неловко размахивая руками-крючьями. Чтобы не прослыть обидчиком убогих, милиционер ретировался. Но обиженный продолжал преследовать его. Когда милиционер оглядывался, то его охватывало жутковатое чувство: с фатальной неизбежностью его пытался догнать низкорослый субъект с впалой грудью и испуганным взглядом. Он в панике бежал... Бенья отбил у Пааты Нинель.

Паата быстро смирился с таким положением дел и даже поддерживал дружеские отношения с разлучником Беней. Некоторое время тот ревновал к своему бывшему сопернику, но вскоре утихомирился. Нинель же была занята своими проблемами: сначала умерла бабушка, потом отец, не складывалась жизнь у брата в Израиле. Но Паата помнил минуты счастья, которые их когда-то объединяли. Они подолгу, бывало, ворковали на разные темы, ходили в театр, кино. Нинель сама играла на фортепьяно — очень тихо, как будто слабые пальцы не справлялись с клавишами. Взгляды, полные любви, легкие прикосновения...

Ему вдруг захотелось, чтобы его маленький триумф разделила Нинель, его бывшая любовь.

В тот день он вызвался проводить Нинель до дому. Она согласилась. По дороге ему хотелось рассказать о своем увлечении, но он сдержался. «Только бы добраться до их старинного рояля», — думал Паата. Когда выходили из метро, он осведомился, не продала ли Нинель рояль. Она ответила, что подумывала об этом, когда умер отец, но в последний момент ее отговорил Бенья.

Дома никого не оказалось. Мать куда-то вышла, а Бенья был на собрании одной правозащитной организации. С некоторых пор он стал правозащитником. Тот факт, что он родился в воркутинском лагере, где отбывали срок его репрессированные родители, оказался весьма кстати для его нового поприща.

Паата и Нинель сидели молча за столом и пили кофе. Он косился на рояль, который стоял в углу комнаты, заставленный безделушками. Потом вдруг встал и подошел к инструменту. «Я хочу сыграть тебе пьесу „Октябрь“ из альбома „Времена года“», — сказал Паата робко и сел на крутящийся стул. Нинель выразила удивление и под села рядом. «Это моя самая любимая пьеса из этого альбома», — заметила она. Паата взял несколько аккордов для проверки состояния инструмента, потом опустил руки и голову... Ему казалось, что никогда еще он не играл так удачно. Как раз сейчас он нашел то, к чему стремился: звуки таяли, как тает надежда, тихо и неотвратно.

После того как отзвучала последняя нота, они сидели молча. Он чувствовал, как в нем поднимается волнение. Паата склонился чуточку в сторону Нинель и обхватил ее худенькие плечи. Она не сопротивлялась. Он начал покрывать ее лицо поцелуями, она не сопротивлялась. Тут громко стукнула дверь. На пороге стоял Бенья.

Бенья говорил гадости и издевался над «крутым неудачником» Паатой. Потом он потянулся ударить незваного гостя. Паата не выдержал и пнул Бенью. Тот упал. Поднялся переполох.

На следующий день на службе только и разговоров было о том, что Паата под каким-то неуклюжим предлогом наведился к Нинель, повел себя по-хамски, на чем его «застал» Бенья, и что Паата избил несчастного мужа. Никто и словом не обмолвился о Чайковском!

Александр ГАБРИЭЛЬ

РЫЖИНА

Говори со мной, осень, на своем языке,
подари, как письмо, запоздалую негу...
Пристрасти меня, осень, к первозданной тоске,
прикрепленной невидимой ниткою к небу.
Негорячее солнце, лучами пронзив
небеса, отразилось кокетливо в луже...
Убеди меня, осень, что я твой эксклюзив,
и никто, и никто тебе больше не нужен.
И прочту я в волшебной твоей рыжине,
хоть на миг возвратившись к забытым основам,
все, что станет со мною и бродит во мне,
становясь то ли жизнью, то ль сказанным словом.

КУСОЧЕК ДЕТСТВА

Ах, детство ягодно-батонное,
молочные цистерны ЗИЛа!..
И небо массой многотонною
на наши плечи не давило.
Тогда не ведали печалей мы:
веснушки на носу у Ленки,
ангинный кашель нескончаемый,
слои зеленки на коленке.

Вот дядя Глеб в армейском кителе
зовет супружницу «ехидна»...
И так улыбчивы родители,
и седины у них не видно,
картошка жареная к ужину,
меланхоличный контур школы,
да над двором летит натруженный,
хрипящий голос радиолы.
Вот друг мой Ким. Вот Танька с Алкою.
У Кима — интерес к обеим.
А вот мы с ним порою жаркою
про Пересвета с Челубеем
читаем вместе в тонкой книжице,
в листочек всматриваясь клейкий...

Александр Михайлович Габриэль — дважды лауреат конкурсов им. Николая Гумилева (2007, 2009), обладатель премии «Золотое перо Руси» 2008 года, автор многочисленных газетных и журнальных публикаций в США, России и других странах. Автор четырех книг. С 1997 года проживает в пригороде Бостона (США).

И время никуда на движется
на жаркой солнечной скамейке.

КИНЕМА

Каждый день — словно явь, только чем ты себя ни тешь,
но циничный вопрос возникает в мозгу опять:
ну, а вдруг это просто кино, голливудский трэш,
и слышны отголоски выкрика: «Дубль пять!»?
Вдруг ты сам лишь мираж, одинокая тень в раю,
пустотелый сосуд, зависнувший в пустоте?
Ты сценарий учил, ну а значит, не жил свою,
заменяя ее на прописанную в скрипте.
Дни летят и летят бездушною чередой —
так сквозь сумрачный космос мчатся кусочки льда...
И невидимый Спилберг выцветшей бородой
по привычке трясет, решая, кому куда.
Спецэффекты вполне на уровне, звук и цвет,
и трехмерна надпавильонная синева...
Жизнь прекрасна всегда, даже если ее и нет.
А взамен ее, недопрожитой, — кинема.

ПОСТМОДЕРН

Поэт смеется.
Говорит: сквозь слезы,
но мы-то знаем: набивает цену.
Во тьме колодца
обойтись без дозы
не в состоянии даже Авиценна.
А в голове —
морзянка ста несчастий.
Он — явный арьергард людского прайда.
Себя на две
распиливая части,
он шлет наружу Джекила и Хайда.
Поэта гложет
страсть к борщам и гейшам
да трепетная жажда дифирамба.
Но кто же сможет
отнести к простейшим
творца трагикомического ямба?
Давно не мачо,
успокаивавший уши,
обыденный, как старая таверна,
он по-щенячьи
подставляет душу
под плюшевую лапу постмодерна.

* * *

Присесть на лавочку. Прищуриться
и наблюдать, как зло и рьяно
заката осьминожки щупальца
вцепились в кожу океана,
как чайки, попрощавшись с войнами
за хлебный мякиш, терпеливо
следят глазами беспокойными
за тихим таинством отлива,
и как, отяжелев, молчание
с небес свечным стекает воском,
и все сонливей и печальнее
окрестный делается воздух.
Вглядеться в этот мрак, в невидное...
От ночи не ища подвохов,
найти на судорожном выдохе
резон для следующих вдохов.
Но даже с ночью темнолицею
сроднившись по любым приметам —
остаться явственной границею
меж тьмой и утомленным светом.

СТАМ¹

От ветра за завьюженным окном
грустней глаза. И хмурый метроном
поклоны отбивает ночи черной...
Мне так хотелось принимать всерьез
всю эту жизнь, весь этот мотокросс
по местности, вконец пересеченной —
увы. И попугаем на плече
сидит смешок. Все ближе Время Ч
по воле непреложного закона.
Но даже при отсутствии весны
все времена практически равны,
включая время Йоко. В смысле — Оно.
Хоть сердце увядает по краям,
храни в себе свой смех, Омар Хайям,
он для тебя — Кастальский ключ нетленный.
Ведь только им ты жизнь в себе возжег,
и только он — недлинный твой стежок
на выцветшей материи Вселенной.
И думаю порой, пока живой,
что, может, смерти нет как таковой.
Она — извив невидимой дороги;

¹ Стам (иврит) — идиома, в одном из своих значений призывающая не принимать всерьез сказанное/ совершенное перед этим, свести все к шутке.

а я, исчезнув Здесь, возникну Там,
и кто-то свыше тихо скажет: «Ста-ам!»,
насмешливо растягивая слоги.

* * *

Предугадай-ка: осознаешь, нет ли,
бесстрастный, словно камни пирамид,
когда в последний раз дверные петли
земного скрипа истошат лимит.
Невидная окончится эпоха,
и в пригоршне едва звучащих нот
прозрачный иероглиф полувдоха
незримый нотный стан перечеркнет.
Твой путь земной — не шаткий и не валкий —
на этой гулкой точке завершив,
взлетят куда-то к потолочной балке
растерянные двадцать грамм души,
где и замрут, как мир окрестный замер,
и где, платки в ладонях теребя,
глядятся в ночь опухшими глазами
немногие любившие тебя.

Светлана РОЗЕНФЕЛЬД

* * *

В стальном свеченье Финского залива,
В неподвижности камней на берегу
Природа притаилась молчаливо,
И небо, задержавшись на бегу,
Остановилось низко над водою,
Деревьев тень вросла в подводный грунт, —
И раскрутилось время завитое,
И вечностью проложенный маршрут
Споткнулся в этой произвольной точке
И лишние детали удалил,
Чтоб краткий миг, как запятая в строчке,
Усталость от бессилья отделил.

* * *

Природа — лишь статист, а вся опора
У нас в душе: то ангелы, то рать.
Но что такое опера без хора?
И как без «кушать подано» сыграть?
Опять брожу среди деревьев голых,
Где вдох последний роща бережет,
Где клен подарит мне последний всполох,
Обрадует и тут же обожжет.
И ветер пробежит, то злой, то нежный,
И мысли, разогнавшись, встанут в строй, —
Нерасторжимость внутреннего с внешним:
Солист и хор, статисты и герой...

* * *

От безнадежности лекарство —
Надежда. Можно сочинить
Себе коня и с ним полцарства
И тень со светом сочленишь.
Свою надежду, словно куклу,
Носить с собой, и брать в постель,

Светлана Владимировна Розенфельд — петербургский поэт и прозаик, член Союза российских писателей. По образованию — инженер-химик. Автор двенадцати книг и многочисленных публикаций в журналах, альманахах и коллективных сборниках. Один из постоянных авторов «Невы» (стихи, проза).

И, чтоб старанье не потухло,
В нее вдохнуть живую цель.
Играть, играть, не зная скуки,
И ввечеру, и поутру
И никогда в чужие руки
Не отдавать свою игру.
А если будет все, как прежде:
Душа болеть и сердце ныть, —
Своей несбывшейся надежде,
Как старой кукле, все простить...

* * *

А если бы я от него ушла,
Когда-то, много лет тому назад,
Возможно, я бы счастлива была,
А впрочем, вряд ли, — все же маловат
Запас на свете счастья. Но проник
В меня бы дух дерзания и силы,
И, может, я б нашла себе рудник
И горсть крупинок золота намыла.
А может, ничего бы не нашла,
Но лишь надежду или даже веру,
Что чувства не сжигаются дотла,
Любовь не превращается в химеру.
А может быть, без теплого угла
Жила б одна, свободно и бескрыло,
Но никого за это не винила...
Ах, если бы я все-таки ушла!

* * *

Как жили они при свечах,
Не видя ни дочки, ни сына? —
Мерцающий звук клавесина
Струился, дымился и чах.
Им вечер в седом парике
Сигналил со светом проститься,
И маленький Моцарт с косицей
Был тенью со скрипкой в руке.
Так жили они в темноте
И так в темноту уходили,
А свечи над ними чадили,
К их вечной прильнув немоте.
Откуда ж сквозь сумерки лет
То лик проступает, то имя?
И тянется следом за ними
Почти ослепительный свет...

ЭТЮД

Там церковь-малютка с пятью куполами,
Как будто простертая к Богу рука,
Там солнце из золота высекло пламя,
Там сосны и небо, песок и река...
Та церковь, как будто бы нерукотворно,
Сама по себе на прибрежной косе
Взошла и пустила глубокие корни —
И пять лепестков заблестели в росе...
Та церковь, природы живой отраженье,
Зажгла пять свечей, чтоб хранить от греха
Отрезок земли, где живем от рожденья,
Где сосны и небо, песок и река...

* * *

Я хотела сказать... Но вчера, а сегодня забыла,
Что хотела сказать. Потому не сложился мой день.
Промолчала вчера, а возможно, там важное было,
А возможно, неважное — так, пустота, дребедень.
Но забытая мысль не дает ни минуты покоя,
Отгоняя слова, как уставших прислуживать слуг,
И, как муха, жужжит под готовой прихлопнуть рукою,
И в сторонку летит, раздражая непомнящий слух.
Я хотела сказать...
Сколько лет с той поры отзвучало,
Сколько слов проросло, сколько выросло радужных фраз!
И никак не пойму, почему я тогда промолчала,
Что рвалось из души?
И зачем это важно сейчас?..

Станислав МИНАКОВ

ТРИ СЛАВЫ ВАСИЛИЯ ЛИСУНОВА

Семейная история о молодом герое-харьковце

23 августа, день освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков, горожане с 2014 года отмечают сами, поперек официоза. Нацистская оккупация Харькова 70-летней давности продлилась с небольшим, весьма трагическим перерывом зимы—весны 1943-го, чуть менее двух лет — с осени 1941-го по август 1943-го.

Неизменно поражающим меня примером патриотизма является мой двоюродный дед, коего и дедом-то называть затруднительно, поскольку шестнадцатилетний уроженец Харькова, приписав себе два возрастных года, отправился добровольцем с Красной армией очищать Родину от захватчиков после первого же освобождения города и погиб 29 апреля 1945 года в пригороде Берлина. Мальчишка, но разведчик танковой бригады, орденоседец, полный кавалер ордена Славы! Василий Филиппович Лисунов. Главный герой Великой Отечественной войны в моей семье. (Мои родители чудом выжили детьми в немецкой оккупации: отец — в Харькове, а мама — в лесу под воронежским Богучаром.)

Лисунова — девичья фамилия моей мамы, Минаковой Светланы Владимировны. Все наши пра-Лисуновы — из села Духановка (ныне Конотопский район Сумской области), недалеко от Путивля. Что совсем удивительно, в полутора километрах от Путивля находится некое село Минаково.

Может, это что-то прояснит; скажу о Путивле, с которым Лисуновы тоже сильно связаны биографически. 989-й считается годом основания города. Первое упоминание Путивля справочники датируют 1146 годом в качестве важной крепости Древнерусского государства между Черниговом и Новгородом-Северским. Помним, что легенда о плаче Ярославны на стенах Путивля по князю Игорю является кульминацией «Слова о полку Игореве» и оперы Александра Бородина «Князь Игорь». По сей день Ярославна «на забрале» кычет-плачет русской зегзицей. Рассказывают, что после сражения на реке Ведреше в 1500 году Путивль отошел к Русскому государству, став впоследствии важной порубежной крепостью на юго-западных рубе-

Станислав Александрович Минаков — поэт, прозаик, переводчик, эссеист, публицист. Автор книг стихов и прозы, энциклопедий и альбомов. Родился в 1959 году в Харькове (УССР). С 1961-го по 1978 год жил в Белгороде (Россия), куда по причинам преследований за инакомыслие переехал в 2014 году. В 1983-м окончил радиотехнический факультет Харьковского института радиоэлектроники. Член Союза писателей России, Всемирной организации писателей International PEN Club. Из Национального союза писателей Украины исключен в 2014-м после двадцатилетнего членства в организации. Лауреат Международной премии Арсения и Андрея Тарковских (2008) и других литературных и журналистских премий России и Украины.

жах. Во время смуты город стал одним из центров восстания Ивана Болотникова и на короткое время базой войска Лжедмитрия I. Были успешно отражены польско-казацкие войска во время осады Путивля в 1633 году, в ходе Смоленской войны. В Российской империи город был центром Путивльского уезда Белгородской (1727—1779), а затем Курской (1779—1924) губерний. 16 октября 1925 года Путивль был зачем-то передан из состава Российской СФСР в состав Украинской ССР.

Василий Лисунов — двоюродный дядя моей мамы, моим детям двоюродный прадед, провел полтора года в оккупированном Харькове, в документах Министерства обороны официально указан год его рождения как 1925-й (а в иных наградных листах даже, совсем ошибочно, 1923-й). И его старшая сестра Серафима, и генерал-полковник Драгунский, о котором скажу ниже, утверждали, что В. Лисунов попал на фронт шестнадцатилетним. Место призыва указано как Краснозаводский РВК, Украинская ССР, город Харьков, 3 или 11 марта 1943 года.

Воевал молодой харьковец на Первом Украинском фронте, похоронен (первичное захоронение, как говорит Минобороны): Германия, Бранденбург, округ Потсдам, р-н Потсдам, с. Руссдорф, Самантен вег, 19, ряд 3, могила 28, а по утверждению генерала Драгунского, в Трептов-парке.

Гвардии ефрейтор, разведчик. Феерически (других слов не подберешь, посмотрев на даты наградений) отважный парень, получивший немало наград. Последняя, орден Славы I степени, выписана посмертно, 27 июня 1945-го. То есть восемнадцатилетний (!) мальчишка посмертно стал полным кавалером ордена Славы.

Имеется его страница в архиве на сайте Министерства обороны России.

Дважды Герой Советского Союза генерал-полковник танковых войск Давид Абрамович Драгунский (1910—1992) в своих воспоминаниях «В конце войны», опубликованных в журнале Новый мир» (1968, № 2—3), несколько раз, ошибаясь в имени, вспоминает «любимца танковой бригады Виктора Лисунова», называет его «одним из трех добровольцев-харьковчан» — вместе с Сашей Тындой и Василием Зайцевым. На страницах 148—150 в № 3 подробно описывает эпизод с гибелью героя и вспоминает, как Лисунов с двумя друзьями попал в 1943-м к нему в бригаду.

Вот фрагмент этих воспоминаний, из главы «Тельтов-канал» (с. 148—150):

«На площади у трехэтажного дома, выходящего окнами на главную улицу, по которой недавно прошли батальоны, суетились люди. Подъехав на своем танке, я увидел сутулую фигуру лейтенанта-разведчика Серажимова. Обросшее черной щетиной лицо показалось мне осунувшимся. Густые, сросшиеся брови нависли над глазами.

Я спрыгнул с танка и подошел к лейтенанту:

— Что случилось? Почему отстали от Гулеватого и Старухина?

Сумрачный, неразговорчивый лейтенант показал рукой на двор, и мы молча пошли за ним. Прошли садик, опустились в полуподвал, где была установлена зенитная пушка, и тут глазам открылась поразившая нас картина: на полу лежали четыре трупа гитлеровских солдат, а на казенной части орудия — мертвый, вцепившийся в горло фашистскому офицеру наш боец комсомолец Виктор Лисунов. Мы отбросили в сторону гитлеровца и вынесли на улицу тело разведчика.

— Как Лисунов попал в подвал?

— Виктор попросил разрешения забраться в тыл в этот подвал и заставить замолчать орудие.

Серажимов усталыми от бессонницы глазами с тоской посмотрел на меня.

— Я ему разрешил, товарищ комбриг. Иначе я не мог. Зенитка подбила два танка, перехватила центральную магистраль и могла наделать много бед. С моего разрешения Лисунов пополз выполнять задачу. Минут через десять пушка перестала стрелять. Я услышал из подвала крики, автоматную стрельбу, взрывы. После мы увидели

ли, что ствол орудия подскочил кверху. — Андрей Серажимов вздохнул и виноватым голосом продолжал: — Мы опоздали всего на несколько минут. Тут моя вина большая. Мог же сразу с ним послать Тынду, Головина, Гаврилова. Все они были здесь. Не додумался. А когда спохватился, было уже поздно.

Я не стал упрекать лейтенанта. В бою не всегда бывает так, как хочется, не всегда можно и обдумать каждый свой шаг и поступок. Я только с болью сказал:

— Он своей жизнью открыл путь бригаде.

Этими словами я хотел успокоить себя и командира взвода разведчиков. Но вряд ли это мне удалось. Гибель Виктора Лисунова, семнадцатилетнего юноши, любимца бригады, всем причинила боль.

...Летом 1943 года на попутных машинах добирался я из госпиталя на фронт. Где-то недалеко от Полтавы в грузовик на полном ходу вскочили три паренька. На вид каждому было лет по пятнадцать-шестнадцать. Увидев офицера, они испуганно переглянулись, прижались в угол кузова.

Несколько минут мы молча разглядывали друг друга. С нежностью я смотрел на них. Такие же, как два мои братишки, которые были комсомольцами. С первых дней войны они ушли на фронт и погибли оба: один под Сталинградом в конце 1942 года, второй в самом начале войны на Украине... (Родители и сестры Д. А. Драгунского, тогда подполковника, были расстреляны нацистами в его родном городе. — С. М.)

Не понадобилось много времени, чтобы узнать, что и эти ребята — комсомольцы. Они харьковчане, жили недалеко друг от друга, учились в одной школе на Холодной Горе. Началась война. Фашисты расстреливали беззащитных людей, балконы домов в Харькове были превращены оккупантами в виселицы. Этим ребятам довелось пережить голод, нищету, бессилие перед врагом, смерть близких. Три комсомольца — Саша Тында, Василий Зайцев, Виктор Лисунов — дали клятву мстить фашистам. Когда наши войска приблизились к Харькову, они не раз переходили линию фронта, доставляли советским частям сведения о противнике. А когда Харьков был отбит, они захотели вступить добровольцами в Красную Армию.

Узнав, что они едут с командиром танковой бригады, ребята умоляющими глазами посмотрели на меня. В их взгляде читалось одно: „Возьмите нас к себе“. Я долго колебался: слишком юны были они для фронтовой жизни, для того, чтобы преждевременно умереть. И снова передо мной вставали мои погибшие в боях братишки-комсомольцы. Я твердо решил вернуть мальчишек домой.

Заночевали в лесу под Киевом. Ребята притащили откуда-то сено, раздобыли молодую картошку, свежие огурцы, вьюном вертелись около меня. Целую ночь ворковали. Сами не спали и мне не давали. Я все думал, как поступить. Мое твердое решение заколебалось. А утром я дал им согласие. Через два дня мы были на месте, в моей бригаде. Танкисты без долгих разговоров приняли ребят в свою семью. Тында, Лисунов и Зайцев стали разведчиками.

Советская армия шла вперед. Позади остались Киев и Львов, быстрая широкая Висла. На одном из участков Сандомирского плацдарма вела бои наша 55-я гвардейская танковая бригада. Вместе с испытанными бойцами в ней сражались эти юные харьковчане. Они уже много раз отличались при выполнении боевых заданий. Как-то в конце зимы 1944 года, в слякоть и распутицу, комсомольцы-разведчики, посланные в разведку, два дня пролежали в копне соломы, поджидая „языка“. Хлеб и консервы были съедены. Грязи вокруг было много, а воды не было. А вражеские солдаты, которых они ждали, почему-то не появлялись. Вася Зайцев предложил тогда перерезать немецкий телефонный кабель, который проходил неподалеку. Так и сделали. Но исправлять линию связи пришлось целое отделение фашистских солдат. Они долго искали повреждение, устранили его и направились обратно. Один из фашистов наигрывал на губной гармонике.

Два немца остановились около наших разведчиков, вытащили сигареты, зажигалку и присели на копну. Остальные пошли дальше. О такой удаче ребя-

та даже не мечтали. Они выждали, когда губную гармошку стало чуть слышно, и набросились на гитлеровцев. Засунули в рот кляпы, руки связали ремнями. Губная гармошка удалялась: немцы и не подозревали, что их отделенный и один из солдат находятся в руках советских разведчиков.

Теперь перед ребятами встал вопрос: как доставить к своим двух здоровенных фрицев? Тащить их волоком — сил не хватит. И они построились так: гитлеровцев пустили вперед; Вася шел первым, а Саша и Виктор сзади.

В трех километрах был лесок. Находившиеся на его опушке бойцы из ядра разведывательной группы во главе с Серажимовым с нетерпением ждали пропавших куда-то разведчиков. Вдруг услышали веселые возгласы. А вскоре мальчишки уже были в моем блиндаже и, перебивая друг друга, рассказывали, как поймали двух дюжих „языков“.

Генерал Рыбалко в тот день был особенно доволен. Пленные дали ценные показания. На груди комсомольцев засверкали ордена „Отечественной войны“.

Все в бригаде любили ребят; они росли, крепили, мужали.

Однажды (это было в начале августа 1944 года) группа разведчиков, в их числе Зайцев, Лисунов и Тында, возглавляемая лейтенантом Серажимовым, получила задачу: выскочить на танке километров на десять-пятнадцать вперед и уточнить, есть ли противник в населенном пункте.

Танк ворвался в польский город Сташув на большой скорости, подкатил к ратуше. Вася, Саша, Виктор, Вердиев и Андрей Серажимов забрались на самый верх здания, водрузили там двухметровый красный стяг. Жители города повалили к ратуше. С крыши здания Саша Тында крикнул: „Мы скоро вернемся, ждите нас!“

Поляки долго смотрели вслед советским танкистам, первым вестникам свободы. Желали им удачи и скорого возвращения.

На обратном пути разведчики сумели захватить „языков“: впихнули двух немцев в танк и возвратились в бригаду.

Через день мы разбили фашистский батальон и окончательно освободили Сташув. Высоко над ратушей развевалось ярко-красное полотнище, изрешеченное пулями и осколками мин.

А в конце августа на том же Сандомирском плацдарме нас постигло большое горе: погиб один из трех харьковчан — Вася Зайцев.

Вот как это было.

После успешных действий под Львовом и Перемышлем на реках Сан и Висла мы вели тяжелые бои за Сандомирский плацдарм; перешли к обороне, имея позади себя Вислу. Семь раз бросали на нас фашисты танки и бронетранспортеры. Вражеские атаки продолжались с утра до поздней ночи. Но Сандомирского плацдарма мы не оставили. Впоследствии он послужил трамплином для нашего успешного прыжка в Польшу и Германию.

В одной из последних схваток на этой искореженной польской земле мы и потеряли нашего общего любимца Васю Зайцева. Он остался в траншее, которую захватили немцы. Ночью на наш участок обороны прибыл батальон Осадчего. Я бросил его в контратаку. Противника отогнали на его исходные позиции. И тогда же нашли изуродованное тело Васи Зайцева, а вокруг него в траншее — восемь вражеских трупов.

Гибель шестнадцатилетнего комсомольца переживали тяжело все солдаты и офицеры бригады. И вот у стен Берлина погиб второй комсомолец из этой тройки — Виктор Лисунов...

Положили мы тело Лисунова на танк, написали на башне: „Мстить за Виктора Лисунова“ — и устремились вперед на врага. И после своей смерти он побывал в атаке.

Вместе с другими героями штурма Берлина похоронен наш юный друг Виктор Лисунов на кладбище в Трептове».

На с. 159 в № 3 журнала генерал Драгунский описывает берлинские события 1 мая 1945 года: «Однако посланная с утра рота автоматчиков во главе с молодым капитаном Хадзараковым напоролась на немецкую засаду на северной окраине улицы Рейхштрассе и понесла большие потери. Погиб и сам Хадзараков — молодой черноглазый осетин. Не вернулся также с задания разведчик Саша Тында — последний из трех харьковских комсомольцев-добровольцев; ненадолго он пережил своих друзей — Васю Зайцева и Виктора Лисунова...»

Однако Саша Тында, к счастью, остался жив! Именно он привез потом Серафиме Филипповне, родной старшей сестре Василия Лисунова, то есть моей двоюродной бабке, харьковчанке с 1928 года (родилась в 1909 году в Духановке), награды своего погибшего друга Василия (нет, не Виктора; возможно, мемуарист перепутал имена Зайцева и Лисунова). Тында — единственный уцелевший из харьковской тройки, запечатленной в воспоминаниях генерала. Он же потом сообщил нам о публикации мемуаров и передал журналы.

* * *

Чтобы географически — хоть примерно — проследить боевой путь В. Ф. Лисунова, следует прочитать биографию его командира.

21 октября 1943 года подполковник Д. А. Драгунский был назначен командиром 55-й гвардейской танковой бригады, отличившейся при освобождении города Васильков и Киева (6 ноября 1943 года), а также Правобережной Украины. Приказом И. В. Сталина 55-й гвардейской танковой бригаде было присвоено почетное наименование «Васильковская».

Далее следовали Львовско-Сандомирская операция, Польша, Германия. Нашлась и справка в Интернете, с небольшими неточностями:

Лисунов Василий Филиппович родился в 1923 г. (СМ: ?) в г. Харьков в семье рабочего. Русский (С. М.: Лисуновы записаны в документах по-разному; в частности, мама моей мамы Анна Михайловна Лисунова (1910–1968) до войны была записана как украинка, а после — как русская. Люди не видели разницы между малороссами и великороссами, и были в корне правы). Член КПСС с 1945 г. Окончил 7 классов. Работал на заводе (СМ: ?).

В Красной Армии и в боях Великой Отечественной войны с 1943 г.

Стрелок-автоматчик роты управления 55-й гвардейской танковой бригады (7-й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт) гвардии рядовой Лисунов с группой разведчиков 31.12.1943 г. у дер. Перливка, Альбинивка (2 км. юго-западнее г. Житомир) огнем из автоматов и гранатами сжег 2 грузовика и истребил свыше 10 гитлеровцев.

8.01.1944 г. близ дер. Жеребки, Гнатывка (15 км. западнее г. Житомир) Лисунов с 4 разведчиками вынесли с территории, занятой противником, двух тяжело раненных советских офицеров.

19.02.1944 г. награжден орденом Славы 3 степени.

Гвардии ефрейтор Лисунов 25–26.01.1945 г. около населенного пункта Гросс-Рауден (Руды-Вельки, повят Рацибуж, 20 км. западнее местечка Гливице Катовицкого воеводства, Польша) с группой разведчиков уничтожил свыше отделения гитлеровцев, добыл ценные сведения, которые помогли бригаде успешно выполнить боевую задачу.

1.02.1945 г. награжден орденом Славы 2 степени.

20.4.1945 г. в районе г. Котбус (Германия) Лисунов одним из первых вплавь переправился через р. Шпре, гранатами подавил 2 пулемета, огнем из автомата расстрелял свыше 10 фашистов.

27.6.1945 г. награжден орденом Славы 1 степени.

29.4.1945 г. гв. ефрейтор Лисунов погиб при выполнении боевой задачи.

(Справка на сайте приведена по книге «Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь» / Пред. ред. коллегии Д. С. Сухоруков. — М.: Воениздат, 2000.)

В словаре помещены 2642 биографии полных кавалеров ордена Славы. Кроме того, в приложении приведены статьи о 94 Героях Советского Союза, дополняющие двухтомный краткий биографический словарь «Герои Советского Союза».

Ордена В. Ф. Лисунова (даты — по сайту Минобороны России): орден Красной Звезды, 25.07.1943; орден Отечественной войны II степени, 22.01.1944; орден Славы III степени, 19.02.1944; орден Отечественной войны I степени, 07.09.1944; орден Славы II степени, 01.02.1945.

У меня хранятся орден Красной Звезды и ордена Отечественной войны обеих степеней Василия Лисунова, а также его медали «За отвагу» и «За боевые заслуги», Гвардейский знак. Награды моего двоюродного деда мне отдала тетя Сима (Серафима Филипповна Лисунова). Еще у нее хранились ордена Славы II и III степеней. Однако их у Серафимы выпросил уже в конце 1970-х «для музея» некий представитель харьковского военкомата, о чем она жалела до конца дней своих.

Фото Василия мы с мамой у его сестры не взяли. Ей оно было дорого, а потом, увы, оно для нас затерялось.

* * *

Когда-то, в начале 1980-х, я написал такие строки:

В закатном Берлине
мой пращур убитый
стоит над орудием
Спасом огрудным.

Сейчас, когда нашей Великой Победе 70 лет, а мне, тоже уроженцу Харькова, уже 55, величие жертвенного подвига этого мальчишки меня потрясает все так же.

9 мая 2015 года утром я прошел по Соборной площади Белгорода с «Бессмертным полком»; придумка журналиста-сибиряка представляется грандиозной. Если угодно, это и есть зримое явление идеи единения — когда мы видим сотни тысяч, а по всей России миллионы наших сограждан всех возрастов, национальностей, социальных слоев, политических убеждений и вероисповеданий, идущих по улицам городов с портретами и наградами отцов-дедов-прадедов, которые — вместе! — участвовали в Великой Отечественной, вернулись с нее или пали в боях. Мы понимаем, что в таком удивительном акте соединены родовые и духовные вертикали, память личная и общая память Отечества. И эти записки есть мое памятное приношение и моему предку, и всему «Бессмертному полку».

8 мая 2015 г., *прп. Василия Поляномерульского (1767) (Рум.)*,
9 мая 2015 г., *сизмч. Василия, еп. Амасийского (ок. 323)*,
17 августа 2015 г., *семи отроков, иже во Ефесе*,
Белгород

Марк АМУСИН

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ: КОНЕЦ ПУТИ?

В 1930 году, в своем известном Письме к Правительству Михаил Булгаков кратко, ясно и честно изложил свои убеждения и художественные устремления, среди которых было «упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране». Что стоит за этой высокой оценкой? И насколько заслуженной она была?

Об интеллигенции как об оригинальном, чуть ли не уникальном российском феномене написаны сотни томов, по ее поводу высказаны тысячи остроумных и глубокомысленных аргументов «за» и «против» нее. В намерения мои не входит рассмотрение, пусть даже беглое, всех этих сведений и суждений. Цель настоящей статьи — несколько субъективных соображений о становлении и судьбе интеллигенции как социально-культурного явления, с отсылками к литературным его отображениям и постижениям.

Без нескольких исходных определений, однако, не обойтись. В России XIX века слово «интеллигенция» поначалу обозначало, как и в странах Европы, свойство индивида, высокий уровень его умственных способностей. Однако позже этим понятием стали определять — и это было уже российское новшество, хотя, как утверждают, нечто близкое имело место в Польше — совокупность людей, объединенных не только уровнем образования, но и особым, нравственно ориентированным мироощущением, а также сознанием общего долга по отношению к стране и народу. Самой характерной и определяющей особенностью людей, образующих российскую интеллигенцию, стала забота не о «своем», индивидуальном или групповом, а о «чужом» и всеобщем.

На Западе всегда хватало трудолюбиво-бережливых бюргеров, предприимчивых дельцов, дерзких первооткрывателей, да и просто «интеллектуалов». Кроме того, там с давних времен разные сословия и социальные группы умели отстаивать свои интересы, и, во всяком случае, существовало публичное пространство, в котором их представители могли об этих интересах заявить. Принцип «Каждый за себя, один Бог за всех» воплощался в политические, юридические, идеологические механизмы.

В России «образованный класс», обретя самосознание где-то в середине XIX века, обнаружил себя посреди бесчисленной массы бедного, невежественного, бесправного и угнетенного населения. Здесь было кому сострадать, за кого болеть душой. И — произошел редкий случай зарождения «неформальной общности» на почве идейно-гуманных устремлений. Тысячи людей разных профессий и родов занятий — врачей и учителей, агрономов и инженеров, адвокатов и художников —

Марк Фомич Амусин — литературовед, критик. Родился в 1948 году. Докторскую диссертацию по русской филологии защитил в Иерусалимском университете. Автор книг «Братья Стругацкие. Очерк творчества» (1996), «Город, обрамленный словом» (2003), «Зеркала и зазеркалья» (2008), «Алхимия повседневности» (2010). Статьи публиковались в журналах «Время искать», «Звезда», «Нева», «Знамя», «Вопросы литературы», «Новый мир». Живет в Израиле.

приняли на себя старую вину привилегированных слоев за беспросветное и отчужденное состояние народа вместе с обязанностью работать на благо «меньших братьев».

Сам этот порыв, надличный и спонтанный, делает, разумеется, честь образованному слою России. Именно он способствовал конституированию интеллигенции как особой и уникальной социально-культурной группы.

Литература, естественно, отображала этот процесс, совершившийся в обществе. Тургенев одним из первых уловил пришествие разночинной интеллигенции (в мандельштамовских «рассохлых сапогах»), отодвинувшей разрозненные группы дворянских интеллигентов. Герои-интеллигенты действуют на страницах произведений Лескова, Боборыкина, Гаршина.

Но тут же возникла и полемика. Многие видели в интеллигенции нечто наносное, чужеродное, опасное для «органических устоев» народной и общественной жизни. Достоевский был среди самых внимательных и пристрастных критиков. Раскольников с его воспаленным рационализмом и навязчивым протестом — конечно, интеллигент. К интеллигентам нужно отнести и язвительно обрисованный в «Бесах» кружок «наших», подручных демона Верховенского. Но ведь и Разумихин в «Преступлении и наказании», и Шатов в «Бесах» — тоже интеллигенты...

Российское образованное сословие не просто участвовало своей профессиональной деятельностью в постепенном наращивании «общественного богатства» — оно придало мощный импульс цивилизационному развитию страны. Интеллигенция была движущей силой земского проекта — а ведь в его рамках за несколько десятилетий в российской провинции была создана сеть дорог, появилось множество школ, заметно улучшилось медицинское обслуживание — услуги врача или фельдшера стали доступны чуть ли не в каждой деревне.

Не забудем, однако: практические усилия, труды этих людей вдохновлялись высоким общественно-нравственным идеалом. Он включал в себя бескорыстное служение общему благу, поиски истины, переустройство народной жизни на основах справедливости и братства. Российская интеллигенция образовала что-то вроде обмирщенной церкви или рыцарского ордена: со своим негласным уставом, правилами поведения, символами веры. Одним из символов веры была оппозиционность правительству, которое воспринималось (и во многом по праву) как косная и бездушная сила, препятствующая свободному развитию общества. При всем многообразии идейных устремлений тогдашней интеллигенции общим приоритетом оставалось критическое мышление, формирование независимого общественного мнения.

Но самым важным был взнос интеллигенции в «духовную казну» страны. Обсуждая, анализируя прошлое и настоящее России, критически мыслящие личности формировали «поле смыслов», создавали динамическое напряжение, которое только и могло подталкивать правительство и общество к изменениям. Озабоченные положением народных масс и судьбами страны, российские интеллигенты вырабатывали образы будущего, своего рода футурологические импульсы, пусть порой смутные или утопические. Без этих импульсов развитие страны (что бы ни говорили тогда и сейчас консерваторы и ревнители старины) шло бы еще труднее и медленнее.

...Идеалы идеалами, а жизнь жизнью. Разумеется, лишь немногие из десятков тысяч представителей интеллигенции были способны постоянно жить и действовать в соответствии со своими убеждениями. У большинства — пар во многом уходил в свисток, то есть в красивые слова. Да и вообще природа человеческая брала свое: носители знаний и весьма востребованных в России профессий привыкали к своему привилегированному материальному положению, к достатку и комфорту. Принципы и заветы понемногу амортизировались, личные заботы и интересы выходили на первый план. При этом сохранялась «родовая память» о миссии,

о предназначении, и, соответственно, индивидуальное и коллективное интеллигентское сознание обременялось комплексами и угрызениями.

Именно в это время российская интеллигенция обрела самого талантливого своего летописца и аналитика — Антона Чехова. Ему довелось запечатлеть, с большой пронизательностью и критической точностью, и будни интеллигентской жизни конца века, и формы ее миро- и самоощущения, и психологический разлад, и ценностный кризис, охвативший эту человеческую общность.

На страницах его повестей и рассказов живет и действует множество врачей, юристов, инженеров, учителей, университетских преподавателей, банковских служащих, людей искусства. Вот очень характерный для интеллигентского сознания фрагмент размышлений следователя Лыжина, героя рассказа «По делам службы»: «...он чувствовал, что это самоубийство и мужицкое горе лежат и на его совести; мириться с тем, что эти люди, покорные своему жребию, взвалили на себя самое тяжелое и темное в жизни — как это ужасно! Мириться с этим, а для себя желать светлой, шумной жизни среди счастливых, довольных людей и постоянно мечтать о такой жизни — это значит мечтать о новых самоубийствах людей, задавленных трудом и заботой...»

А в другом рассказе, «Дама с собачкой», Чехов лаконично очерчивает образ жизни преуспевающего интеллигента того времени: «Мало-помалу он [Гуров] окупился в московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал по три газеты в день... Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званые обеды, юбилеи, и уже ему было лестно, что у него бывают известные адвокаты и артисты и что в Докторском клубе он играет в карты с профессором. Уже он мог съесть целую порцию селянки на сковородке...»

Контраст этих двух отрывков многозначителен. И в других своих произведениях, включая знаменитые пьесы, Чехов показывает, что жизнь его героев отмечена разрывом между риторикой и делом, между воодушевляющими мечтами и прозаичной действительностью, между высотой помыслов и убожеством свершений. Все это оборачивается тоской, апатией, мазохизмом, ощущением абсурдности существования. В такой атмосфере живут и Иван Петрович Войничский с Астровым («Дядя Ваня»), и сестры Прозоровы с Вершининым и Чебутыкиным («Три сестры»), и «светлая личность», вечный студент Петя Трофимов («Вишневый сад»).

Причины этого надлома на рубеже веков — объективные. Дело не только в том, что «материя» человеческой природы всегда берет верх над «духом». Просто преобразование тяжелой, инерционной российской действительности усилиями одного-двух поколений тружеников и борцов оказалось задачей неподъемной. Слишком многое оставалось на стадии надежд, проектов, красивых слов.

Не стоит, однако, недооценивать слова, их магию и силу. К чести российской интеллигенции, она и самим фактом своего существования, своими убеждениями и устремлениями, не всегда воплощавшимися в действия, меняла реальность в стране. Эта среда — с ее интересами, вкусами, моделями поведения — становилась центром притяжения для других, менее образованных слоев. Она смягчала нравы, повышала степень солидарности и сочувствия в обществе.

Интеллигенция со своим дискурсом альтруизма и служения ближнему оказывала облагораживающее влияние и на молодую российскую буржуазию. Быть просто толстосумом, эксплуататором, сдирающим семь шкур с рабочего человека, становилось в общественном сознании «не комильфо». Промышленники, финансисты, торговцы, признававшие авторитет интеллигенции, все чаще обращались к меценатству, жертвовали на проекты просвещения и культуры, а то и брались за улучшение условий труда и жизни рабочего класса.

...Тем временем наступил XX век, неся с собой стремительные изменения в жизни страны. О судьбах интеллигенции в ту пору размышляли писатели и мыслители разного толка: Гарин-Михайловский и Леонид Андреев, Горький и Бунин, Белый и Блок, Мережковский и Розанов, Бердяев и Гершензон. Российский «образованный класс» становился все более идеологически дифференцированным. Он исторгал из себя и посылал на поле политической брани то легкие эскадроны эсеров, то железные когорты социал-демократов, закованные в марксистскую броню. Но преобладал по-прежнему либерально-прогрессистский «мейнстрим» с надеждами на конституцию, реформы, права личности и широкое просвещение. Самые общие устои и принципы интеллигентского мироощущения, мировидения сохранялись.

Потом грянула революция, перевернувшая весь уклад российской жизни. Часть интеллигенции примкнула к Белому движению, а потом очутилась в эмиграции. Незначительное меньшинство примкнуло к революции по идейным соображениям. Большинство было вынуждено принять советскую власть как свершившийся факт.

Сама эта власть относилась к интеллигенции двойственно. С одной стороны, большевики подозревали «образованных» в слишком сильной привязанности к старому режиму, в тоске по утраченному материальному благополучию, в неистребимом идеализме и индивидуализме. С другой стороны, страна отчаянно нуждалась в «специалистах». Поэтому курс в 20-е годы был выбран следующий: все блага (в разумных пределах) профессионалам и деятелям культуры, лояльным советской власти; никаких прав и поблажек интеллигенции как слою.

Для самой интеллигенции, как и для всего народа, это было время тяжелых физических испытаний, давления, но к ним добавлялись жестокие сомнения, колебания, поиски пути. Нужно было самоопределяться по отношению к новой реальности. Все это отражалось на страницах литературных произведений 20-х годов, пусть и глухо, подспудно.

Ностальгия по ушедшему «золотому веку» интеллигенции разлита в атмосфере «Белой гвардии» и «Дней Турбиных» Булгакова. Бывшие и настоящие врачи, офицеры, студенты почти не ведут отвлеченных дискуссий, не рассуждают о судьбах мира. (Правда, в их разговорах проблескивают искры ярости по отношению к тому, что Булгаков теперь, в пореволюционное время, считает интеллигентским прекраснородушием и глупостью, приведшими страну к катастрофе.) Но строй жизни и человеческих отношений в доме Турбиных, «за кремовыми шторами», присущие героям достоинство и деликатность любезны и дороги автору.

Надежда на то, что островки порядка, достатка и здравого смысла могут сохраниться и посреди победившей революционной стихии, ясно звучит в «Собачем сердце». Профессор Преображенский может позволить себе довольно агрессивные выпады против нового жизненного строя, а почему? Потому что он высококвалифицированный, ценный «спец» — советская власть не может обойтись без него.

Интеллигенция, однако, хотела другого признания, другого статуса. Многие ее представители тогда еще надеялись, что смогут найти достойные формы сосуществования и сотрудничества на благо России с коммунистами — ведь их руководящее ядро само имело интеллигентские корни. Леонид Леонов в своем многостраничном, витиеватом и «достоевском» «Воре» околично рассуждал о важности интеллигенции для сохранения национальной памяти, духовной и нравственной преемственности, без чего стране грозят варварство и одичание. Тему интеллигенции в послереволюционной реальности резко и ярко поставил Юрий Олеся. Его блистательно-отрывистый роман «Зависть» вывел на жесткое рандеву героев, представляющих противоположные социокультурные формации. Кавалеров воплощает собой классический тип индивидуалиста и мечтателя, художника, отстаивающего

свое право на независимость, автономность от власти и времени, на артистический каприз. Вдобавок автор поделился с ним своей безудержной фантазией и редким метафорическим даром. Оппонент его Бабичев — тоже выходец из бывшего образованного класса, но убежденный большевик, практик социалистического строительства, пионер и конструктор советского общепита.

В этой схватке, принципиальной и одновременно личностной, Олеша отдает победу Бабичеву, хотя по типу ему, конечно, ближе романтик Кавалеров. Олеша признает правоту эпохи, отбрасывающей носителей интеллигентских амбиций и комплексов на обочину истории — что, в сущности, вскоре произошло и с ним самим.

Константин Вагинов всегда относился к советской действительности со скепсисом, который почти не удосуживался скрывать. Похоже, только тяжелая болезнь и ранняя смерть убергли его от тех форм «критики», которых не избежали ни Пильняк, ни Платонов, ни Булгаков. Гротескные же образы и сюжеты его книг проходили под маркой сатиры на отживающие формы жизни. В таких романах, как «Козлиная песнь» и «Труды и дни Свистонова», писатель демонстрировал «тканевую несовместимость» интеллигентов старого закала и современной реальности. Вагинов, выбравший для себя в литературе роль «похоронных дел мастера», представлял своих персонажей чудаками, изгоями, экзотическими пришельцами не то с других планет, не то из других эпох. Ясно, что в новой «экологической среде» они не жильцы.

Особой была в этом подспудном споре позиция Вениамина Каверина. Поначалу он, активный «серапионов брат», отстаивал автономию искусства, неангажированность художника и интеллигента вообще. Однако к концу 20-х годов он взял курс на участие в общем социалистическом деле. Интересна его трактовка роли интеллигенции в этот период. Роман Каверина «Художник неизвестен» явно переключается с «Завистью». Здесь тоже действуют и сталкиваются интеллигенты-антагонисты Шпекторов и Архимедов. Шпекторов сродни Андрею Бабичеву. Он тоже деятель, прагматик, считающий, что исторический момент требует полной человеческой отдачи ради создания материальной базы социализма, ради индустриализации и развития науки. Все остальное — потом.

Архимедов целиком принимает революцию. Он, однако, видит целью социализма преобразование всего строя жизни, прежде всего эстетическое и этическое. Романтик Архимедов считает, что прошлое нельзя отбрасывать целиком. Он хочет взять из истории человечества не только художественные достижения старых мастеров, но и высокие слова и чувства, воодушевляющие образы и жесты. Он хочет поставить на службу революции рыцарскую доблесть, бюргерскую честность, профессиональное достоинство цеховых мастеров средневековья. Финал романа гораздо менее однозначен, чем у Олеша, и оставляет за Архимедовым право служить социализму на свой особый лад.

Правда, несколько лет спустя, в романе «Исполнение желаний» Каверин уже трактует тему интеллигенции намного «конвенциональнее». Там молодой филолог Трубачевский, созревая, постепенно изживает в себе себялюбие, тщеславие, соблазны «красивой жизни». А вот интеллигент старой, индивидуалистической складки Неворожин пестует в себе эти качества, что и ведет его прямым путем к преступлению и предательству...

К середине 30-х годов стало ясно, что российская интеллигенция в своем классическом виде, как самостоятельный социально-культурный слой, пришла к концу. Многие представители этой генерации продолжали жить и работать, но они уже не были носителями уникальных моральных ценностей и особого мировидения. Народившаяся же генерация новых советских специалистов руководствовалась совсем другими убеждениями и принципами. Об этом можно судить, например,

по произведениям Леонова и Катаева, Паустовского и Шагинян. Образы «новых интеллигентов» в «Ювенильном море» и «Счастливой Москве» Платонова одновременно схематичны и крайне экзотичны, они свидетельствуют о появлении — по крайней мере, в художественном сознании автора — нового человеческого типа, очень слабо связанного с традициями прошлого.

Потом было известно что: «большой террор», война с ее несметными потерями и разрушениями, тяготы послевоенного восстановления. Казалось, традиция российской интеллигенции, рухнув в 30-е годы, была обречена на полное забвение, уход в небытие. Однако, вопреки всякому вероятию, случился род чуда: во второй половине 50-х начали возрождаться многие элементы интеллигентской инфраструктуры.

У этого чуда были объективные причины. Первая из них — развитие в СССР атомного и ракетно-космического проектов. Десятки тысяч ученых и инженеров, и раньше трудившихся на разных «народно-хозяйственных объектах», осознали, что они создают «щит и меч» государства, почувствовали свою особую важность — и некую коллективную ответственность. Самые продвинутые представители советской технической интеллигенции стали претендовать на род духовной независимости — этот психологический настрой прекрасно передан в фильме М. Ромма «Девять дней одного года».

Другим фактором консолидации интеллигенции стала, конечно, «оттепель». Ситуация после XX съезда КПСС воздействовала прежде всего на людей искусства. Началось быстрое оживление в «творческих союзах». Появились первые признаки самоорганизации, инициативы снизу: альманахи, неформальные литобъединения, театры вроде «Современника» и Таганки.

Освежающую струю в духовную атмосферу страны внес и Фестиваль молодежи 1957 года — он катализировал молодежно-интеллигентскую «субкультуру». Дух этой субкультуры, с ее раскованностью, тягой к бескорыстному познанию и творчеству, новыми формами поведения и общения, ощущением причастности к некоему «братству» нашел замечательное воплощение в искрометной повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу».

Советская интеллигенция начала конституироваться, как и сто лет назад, в особую, по-своему автономную социальную общность. Конечно, ее мироощущение и *modus vivendi* во многом отличались от «прототипа» XIX века. Например, народолюбие и жалость к народу выпали из ее канона: ведь интеллигенция в той же мере, как и весь народ, стала жертвой исторических потрясений, а у партийно-государственного руля стояли формально представители «трудящихся классов».

Намного менее выраженной была и интеллигентская оппозиционность по отношению к власти — память о сталинских репрессиях была слишком сильна, как и представление о прочности и «эшелонированности» режима. При этом, однако, интеллигенция постепенно проникалась сознанием своего общественного предназначения. В условиях догматической зашоренности официальных кругов, разрыва исторической преемственности, идейной трясины многие «свободные умы» начинали критически анализировать давнее и недавнее прошлое, искать варианты и альтернативы движения страны в будущее. Стали вызревать концепции (пусть во многом доморощенные) конвергенции, социализма с человеческим лицом, нового «почвенничества». В интеллигентской среде обретали престиж, лидерский статус столь разные фигуры, как Сахаров и Солженицын, Зиновьев и Шафаревич, Жорес и Рой Медведевы, Эйдельман и Ильенков, Лихачев и Лотман. Борьба «социалистической оппозиции» в лице «Нового мира» Твардовского с догматическо-охранительной линией кочетовского «Октября», длившаяся все 60-е годы, была в этом смысле весьма показательной.

И само собой, у интеллигенции появлялись свои «культурные герои» и кумиры, противостоявшие официально назначенным генералам от культуры. Что особенно важно — многие из этих знаковых фигур входили и в широкий народный «пантеон», формировали моду.

Интеллигенция вновь становилась «кузницей смыслов», создавала пространство общественной рефлексии и критики, брала на себя функцию восстановления связи времен, предвидения будущего. Нельзя сказать, что в массе своей она была настроена антисоветски, но, как и в начале века, самые «пассионарные» ее представители уходили в диссидентство, в противостояние власти.

...При всех отмеченных выше объективных факторах и обстоятельствах этот процесс возрождения не состоялся бы, если и в самые ненастные времена отдельные личности не сохраняли бы в себе генетический интеллигентский код, нормы и формы поведения, присущие «старой интеллигенции», представления о человеческом достоинстве, порядочности, о приемлемом и неприемлемом в моральном плане.

Самым точным, строгим и проникновенным изобразителем интеллигентского образа жизни, мышления и поведения был Юрий Трифонов. В его романах и повестях представлена настоящая энциклопедия жизни советского «образованного класса» 40–70-х годов, а главное, выявлена — через образы и ситуации — тончайшая субстанция, придающая качественную определенность этому человеческому типу.

Герой повести «Долгое прощание» Гриша Ребров — молодой литератор, пытающийся «пробиться» в трудные послевоенные годы. Он подрабатывает очерками для радио, ответами на письма и архивными заметками для тонких журналов. По-настоящему же его волнуют исторические темы: декабристы, народовольцы, фигуры вроде Ивана Прыжова и Клеточникова. Все это не ко времени — его повести и пьесы не берут ни театры, ни редакции. Но вместо того, чтобы обратиться к жизнеутверждающим сочинениям о борьбе новаторов с перестраховщиками на производстве или пойти литературным поденщиком к успешному драматургу, он упрямо продолжает думать и писать о своем: о глухом подвижничестве, об озарениях, ослеплениях и тупиках, о борьбе и смерти. Он «запрограммирован» на поиск смыслов, на углубление в недра истории и человеческих характеров, на постижение истины.

К той же породе принадлежит и Сергей Троицкий из «Другой жизни». Он историк, и хотя на дворе не сталинская эпоха, а благополучные 60–70-е, жизнь его не намного легче, чем у Реброва. Сергей занимается революционной историей, но не магистральными аспектами темы, а глухими, обочинными: списками сотрудников охраны накануне Февральской революции, предательством и провокацией. Диссертация его вязнет в осложнениях, тормозится. Важно еще и то, что Троицкий — из чистоплюйства, максимализма? — отказывается принимать правила игры в его институте, отказывается войти в «маленькую бандочку», собираемую его прежним приятелем, а нынче начальником Климуком ради совместного покорения карьерных вершин.

Сергей бывает упрям и суетен, нелеп и несерьезен, может быть, он не такой уж и талантливый ученый. Но им владеет страсть к исследованию и постижению, бескорыстная страсть к погружению в прошлое, к прослеживанию «нитей», проходящих сквозь поколения. В этом он видит не только научную задачу, но и разгадку неких глубинных тайн бытия.

С Антиповым из «Времени и места» Трифонов поделился многими деталями своей биографии. Герой — человек творческий, связавший свою судьбу с литературой и в то же время погруженный в бурный поток советской жизни — от предвоенных до «застойных» лет. И снова автор выявляет на будничных, неброских житейских примерах основополагающие свойства натуры Антипова, делающие его несомненным

интеллигентом в лучшем смысле этого слова. Еще молодым человеком Антипов втянут в щекотливую коллизию, связанную с авторскими правами, плагиатом, «бла-том» в некоем издательстве. Ему предлагают выступить экспертом в суде. На первый взгляд в этой кляузной истории «все хуже». Углубившись, Антипов убеждается, однако, в том, что один из участников конфликта руководствуется в своих внешне неприглядных действиях благородными мотивами. И он дает в суде экспертизу «по совести», хотя на другой стороне находится человек, способный «зарубить» дебютную книгу Антипова.

Сходным образом герой ведет себя и в других ситуациях, когда честность и принципиальность могут навредить, а сделки с совестью — принести очевидную выгоду. Трифонов вовсе не представляет Антипова образцом морали или несгибаемым бойцом — уступки, компромиссы, противоречия вовсе ему не чужды. Однако для него очень важно в главном не изменять себе, своему моральному чувству, своему представлению о подлинной литературе.

На страницах произведений Трифонова действуют и совсем другие герои — намного более слабые, или прагматичные, или готовые приспособляться к обстоятельствам, такие, как инженер Дмитриев из «Обмена» или переводчик Геннадий Сергеевич из «Предварительных итогов». Но и эти люди способны различать между добром и злом, склонны судить самих себя за неблагоприятные поступки. Они остаются привержены интеллигентскому кодексу саморефлексии и угрызений совести, пусть и бесплодных.

Конечно, убеждения, моральные нормы, правила порядочности были в интеллигентской среде вовсе не общераспространенными и не обладали императивной силой. В быту, в поступках, в мыслях представителей этого слоя очень многое определялось конъюнктурой, себялюбием, заботой о личных интересах. Жизненные обстоятельства еще в большей мере, чем в чеховские времена, склоняли к самопопустительству и цинизму. Идеальный и поведенческий конформизм навязывался всем строем советской жизни. Система поощряла в людях бесхребетность, бесцветность, стремилась вывести породу «человека без качеств».

Блестящей, отчасти даже памфлетной демонстрацией такого положения вещей стал роман Битова «Пушкинский дом». Молодой Лева Одоевцев, отпрыск семейства, в нескольких поколениях принадлежавшего к русской интеллигенции, изображен фигурой аморфной, бесхарактерной, лишенной внутреннего стержня. У него нет ни убеждений, ни воли, ни сколь-нибудь верного понимания окружающей жизни. Все, что Лева унаследовал от живой и мощной когда-то традиции, — это неплохо развитый интеллект да некоторая моральная безразличность, помогающая ему избегать слишком уж сомнительных и «компрометантных» ситуаций. Таков, по мнению Битова, печальный итог эволюции интеллигенции в условиях советского эксперимента. Впрочем, яркий талант автора, острота и парадоксальность его анализа не делают подход и выводы Битова абсолютно бесспорными.

Совсем в иных ракурсах предстают интеллигенты (хотя тут как раз напрашивается солженицынский термин «образованцы») в произведениях Владимира Маканина. Маканин, как и Трифонов, продолжал чеховскую традицию, но в ее скептическом, абсурдистском изводе. Люди вообще и интеллигенты в частности у Маканина целиком погружены в мелочную бытовую суету, податливы на соблазны, лишены остойчивости. Но повинен в этом не советский строй, а имманентный порядок вещей: «так природа захотела».

Маканин неистощим в иллюстрации своих главных постулатов: жизнь человеческая определяется нехитрыми закономерностями «энергетического» характера, борьбой за место под солнцем, за жизненные ресурсы и блага, которых на всех не

хватает. Все остальное — игра вероятностей и случайностей. В своих коротких повестях-«рентгенограммах» писатель дает сжатые и безжалостные эскизы повседневного существования своих персонажей, принадлежащих к интеллигентскому сословию. В повести «Отдушина» инженер Михайлов, математик Стрепетов, поэтесса Алевтина — люди без твердых моральных правил, ситуативные, влекомые потоком жизненной стихии. Чувства, человеческая близость — это хорошо, это добавляет тепла в ледяную воду жизни. Но если обстоятельства того требуют — можно отказаться от чувства, уступить близкую женщину сопернику, за разумное, конечно, вознаграждение. В «Человеке свиты» инженер Митя Родионцев настолько срastaется со своей функцией спецпорученца — даже не при директоре, а при директорской секретарше, — что отлучение от этой неформальной должности оборачивается для него чуть ли не катастрофой.

«Один и одна» — нелицеприятный, даже шаржированный эскиз советской интеллигенции времен «оттепели», шестидесятников. Маканин язвительно выявляет главные изъяны и слабости тогдашних активистов, «кумиров»: словоохотливость, переходящую в болтливость, отсутствие глубоких знаний и твердых убеждений, неспособность к долгому трудовому усилию, робость перед властью (как это близко к упрекам, справедливо звучавшим в адрес интеллигенции предреволюционной!). Создается, правда, впечатление, что у писателя были личные счёты со временем и с этой человеческой генерацией.

Впрочем, в повести «Отставший» Маканин более объективно и доброжелательно изобразил атмосферу 60-х и людей, ею сформированных.

Что ж, выдвигая в своем анализе на первый план такие качества советского «образованного класса», как стремление к материальным благам, моральную шаткость, готовность плыть по течению, склонность к самолюбованию, Маканин был по-своему прав — так же, как и Трифионов, подчеркивавший в своих героях совсем другие свойства. У этой «медали» было даже не две, а много сторон и граней.

Так или иначе, будь она хороша или дурна, интеллигенция советского периода в 70—80-е годы играла все более важную роль в духовно-психологических сдвигах, совершавшихся подспудно в стране. Самым общим из них была окончательная дискредитация официальных идеологических приоритетов и ценностей, навязываемых властью обществу в качестве канона. Это очень существенно сказалось на динамике горбачевской перестройки. Конечно, процесс перемен был запущен сверху, частью партийно-государственной элиты, интеллигенция тут не могла претендовать на «первородство». Однако в том, как быстро стали рушиться стены, перекрытия и потолки советского «здания», ее заслуга несомненна. Другое дело, что роль этого слоя, как выяснилось задним числом, оказалась преимущественно негативной: разъедаемая своей иронией, фрондерством, «духом анализа и отрицания» конструкции старого порядка, интеллигенция не сумела выработать оригинальных и творческих альтернатив, полностью положившись на западные образцы-прописи (либеральная ее часть) или на заветы православия и славянофильства (традиционалисты, почвенники).

«Буря и натиск» перестройки завершились крушением советской власти, развалом империи, возникновением новой российской государственности. Сбылись, и очень быстро, самые смелые интеллигентские фантазии. Но тут-то и обнаружилась обратная сторона мечты об открытом, демократическом, рыночном обществе. У советского образованного класса, привыкшего жить в субсидируемом государством умеренном достатке, почва была выбита из-под ног. Интеллигенты-бюджетники разом оказались «людьми воздуха». Профессии врачей и инженеров, учителей и научных работников, библиотекарей и «деятелей искусств» резко обесценились либо оказались

вовсе не нужными. Пришлось переквалифицироваться в мелких торговцев, челноков, распространителей гербалайфа, если не в бомжей или мошенников.

Хуже того — невостребованным оказался весь традиционный интеллигентский нарратив. Дело не только в том, что кончились разом бесконечные кухонные поделки, где давался простор вольномыслию и критике, что поэтика намеков, иносказаний и кукишей в карманах, довольно изощренная и по-своему плодотворная, обесценилась. На оголенных просторах новой реальности некого стало критиковать, не с чем стало бороться — ведь тоталитаризм рухнул, свобода была обретена, восторжествовали инициатива и конкуренция. Исчезли привычные точки приложения усилий, да и думать приходилось не о вечном и всеобщем, а о насущном и своем — как выживать, как найти свое место в общем рыночном пространстве.

Тяжелый удар получила и российская словесность. Публика, которую десятилетиями приучали к «советскому» и «антисоветскому», с облегчением обратилась к легким жанрам, дарившим иллюзорные альтернативы неуютной действительности.

Лишь к концу 90-х литература оправилась настолько, что смогла снова обратиться к рефлексии, к осмыслению характера и масштабов совершившихся перемен. Но и это делалось точечно, в очень конкретных и узких ракурсах. Общая картина как-то не давалась художникам слова, да это и естественно: ситуация менялась слишком быстро и слишком лично их затрагивала. Здесь можно выделить, пожалуй, только роман Маканина «Андеграунд», в котором, среди прочего, было жестко и внятно сказано о переходе российского общества в новое, постсловесное, постлитературное качество.

Позже, в 2000-е, стали появляться произведения, в которых осмыслялись разительные изменения, потрясшие российское бытие — и строй интеллигентской жизни в частности. Тут можно отметить книги Славниковой и Слаповского, Быкова и Юзефовича, С. Витицкого и Мелихова и многих других. Остановлюсь вкратце на двух из них.

Героиня романа Е. Чижовой «Терракотовая старуха» в своей «бывшей», советской ипостаси — филолог, классическая интеллигентка-«западница», почти диссидентка и поклонница Томаса Манна. Очутившись — вместе со всей страной — в новом социальном измерении, Татьяна сначала бьется как рыба об лед, а потом по счастливой случайности обретает место внутри успешной коммерческой структуры. Однако — ненадолго. Бизнес-реальность ставит перед ней поистине «достоевский» вопрос: можно ли убить человека — даже подленького «зверка»-несуна, даже во имя торжества справедливости и «капиталистической дисциплины»? Для ее шефа, как и для подавляющего большинства его партнеров и соперников, здесь нет вопроса. Но героиня, в силу заложенной в ней «интеллигентской матрицы», не в силах переступить эту черту. Она выходит из игры — и снова оказывается на обочине жизни.

Парадокс и ирония ситуации в том, что Татьяна вовсе не идейная противница меркантилизма. В интеллигентской традиции бессребрничества ей всегда чудился привкус ханжества. Она вполне принимает концепцию материального преуспевания, она признает значение денег в современной жизни — отказывает им лишь в абсолютном значении. Но и эта скромная оппозиция господству золотого тельца обрекает героиню на скорбное одиночество посреди «прекрасного нового мира».

В романе петербургского прозаика С. Носова «Грачи улетели» нет напряженных коллизий, едкой саморефлексии и мучительных размышлений о бремени «литературности». Здесь все просто, плоско, смешно и горько. Троица друзей, бывших интеллигентных людей, обретается в Питере начала 2000-х: один сторожит заброшенное кладбище, другой директорствует в школе, третий включается в перформансы

концептуального искусства. Все они люди симпатичные, хоть и чудаковатые, все пытаются как-то сохранить свою человеческую сущность, не раствориться в кислотно-рыночной среде. Жизнь их, однако, не только скудна материально, но и показательно обделена смыслом, какими-либо устремлениями и упованиями, выходящими за рамки сиюминутности. Это — своего рода трагифарсовый реквием по российской интеллигенции.

Может создаться впечатление, что все сказанное выше подтверждает тезис о «вечном возвращении»: после очередного социального катаклизма духовная, культурная ситуация в стране и статус «образованного класса» оказались близки к тому, что было после большевистской революции. А значит, можно надеяться на новый цикл возрождения интеллигенции, как это случилось прежде...

Так, да не совсем. Нынешний кризис — намного глубже и серьезнее кризиса 20-х годов прошлого века, хотя никакая злая воля не «прессует» нынешних интеллигентов и время от времени произносятся ритуальные похвалы раритетной традиции. Слишком тяжелый урон был нанесен образованному сословию. Помимо экономического крушения его постигла утрата социокультурного престижа, позиции духовного лидерства в обществе.

Причины тому — не только актуальные, но и эпохальные. Нынче в России, как уже давно на Западе, востребованы не люди широкого видения и служения, а грамотные специалисты в узких областях — эксперты. И русская интеллигенция XIX века, и советская второй половины века XX видели свое сверхэмпирическое призвание в генерации/отстаивании ценностей, будь то религиозных или атеистических, в утверждении общезначимых истин и идеалов. Сегодня «дискурс ценностей» заменен дискурсом денег, власти или соблюдения традиций. А идеалы, идеи, убеждения — неизвестно, куда их приложить.

Это заметно и в литературе: герои мыслящие и сомневающиеся, правдоискатели и даже просто любящие свое дело вытеснены если не «офисным планктоном», то носителями силы, брутальной протестной энергии, трикстерами, манипуляторами, политехнологами — смотри книги о современности Прилепина и Сенчина, С. Минаева и П. Крусанова, тех же Славниковой, Юзефовича, С. Носова.

Сверх того — интеллигенция в обеих своих прежних ипостасях выполняла функцию связи времен, сохранения исторической перспективы. Она обращалась к прошлому и будущему в поисках идеальных моделей, мотивов и обоснований жизнедеятельности. В XXI веке и прошлое, и будущее утратили релевантность. Мы живем под знаком постмодернистского «вечного сегодня». Завтрашний день скорее пугает, чем вдохновляет, а прошлое — оно ведь было так давно! И в нем не было гаджетов! Смыслозадающие «большие нарративы», значительные образы и темы становятся предметами игровых ток-шоу, спекуляций, «мифологий». К чему же тогда носители чувства истории?

Так что же — конец? Похоже, что да. В конце концов, ничто не вечно. Россия, очевидно, вступила в тот фазис своего жизненного цикла, где формации «интеллигенция» нет места и назначения. Посмотрим, какие новые фигуры, центры силы, могучие иллюзии и путеводные звезды соткнутся из нынешних сумерек.

Александр ГЛАДКОВ

ДНЕВНИК. 1973

РГАЛИ, Фонд 2590, е. х. 113, 190 л., машинопись — не сброшюванная, с убористой печатью через интервал. Выписки¹

[На первой странице наклеены листок прошлогоднего календаря: «31 дек. 1972, воскресенье» — и вырезка из газеты: «Январь — самый холодный месяц в году (...)

Пока что погода идет с большим отклонением от нормы. (...)]

1 янв. Новый год! Не помню такой погоды в эти дни. Сухо, в городе совершенно нет снега, тепло. Похоже на хороший денек начала октября.

(...)

Встречал у Б. Н. в семейном кругу². Как всегда было очень вкусно, обильно, спокойно. Пили и ели, косясь на экран телевизора, где запузыривался длинный праздничный концерт. От правит-ва приветствовал на этот раз почему-то Косыгин. Как он все-таки похож на Керенского³. (...)

¹ Особенности авторской орфографии в некоторых характерных случаях сохраняются (они помечены подчеркиваниями): такие написания, как *не во время*, *матерьялы*, *Ч.Словакия*, или запись фамилий «со слуха»: *Соложеницын*, *Солженицын*, *Каржавин*...

Условные обозначения публикатора:

А. К. Гладков — сокращенно АКГ;

выделения, в машинописи самого АКГ данные р а з р я д к о й, здесь переданы курсивом;

(...) — многоточие в простых скобках обозначает купюры публикатора в тексте подневной записи АКГ; пропуски между днями специально не фиксируются;

[...] — квадратные скобки (с текстом внутри них) используются в двух разных случаях: 1) для обозначения вставки публикатора внутри текста АКГ (сокращенный пересказ или пояснения), 2) для само собой разумеющихся, легко восстанавливаемых конъектур в самом тексте дневника;

<...> — угловые скобки используются для существенных конъектур, в распознавании которых остается загадка, допускающая альтернативу.

Нумерация записей — подневная; там, где указания даты нет, дается номер листа дела в архиве (впереди в обычных скобках).

² Ляховский Борис Натанович, в дневнике — *Б. Н.*, или *Бор. Нат.* (1906—1980), режиссер научно-документального кино, товарищ АКГ еще по лагерю, водитель и владелец автомашины, чьими услугами он часто пользуется, и его сосед по даче, а в 70-х годах еще и по дому на Красноармейской (д. 27, кв. 42), проживавший по адресу: Часовая ул., д. 56, кв. 43.

³ Керенский Александр Федорович (хотя в современной его правлению русской поэзии было распространено произношение *Керёнский*; 1881—1970), политический и общественный деятель; министр, затем министр-председатель Временного правительства (1917).

Косыгин Алексей Николаевич (1904—1980), государственный деятель, с 1946 депутат Верховного Совета СССР, а с 1948 член Политбюро ЦК. После смерти *И. В. Сталина* потерял пост зам. Председателя Совета Министров, выведен из Президиума ЦК КПСС и стал министром легкой и пищевой промышленности СССР. После смещения Н. С. Хрущева Косыгин занял один из высших в СССР постов — председатель Совета Министров, став вместе с *Л. И. Брежневым* и *Н. В. Подгорным* членом «руководящей тройки». В октябре 1980 вышел на пенсию.

Со вчерашнего дня у меня работает холодильник Морозко⁴.

3 янв. (...)

Вечером заходит Боря Слуцкий⁵. Говорим о разном (...)

Якир держался три месяца, потом стал говорить⁶. Огромное дело: будто бы работают 12 следователей. Плохо, что он много фантазирует, мягко выражаясь. Его логика — или подсказанная ему — он против Сталина, а сейчас он понял, что опасности возрождения сталинизма уже нет и поэтому он «раскаялся».

4 янв. (...)

Письмо от Майи Данини⁷ и от Веры⁸.

(...)

Вера, как всегда, сразу идет в атаку. (...) на меня она в претензии, потому что я «захлопнул последнюю дверь в ее душе». И так далее.

Был у меня режиссер Арон Рафаилович Закс⁹. (...) Ставил во время войны в Сибири «Давным-давно» и еще где-то «Голубого гусара»¹⁰. Я ему сказал, что можно сделать не оперетту, а мюзикл. Он согласен. Будто бы Хренников¹¹ ему ответил, что он допишет номера, если соглашусь я. Дал ему экземпляр пьесы.

10 янв. (...)

Слушаю здесь (и то плохо) только днем французов¹². Иногда ловлю Канаду, но еле-еле слышно. Целое лето был перенасыщен информацией, а сейчас сижу на голодном пайке. (...)

14 янв. (...)

Я очень ждал вести от Эммы, а получив, снова задумался. Издали ее любить спокойнее¹³. Должно быть, это эгоизм. Или просто — усталость...

⁴ Видимо, имеется в виду минихолодильник «Морозко» объемом 30 л (абсорбционного типа: без компрессора) производства великолукского з-да «Электробытприбор». В настоящее время модель 3м АМ-30 снята с производства.

⁵ Слуцкий Борис Абрамович (1919–1986), поэт, друг АКГ.

⁶ Якир Петр Иванович (1923–1982), историк, участник правозащитного движения; сын расстрелянного в 1937 командарма Ионы Якира. В 14 лет был репрессирован как «сын врага народа» и 17 лет провел в тюрьмах и лагерях. В 1969 — среди основателей Инициативной группы по защите прав человека в СССР. В 1972 арестован вместе с Виктором Красиным. После примененных к нему КГБ мер воздействия так же, как и Красин, стал давать показания на других участников правозащитного движения, покаялся, был помилован: «в награду» за сотрудничество получил лишь три года ссылки в Рязани.

⁷ Данини Майя Николаевна (1927–1983), ленинградская писательница.

⁸ Знакомая последних лет жизни АКГ, которую он обозначает в дневнике или именем, или же одним инициалом.

⁹ Закс Арон Рафаилович — театральный режиссер; в 50-е годы работал с Райкиным, позже, в 1972 — в Краснодарском театре оперетты.

¹⁰ Либретто музыкальной комедии Михаила и Елены Гальпериных «Голубой гусар» (1945) — по пьесе Гладкова «Давным-давно» (РГАЛИ, ф. 2452, оп. 3, ед. хр. 1028): этот спектакль шел в театрах, пока АКГ был в лагере (1949–1954) и его пьесы играть было запрещено.

¹¹ Хренников Тихон Николаевич (1913–2007), композитор; автор музыки к песням в пьесе «Давным-давно».

¹² На своей даче в Загорянке АКГ слушает западные радиостанции.

¹³ Некоторые примечания здесь и ниже заимствованы из публикации Сергеем Шумихиным «Попутных записей» АКГ (http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2006/11/gl10.html), в частности, следующее: «Попова Эмма (Эмилия) Анатольевна — актриса БДТ, любимая женщина Гладкова последнего

Вообще я об этом больше думаю, чем записываю в дневник. Это тоже своего рода суеверие: незаписанное, как бы не существует.

15 янв. (...)

Ночью страннейший сон: я на даче у Твардовских с А. Т., но нет Валентины Алны почему-то¹⁴. Что-то с ним было, но что неясно. Он мне говорит, что мало меня ценит и ошибался. А [я] с ним и знаком не был. Утро. Мы с ним умываемся. Я все говорю и даже вытираясь говорю, а он слушает. У обоих в руках полотенца.

10 фев. (...)

Встретил на углу ул. Черняховского Сашу Гинзбурга (Галича)¹⁵. Мы с ним в общем-то ни разу не разговаривали лет 25. Я сказал ему, что мне многие его песни не нравятся, но преследования его за них нравятся еще меньше. Я спросил, есть ли деньги (я-то знаю, что есть, от Б. Н.). Он неопределенно промямлил, потом сказал, что пока есть и что они «оттуда». Поругали Арбузова¹⁶. (...) Потом стал мне расхваливать моего «Пастернака». Говорили минут десять.

(...)

Еще Женя Пастернак¹⁷ просил меня поселить на даче у меня какого-то своего друга. Я сгоряча пообещал, но потом понял, что мне это ненужно. Я люблю одиночество, а там трое детей. На кой мне хрен это? Надо вразумительно отказаться. Он переехал на улицу Пушкина, угол Столешникова.

десятилетия его жизни». Добавлю к этому, что в самые последние годы, а именно с 1971-го, их отношения усложняются, участились ссоры и вместе Гладков с Эммой фактически не живут. Они отдаляются друг от друга, что было связано, как ни странно, с получением, во-первых, ею квартиры (в ленинградской новостройке, на улице 3-го Интернационала, в 1967-м: куда в результате не захотел насовсем перебраться Гладков, у которого плохо складывались отношения с будущей тещей и пасынком), а во-вторых, последовавшей за этим через некоторое время и покупкой им самим квартиры — уже в Москве, в кооперативном доме, на Аэропорте (Красноармейская ул., д. 27, кв. 42), хотя планы совместной жизни здесь с Эммой какое-то время существовали. Ср. его запись в дневнике 31 августа 1971 года: «(...) Да, я не люблю семью как таковую, когда слишком близко все дышат друг у друга над ухом, когда кто-то, встав утром с левой ноги, считает себя вправе испортить настроение и т. п. И если нельзя иначе, то лучше никак». Фактически годы 1971—1974 АКГ жил один.

¹⁴ Твардовская Валентина Александровна (род. 1931), дочь А. Т. Твардовского; доктор исторических наук в Институте российской истории РАН (с 1959 г.); ныне вместе со своей сестрой Ольгой — публикатор и комментатор дневников отца.

¹⁵ Галич Александр Аркадьевич (настоящая фамилия — Гинзбург; 1918—1977), поэт, сценарист, драматург, актер, автор и исполнитель собственных песен; во время войны был соавтором АКГ, позже они разошлись.

¹⁶ Арбузов Алексей Николаевич (1908—1986), драматург, давний знакомый и соавтор АКГ по пьесам «Город на заре» (1938) и «Бессмертный» (1942), с которым тот в последние годы почти перестал встречаться, «раздружились». Имеется в виду речь Арбузова на собрании по исключению Галича из СП. См. дневник 1972 г. Но может быть, имеется в виду еще и то, что Арбузов (по крайней мере, так писал об этом позже Галич) присвоил себе авторство «Города на заре», которое было общим, коллективным.

¹⁷ Пастернак Евгений Борисович (1923—2012), старший сын писателя Бориса Пастернака (от первого брака); военный инженер, преподаватель автоматике, биограф и издатель своего отца.

13 фев. (...)

На днях на Миусской площади водрузили памятник Фадееву. Я не любил его никогда, и тогда, когда он мне во время войны давал лимит¹⁸. (...) Я его не любил за стиль руководства, если это можно назвать стилем. Он обладал огромной властью и никому никогда не помог в настоящей беде. Убили его друзей юности, а он продолжал поклоняться Сталину. Его роль в компании против космополитов была инициативной. И в других проработках. Незабываем рассказ М. Л. Слонимского¹⁹, как он отвернулся от того при каком-то дуновении. Его ледяные голубые глаза могли смотреть в упор и не видеть. Но застрелился он «не во время». Ему бы жить и поживать и вскоре все вернулось бы к нему: и власть, и почет. Не может же его заменить Г. Марков²⁰, каким бы он дипломатом н[и] был. Я помню несколько страшных рассказов про него И. Г. Эренбурга²¹. Все написанное им после «Разгрома» посредственно.

(...)

Томик «Американские детективы» стоит полтора рубля, а на черном рынке (в толкучке на углу Пушкинской и Кузнецкого) с меня за него запросили 13 рублей. Я и не собирался покупать: мне дали в нашей Лавке, и спросил из чистого любопытства.

Этот книжный рынок существует уже лет 30. Его разгоняют и он возникает опять.

14 фев. Не видел спектакль с осени²². (...)

Когда начинался спектакль, решалось мое дело в исполкоме райсовета.

(...)

Вопрос решен положительно.

Даже не верится. Послезавтра получу ордер и надо ехать в Ригу улаживать дела с доверенностью от А[нны] Лацис²³. (...)

(...) у вахтанговцев за кулисами идет кровавая борьба, хотя Женя Симонов²⁴ держится непринужденно. (...)

¹⁸ *Давать лимит* — отпускать какой-то дефицитный товар, а здесь, возможно, или выдавать про- довольственные раточки, или же разрешить подписаться на лимитируемые журналы. Ср. в его дневнике от 26 октября 1971 года: «Поездка в город была в основном неудачной. В Литфонде не удалось подписаться ни на «Америку», ни на «Науку и жизнь». Говорят, дали небольшой лимит».

¹⁹ Слонимский Михаил Леонидович (1897–1972), писатель.

²⁰ Марков Георгий Мокеевич (1911–1991), писатель и общественной деятель; дважды Герой Социалистического Труда (1974, 1984); лауреат Сталинской премии третьей степени (1952) и Ленинской премии (1976). Однако, по современным оценкам, просто писатель-строчкогон, функционер ССП.

²¹ Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967), прозаик, поэт, переводчик, публицист, фотограф и общественный деятель. Его повесть «Оттепель», напечатанная в майском номере журнала «Знамя» (1954), дала название целой эпохе советской истории. Мемуары *Люди, годы, жизнь* он начал писать в 1958. Полный текст всех семи книг появится в печати только в 1990.

²² АКГ на спектакле «Молодость театра» по своей пьесе в Вахтанговском театре.

²³ Анна Лацис — жена Райха, у которого АКГ в 1971 г. приобрел квартиру на Аэропорте. Он должен получить от нее (15 февраля) «доверенность на перевод на меня пая» за эту квартиру.

Райх Фердинандович — прежний владелец квартиры в Москве, в писательском доме на Красноармейской улице (см. РГАЛИ, Ф. 2590, оп. 1, № 334. Письма А. К. Гладкову от Райха Фердинандовича; 1970–1972; 12 п. 17 л.).

²⁴ Симонов Евгений Рубенович (1925–1994), театральный режиссер и педагог, главный режиссер театра им. Вахтангова (1969–1987).

15 фев. (...) Старшая дочь Р. Орловой²⁵ отбила Кому Иванова²⁶ у его жены, милой и славной Тани²⁷.

(л 35—6) [описание трудного объяснения с Анной Лацис при нотариусе, об оплате мебели в квартире Райха, и ее рассказ АКГ об их жизни] Сначала она заламывает немислимую цену — больше тысячи. Мебель едва ли стоит больше 200 р. (...)

(...) Ее первая встреча с Райхом в Берлине. И что до этого, детство и юность, Россия, Орел, три мужа. Юлия Лациса, отца дочери, она называет подлецом. Берлин 1922 г., ночной кабак с Ал. Толстым, Пильняком и Кусиковым²⁸. (...) «доктор Райх», режиссер у Рейнгардта²⁹. (...) 2800 р. которые я дал в конце 1970 г. Райху и на которые они жили это время, она изображает как ловушку. Но все же во второй день мы говорим более мирно. История ее ареста в 1938 (...). Как Райх два раза в месяц передавал ей в Бутырки по 25 р. (не сразу 50, чтобы она знала, что он еще цел). Лагерь в Казахстане, где она хотела покончить самоубийством и легла в сугроб. (...) Райха взяли в 1942 году в Ташкенте. Он еврей, ч. словацкий подданный. Они потерялись и только в конце 40-х годов она уже на свободе получила от него письмо из лагеря.

Дарит все же мне мемуары Райха с надписью. У меня есть, но я беру, чтобы не обидеть ее.

[потом АКГ за три часа до нужного времени уходит, соврав, что ему надо на самолет]

25 марта. Целый месяц пролежал в постели после микро-инсульта, который случился со мной вечером 23-го февраля [в тот день — последняя запись перед перерывом] и выразился в повышении давления и нарушении вестибулярной системы (не мог стоять и ходить — заваливался направо). (...) Была попытка законопатить меня в генеральский госпиталь в Красногорске (...), но я категорически отказался.

(...) Еще в конце февраля меня прописали в этом доме.

(...)

Прочитал «Вторую книгу» Н. Я. Мандельштам. Очень смутное и двойственное впечатление. Наряду с блестящими страницами полно мелких сплетен, вранья, инсинуаций. Первая книга лучше, серьезнее.

²⁵ Орлова Раиса Давыдовна (1918—1989), писательница, филолог (специалист в области германской литературы), правозащитница; жена Л. Копелева.

Ее дочь — Иванова Светлана Леонидовна, художник, жена Вяч. Вс. Иванова.

²⁶ Ива́нов Вячеслав Всеволодович (род. 1929), лингвист, семиотик, антрополог; сын писателя Всеволода Иванова.

²⁷ Иванова Татьяна Эдуардовна (урожденная Шпольская; род. 1925), первая жена Вяч. Вс. Иванова; филолог, редактор, переводчик, работала на радио, в журнале «Иностранная литература».

²⁸ Толстой Алексей Николаевич (1882/1883—1945), писатель и общественный деятель; автор социально-психологических, исторических и научно-фантастических романов, повестей и рассказов, публицистических произведений; лауреат трех Сталинских премий первой степени (1941; 1943; 1946, посмертно).

Пильняк Борис Андреевич (настоящая фамилия Вогáу, нем. Wogau; 1894—1938: расстрелян), писатель.

Кусиков Александр Борисович (Кусикян(ц); 1896—1977), поэт-имажинист, автор романсов.

²⁹ Рейнхардт Макс (собственное имя *Максимилиан Гольдман* (нем. Max Reinhardt); 1873—1943), режиссер, актер и директор прогрессивного Малого театра в Берлине.

28 марта. (...)

Будто бы В. Каверин³⁰ написал Н. Я. Мандельштам³¹ резчайшее письмо относительно разных ее мелких инсинуаций во «Второй книге» (она назвала в ней вдову Тынянова, сестру Каверина, почему-то «мегерой»)³². Он подвергает сомнению ее право всех судить и осуждать и называет ее только тенью Мандельштама. Старуха как говорят очень расстроилась и окончательно слегла. У нее круглосуточное дежурство. По существу Каверин прав, но учитывая возраст и болезни Н. Я. — это все же жестокость, на которую я не был бы способен.

(...)

Будто бы Соложеницыну разрешен развод.

(...)

Хожу по комнате, но сразу очень устаю. Давление: 160 на 80, т. е. сносное.

Плохо сплю. (...)

Ко мне стали ходить уже меньше, чему я очень рад, так как очень устаю от визитеров. Почти каждый день бывает Бор. Нат. [Ляховский]. Ц. И.³³ я стал пускать уже через день.

29 марта. По моей просьбе мне выписали из «Второй» книги Н. Я. Мандельштам два места, где я упоминаюсь.

Ничего порочающего меня в них нет, хотя несколько удивляет тон³⁴. (...)

Во втором отрывке маразматическая путаница. В «Встречах с Пастернаком» я писал, что первый арест Мандельштама не произвел большого впечатления в обстановке очередной литературной весны, и у нас с Н. Я. шла речь о том, чтобы уточнить это и написать подробнее, что я обещал ей в моем незаконченном эссе о Мандельштаме. А его второй арест прошел малозамеченным (как и известие о гибели — впрочем, о ней долго никто не знал), потому что в разгаре террора такие вещи уже никого не удивляли: привыкли ко всему. А Н. Я. перепутала одно с другим. Как я мог знать точно о гибели Мандельштама, когда я и о судьбе Мейерхольда, которая меня близко касалась, ничего не знал до 1955 года.

³⁰ Каверин Вениамин Александрович (настоящая фамилия Зильбер, 1902—1989), писатель. Имеется в виду его письмо от 20 марта 1973 года (РГАЛИ, Фонд Мандельштама О. Э. № 1893, оп. 3 (опись Фрейдина), е. х. № 204 письма Каверина В.А. — к Н. Я. Мандельштам: 1 п. 7 л.

³¹ Мандельштам Надежда Яковлевна (девичья фамилия Хазина; 1899—1980; часто упоминается в тексте сокращенно — как *Н. Я.* или *Над. Як.*), вдова поэта Осипа Мандельштама, сохранившая большую часть его литературного наследия, автор широко обсуждаемых в 60—70—80 гг. мемуаров о нем.

³² Тынянова Елена (Лея) Александровна (ур. Зильбер), жена Тынянова и сестра Вениамина Каверина. Тынянов Юрий Николаевич (Насонович) (1894—1943), писатель, драматург, литературовед и критик. С 1918 года — участник ОПОЯЗа; автор романов «Кюхля» (1925) и «Смерть Вазир-Мухтара» (1928), рассказа (фактически маленькой повести) «Подпоручик Киж» (1927).

³³ Кин Цецилия Исааковна, или в дневнике просто *Ц. И.* (1905—1992), литературный критик, литературовед, публицист, специалист по культуре Италии; вдова писателя Виктора Кина. Соседка АКГ по дому на Красноармейской улице, его близкий друг в последние годы жизни: как он сам говорил, у него был с ней «роман отношений».

³⁴ Далее вклеены отдельно перепечатанные на пожелтевшей бумаге эти два места: с. 387: «Гладков в своих страничках о Пастернаке не врет и не хвастается, когда (...)» и 394: «Александр Гладков все собирается написать о равнодушии, с которым в литературных и театральных кругах тридцать восьмого года приняли известие об аресте и гибели Осипа Мандельштама. Гибель единиц покрывается повышением рождаемости и нарастанием темпов, как твердо знал всякий деятель великой эпохи».

4 апр. (...)

Из прочитанного во время болезни были очень интересны письма Н. К. Метнера³⁵.

(...)

Много было разговоров и насмешек по поводу получения Л. И. Б[режневым] партбилета № 2³⁶. Этот фарс не был принят буквально во всех слоях населения. (...)

13 апр. (...)

Уже стоят на улицах цистерны с квасом. Выпил кружку.

20 апр. (...)

Обед в ЦДЛ слевой и Юрой³⁷. По залу бегают лысый Евтушенко. В углу пьют русситы во главе со своим вождем Дмитрием Жуковым³⁸.

24 апр. 1973. (...)

Прочитал недавно книгу Ю. Марголина «В стране Зэка»³⁹. Он польский еврей, просидевший в советских лагерях с 1940 до 1945 года, причем большую часть в Каргопольлаге, а точнее на столь хорошо знакомой мне Круглице⁴⁰. Я прибыл туда (т. е. в лагерь) через четыре года после того, как его увезли, но как же все изменилось. Другая эпоха — канун конца империи Гулага. Уже не было общего голода, резко снизилась смертность, излюбленная тема в бараках уже не жратва, а бабы, режим легче, но строже (...). Марголин талантливый наблюдатель с прекрасной памятью и немного наивный философ. Вообще лагеря были разными и облик их менялся каждые 4—5 лет в целом (и был различным в зависимости от назначения лагеря). О лагерях нужно писать исторично, иначе можно запутаться и наврать. (...) Пожалуй, «В стране Зэка» — лучшее, что написано о лагере, не исключая Солженицина и Шаламова⁴¹. Может быть, потому что здесь меньше намеренной «художественно-

³⁵ Метнер Николай Карлович (1879/1880—1951), русский композитор и пианист. Имеется в виду издание его писем (под ред. З. А. Апетян. М.: Музыка, 1973).

³⁶ Первый из сюжетов в киножурнале того времени «Новости дня/хроника наших дней», 1973, № 9, Обмен партийных билетов. Л. И. Брежнев получает партбилет образца 1973 года (при этом Ленину был выписан партбилет под номером 1, а Брежневу под номером 2).

³⁷ Имеются в виду: Трифонов Юрий Валентинович (1925—1981), писатель, мастер «городской» прозы, одна из главных фигур литературного процесса 1960—1970-х годов, друг АКГ.

Левицкий Лев Абелевич (Левинштейн; 1929—2005), литературный критик, литературовед, сотрудник «Нового мира», работавший в отделе поэзии, многолетний друг АКГ, сам оставил 2 тома опубликованных дневников: Утешение цирюльника. Дневник. 1963—1977. СПб., 2005; Термос времени. Вторая часть (1978—1997). СПб.: Издательство Сергея Ходова, 2006.

³⁸ Жуков Дмитрий Анатольевич (род. 1927), участник войны; писатель, литературовед, переводчик; в 1960-е гг. один из организаторов Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и «Русского клуба» при нем.

³⁹ Марголин Юлий (Юлиус) Борисович (1900—1971), русско-еврейский писатель, публицист, историк и философ, деятель сионизма; в 1940—1946 узник ГУЛАГа; с 1946 жил в Израиле, в 1946—1947 написал книгу «Путешествие в страну зэ-ка» (Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952).

⁴⁰ Каргопольлаг, или «Каргопольская лагерная система», где АКГ сидел в 1949—1954 гг. в Ерцеве Коношского района Архангельской области — одной из «столиц» этого лагеря. Ерцевское отделение включало в себя 17 лагпунктов, в том числе Круглица, Мостовица и др.

⁴¹ Шаламов Варлам Тихонович (имя, данное при крещении Варлаам; 1907—1982), прозаик и поэт, проведенный в общей сложности около 17 лет в лагерях и ссылке: 1929—1932, 1937—1953, автор «Колымских рассказов» (1954—1973, в СССР опубликовано в 1988—1990). См. также «Одержимый правдой: Варлам Шаламов — по дневникам Александра Гладкова» — на сайте <http://shalamov.ru/research/215/n3>.

сти», нет искусственного сгущения, нет придуманных кульминаций. Автор считает, что «зэка» было у нас 10 миллионов⁴². (...)

Интересно бы услышать комментарий Соломоника⁴³, который мог еще встретиться в лагере с Марголиным. (...)⁴⁴

27 апр. (...)

Днем приходят врозь и не сговорившись Юра, Лева, Костя Есенин⁴⁵.

Юра мрачен: у него сорвалась поездка с Аллой⁴⁶ в Венгрию из-за новых ограничений. И он побаивается за отдельное издание романа⁴⁷.

Он вообще несколько паникер. Не без влияния ли Левы Гинзбурга?⁴⁸ Объективно говоря, юрины литературные дела блестящи, но ему этого мало: он хмурый, мрачный.

⁴² М. В. Головизнин: по опубликованным при Хрущеве данным, с 1921-го по 1953 г. по судебным и внесудебным приговорам через ГУЛАГ прошло около 4 млн человек; из них 700 тыс. было расстреляно. Подробнее об этом: Роговин В. З. Статистика жертв политических репрессий — <http://trst.narod.ru/rogovin/t5/pii.htm>.

⁴³ Соломоник Илья Борисович — сидевший вместе с АКГ в Каргопольлаге его младший товарищ, с которым они позже общались и поддерживали переписку (Письма АКГ — Соломоник // РГАЛИ, Ф. 2590, оп. 1, № 180: 1967—1974; Письма Соломоника — АКГ, Ф. 2590, оп. 1, № 346: 1966—1976).

⁴⁴ В чем АКГ мог видеть особые заслуги Марголина при описании лагеря? Только ли в том, что тот описывал знакомые ему самому места? Вероятно, все-таки нет. Он особо выделяет наблюдательность автора «Путешествия...». Скажем, вот такое рассуждение его, не встречавшееся и у самого Шаламова: «Мы впадали в апатию, в сонное оцепенение, как осенние мухи. Меня постоянно клонило ко сну. Когда я не работал, я ложился, и без движения проводил целые часы. В это время мне не хотелось есть. Я мог оставаться без пищи целый день, и несколько дополнительных часов ожидания не составляли разницы. Но когда, наконец, я получал свою порцию, голод разгорался, и, окончив есть, я был гораздо более голоден, чем в ожидании еды. Первые полчаса после приема пищи были мучительны» (часть 3, гл. 25).

⁴⁵ Есенин Константин Сергеевич (1920—1986), спортивный статистик, специалист по футболу; сын С. Есенина и З. Райх. По основной профессии инженер-строитель. Друг АКГ.

⁴⁶ Пастухова Алла Павловна, или Алла, вторая жена Трифонова (с 1968 года), редактор серии «Пламенные революционеры» Издательства политической литературы ЦК КПСС.

⁴⁷ Видимо, за: «Нетерпение. Повесть об Андрее Желябове» (М.: Политиздат, 1973), хотя, возможно, и за «Долгое прощание» (М.: Сов. Россия, 1973), на экземпляре которого, подаренном матери, автор напишет: *С любовью вручаю тебе сию многострадальную книгу, многое из которой ты знаешь по самым первым рукописям, а еще больше — из жизни* (А. П. Шитов. Юрий Трифонов. Жизнь и творчество. Библиографический указатель. М.: МГУ печати, 2010, с. 29).

⁴⁸ Гинзбург Лев Владимирович (1921—1980), поэт, переводчик, участник войны; публицист и общественный деятель (писал о бывших военных преступниках в ФРГ, много ездил по ГДР и ФРГ). Судя по дневнику АКГ, у него была в те годы — возможно, неверная, но устойчивая — репутация «стукача» (ср. ниже зап. от 23 сентября 1972, но также и комментарий к ней С. И. Богатыревой).

28 апр. (...)

Рассказ о вызове Ю. Домбровского⁴⁹ в органы и его откровенном там разговоре. Он считает, что П. Якир был провокатором и «Хроника»⁵⁰ существует под эгидой органов, что будто бы там и сказал.

30 апр. (...)

Обедаю у Гариных⁵¹.(...)

Рассказы о Шукшине⁵². Он перешел на Мосфильм. У него разросшийся ТБС⁵³ на почве алкоголизма. Он теперь пьет немного, но погублена печень, почки и пр. Не жилец.

4 мая. [автор, стоя в очереди в ЦДЛ, знакомится с В. Максимовым⁵⁴] Мы стояли у буфета, он вопросительно смотрел на меня, а я на него, и я заговорил с ним. — Да, мы знакомы заочно, — сказал он. Высказал мнение о романе. Он поблагодарил. Он сказал, что слышал от Солина⁵⁵ (композитора), что я расширил воспоминания о Пастернаке. Это очень старая новость, но он читал их уже давно в первом варианте. (...)

⁴⁹ Домбровский Юрий Осипович (1909–1978), поэт, прозаик, литературный критик. В 1933 году был арестован и выслан из Москвы в Алма-Ату; второй арест в 1936 (всего арестовывался четырежды — еще в 1939 и 1949). После освобождения (1955 год) жил в Алма-Ате, затем ему было разрешено прописаться в родной Москве.

⁵⁰ «Хроника текущих событий» — информационный бюллетень, самиздатский машинописный журнал, публиковавший информацию о нарушениях прав человека в СССР и правозащитных выступлениях (1968–1982, с перерывом на 1972–1974). Первые 10 номеров редактировала Н. Горбаневская, последующие 17 (после ее ареста в 1969) А. Якобсон. Последний из номеров — № 64.

⁵¹ Гарины — это Э. П. Гарин и его жена, Х. А. Локшина, — многолетние друзья, постоянные собеседники АКГ, он часто бывал у них в гостях. Гарин Эраст Павлович, в дневнике часто Э. П. или просто Эраст (настоящая фамилия — Герасимов; 1902–1980), артист театра и кино, режиссер, сценарист, с 1922-го по 1936 г. — актер Московского театра им. В. Э. Мейерхольда; многолетний друг, постоянный собеседник АКГ. Исполнитель роли Короля в фильме «Золушка» (1947). Локшина Хезя Александровна (1902–1982), режиссер и сценарист.

⁵² Шукшин Василий Макарович (1929–1974), писатель, кинорежиссер, актер.

⁵³ Туберкулез.

⁵⁴ Максимов Владимир Емельянович (наст. фамилия, имя и отчество Лев Алексеевич Самсонов; 1930–1995), писатель, публицист; сын рабочего, репрессированного в кампанию борьбы с троцкизмом; сменив фамилию и имя, сбежал из дома, беспризорничал, воспитывался в детских домах. В 1951, после освобождения из мест заключения, был определен на жительство в одну из станиц Кубани. Начал выступать как колхозный поэт в газетах Краснодара; в 1961 в сб. «Тарусские страницы» вышла его повесть «Мы обживаем землю». Роман-эпопея «Семь дней творения» (1971) пронизан тоской по христианскому идеалу. Углубляет разногласия с властями следующий роман М. «Карантин» (1973), где двое людей в поезде, остановленном в степи из-за эпидемии холеры, ищут в друг друге, а затем и в Спасителе опору для духовного возрождения и выхода из круга бесцельного и греховного существования. Опубликованный на Западе и в самиздате, роман послужил поводом для помещения его автора в психиатрическую больницу и исключения из СП (1973). В 1974 писатель эмигрирует, поселяется в Париже и основывает там журнал «Континент» (до 1992), продолживший герценовские традиции русской литературы в изгнании (информация из энциклопедии «Кругосвет»).

⁵⁵ Солин Лев Львович (1923–2008), композитор; автор музыки к драматическим спектаклям Театра имени Евг. Вахтангова, Центрального театра кукол, Малого театра, ЦТСА, Ленинградского театра комедии, Театра им. В. Маяковского и др.

7 мая. (...)

Рассказы о семейной драме Н. Р. Эрдмана⁵⁶. Жена и ее любовник. Бывшая жена Наташа Лавровская⁵⁷, до конца любившая его, но ушедшая к Лавровскому из-за измен и фокусничества Н. Р. Основная черта Н. Р. бесконечное самолюбование. Отсюда его «донжуанизм». (...) Как мало величия во всех смертях и как много грязи. И все же лучше всех у Пастернака.

13 мая. (...)

Еще слышал, что на днях Солженицын сочетался церковным браком со своей фактической женой, от которой у него уже двое сыновей. Он не мог этого сделать, пока его не разводили с первой женой.

<14 мая> (...)

Прочитав рукопись о 37-м годе, почему-то вспомнил трагическую встречу с К. Н. Виноградской⁵⁸ летом 37 года на улице Горького (...) Когда она разошлась с М. Я. Шнейдером⁵⁹, но еще жила в той же квартире на Серебренном, я к ней ходил и зачем-то сделал ее конфиденткой в туманном романе с О. Н. Я просиживал у нее ночи, а за стеной кашлял М. Я. (...) Но — странное дело — вернуться к этому мне больше не захотелось: она была как-то необаятельно откровенно сексуальна. А пишу я об этом потому что прочитал сейчас в *Вечерке*, что К. Н. умерла⁶⁰.

15 мая. [в квартире АКГ устанавливают телефон]

Я испытываю некоторое волнение. Сколько лет я жил без телефона. Фактически с 1961 года, т. е. 12 лет. Отвык и научился его игнорировать.

⁵⁶ Эрдман Николай Робертович (1900–1970), драматург, поэт, киносценарист; автор пьес «Мандат», «Самоубийца» и др.; в 1933 году был арестован (вместе с Владимиром Массом) за сочиненные ими и не предназначенные для печати политически острые стихи и пародии (приговор — ссылка на три года); после ареста пьес больше не писал, продолжал работать в кино; стал одним из авторов сценария фильма Г. Александрова «Волга-Волга» (премьера 1938). Пьесу «Самоубийца», написанную в 1928 году, в том же году принял к постановке Вс. Мейерхольд, но не получил разрешения Главреперткома; в начале 30-х годов разрешение как будто было получено: в декабре 1931-го эту пьесу начали репетировать во МХАТе, но спектакль так и не был выпущен; в мае 1932 года к репетициям «Самоубийцы» приступил Мейерхольд в ГосТиме, но и его спектакль был запрещен на стадии генеральной репетиции. Рассказ об авторском чтении пьесы в присутствии наркома А. В. Луначарского: «Читка закончилась. Начался ужин. О пьесе — ни слова. После ужина гости встали и, сославшись на то, что их внизу ждут машины, ушли. Эрдман, подавленный, огорченный, попрощался с хозяевами и пошел в переднюю одеваться. Луначарский подал ему пальто и сказал: — Коля! Вы написали гениальную пьесу. Но пока я — нарком просвещения, она не будет идти на советской сцене. Поверьте, так будет лучше. (Историю эту привожу со слов Анатолия Агамирова, чья мать была родственницей жены Луначарского и присутствовала на читке пьесы...)» (Анна Масс. Конец дачи Эрдмана — <http://www.pahra.ru/chosen-people/erdman/konec.htm>).

⁵⁷ По-видимому, о ней как о *Наташе Чидсон*, а также о второй жене и ее любовнике — в воспоминаниях: Анна Масс. Конец дачи Эрдмана — <http://www.pahra.ru/chosen-people/erdman/konec.htm>.

⁵⁸ Виноградская Катерина Николаевна (1905–1973), сценарист, кинодраматург, автор записных книжек с дневниковыми записями, набросками сценариев, записями о Ю. А. Завадском, П. Ф. Нилине, А. П. Столпере, В. Б. Шкловском и др. (РГАЛИ).

⁵⁹ Шнейдер Михаил Яковлевич (1891–1945), киновед, близкий знакомый юности АКГ.

⁶⁰ Последняя строка — в самом низу страницы, дописана от руки шариковой ручкой.

16 мая. (...)

Письмо от Соломоник[а]. Он зимой чуть не разошелся с женой. Подробностей не пишет.

17 мая. (...) [АКГ у Трифонова]

У него Р. А. М[едведев]⁶¹. Он уезжает на три месяца на юг отдыхать. Хорошо выглядит, спокоен: его больше не теребят. Его книга вышла на 5 языках. Жорес⁶² собрал его гонорары и сделал ему два перевода.

Сейчас он начал работу над книгой о первых пяти годах советского государства. (...) Новость. Вчера или третьего дня В. Максимов подал заявление о выходе из Союза Писателей. Сегодня Р. А. был у него и видел текст. Предполагалась в СП проработка романа «Семь дней творения» и В. М. решил ее предупредить. Он предпочел, чтобы инициатива была на его стороне. Не знаю еще, правильно ли это?

19 мая. (...)

Вечером звонок Р. Я. Райт⁶³. Просит зайти поговорить о «телефонной конвенции».

(л. 65) [у АКГ в гостях Женя Пастернак, Евгений Борисович, с женой]

21 мая. (...) Вечером заезжаю к Юре. Он болеет или ему кажется. Жалуется на своих «женщин», т. е. на Олю и Аллу⁶⁴, которые не хотят жить вместе, и поэтому у него нет дома.

(л. 66) [по поводу назначенного обсуждения в ССП романа Максимова] Саша Борщаговский⁶⁵, который любит сидеть на двух стульях, — быть либеральным Цицероном и верным функционером, — мечется, не зная, как ему быть. (...)

⁶¹ Медведев Рой Александрович, в дневнике часто обозначается инициалами или Р. А. М., или Р. А. (род. в 1925), публицист, политический деятель, представитель левого крыла диссидентского движения в СССР; автор работ по истории.

⁶² Медведев Жорес Александрович (род. в 1925), брат-близнец Роя Медведева, ученый-геронтолог, диссидент, автор книг «Биологическая наука и культ личности» (циркулировала в самиздате), а также вышедшей в США на английском «The Rise and Fall of T. D. Lysenko» (в 1969 году был уволен в связи с ее выходом в США на английском) и других, в которых критиковал ограничения в научном сотрудничестве и поездках за границу, цензуру почты и получаемых из-за рубежа журналов и книг. В мае 1970 года был насильственно помещен в Калужскую психиатрическую больницу (освобожден в связи с протестами ученых и писателей, что описано в совместной книге Жореса и Роя Медведевых «Кто сумасшедший» — издана в Лондоне в 1971 году на английском и русском языках). В январе 1973 года с женой и младшим сыном приехал в Англию, а в августе того же года по обвинению в антисоветской деятельности лишен советского гражданства. Его мемуары «Опасная профессия» публикуются в киевском еженедельнике «2000» и московском журнале «Россия, XXI».

⁶³ Райт-Ковалева Рита Яковлевна (урожденная Раиса Яковлевна Черномордик; 1898—1988), писательница и переводчица. Она была соседкой по дому АКГ на Красноармейской улице: у них оказываются спаренные телефоны — ср. в зап. от 4 декабря.

⁶⁴ То есть на дочь и жену.

⁶⁵ Борщаговский Александр Михайлович (1913—2006), писатель-фронтовик, критик, театровед, киносценарист («Три тополя на Плющихе» 1967); зав. лит. частью ЦТКА, автор сборника рассказов «Ноев ковчег» (1968); товарищ АКГ, которого тот частенько называет в дневнике Саша; однако в их дружбе потом наступает отдаление, начиная с 1971-го.

26 мая. (...)

Днем на улице Грицевец⁶⁶. Таня перешла в 8 класс с пятеркой по французскому языку. Они еще не знают, где будут жить летом. (...)

27 мая. (...) Дело в том, что у Боршаговского в этом году шестидесятилетие и он заинтересован быть в дружбе с начальством, чтобы получить возможность новых переизданий. Я несколько лет назад разошелся с Борщ-м больше по своим интуитивным соображениям, но постепенно подпевают и факты. Все верно!

1 июня. Прочитал «Нетерпенье» — роман Ю. Трифонова⁶⁷. Я ждал большего. (...) Все вне духа времени, красок эпохи.

Вряд ли скажу все это Юре: надоело ссориться. Но кое-что скажу. И симулировать восторг я вряд ли сумею.

4 июня. (...)

Соврал Юре, что мне «понравился» его роман.

[со 2-го на 3-е АКГ впервые ночевал на даче]

Днем у меня впервые за эти годы моют окна. (...)

Пока женщина мыла окна, я читал Бунина. Казалось бы, знаю его, а что-то позабыл. «Натали» — это старческий онанизм, а «Речной трактир» и «Чистый понедельник» — шедевры. А «Солнечный удар»?!

5 июня. (...)

Наслаждаюсь вымытыми окнами. Сейчас видно, какая это отличная комната. Окна почти во всю боковую стену, а за окном зелень.

14 июня. (...)

Снился Т. Хренников. Его учитель Б. Я. Шебалин⁶⁸ когда-то говорил мне, что он не оправдал его ожиданий и размельчил себя поделками в кино и театре. Но он оказался умен: 25 лет руководит Союзом композиторов и все им довольны. Это наверно рекорд. Не заставляет неумеренно прославлять себя, не гонится за роскошной жизнью (кажется) и никого не зажимает. Молодец!

15 июня. (...)

Передача по ТВ «До новых встреч» назначена на 1-е июля.⁶⁹ Сергеев извиняется, что не мог устроить для меня просмотра. Свинство, конечно.

⁶⁶ Гладков А. К. Москва, пер. Грицевец, д. 8, кв. 24 (по записной книжке Н. Д. Оттена — РГАЛИ. Ф. 2665, оп. 1 е. х. 70 № 88, л.112) — переулок, или улица *Грицевецкая*, носившая это имя с 1952 по 1994 гг. в честь дважды героя летчика-истребителя С. И. Грицевца (ее прежнее и современное название — Б. Знаменский переулок, в центре Москвы, между Волхонкой и Знаменкой), адрес, по которому жили Гладковы, начиная с 1926: сначала родители, а потом и жена, с которой он фактически расстался, Антонина Антиповна Гладкова, с их дочерью Татьяной и где за АКГ оставалась формально одна комната — он держал в ней книги.

⁶⁷ Новый мир. 1973. № 3—5.

⁶⁸ Шебалин Виссарион Яковлевич (1902—1963), композитор, был близким другом Д. Д. Шостаковича; с 1928 года преподавал композицию в МГК имени П. И. Чайковского и был ее директором (1942—1948); снят с должности после постановления о борьбе с формализмом (об опере «Великая дружба» В. И. Мурадели), впоследствии вернулся в консерваторию и работал на кафедре композиции.

⁶⁹ Телевизионный спектакль (по пьесе АКГ 1948 г. «До новых встреч»: о подругах Люсе и Люке, отправляющихся в Москву: одна поступать в театральный институт, другая — на завод) с премьер-

25 июня. (...) Брежнев закончил переговоры в США. (...) Брежнев торжественно объявил об окончании «эры холодной войны». (...)

27 июня. (...)

Днем выступал на совещании «За круглым столом» по поводу мемуаров в редакции «Вопросов литературы». Я говорил последним (...). У меня осталось впечатление, что я говорил сумбурно и комкано, но Е. А. Кацева⁷⁰ после сказала Ц. И. что я говорил хорошо и даже «лучше всех». (...)

(83) 29 июня. (...) Ночью слышал по радио, что 26-го июня Союз писателей исключил В. Максимова. (...) [АКГ ругает *прошедшую вчера* передачу «До новых встреч»]

30 июня. (...)

Мачеха Саши Кам[енского]⁷¹ знакома с Ниной Петровной Хрущевой⁷² и недавно звонила ей. Та сказала, что наконец сдался последний в политбюро, кто возражал против надмогильного памятника Хрущеву и разрешение получено. Э. Неизвестный сделал модель памятника⁷³. Говорят, что на Новодевичьем у могилы Х. всегда народ и цветы.

2 июля 1973. (...) [АКГ приехал в город с дачи]
Нашел на полу у двери письмо А.И.С[олженицына]
(...)

С пяти до полвосьмого у меня Боря Слуцкий⁷⁴. Интересные рассказы о разном. Все-таки Боря человек битком набитый «информацией». (...) Дела Каржавина плохи: его вероятно вышлют⁷⁵. Он сам неустойчив: то говорит так, то этак. В. Ильин⁷⁶ при Боре сказал ему: «Вам нужен Израиль, как пизде зубы». (...)

рой в 1967 году. В 1973 году режиссер Юрий Сергеев снял фильм-экранизацию этого телеспектакля. В ролях: Нина Русланова, Марианна Вертинская и др.

⁷⁰ Кацева Евгения Александровна (1920–2005), переводчик, критик и популяризатор германоязычной словесности, с 1949-го по 1953 год редактор отдела критики журнала «Новый мир», далее сотрудник журналов «Знамя» и «Вопросы литературы».

⁷¹ Каменский Александр Абрамович (1922–1992), искусствовед, друг АКГ.

⁷² Хрущева Нина Петровна (урожденная Кухарчук; 1900–1984), третья жена Н. С. Хрущева.

⁷³ Неизвестный Эрнст Иосифович (род. 1925), советский и американский скульптор, автор памятника на могиле Никиты Сергеевича Хрущева на Новодевичьем кладбище. С. Н. Хрущев о своих сомнениях, когда ему посоветовали обратиться к Неизвестному: «...Неизвестный едва ли возьмется. Ведь отец громил его и его друзей в Манеже, перекрыв им дорогу. Да он просто может выгнать меня. По сути дела, я предлагал ему сделать памятник своему противнику» (<http://www.bibliotekar.ru/polk-22/7.htm>). И тем не менее обратился.

⁷⁴ Слуцкий Борис Абрамович (1919–1986), поэт, друг АКГ.

⁷⁵ Каржавин Наум Моисеевич (настоящая фамилия Мандель; род. 1925), поэт, прозаик, переводчик и драматург; в 1973 году, после допроса в прокуратуре, подал заявление на выезд из страны, эмигрировал в США.

⁷⁶ Ильин Виктор Николаевич (1904–1991), сотрудник НКВД, комиссар госбезопасности (в 1937–1938 гг. отвечал за работу по разработке меньшевиков, стал начальником третьего отдела Секретно-политического управления НКВД, занимавшегося работой с творческой интеллигенцией); в 1943 осужден на девять лет тюрьмы. Отбыв срок, уехал в Рязань, где работал грузчиком (реабилитирован после расстрела Берия в 1954 году); в 1956 был избран секретарем Московского отделения Союза писателей и до 1977 — член Союза писателей СССР и его секретарь; он описан в статье Алексея Теплякова «Чекист для Союза писателей» (на сайте <http://www.politjournal.ru/preview.php?action=Articles&dirid=50&tek=6761&issue=190>) в 40-е годы, в частности, так: «Главным делом его была борьба с „внутренним врагом“ — от самостоятельно мыслящих уче-

Меня чуть-чуть взволновал звонок Руслановой⁷⁷. Это всплеск моей прежней жизни: премьеры, телеграммы, телефонные звонки, флирт автора с актрисами... Впрочем, я с ней не флиртовал, да и охоты нет, признаться.

4 июля. [в очереди в ЦДЛ за билетами на кинофестиваль АКГ простоял 4,5 часа]

(...)

Разговаривал с Заком и Кузнецовыми, Шаровым⁷⁸ и Шаламовым и другими.

6 июля. (...)

[перечисляет — какие книги у него в библиотеке] Есть еще двухтомная Ахматова (американская). И такой же Мандельштам⁷⁹.

12 июля. Вчера видел в ЦДЛ два фестивальных фильма (...).

13 июля. (...) По радио сенсационное интервью Генриха Белля об отсутствии интеллектуальной свободы в СССР⁸⁰. Давно уже никто из знаменитостей так не выступал. Белль спокоен, грустен и скептичен в отношении возможностей воздействия на руководство СССР. Вопрос о Солженицине он называет кровотокающей раной. Вопрос об Амальрике⁸¹. Он считает, что никакого противоречия во внутренней и внешней политике СССР нет: так оно и задумано.

(...)

Письмо и программки «Давным-давно» из Риги от Коли Шейко⁸². Он подумывает об уходе из Минска и ведет переговоры с Александринкой.

(...)

ных и писателей до учащейся молодежи, часто из юношеской романтики создававшей подпольные группы для разъяснения себе и массам недостатков сталинской политики, изучения „истинного марксизма-ленинизма“».

⁷⁷ Русланова Нина Ивановна (род. 1945), актриса театра и кино; с 1969 в Театре им. Евг. Вахтангова.

⁷⁸ Зак Авенир Григорьевич (1919—1974) и Исай Константинович Кузнецов (1916—2010) — драматурги и киносценаристы, работавшие в соавторстве.

Шаров Александр (псевд. Шера Израилевича Нюрнберга) (1909—1984), прозаик, известный также произведениями детской литературы.

⁷⁹ Ахматова Анна. Сочинения. Общ. ред., вст. статьи, свод разночтений и примечания Г. П. Струве и Б. А. Филиппова.) В 2 т. Т. 1—2, Вашингтон «Inter-Language literary associates» 1965—1968.

Осип Мандельштам. Собрание сочинений в 3 томах. Под редакцией Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Нью-Йорк, 1967—1971.

⁸⁰ Какое именно интервью имеется в виду, установить не удалось.

⁸¹ Амальрик Андрей Алексеевич (1938—1980, погиб в автокатастрофе), писатель, диссидент. В 1959—1960 и 1961—1963 гг. — студент исторического факультета МГУ; в мае 1965 арестован и осужден к двум с половиной годам ссылки в Сибирь за тунеядство. В июне 1966 досрочно освобожден и вернулся в Москву. Работал на должности внештатного сотрудника в Агентстве печати «Новости». Публиковался за рубежом. В апреле—июне 1969 написал имевшую значительный резонанс книгу-эссе «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», где указал на неизбежный распад СССР (например, в итоге возможной войны с Китаем), публиковал и другие свои работы на Западе и в самиздате, что привело его к заключению. 21 мая 1970 года арестован и этапирован в Свердловск: приговорен к трем годам лагерей за „распространение... ложных измышлений, порочащих советский... строй“; в 1976 — эмигрировал.

⁸² Шейко Николай Михайлович (род. 1938), режиссер театра и кино, первый постановщик спектакля АКГ «Молодость театра» (Рижский театр юного зрителя, 1971); работал главным режиссером в Минском республиканском молодежном театре и в Русском театре Эстонии (Таллин); с 1987 живет в Москве; заслуженный деятель искусств РФ, поставил около 100 спектаклей.

На просмотрах в ЦДЛ [на кинофестивале] много встреч со старыми знакомыми, которых давно не видел (Алигер, Крон, Гринберг⁸³ и др.). И Н. Столярова⁸⁴.

15 июля. (...)

Следующую неделю почти всю придется пробыть в городе из-за кино-просмотров. В зале ЦДЛ непереносимо душно. Может быть, зря я в это ввязался? Но все же любопытно.

(...)

Лева как-то сказал мне, что я стал нетерпим. Нет, это не то слово. Я стал обидчив и в этом моя слабость. Я знаю, что под этим — недовольство собой. Когда я бываю недоволен собой, я делаюсь очень требователен к другим.

18 июля. (...)

Под вечер задремал и в это время звонок в дверь. Не открываю. Стучат. Открываю. Это Е. Ф. (теща А. И. С.)⁸⁵. Сидит полчаса. Второе письмо от А. С.⁸⁶.

22 июля. Умер М. Исаковский⁸⁷.

Я узнал об этом из объявления в ЦДЛ, когда пришел на просмотр (дополнительный). У меня есть от него письмо о моем стихотворении «Песня» (из лагерного цикла). Он был редким мастером, так сказать, «лирического примитива». А его песни превосходны. Автобиографическая проза его удивительна по прямоте и неукрашенности.

23 июля. На даче. Прекрасный, не слишком жаркий, солнечный день. (...)

⁸³ Алигёр Маргарита Иосифовна (настоящая фамилия Зейлигер; 1915–1992), поэтесса.

Крон Александр Александрович (псевдоним; настоящая фамилия — Крейн; 1909–1983), писатель, драматург.

Гринберг Иосиф Львович (1906–1980), литературный критик.

⁸⁴ Столярова Наталья Ивановна (1912–1984), дочь народоволки Наталии Сергеевны Климовой (участницы предпоследнего покушения на Столыпина, приговоренной к повешению); переводчица, училась в Сорбонне (1929–1934), была музой и главной любовью поэта и писателя русской эмиграции Бориса Поплавского; увлекалась левыми идеями, участвовала в организации в Париже общества «Молодежь, за возвращение на родину»; в 1934 репатрировалась в СССР и через два с половиной года стала узницей сталинских лагерей (1937–1945); после выхода на свободу до 1953 вела скитальческое существование — то устраиваясь на работу, то теряя ее; в 1956-м переехав в Москву, стала секретарем Ильи Эренбурга (до самой его смерти в 1967-м) (Григорий Семенович Кан. Наталья Климова. Жизнь и борьба. СПб.: Изд. им. Н. И. Новикова, 2012, с. 172–178). Ей посвящена глава в книге «Бодался теленок с дубом» А. И. Солженицына (5-е дополнение. Невидимки. Гл. 9).

⁸⁵ См. в сноске далее.

⁸⁶ Под буквами А. С. или А. И. С. скрывается А. И. Солженицын: Наталия Дмитриевна Солженицына поясняет, в письме публикатору по эл. почте 14 сентября 2013: «Это моя мать, Екатерина Фердинандовна Светлова; по какому вопросу она приезжала — и мне непонятно, сейчас не могу вспомнить, сама я в это время жила с двумя малышами и ожидая третьего в Фирсановке, снимали дачу, А. И. С. жил то с нами в Фирсановке, где страдал от рева самолетов с соседнего аэродрома, то в тихом Рождестве, когда оттуда уезжала Н. А. Решетовская, по договоренному между ними расписанию». Возможно, целью приезда А. И. С. к автору были переговоры о поселении у него на даче (ср. ниже).

⁸⁷ Исаковский Михаил Васильевич (1900–1973), поэт; лауреат двух Сталинских премий первой степени (1943, 1949); многие его стихи положены на музыку: наиболее известны «Катюша» и «Враги сожгли родную хату», «Летят перелетные птицы», «Одинокая гармонь»; автор книги «На Ельнинской земле. Автобиографические страницы» (1973), которую, видимо, и читал АКГ (ср. ниже).

Молодая картошка, помидоры, огурцы, сметана и квас — вот мое меню и больше ничего не желаю.

(л. 95) (...)

Вчера встретил в ЦДЛ Б. Окуджаву. Как всегда очень тепло с ним здороваемся. Спрашиваю, не выходит ли у него чего-нибудь новенькое. Он даже руками замахал. — Нет, нет! Что вы!... это было на ходу в проходном зале между холлом и буфетом.

Вечером «Нем. волна» сообщила, что он исключен из партии, но это неверно⁸⁸. Он не исключен. Об этом мне говорил Б. Слуцкий, а уж он знает.

25 июля. (...)

Каждый день ем, прямо с веток, вишни. Их не то, что много, но порядочно. О, благословенный мамин сад!

29 июля 1973. Когда у меня нет ничего нового интересного для чтения, я беру и читаю подшивки по годам моего дневника. Это интересно, хотя и пестро.

Когда я был недавно у А. П. Мацкина, он мне стал рассказывать об одинокой и нелепой жизни вдовы Астангова Аллы Владимировны — моей Аллы зимы 40—41 года, любовницы, отчаянно первым чувством влюбленной в меня⁸⁹.

Разговоры на Фестивале с Ритой Лифановой⁹⁰ снова заставили думать об Арбузове. Не знаю, изменился ли я, но он конечно очень изменился. Сейчас он подчеркнуто уверенный в себе и в образе своей жизни вплоть до мелочей с категоричностью мнений. А в молодости он был иной, как-то вопросительный, что ли, и даже как бы кокетничающий и мягкостью, и неуверенностью, играющий в нее. Он казался неумелым, непрактичным и всем хотелось помогать, что-то делать для него. Вероятно, он немного притворялся таким: это было и обаятельно, и выгодно. А сейчас и все интонации его стали жесткими, как бы не допускающими возражений. Тот прежний Арбузов располагал к общению, с ним было просто и легко: этот нынешний отталкивает, держит на дистанции и с ним как-то тягостно. Это изменения психологические. Есть и другие. Рита была, оказывается, уверена, что я избегаю, потому что обижен на него. Другой вариант ей в голову не приходит или она предпочитает о нем помалкивать. Я отрицал обиду и коротко сказал, что «как-то так все получается»...

Плохо, туманно написалось то, о чем думалось ясно. Я просто «вижу» двух Арбузовых: «вижу» и «слышу».

А делают ли вообще люди в зрелости и старости лучше? Судя по тому, как Анненков написал о Тургеневе⁹¹, — да. Но бывает и иначе. Это именно тот случай. [пропуск строки]

⁸⁸ После нескольких унижительных «проработок» Окуджаву исключила из партии первичная (писательская) организация, но Пресненский райком ограничился строгим выговором, опасаясь международной огласки (Д. Быков. Булат Окуджава. ЖЗЛ. М., 2013 — http://www.imwerden.info/belousenko/books/bykov/bykov_okudzhava.htm).

⁸⁹ Астангова Алла Владимировна (1920—1981; в девичестве Потатосова), вторая жена актера Астангова, когда-то, в 1941—1942 гг., близкая знакомая АКГ (ср. упоминание очевидно о ней в его записной книжке: Д.Ж.Сп. <Дон-Жуанский список>: (...) 21. Алла (РГАЛИ, Ф.2590, оп. 1, е.х. 133, л. 31). До войны поступила в Щукинское училище, потом добровольно ушла на фронт; воевала санинструктором в артподразделениях стрелковых бригад и дивизий Ленинградского фронта; в 1949 доучилась на актерском факультете, работала сначала в Драматическом театре ЦДКЖ, потом в Московском театре нефтяников.

⁹⁰ Лифанова Маргарита Ульяновна (1926—2007), актриса театра и кино.

⁹¹ Анненков Павел Васильевич (1813—1887), литературный критик, историк литературы и мемуарист; автор книги «Молодость И. С. Тургенева 1840—1856» (П. В. Анненков. Литературные воспоминания. М.: ГИХЛ, 1960).

30 июля 1973. Сегодня у меня утром был А. И. Солженицин. Это было условлено и я ждал его. Он приехал в половине девятого и уехал с поездом в 11.07. Разговаривая, сидели в саду, потом на нижней террасе.

Сначала я увидел человека, почему-то идущего от дома к калитке. Я окликнул. Оказалось, что он вошел в отпертую калитку, потом решил, что ее нужно закрыть, и стал возвращаться.

В лице его много красок: он румяный, белозубый и улыбающийся. На фото он строг и даже суров. Быстрый. Все понимает с полу-слова. Ведет разговор. Паузы не возникают. Какая-то черная, под кожу, куртка и маленький в руках планшет.

Интересовался в саду деревьями. Быстро обошел сад. Ощущение присутствия большой моторной силы.

Помимо темы разговора, возникало попутное. Он стал спрашивать меня о М. Демине⁹², о котором отозвался презрительно. Не знал о родстве того с Юрой Трифоновым. Я сказал ему о моей догадке, подчеркнув мою неуверенность. Он сказал, что, наверно, так оно и есть и что нужно об этом всем говорить. — Я стараюсь всегда разоблачать всех провокаторов... — Да, но если я ошибаюсь? — «Нет, тут вы не ошибаетесь»...

Вопросы о моем аресте, сроках и пр.

Удивился, что Р. А. М[едведев] хочет писать о донских казаках. Удивился с оттенком ревности: ведь он сам с Дона.

Сказал, что этот год прошел у него сравнительно тихо и потому работалось, но он не может поручиться, что и далее пойдет так. Все может обостриться, хотя бы если, например, Сахарова решат выбросить из Академии. Тогда может возникнуть новое положение с вероятностью разных эксцессов. Ведь тогда ему придется выступить.

Догадливая деликатность: — А я вам не осложняю жизнь? —

Мимоходом о возможности эмиграции для него.

Он ее никак не хочет.

Я говорю, что вот подрастут дети, надо их учить. А как же тут, при таком положении правовом и вообще. Он не соглашается: — Ну, об этом рано. Тогда и посмотрим.

Он официально женился на москвичке, и вроде бы его должны прописать в Москве, но 4 месяца не дают ответа⁹³. Он считает, что могут отказать под предлогом, что он в Москве не работает. Прецедентов таких нет, но он думает, что могут.

Ищем поезд в моих расписаниях. Я говорю и провожаю его до калитки. Он уходит. Я спохватываюсь, что посмотрел не на ту страничку и назвал ему поезд «из Москвы»,

⁹² Михаил Демин (настоящее имя Георгий Евгеньевич Трифонов; 1926–1984), писатель-невозвращенец, двоюродный брат Юрия Трифонова. Родился в семье командарма Евгения Трифонова (псевдоним Е. Бражнев; 1885–1937), который после ареста брата, Валентина Трифонова, был исключен из партии и умер на своей даче, не дожив до ареста. В 1942 был осужден на два года лагерей для несовершеннолетних (в нарушение указа о мобилизации не явился на авиационный завод), был послан на фронт; после демобилизации учился в художественном институте. В 1947 после указа о выселении из Москвы лиц, отбывших наказание, уехал из Москвы, пытался устроиться у родных в Новочеркасске, ездил по железным дорогам, связался с ворами, был арестован и осужден на шесть лет, 1953–1956 гг. провел в ссылке в Хакасии, в Абакане, работал как корректор-ретушер в газете, взял псевдоним; в 1956 г. освобожден, в 1959 вернулся в Москву, принят в СП. В 1968 г. использовал поездку в Париж к родственнице, чтобы эмигрировать. Умер от инфаркта. Известен прежде всего своей автобиографической трилогией. Она в том, что касается 1937 года, дополняет неоконченный автобиографический роман «Исчезновение» Юрия Трифонова (Страдные пути и перепутья Георгия Трифонова // Шитов А. П., Поликарпов В. Д. Юрий Трифонов и советская эпоха. М.: Собрание, 2006, с.250–260).

⁹³ Уточнение Н. Д. Солженициной (по эл. почте 4 января 2013): «Официально женился 20 апреля 1973; на москвичке — на мне; в прописке, потянув время, отказали: см. письмо А. И. министру внутр. дел Щелокову от 21.08.73 („Бодался теленок...“, с. 652)».

догоняю его. Он уже сообразил, догадался, но не хотел возвращаться. Разговариваем на платформе.

Он уехал, и сразу ощущение какой-то пустоты. В нем очень заметна инерция движения, энергии, чему невольно завидуешь. И немножко грустно. Мимо меня пронеслась какая-то сила, ее уже нет, а я остался на месте.

Утро было солнечное, но прохладное. Похолодало с вечера. Градусов 14–15. Подарил мне книжку с автографом⁹⁴.

1 авг. Утром приехал из города. (...)

В московской квартире полный хаос и грязь. Надо бы специально убраться.

Сегодня позволил себе выпить бутылку пива (в первый раз после болезни). Свежее с ароматом хмеля. Продавали в Загорянке.

(...)

Вспоминаю разные подробности встречи с А. И. С. Характерно, что поднявшись в мой кабинет, он только бегло посмотрел на книжные полки. Я сразу подумал: — Интеллигент первого поколения... Слышал, что его жена беременна третьим ребенком и на вопрос, неужели он хочет, чтобы она родила еще раз, он ответил: — Делать аборт нам не позволяет религия... Вот так-с! Религия! Если мы еще встретимся и зайдет речь о религии, вряд ли пойдем друг друга⁹⁵.

5 авг. (...)

Чуть ли не каждый день выпиваю по 5 литров кваса. Я люблю квас даже больше, чем чай.

8 авг. Вчера днем поехал в город, так как у меня не осталось ни копейки, заехал в Сберкасса, взял 240 рублей, пообедал в ЦДЛ (...).

В Москве нашел 4 (!) письма от Ц. И. и одно почти бестактное (о моей возможной женитьбе, Вере и пр.).

(...)

Жорес Медведев лишен советского гражданства.

9 авг. (...)

Жорес Медведев заявил, что он будет обжаловать перед советским правительством лишение гражданства. Слух, что ген. Григоренко⁹⁶ выпущен из психиатрической больницы и ему разрешено жить с семьей.

⁹⁴ Запись за этот же день воспроизведена и в публикации С. В. Шумихина, но там — с ошибкой в дате (и в № дела): 30 июля 1974; е. х. — 114, с. 98 (А. Гладков. Попутные записи // Новый мир. 2006. № 11, с. 120–121). Тогда как на самом деле: 30 июля 1973; е. х. 113. Причем в более раннем издании дата была указана верно: А. Гладков «Я не признаю историю без подробностей...» (Из дневниковых записей 1945–1973) (предисловие и публикация Сергея Шумихина) // In memoriam. Исторический сборник памяти А. И. Добкина. СПб.; Париж: Феникс—Atheneum. 2000, с. 620. Там же, кстати, и наиболее обширно отражен как раз 1973 год дневника АКГ: с. 601–647.

⁹⁵ Здесь для него оказывается скорее возможно было бы взаимопонимание с Шаламовым. Но как все-таки АКГ переменчив: еще каких-то два дня назад был полон очарования от встречи с человеком, а вот сейчас его уже съедают сомнения!

⁹⁶ Григоренко Петр Григорьевич (1907–1987), генерал-майор вооруженных сил СССР (1959), участник диссидентского движения, правозащитник, основатель Украинской Хельсинкской группы и член Московской Хельсинкской группы. 7 мая 1969 во время поездки в Ташкент на процесс крымских татар был арестован и помещен в специальную психиатрическую больницу. Экспертиза в Ташкенте закончилась выводом: «Признаков психического заболевания не проявляет в настоящее время, как не проявил их в период совершения инкриминируемых ему преступлений. Вме-

(...)

Читаю любопытную биографию прот. Аввакума, написанную Д. Жуковым, являющимся по слухам тайным лидером «русситов». Это не бездарно. Когда автор пишет о столкновениях старообрядцев с никоновцами, он выражается так: «русский народ дал отпор сторонникам патриарха» и тому подобное. Он намекает, что Никон жил с царицей.

Написал суровое и ироничное письмо Ц. И. (в ответ на ее послания), но вряд ли пошлю. Все же при всех ее наивностях и [проявлении] излишнего усердия, она мне друг. И она так близко к сердцу принимает все наши размолвки.

Но, говоря честно, все это мне весьма надоело...

15 авг. (...)

«Нем. волна» сообщает о готовящемся процессе Петра Якира, где он будет не столько обвиняемым, сколько главным свидетелем обвинения. Это ясно из нескольких очных ставок, которые были у него с кем-то. Передают его биографию, где говорится, что ему иногда бывали свойственны полосы апатии и фатализма. Это верно. Я с ним познакомился в такую полосу (в лагере, кажется, в 1951 г.). Да, я видел его и таким, и видел задорно активным. Вообще-то это национальная черта.

21 авг. Вчера приехала Эмма. Сразу на такси в Загорянку. Она на этот раз легкая, простая. По дороге купили арбуз.

23 авг. Вчера ездили в город (...).

(...)

Э[мма] солит огурцы.

(...)

Солженицин сделал новое заявление, вернее обратился с письмом к министру внутренних дел Щелокову⁹⁷, в котором содержится жалоба на то, что ему отказано

нием. В стационарном лечении не нуждается». Новая экспертиза, состоявшаяся в Москве в Институте им. Сербского, сделала вывод о том, что он «страдает психическим заболеванием в форме патологического (паранойального) развития личности с наличием идей реформаторства». Был вновь помещен в психиатрическую больницу на принудительное лечение; в 1971 в самиздате появилась заочная экспертиза, доказывающая факт психического здоровья; в 1974 под давлением широкой международной кампании протестов освобожден. В конце 1977 выехал с женой в США для операции и свидания с ранее эмигрировавшим сыном. Через несколько месяцев был лишен гражданства и тем самым права возвращения в СССР.

⁹⁷ Щелоков Николай Анисимович (1910–1984, застрелился из охотничьего ружья), советский государственный деятель; доктор экономических наук (с 1978); с 1968 по 1982 — министр внутренних дел СССР; генерал армии (лишен звания в 1984); Герой Социалистического Труда (лишен звания в 1984); в 1968–1983 гг. член ЦК КПСС (исключен из КПСС в 1984). Работать начал с 12 лет — конононом на шахте. В 1939–1941 был председателем Днепропетровского горисполкома. Тогда же познакомился с будущим Генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым, который в это время был секретарем Днепропетровского обкома компартии Украины. Став министром, находился в дружеских отношениях с Мстиславом Ростроповичем и Галиной Вишневской. По его инициативе полуопальная Вишневская была награждена орденом Ленина. Направлял в Политбюро записку в защиту Александра Солженицына («К вопросу о Солженицыне», 7 октября 1971), но его предложения (в том числе опубликовать «Раковый корпус» и выделить писателю квартиру в Москве) не нашли поддержки; помог Солженицыну в работе над «Августом Четырнадцатого» — доставал для него старые карты. 17 декабря 1982 — через месяц после смерти Брежнева — был освобожден с поста министра в связи с расследованием по поводу коррупции, начатым Андроповым после убийства милиционерами майора КГБ В. В. Афанасьева. Проведенная по указанию нового министра внутренних дел СССР В. В. Федорчука комплексная проверка

в праве проживать в Москве. Он пишет, что он не крепостной и имеет право жить, где ему угодно. Он мне говорил, что не получает 4 месяца ответа на просьбу о московской прописке. Вероятно, это значит, что он получит отказ⁹⁸.

25 авг. (...)

Сажу за столом, а Эмма читает за стенкой. Только что позавтракали. Когда-то я легко работал рядом с ней, а теперь что-то не могу. Какое-то внутреннее напряжение. Она уедет послезавтра ночью. Мне будет грустно, но я не умру. Буду жить и есть крошку.

В № 8 «Звезды» воспоминания Л. Н. Рахманова об Акимове⁹⁹. Я не близко знал Николая Павловича, но долго и в решающих ситуациях: он принимал мои пьесы и ставил их. Мне показалось, что Рахманов написал мало и как-то жидко, хотя и просто. Пожалуй, я бы написал лучше, хотя у Р. и все в общем верно. Верно, но не адекватно Н. П., если можно так выразиться.

По радио передают со слов друзей Солженицына, что он сейчас снимает комнату в пригороде Москвы, но скоро срок сдачи кончится и у него не будет крыши над головой. Невольно жду, что прозвучит моя фамилия¹⁰⁰. Но отказ ему в московской прописке может все изменить в его планах. А может быть, оно и к лучшему. (...)

деятельности МВД СССР в период руководства Щелокова выявила большое количество злоупотреблений. В феврале 1983 самоубийством покончила жизнь жена Щелокова, Светлана Владимировна.

⁹⁸ Надо сказать, что у Солженицына к тому времени уже имелся опыт обращений к Щелокову: в начале 1970 г. Щелоков, приятель Брежнева, в порядке личного одолжения Ростроповичу прислал для А. И. подробную топографическую карту Восточной Пруссии из штаба МВД, охватывавшую весь район самсоновских действий. А осенью 1971-го Щелоков подал в секретариат ЦК записку, в которой, призывая к гибкости в отношении к Солженицыну, предлагал методы мягкие и деликатные; пусть писатель заявит на Западе (куда он должен ехать за премией), будто у него расхождения не с властью, а с коллегами по цеху, а это есть и всегда будет в литературе. «Солженицыну нужно дать срочно квартиру. Его нужно прописать, проявить к нему внимание. С ним должен поговорить кто-то из видных руководящих работников, чтобы снять с него весь тот горький осадок, который не могла не оставить травля против него. За Солженицына надо бороться, а не выбрасывать его». Следующее обращение А. И. к Щелокову было в 1973 г., после официального отказа милиции и МВД ему в прописке в Москве: «Я пользуюсь случаем напомнить Вам, — писал он министру МВД Щелокову 21 августа, — что крепостное право в нашей стране упразднено 112 лет тому назад. И, говорят, Октябрьская революция смела его последние остатки. Стало быть, в частности и я, как любой гражданин этой страны, — не крепостной, не раб, волен жить там, где нахожу необходимым, и никакие даже высшие руководители не имеют владельческого права отторгнуть меня от моей семьи» (http://www.solzhenitsyn.ru/modules/pages/CHast_shestaya_Slovo_i_delo.html).

⁹⁹ Рахманов Леонид Николаевич (1908—1988), писатель, прозаик, мемуарист, драматург, автор сценария фильма «Депутат Балтики» (1936) и пьесы «Беспокойная старость» (1937); автор воспоминаний: Н. П. Акимов в театре и дома. Из воспоминаний о режиссере // Звезда. Вып. 8. Л., 1973, с. 171—185.

¹⁰⁰ Складывается впечатление, будто А. И. в тот момент подыскивал себе место для жилья и АКГ предлагал ему жить у себя на даче.

Н. Д. Солженицына поясняет: «Возможно, что Гладков собирался продавать дачу, а в то лето А. И. усиленно искал в Подмосковье какой-нибудь дом, где мы могли бы жить: он не мог жить в городе: единственно, к чему он был высоко чувствителен, это к шуму, он был совершенно не требователен к еде, одежде, удобствам быта, но тишина была ему жизненно важна; вероятно, в связи с этими поисками и была у него моя мать, доставившая письмо А. И.; если Гладков собирался продавать дом, то об этом знали его многочисленные друзья и могло стать известно и А. И.; это догадки, но близкие к истине: вряд ли что-то другое могло привести А. И. к Гладкову в это наше последнее лето на родине».

Чаковскому дали героя соц. труда¹⁰¹. Это, вероятно, высшая точка его карьеры: ведь не может же этот делец и ловкач не сорваться где-нибудь. Он совсем не популярен в литературных кругах и не только потому, что мало талантлив: подумаешь — и не таких видали! Но он высокомерен, груб, жесток. Особенно ненавидят его русситы. И за то что он еврей, и за то что он по-своему «западник». Сегодня у них черный день.

28 авг. [вырезки из «Известий» о процессе Красина и Якира]

29 авг. Сегодня утром вернулся из города, где пробыл полутора суток. (...)

Последние два дня с Эммой были нелегкими: появилось напряжение, но вспышек избежали (почти). Грустная комедия разлуки.

(...)

[о процессе Якира] Судя по первым отчетам, подсудимые признаются в чем угодно и даже в распространении выдуманных клеветнических слухов. Сегодня в английских газетах интервью Солженицына, данное в Москве на частной квартире двум корреспондентам о том, что КГБ собирается его убить, организовав «несчастный случай» или другим способом, и он предупреждает, чтобы мир знал, если с ним что-либо случится...¹⁰²

(...)

А. И. С. говорил мне, что последний год он вел себя «тихо», старался только писать роман, но возможно вскоре возникнут обстоятельства, которые потребуют от него выступления, и тогда его жизнь снова обострится¹⁰³. Он думал, что это будет связано с попыткой исключить Сахарова из Академии. Так или иначе, но это выступление состоялось. Вероятно это исключит его проэкт, о котором мы говорили¹⁰⁴. Вечером слушаю подробное изложение интервью, очень горячего и красноречивого. ССП он называет «союзом лгущих писателей». Хвалит Максимова.

Желание продавать дачу в дневнике нигде не выражено, однако дочь А. Т. Твардовского, Валентина Александровна (в разговоре с ней по телефону, в сентябре 2013), также высказывала предположение (независимо от Н. Д. Солженицыной) о том, что такую возможность в то время АКГ серьезно рассматривал.

¹⁰¹ Чаковский Александр Борисович (1913–1994), писатель и журналист; главный редактор «Литературной газеты» с 1962 по 1988 г.

¹⁰² В пояснении Н. Д. Солженицыной: «Речь идет об интервью агентству „Ассошиэтед пресс“ и французской газете „Монд“, 23 августа 1973; большая часть текста напечатана в: Публицистика: в 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во. 1996. Т. 2. С. 46–59; меньшая часть, носящая более личный характер, см.: Бодался теленок с дубом. М.: Согласие. С. 653–656».

¹⁰³ Через два дня, 31 августа, будет опубликовано открытое письмо группы из 31 советского писателя в редакцию газеты «Правда» — в связи с «антисоветскими действиями и выступлениями» А. И. Солженицына и А. Д. Сахарова, где будут слова: «поведение таких людей, как Сахаров и Солженицын, клеветующих на наш государственный и общественный строй, пытающихся породить недоверие к миролюбивой политике Советского государства и, по существу, призывающих Запад продолжать политику „холодной войны“, не может вызвать никаких других чувств, кроме глубокого презрения и осуждения». Под письмом подпишутся: Ч. Айтматов, Ю. Бондарев, В. Быков, Р. Гамзатов, О. Гончар, Н. Грибачев, С. Залыгин, В. Катаев, А. Кешоков, В. Кожевников, М. Луконин, Г. Марков, И. Мележ, С. Михалков, С. Наровчатов, В. Озеров, Б. Полевой, А. Салынский, С. Сартаков, К. Симонов, С. С. Смирнов, А. Софронов, М. Стельмах, А. Сурков, Н. Тихонов, М. Турсун-заде, К. Федин, Н. Федоренко, А. Чаковский, М. Шолохов, С. Щипачев.

¹⁰⁴ Возможно, имеется в виду проэкт поселиться на даче АКГ.

2 сент. (...)

Вчера закончился процесс Петра Якира. Он и Красин получили по 3 года. Этот процесс конечно результат сделки между КГБ и подсудимыми¹⁰⁵. (...)

3 сент. (...)

Сейчас читаю расшифрованный женевский дневник А. Достоевск[о]й¹⁰⁶. (...)

4 сент. На днях встретил в Лавке Таню, вдову Я. Смелякова¹⁰⁷. Я сказал ей, что знал Я. С-ва с 1929 года. Она попросила меня написать о нем воспоминания. Но после этого раннего знакомства мы не встречались годами и даже десятилетиями. Она ответила, что это неважно и даже немного, что я вспомню, будет нужно и ценно. Попробовать, что ли?

(...) [Письмо от Веры со словами: «Не хочу Вас терять»]. [Далее подклеена вырезка из газеты «Приговор вынесен» — об осуждении П. И. Якира и В. А. Красина: 3 года с последующим отбыванием ссылки в течение 3 лет].

5 сент. (...)

В некотором смысле это был исторический день. Мне подключили газ. Было бы приятнее, если бы это сделали весной.

Вечером в городе выхожу опустить письмо и теряю ключи от квартиры. Видимо я опустил их мимо кармана, прямо в дырку в плаще рядом с карманом.

Лифтерша (толстая, лупоглазая) идет за слесарем, а [я] уже напрашиваюсь ночевать к Г. М. Литинскому¹⁰⁸. Но — о, счастье! — лифтерша находит мои ключи во дворе рядом с большой лужей. Вознаграждаю ее рублем и с наслаждением иду к себе. Письмо я послал Вере, коротенькое.

(...)...показывали прессконференцию Якира и Красина¹⁰⁹. Якира я сначала не узнал: он оброс окладистой бородой с заметной проседью. Он говорил без шпалгалки (в отличие от прокурора). Казался спокойным. Красин какой-то фертик с усиками.

7 сент. Утром приходит Вера с букетом красивых красных астр.

Любовь. Потом рассказывает о своих делах. Она хочет развестись с мужем, но ей некуда деваться. На Студии тоже неважно. Она похудела.

8 сент. (...)

(...) Суд над Якиром английские газеты называют «фальсифицированным». Это не совсем точно. Вернее сказать, это был не суд, а инсценировка суда. Возможно,

¹⁰⁵ См. выше.

¹⁰⁶ Анна Григорьевна Достоевская (урожденная Сниткина; 1846–1918), мемуарист; стенографистка, помощница, а с 1867 — жена Ф. М. Достоевского, мать его детей и публикатор творческого наследия; имеется в виду издание «Достоевская А. Г. Дневник 1867 года».

¹⁰⁷ Стрешнева Татьяна Валерьевна (ум. 1991), поэтесса и переводчица, вдова поэта Ярослава Смелякова. Ср. ниже: *Таня Стрешнева*.

¹⁰⁸ Литинский Григорий Маркович (1905–1987), театральный журналист, бывший лагерник, друг АКГ, в последние годы сосед по дому на Аэропорте.

¹⁰⁹ Следствие по делу Якира и Красина длилось четырнадцать месяцев, причем оба активно сотрудничали со следствием. Впоследствии они объяснили это тем, что пытались избежать расстрела по ст. 64 УК РСФСР («измена Родине»). 27 августа — 1 сентября 1973 г. в Москве состоялся суд, на котором оба подсудимых признали себя виновными в антисоветской агитации и заявили о своем раскаянии. Их приговорили к трем годам заключения и трем годам ссылки каждого. 5 сентября 1973 г. Якир и Красин публично каялись на пресс-конференции, на которой присутствовали иностранные журналисты; фрагменты пресс-конференции были показаны по телевидению.

Якир и был искренен, но это искренность сломленного человека. Одна из лондонских газет верно отмечает, что постоянные обращения «инакомыслящих» к западному общественному мнению ничего не дали «движению» с его чисто интеллигентскими и верхушечными проблемами, что народ в широком смысле слова мало заинтересован в их требованиях. Все отмечают, что травлю Сахарова на этот раз поддержали академики Фрумкин и Энгельгард¹¹⁰, композиторы Шостакович и Хачатурьян¹¹¹, писатели Айтматов и Р. Гамзатов¹¹² (ошибочно считая последнего сочувствующим либералам).

(...)

Вечером радио сообщает несколько сенсационных известий. Сахаров снова собрал у себя на квартире пресс-конференцию (...). Он задал вопрос канцлеру Брандту о том, как он относится к преследованиям в СССР инакомыслящих. И — самое удивительное — Брандт¹¹³ ответил ему заявлением, что советские лидеры хорошо знают, как он относится к любым преследованиям за убеждения. И он осудил их. (...)

9 сент. (...)

Стряпаю себе на газе. Чертовски удобно.

В Лен-де был захвачен экземпляр книги Солженицына «Архипелаг Гулаг». Женщина, хранившая его, после допроса повесилась. Об этом заявил Солженицын.

Он назвал и ее имя, но я не запомнил¹¹⁴. Об «Архипелаге Гулаге» я слышал несколько лет назад. Это история лагерей за 50 лет, с именами и полной географией.

(л. 124) В городе.

¹¹⁰ Александр Наумович Фрумкин (1895—1976), физикохимик, организатор науки, автор основополагающих работ в современной электрохимии.

Владимир Александрович Энгельгардт (1894—1984), биохимик, специалист в области молекулярной биологии.

¹¹¹ Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906—1975), композитор, народный артист СССР (1954), доктор искусствоведения, Герой Социалистического Труда (1966).

Арам Ильич Хачатурян (1903—1978), советский композитор, дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель.

¹¹² Чингиз Торекулович Айтматов (1928—2008), русский и киргизский писатель, дипломат, Герой Киргизской Республики (1997), народный писатель Киргизской ССР (1974).

Расул Гамзатович Гамзатов (1923—2003), поэт, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР (1959). Герой Социалистического Труда (1974). Лауреат Ленинской (1963) и Сталинской премии третьей степени (1952).

Имеется в виду: Письмо членов Академии наук СССР // Изв. — 1973. — 29 авг. — С. 3. Авт.: Басов Н. Г., Белов Н. В., Боголюбов Н. Н., Браунштейн А. Е., Виноградов А. П., Вонсовский С. В., Вул Б. М., Дубинин Н. П., Жаворонков Н. М., Кедров Б. М., Келдыш М. В., Котельников В. А., Курдюмов Г. В., Логунов А. А., Марков М. А., Несмеянов А. Н., Обухов А. М., Овчинников Ю. А., Опарин А. И., Патон Б. Е., Петров Б. Н., Поспелов П. Н., Прохоров А. М., Реутов О. А., Румянцев А. М., Семенов Л. И., Семенов Н. Н., Скобельцын Д. В., Соболев С. Л., Спицын В. И., Тимаков В. Д., Тихонов А. Н., Тучкевич В. М., Федосеев П. Н., Франк И. М., Фрумкин А. Н., Харитон Ю. Б., Храпченко М. Б., Черенков П. А., Энгельгардт В. А. — О деятельности Сахарова, «порочащего честь и достоинство сов. ученого». См. также газ. «Правда», «Ленингр. правда». Начало массированной, санкционированной властями травли Сахарова в сов. печати (указатель «Литература о жизни и деятельности А. Д. Сахарова»).

¹¹³ Вилли Брандт (нем. Willy Brandt; настоящее имя Герберт Эрнст Карл Фрам (нем. Herbert Ernst Karl Frahm); 1913—1992), немецкий политик, социал-демократ, четвертый федеральный канцлер ФРГ (1969—1974), лауреат Нобелевской премии мира (1971).

¹¹⁴ Е. Воронянская.

На «Молодости театра», которая идет впервые в сезоне¹¹⁵. (...)

(...) В спектакле была накладка: Райкина (Наташа) не вышла со своей фразой на финал¹¹⁶. Домой приехал с тоскливым чувством одиночества, что со мной бывает не часто.

11 сент. В Чили военный переворот. Погиб при неизвестных обстоятельствах президент Альенде¹¹⁷. Не то его убили при захвате дворца, не то сам застрелился.

(...)

Вечером у Ц. И. Замечательные щи. Разные рассказы об акад. Сахарове и о том, как собирали подписи под заявлением против него. Три академика не подписали. Будто бы Келдыш три часа уговаривал П. Капицу¹¹⁸. Как акад. Сахаров из своих сбережений в 50 тысяч вернул государству 49 тыс.¹¹⁹ Не легенда ли? (...)

12 сент. Покупаю (...) книгу М. Блока «Ремесло историка»¹²⁰, только что вышедшую. (...)

13 сент. (...) Книга М. Блока видимо интересна и м. б. войдет в главный фонд моей библиотеки, т. е. к книгам перечитываемым. Выгнал из сада пьяного, залезшего через дырку в заборе.

(л. 126) (...)

Энцио¹²¹ говорит, что какие-то его московские знакомые опасаются «нового 37-го года». Я в это не верю. Нынешний «террор», если можно так его называть, это самооборона прав-ва, а «37-й год» был нападением: акцией государственного переворота сверху, проведен[но]й тираном, испугавшимся за свою власть.

За 12 месяцев будто бы выехало из СССР в Израиль более 30 тысяч евреев. Не много, кажется, сравнительно с тем шумом, который был поднят вокруг этого, но с другой стороны, вот у меня лично уехало несколько знакомых (Маркиши, Свирский, Мила¹²² и др.), не говоря о тех, кто мне был известен заочно.

¹¹⁵ Спектакль в Театре Вахтангова по пьесе АКГ, премьера была в марте 1972.

¹¹⁶ Райкина Екатерина Аркадьевна (род. 1938), дочь артиста Аркадия Райкина; актриса театра и кино; играла роль Наташи в пьесе АКГ.

¹¹⁷ Сальвадор Альенде Госсенс (1908–1973), чилийский государственный и политический деятель, президент Чили с 3 ноября 1970 года до своей гибели в результате военного переворота.

¹¹⁸ Капица Петр Леонидович (1894–1984), физик, академик АН СССР (1939); лауреат Нобелевской премии по физике (1978). Пояснение Ю. Л. Фрейдина: «Письмо против Сахарова, кроме Капицы, не подписал Леонтович. Третьего не знаю — может быть, Франк, ставший нобелеяром раньше Капицы».

¹¹⁹ Возможно, имеется в виду тот факт, что еще в 1969 А. Д. Сахаров передал почти все свои сбережения на строительство онкологической больницы и в Красный Крест.

¹²⁰ Марк Блок (фр. Marc Léopold Benjamin Bloch; 1886–1944), французский историк еврейского происхождения, автор трудов по западноевропейскому феодализму, аграрным отношениям во Франции, общим проблемам методологии истории. Совместно с Люсьеном Февром основал журнал «Анналы» (1929). Один из основателей одноименной школы, произведшей переворот в исторической методологии. Имеется в виду издание его книги «Апология истории, или Ремесло историка» (Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien). Перевод Е. М. Лысенко. Примечания А. Я. Гуревича (М.: Наука, 1973).

¹²¹ Знакомый Ц. И. Кин, итальянец Эцио Ферреро (см. ниже).

¹²² Имеется в виду, видимо Людмила Викторовна Романовская, бывшая жена В. И. Трифонова (ср. в дневнике Л. Левицкого за 1972: «Собралась уехать Мила. Стопроцентно русская. Имевшая неосторожность вторым браком связать свою судьбу с евреем» (с. 240 и прим. к этому месту, с. 419). Свирский Григорий Цезаревич (род. 1921), писатель и мемуарист; участник Великой Отечественной войны, член КПСС с 1944 по 1968 год; член Союза писателей СССР. В 1972 эмигрировал в Израиль, живет в Канаде.

(...)

Думаю о рассказах Веры о ее семейной жизни. Положение ее кажется безвыходным. Помочь ей я не могу. Если бы не ребенок... Но жалко ее.

15 сент. 1973. Холодно, дождливо.

Пью пиво, которого сейчас полно в Загорянке. Варю гречневую кашу с мясом и помидорами.

(...)

Снова объявились с заявлениями Павел Литвинов¹²³ и некий «искусствовед» Шаргин¹²⁴, а также Ан. Марченко¹²⁵.

(...)

Открытое письмо неугомонного Сахарова америк. Конгрессу о «поправке Джексона»¹²⁶. В тот же адрес письмо советских евреев.

16 сент. (...)

Ночью в бессоннице думал о новой пьесе.

20 сент. Три с половиной дня в городе. Сегодня вернулся.

(...)

Мárкиш Давид Пёрецович (род. 1939), писатель; автор мемуаров «Записки из прошлого времени» («Октябрь». 2014. № 11, с. 30–76); в 1970 году переехал к семье жены в Венгрию; его жена — Жужа Хетени (Hetényi Zsuzsa), профессор русской литературы в Будапеште, переводчик.

¹²³ Литвинов Павел Михайлович (род. 1940), физик, диссидент, внук наркома иностранных дел М. М. Литвинова; один из участников «Демонстрации семерых» на Красной площади (против ввода советских войск в Чехословакию); политзаключенный (полгода в тюрьмах, в 1968–1972 гг. в ссылке работал электриком в читинских урановых шахтах). В 1974 г. эмигрировал в США.

¹²⁴ Правильно: Борис Иосифович Шрагин (1926–1990), философ, публицист, правозащитник, уволен из Института истории искусства (1958–1968) за подписи под протестами и обращениями, вскоре вынужденный уехать (с 1974 жил и преподавал в США).

¹²⁵ Марченко Анатолий Тихонович (1938–1986, умер после выхода из голодовки в тюрьме), писатель, диссидент, политзаключенный. В 1967 году написал книгу о советских политических лагерях и тюрьмах 1960-х гг. — «Мои показания» (Париж: La Presse Libre, 1969; по свидетельству А. Даниэля, книга появилась в самиздате уже в 1967 году). 22 июля 1968 года выступил с открытым письмом, адресованным советским и иностранным газетам, а также радиостанции Би-би-си об угрозе советского вторжения в Чехословакию. Через несколько дней был арестован и 21 августа 1968 года по обвинению в нарушении паспортного режима приговорен к одному году заключения. (Свое кратковременное пребывание на свободе и жизнь в Ныробском лагере позднее описал в автобиографической книге «Живи как все» // «Знамя». 1989. № 12). После освобождения в июле 1971 поселился в Тарусе (Калужская область) вместе с Л. Богораз, ставшей к тому времени его женой; находился под гласным административным надзором. В 1971–1974 подписал несколько правозащитных документов, в том числе — «Московское обращение». С 1973 власти принуждали его подать заявление на эмиграцию, в случае отказа угрожая новым сроком (в марте 1975 угроза будет исполнена).

Здесь имеется в виду их общий текст: «Московское обращение» в защиту Солженицына в связи с его арестом. С., Е. Боннэр, В. Максимов, М. Агурский, Б. Шрагин, П. Литвинов, Ю. Орлов, С. Желудков, А. Марченко, Л. Богораз.

¹²⁶ Джексона — поправка Джексона—Вэника (англ. Jackson—Vanik amendment) — поправка 1974 года к Закону о торговле США, ограничивающая торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека. Предложена конгрессменами Генри Джексоном и Чарльзом Вэником. Формально эта норма была введена из-за ограничений на эмиграцию советских граждан, однако действовала она и в отношении других стран: КНР, Вьетнама, Албании. 21 ноября 2012 года действие поправки в отношении России было официально отменено конгрессом.

Солженицын назвал более десятка имен представителей «молодой русской прозы», которые с разными «но» все же пишут хорошо и честно. (...) Я не со всем списком согласен, но он характерен. Синявский¹²⁷ в октябре выпускает в Лондоне книгу «Голос из хора». Это его письма из лагеря к жене Майе: в них нет ничего о режиме и быте лагерей, а только о русской литературе 19-го века¹²⁸. Будто бы рукопись книги перед его отъездом в Париж прочли в КГБ и разрешили ее печатание. (!). Еще он подготовил книги «Вместе с Пушкиным» и «Вблизи Гоголя», которые тоже вскоре выйдут. Поистине страннейший финал Абрама Терца¹²⁹.

Мимоходом придумал финал для «Милого чучела»¹³⁰.

21 сент. (...)

В последнем номере «Вопросов литературы» напечатана подборка писем И. Г. Эренбурга, начиная от юношеских писем Брюсову¹³¹. Сам И. Г. не считал себя любителем эпистолярного жанра и однажды сказал мне, что от него писем останется мало. Мне эти письма не слишком понравились, м.б. потому, что я сразу наткнулся на нежное письмо к Фадееву, а я не раз слышал уничтожающие отзывы о нем. Эта явная неискренность меня огорчила и остальное я читал в полглаза. Человечнее других письма к Цветаевой.

(...)

Еще анекдот! Саша Галич и В.Максимов потребовали от правительства Чили безопасности Пабло Неруда¹³². (...)

И тем не менее кампания на западе с диссидентами и «инакомыслящими» наверно уже в печенке у Кремля.

¹²⁷ Синявский Андрей Донатович (литературный псевдоним Абрам Терц; 1925—1997), литературовед, писатель, литературный критик, политзаключенный; арестован 8 сентября 1965 («антисоветская агитация пропаганда»); в феврале 1966 исключен из ССП; с марта 1966 по июнь 1971 — заключенный Дубровлага; освобожден досрочно (помилован), в 1973—1994 — профессор русской литературы в университете Сорбонны. Пострадал за то, что в 1959—1966 гг. за границей, куда он пересылал свои рукописи для публикации (Париж, Нью-Йорк), вышло пять его книг, подписанных псевдонимом (см. *Процесс Синявского и Даниэля*).

¹²⁸ Очевидно, имеется в виду изд.: Абрам Терц. Голос из хора. Лондон: Стенвалли, 1973.

¹²⁹ Книги потом стали называться «Прогулки с Пушкиным» и «В тени Гоголя». Они вызвали большой шум, так как Синявский позволил себе повторить скандалы, устроенные в свое время В. В. Розановым (в частности, «Голос из хора» очень похож на стиль последнего). Жена Синявского Марья Васильевна Розанова откликается и на «Марью», и на «Майю». От КГБ они в Париже остроумно и с легким тихим скандалом вполне избавились.

¹³⁰ По-видимому, рабочее название какого-то из произведений самого АКГ.

¹³¹ Как пишет Б. Я. Фрезинский, «Брюсов сыграл существенную роль в творческой судьбе Ильи Эренбурга, разглядев в его первых, еще несамостоятельных стихах будущего поэта. (...) Все письма Эренбурга Брюсову и последнее письмо Брюсова Эренбургу, копию которого В. Я. сохранил, хранятся в Москве в Отделе рукописей РГБ (Ф. 386. № 110. Ед. хр. 19); они были опубликованы мною в т. 98 (кн. 2) „Литературного наследия“ „Валерий Брюсов и его корреспонденты“ (М., 1994). (...) Весь архив Эренбурга (в том числе и письма Брюсова, если они к тому времени уцелели) был уничтожен им в Париже в 1940 г.» (Об Илье Эренбурге (Книги. Люди. Страны) — <http://mreadz.com/new/index.php?id=331136&pages=210>).

¹³² Имеется в виду «Обращение А. Сахарова, А. Галича, В. Максимова к чилийскому правительству в защиту Пабло Неруды, находившегося под домашним арестом», от 18 сентября 1973 г. — <http://profilib.com/chtenie/50852/andrey-sakharov-obraschenie-k-pravitelstvu-chili-v-zaschitu-pablo-nerudy.php>

Па́бло Неру́да (исп. Pablo Neruda — псевдоним, принятый в качестве основного имени; имя, данное при рождении: Рика́рдо Эли́сер Нефта́ли Ре́йес Басоа́льто, исп. Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto; 1904—1973), чилийский поэт, дипломат и политический деятель, сенатор Республики Чили, член Центрального комитета Коммунистической партии Чили.

24 сент. (...)

Солженицын в связи с созданием Агенства по защите авторских прав заявил, что он пускает в Самоиздат 2 главы (новые) из «В круге первом» и предоставляет Агенству защищать его права, если они выйдут за границей. Это что-то слишком хитроумно и носит характер вызова.

28 сент. (...)

Вчера пришел № 9 «Нового мира». Воспоминания Микояна¹³³ на этот раз неинтересны. Зато интересны военные записи Кардина¹³⁴. Или я просто люблю этот жанр?

(...)

Еще в № 9 «Нов. мира» интересны воспоминания Атарова о В. Овечкине¹³⁵. Они талантливо написаны и получается эдакий рыцарь без страха и упрека, но... Но я сидел в лагере с его родной племянницей [Ж]еней, у которой была статья «измена родине» за то, что она в оккупации пошла в отряд противовоздушной обороны (девчонкой), чтобы ее не отправили в Германию. И этот высоконравственный дядя не только не похлопотал за нее, но и отказал ее матери (кажется, сестре) в матерьяльной помощи, хотя в те годы много зарабатывал (на посылки). Знает ли об этом Атаров? Вряд ли.

(...)

Иногда звонит телефон, но я не снимаю трубку.

Вчера постригся. Когда уходил, в очереди сидел Лев [К]опелев¹³⁶ со своей пажонской бородой. Каждый раз он у меня просит подарить ему моего «Пастернака», а я отнекиваюсь и говорю, что у меня нет.

29 сент. (...)

С Ц. И. маленькая полуссора. Т. е. она обижена на мои отказы от некоторых ее забот. Она не умеет замолчать на мое «нет» и мы начинаем спорить. Выходит, конечно, по-моему, но она огорчается и сердится. Ее отношение ко мне тягостно для меня и я последнее время (в эти дни, например) вру ей, что я уехал на дачу, а сам живу в городе.(...)

Якиру и Красину срок снижен «по состоянию здоровья» вдвое, т. е. они выйдут в октябре. Это дорисовывает характер сделки. Канцлер Австрии запретил транзит советских евреев через Вену.

¹³³ Микоян Анастас Иванович (Ованесович; 1895–1978), советский государственный и политический деятель; речь о его воспоминаниях «На Северном Кавказе. Продолжение» // Новый мир. 1973. № 9.

¹³⁴ Эмиль Владимирович Кардин (литературное имя Владимир Кардин; 1921–2008), литературный критик, прозаик, публицист; в журнале были опубликованы его *документальные записки* «Открытый фланг».

¹³⁵ Овечкин Валентин Владимирович (1904–1968), русский прозаик, драматург. О нем, изданное позднее: Атаров Н. С. Дальняя дорога: Литературный портрет В. Овечкина. М., 1977.

¹³⁶ Копелев Лев Зиновьевич (Лев Залманович Копелевич); 1912–1997), критик, литературовед (германист), диссидент и правозащитник. В 1941 году записался добровольцем в Красную армию; служил пропагандистом и переводчиком; был арестован за резко критические отзывы о насилии над германским гражданским населением. Приговорен к десяти годам заключения за пропаганду «буржуазного гуманизма» и за «сочувствие к противнику». Освобожден в 1954 году, реабилитирован в 1956-м. Восстановился в КПСС. Содействовал напечатанию в «Новом мире» рассказа Солженицына «Один день Ивана Денисовича». С 1966 года активно участвовал в правозащитном движении. В 1968 году исключен из КПСС и Союза писателей, уволен с работы за подписание протестных писем против преследования диссидентов, а также за критику советского вторжения в Чехословакию. В 1980 году во время исследовательской поездки в Германию был лишен советского гражданства. Жена — писатель Раиса Орлова.

3 окт. Два с половиной дня в Москве. (...)

Прочитал юрину рукопись «Записки соседа» (о Твардовском). Это 100 страниц на машинке (4 листа). Нецензурные во многих отношениях, но хорошо написанные, т.е. верно и умно¹³⁷. Он ездил в ГДР. Обедали в Советской. (...)

Ц.И. зачем-то перепечатывает мои письма к ней, которых набралось более полутора. Дала мне копию. Читать это интересно. Есть хорошие кусочки: характеристики, портреты, размышления, шутки.

4 окт. (...) Видел А. П. Мацкина. Он все понимает. Сказал мне, что в Лондоне умер Коля Рытьков¹³⁸. Я как-то прозевал: был некролог. То-то не слышен больше его голос. А я думал, у него отпуск. Он проработал несколько лет диктором Би-би-си после того как, отправившись кажется в Гаагу на конгресс эсперантистов, «выбрал свободу». Я с ним просидел несколько недель в 15-й камере на Лубянке в 49-м году. Он сидел дважды: был на Колыме. (...) Он ходил в какой-то серой блузе и был странен. Оставил жену актрису Нарышкину¹³⁹.

6 окт. Плохо спал. Надо прекратить наливать себя чаем и водой вечерами. Литры мочи стремятся вырваться и поднимают меня несколько раз в ночь. (...)

Думал о юриной рукописи. Выходят из печати, полные вранья и общих фраз разные «истории» советской литературы, и все эти отлично переплетенные тома когда-

¹³⁷ «Записки соседа» Ю. Трифонова впервые выйдут (в сокращенном виде) в 1975 г. в составе издания «Продолжительные уроки. Воспоминания, публицистика». М.: Сов. Россия, 1975.

¹³⁸ Сведения о нем — с сайта <http://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/sov/294134/bio/>: Рытьков Николай Николаевич (1913–1973), эсперантист, актер, диктор на радио; в 1926 в возрасте 13 лет выучил эсперанто на курсе, преподавателем которого был известный в ту пору смоленский эсперантист Роман Никольский. В 1930–1933 гг. учился в ЦЕТЕТИСе (ГИТИСе), курс А. П. Петровского; после окончания учебы поступил в ТРАМ (Театр рабочей молодежи, ныне — Ленком); там влюбился в свою партнершу по сцене Зину Нарышкину и женился на ней. Был арестован в Москве в ночь с 21-го на 22 марта 1938 г.; получил «всего» восемь лет лагерей. Срок отбывал на Колыме: четыре года провел на общих работах — золотодобытчиком, затем в агитбригаде УСВИТЛа. Перед освобождением играл в Магаданском театре. Освободившись, уехал на материк; работал в Смоленском и Клайпедском театрах, в Москве в Институте кинематографии. И вновь «взялся за старое» — вместе с другими коллегами по эсперанто просил товарища Сталина о восстановлении Союза эсперантистов. Был арестован снова 16 мая 1949 (им дали по 25 лет лагерей). Вернулся в Москву в 1956, поселился в прежней квартире вместе с Зиной; был принят обратно в Ленком. В 1965 году, выехав в Вену на Европейскую эсперанто-конференцию, остался на Западе. Первое время работал в Австрии, затем в Западной Германии; а со временем на Би-би-си появился новый русский диктор (ср. о нем также ранее, в дневнике АКГ за 15 мая и 4 декабря 1970 г.)

¹³⁹ Зинаида Михайловна Нарышкина (1911–1993), актриса театра и кино; родилась в семье, принадлежащей к старинному дворянскому роду Нарышкиных, состоящих в родстве с Романовыми; после школы поступила в Московский театр «ГИТИС», окончив который устраивается в ТРАМ, где быстро становится ведущей актрисой труппы. Там познакомилась с актером Николаем Рытьковым и вышла за него замуж. После ареста мужа была выслана в Ташкент, где поступила на службу в Ташкентский театр Красной Армии (где была занята во всех спектаклях). В 1946 вернулась в Москву и стала актрисой Мосэстрады, занималась чтением со сцены рассказов и стихов. После эмиграции Н. Рытькова вновь оказывается под «колпаком» у спецслужб СССР. В конце 1950–1960-х гг. иногда снимается в эпизодических ролях в кино. С 1970-х гг. стала «звездой» киностудии «Союзмультфильм», добившись успеха в озвучивании многих мультфильмов. Ее успех в этом жанре закрепила ярко «сыгранная» роль гнусавой Совы в мультфильме Федора Хитрука «Винни-Пух и день забот» (1972). Еще большую популярность завоевала на радио, где создала блистательные образы Совы и Мартышки в многолетнем, легендарном сериале «КОАПП» («Комитет по охране авторских прав природы»), 1973.

нибудь сгинут в небытие, а настоящая история будет написана на основании рукописей, которые сейчас пишутся без расчета на опубликование, а из инстинкта сохранить правду о времени и о людях. Таковы юрины «Записки соседа», несколько эссе-ев Бори Ямпольского¹⁴⁰, мои «Встречи с Пастернаком», «Слова, слова, слова» и м.б. еще что-нибудь. Да и наверное я не все знаю: есть и еще.

7 окт. (...)

[о «Северном дневнике» Ю.Казакова¹⁴¹]. Принято говорить, что это очень хорошо. Да, неплохо, конечно, но и монотонно, и скучновато. Однообразно. Нет юмора. И нет еще чего-то самого главного. Зато есть художническое самодовольство. Нет, «не моего романа»...

8 окт. Утром еду на дачу. (...)

(...) [арабо-израильская война]

Как-то неудобно мне стало на даче. Я обычно живу здесь допоздна, а сейчас тянет в город.

11 окт. (...)

Вашингтон в осторожной и почти вопросительной форме предупредил Кремль о недопустимости «массовых» перевозок оружия арабам. Вероятно, в Политбюро идут споры.

12 окт. (...)

[АКГ повторяется, он уже писал, пересказывая этот слух практически в тех же словах:] Говорят, Демичев женился на актрисе Володиной¹⁴². Т. е. не «живет», а «законно» женился. И еще говорят, что она сама организует себе сценарии и главные роли и намекает, что фильму будет обеспечена зеленая улица. [Возможно идет

¹⁴⁰ Ямпольский Борис Самойлович (1912–1972), прозаик; с 15 лет работал журналистом в газетах Москвы, Баку, Новокузнецка. Член ВКП(б) с 1936. В 1941 окончил Литературный институт. Во время войны специальный корреспондент «Красной звезды», затем «Известий». Жил в Москве. Посмертно в журнале «Континент» были опубликованы его очерки о Юрии Олеше и Василии Гроссмане, и только в 1988 смогло появиться на свет его главное произведение — роман «Арбат, режимная улица» (журнальное название «Московская улица») — о пронизанной страхом жизни Арбата начала 50-х годов.

¹⁴¹ Казаков Юрий Павлович (1927–1982), писатель, мастер советской новеллистики. Его книга «Северный дневник» (М.: Советская Россия, 1973) включает очерк, рассказы и заметки разных лет: из аннотации к книге: «поэтическое документальное повествование о поездках на Север, о труде и быте архангельских и мурманских рыбаков, о мужестве, силе и красоте людей, живущих там». Вот что о нем писал наблюдавший его на даче в Абрамцеве Дмитрий Голубков: «Вчера ходил к Казакову. Мил, потому что целен, наивно-простодушен и беззлобен. Болтовня. Бонвиван, упоенный чувственным смакованием жратвы, питья, бабы, природы. Все у него — в ноздрях, подъязычным сладострастия, фаллосе, глазах...» (июнь 1970, из дневника) // Голубков Д. Н. Это было совсем не в Италии... Изборник. М.: Маска, 2013, с. 531).

¹⁴² Демичев Петр Нилович (1918–2010), в то время министр культуры СССР; Маргарита Владимировна Володина (род. 1932), советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Из интервью с ней, записанного корреспондентом в Париже, где она живет в последние годы: «Ходили упорные слухи, что Володину прекратили снимать, не брали в театр по воле тогдашнего министра культуры Петра Демичева. Дескать, чиновник возжелал интимной близости с актрисой, а та ответила отказом. Понятное дело, как на отказы реагируют мужчины, да еще и чиновники высшего эшелона власти. Он перекрыл ей кислород. На эту тему Маргарита Владимировна говорить не желает» — <http://sobesednik.ru/scandals/20130418-margarita-volodina-strane-kotoruyuya-proslavlyala-na-ves-mir-ya-okazalas-nenuzhno>. Среди трех официальных ее мужей Демичева все-таки не было.

речь о фильме «Последняя жертва» (реж. П. Тодоровский, «Мосфильм») по пьесе А. Н. Островского, где Володина играла роль богатой купеческой вдовы.]

13 окт. (...)

Неделя войны уже обошлась Израилю в 2 млрд. долларов.

В Москве напротив здания ЦК демонстрировали 3 еврея. За ними наблюдали 5 иностранных журналистов. Забрали и тех и других.

Каков бы ни был результат войны, он не может быть для Израиля полной победой. Слишком много врагов, слишком маленькая территория и слишком малое население. И это как-то повернет проблему эмиграции из СССР. М. б. это тоже манит наших ястребов, если таковые имеются. У меня нет связей в чисто еврейских кругах Москвы: мои друзья евреи все ассимилянты и равнодушны к этому, хотя и они вероятно в душе сейчас сочувствуют Израилю, положение которого может оказаться трагическим. Отдельные военные успехи ничего не решат, а война на истощение будет слишком тяжела для Израиля.

(...)

Израиль сделал огромную ошибку, не вернув захваченные территории. Он был слишком самоуверен и высокомерен. Это черта национального характера. (...)

На западе думают, что мы знали о том, что египтяне готовят нападение. Все возможно.

14 окт. (...)

Вечером сообщили, что Евреи подошли к Дамаску на 22 км. Будто бы прорвать фронт на Суэце египтянам не удалось.

Моше Даян¹⁴³ заявил, что ни о каком перемирии не может быть и речи до того, как арабы не будут разбиты.

15 окт. (...)

Новые интервью акад. Сахарова, в которых нет ничего нового. В мире сильных слабость выглядит шутковством и к нему невозможно относиться серьезно.

Все время кто-то звонит. Но я нахожусь в припадке бирючества и не беру трубку.

17 окт. (...)

В № 10 «Вопр. лит-ры» в дискуссии о биографическом жанре¹⁴⁴... глупо полемизирует со мной. Даже Лазарев¹⁴⁵ согласился, что прав я. Речь идет о моем тезисе, что чистота жанра – это его вырождение. Еще Абраша Гурвич¹⁴⁶ спорил со мной об этом.

143 Моше́ Даян (ивр. משה דיין; 1915–1981), израильский военный и государственный деятель. Министр обороны Израиля во время Шестидневной войны 1967 года.

144 На этом месте в машинописи пропуск: кто именно полемизирует с АКГ, не сказано. Но ниже упоминается некто Я. Кумок. Очевидно, имеется в виду статья: Кумок Я. Биография и биограф // Вопр. литературы. 1973, № 10, где утверждается, что художественные средства писателя, работающего в жанрах документально-биографической прозы, «те же, что и у романиста. Пейзаж. Диалог. Ритм. Композиция. Повторы. Контраст. Отступления. И так далее» (с. 21).

145 Лазарев Лазарь Ильич (наст. фам. Шиндель; 1924–2010), критик, литературовед; участник Великой Отечественной войны; один из «новомировских» авторов, главный редактор журнала «Вопросы литературы» (с 1992), в котором он проработал почти четыре десятилетия (с 1961). Автор мемуаров «Шестой этаж» (М.: Книжный Сад, 1999).

146 Гурвич Абрам Соломонович (1897–1962), литературовед и театральный критик (в конце 1940-х, во время кампании борьбы с так называемыми «безродными космополитами», был одним из главных объектов газетной травли); помимо основной профессии — известный шахматный композитор.

20 окт. (...)

Покончил самоубийством Илья Габай, бывший сподвижни[к] Петра Якира, сидевший и высланный. Он выбросился из окна 11-ти этажного дома. Скорей всего это из-за травмы после якировского процесса¹⁴⁷.

(...) заходил Юра и принес 2 папки с романом А.Рыбакова¹⁴⁸.

(...)

Я читал когда-то первую часть романа А.Рыбакова и с интересом прочту все.

22 окт. (...)

Прочитал роман Рыбакова. Когда был[а] написана первая часть, он назывался «Дети Арбата». Сейчас названия нет¹⁴⁹. Почти 600 страниц на машинке. Но есть купюры, сделанные чернилами. Листа 23–24. Это не большая проза по словесной ткани: это то, что наши деды называли беллетристкой, но это точно, интересно, умно и по исторической концепции — верно, что важнее всего. Сталин убедителен. Особенно любопытно описание сибирской политической ссылки в середине 30-х годов: то, что еще не описывалось. Тут есть свежесть, которой меньше в описании московских ресторанов, впрочем, сделанном со знанием дела.

Есть налет поверхностности и большие куски скорописи. Мало ткани **прозы**.

¹⁴⁷ Габай Илья Янкелевич (1935–1973), педагог, поэт, писатель, сценарист; участник правозащитного движения 1960–1970-х годов: 21 января 1967 года участвовал в демонстрации в защиту арестованных диссидентов Юрия Галанскова, Веры Лашковой, Алексея Добровольского и Петра Радзиевского. Сидел в 1967 и с 1970 по 1972 г. В мае он был освобожден и безуспешно пытался устроиться на работу, возникла угроза нового ареста. В июне был арестован близкий друг Габая Петр Якир, который стал сотрудничать со следствием и дал показания. Габай отказался их подтвердить следствию. В 1973 году покончил с собой, выбросившись в окно.

В комментарии Ю. Л. Фрейдина: «Габая я видел незадолго до гибели. Он был хрупок, незащищен, в тяжком душевном состоянии, в сюжетах которого я не услышал ничего правозащитного». Возражая версии его гибели, трактуемой как следствие страха перед арестом, Ю. Л. Фрейдин поясняет: «Так вышло, что, живя тогда по соседству, я (возможно, я один), еще и „по долгу службы“, и по оказанному мне Ильей доверию оказался в курсе его душевной проблематики.

Это было очень трудное состояние, в сложном сюжете которого страх повторного ареста не играл никакой роли. Гораздо больше он переживал то, что случилось с его другом Якиром.

Однако основным его страданием было острое, тяжело болезненное и абсолютно неадекватное с практической точки зрения, но не поддававшееся коррекции чувство личной вины перед женой и малой дочерью.

Грубо говоря, Илья впал или, может быть, был доведен непереносимыми обстоятельствами — изменой лучшего друга, лидера, пользовавшегося едва ли не абсолютным доверием, — до сюжетно не связанного с этими обстоятельствами душевного расстройства — тяжелой депрессии, сюжетно, повторяю, не связанной ни с его правозащитной деятельностью, ни с идеями преследования, ни со следственным, тюремным или лагерным опытом.

Отчасти (но только отчасти, и то вряд ли) он, быть может, сознавал, что если это состояние станет известно «лицам в штатском», его смогут шантажировать перспективой принудительного лечения, которое в ту пору с достаточным основанием воспринималось как кара, гораздо более тяжелая и опасная, чем тюрьма или лагерь. Но не этого он испугался.

В минуту острейшего приступа депрессии он, не вынеся тяжелейшего психического страдания, покончил с собой, выбросившись из окна высокого этажа, на котором жил, или, может быть, с крыши своего 9-этажного дома — на козырек над подъездом этого дома, предпочтя душевным мукам — физическую гибель» (в эл. письме от 22 сентября 2015).

¹⁴⁸ Рыбаков Анатолий Наумович (настоящая фамилия *Аронов*; 1911–1998), участник войны; писатель, автор романа-тетралогии «Дети Арбата», рукопись которого здесь имеется в виду (роман был написан еще в 1960-х годах, но будет опубликован только в 1987).

¹⁴⁹ Если первая книга называлась «Дети Арбата», то вторая — «Тридцать пятый и другие годы», третья — «Страх», четвертая — «Прах и пепел».

Но это все же не так важно: это верно и интересно и показывает «зарождение 37-го года» издали, как это и было. Пропущен 17-й съезд и его роль во всем происшедшем. Но отношения между Сталиным и Кировым раскрыты вероятно верно.

Мне лично мало симпатичен А. Рыбаков. Уж больно он ловок издаваться и переиздаваться. Но во всяком случае, это новая разновидность дельца и карьериста, которому важно не только сегодняшнее преуспевание. Ведь роман будет долго лежать в столе и кроме уважения в узких кругах ничего автору не даст. Но м. б. это неверно. Автору еще важно отомщение за сломанную молодость. У Рыбакова злопамятный талант: он ничего не забыл и не простил.

Вот это и удивительно: в секретарьяте ССП он голосует, как это нужно начальству, а придя домой, все-таки пишет этот роман.

Банально и в угоду моде роман кончается священником и словами о Господе Боге. Это искусственно, тем более, что А. Рыбаков — еврей.

23 окт. (...)

По-видимому вчера военные действия на Ближнем Востоке прекратились. (...) През[идент] Никсон готов выдать магнитофонные записи¹⁵⁰. Думается, гора родит мышь, и в этих пленках м. б. найдут записи похабных анекдотов и раскаты хохота скупающих политиканов. Это было бы занято.

27 окт. (...)

Читаю автобиографию С. Прокофьева¹⁵¹, которую купил вчера в Лавке. Он пишет хорошо, легко и даже легкомысленно.

29 окт. (...)

В № 10 «Иск. кино» рассказ Э. Рязанова о том, как он снимал «Гусарскую балладу». Есть неточности. Первый вариант сценария писал я один (кстати, он у меня сохранился). Но он оказался длинен и Рязанов по нему стал писать второй вариант. Но многое осталось из моего варианта (не говорю уже о том, что в нем из пьесы). Например, начало: Шура скачущая по полям и Ржевский едущий в бричке. Ну и так далее. Звонит телефон. Не подхожу.

(...)

Под вечер обиженный звонок Ц. И. Она поняла так, что я должен был прийти к ней обедать и ждала, а я не помнил, что мы определенно договаривались. Письмо Б. Н. тоже обиженное. Но что я могу сделать, если на меня нашло бирючество и никого не хочется видеть.

30 окт. (...)

На Ближнем Востоке тихо. Идут переговоры о переговорах. (...) В Москве сегодня заканчивается этот декоративный, показушный конгресс [конгресс сторонников

¹⁵⁰ Уотергейтский скандал (англ. Watergate scandal), в результате которого президент США республиканец Ричард Никсон в августе 1974-го будет вынужден уйти в отставку: 17 июня 1972 года (за четыре месяца до президентских выборов, на которых Никсон был переизбран на второй срок) в штабе Демократического комитета (кандидат в президенты Джордж Макговерн), расположенном в Вашингтонском отеле «Уотергейт», были задержаны пять человек. Они занимались настройкой подслушивающей аппаратуры и, по некоторым данным, фотографированием внутренних документов штаба демократов. В январе 1973 года начался суд над взломщиками, проникшими в «Уотергейт». В марте была сформирована сенатская комиссия по Уотергейту, и судебные слушания стали передаваться по телевидению на всю страну.

¹⁵¹ Прокофьев Сергей Сергеевич (1891—1953), композитор, пианист, дирижер и педагог. Издана его «Автобиография» (М., 1973).

мира]. Лева Г[инзбург] там бывал «по долгу службы» и говорит, что приехал третий сорт, наши иждивенцы и подлипалы. Речь Брежнева миру не понравилась. Чувствуется, что и у нас плохое настроение. Шулеров поймали за руку и всем стало неловко — и шулерам, и тем, кто поймал. Да, мы не джентльмены — это уж точно. Не умеем идти на уступки и стремимся всех объегорить, но это шито белыми нитками и кажется нас раскусили.

2 нояб. 1973. (...)

Умер муж Тани Литвиновой¹⁵² скульптор Слоним¹⁵³. (...) Смотревшие по ТВ похороны Буденного заметили, что Брежнев плакал и, говорят, единственный среди присутствовавших. Об этом говорит вся Москва.

3 нояб. (...)

На завтра в ЦТКА, наконец, было назначено «Давным-давно», о чем было объявлено в газетах. А сегодня поправка[:] «заменой» пойдет премьера «Мы — цемент» — инсценировка романа моего прежде знаменитого, но бездарного однофамильца¹⁵⁴. (...)

4 нояб. (...)

Почти ночью мне звонит Миша Шульман¹⁵⁵. Он говорил с Хесей: Гарину очень плохо. Почти нет надежды спасти зрение. Уж не знаю, что делать: звонить ей или не звонить. Соболезнования ей не нужны, но она снова будет говорить об этом и переживать.

Для меня лично это огромное горе. Э. П. мне как брат. Сразу после Шульмана звонит С.: умер Кочетов¹⁵⁶.

Давно уже говорили, что у него рак. Но как-то все тянулось.

Кочетов это фигура и характер. И не все равно, кто будет руководить журналом «Октябрь». Такого остервенелого ненавистника трудно найти. Что-то изменится.

6 нояб. (...)

Днем у меня Закс¹⁵⁷. Он был у Хренникова и они оба составили примерный план дописок¹⁵⁸.

(...)

Оказывается Хренников живет в своей старой двухкомнатной квартире на Миусской площади (теперь улица Готвальда). Он получил ее еще перед войной. Любо-

¹⁵² Татьяна Максимовна Литвинова (1918–2011), литератор, переводчица, художница; дочь Максима Максимовича Литвинова, наркома иностранных дел, и англичанки Айви Вальтеровны.

¹⁵³ Илья Львович Слоним (1906–1973), скульптор.

¹⁵⁴ Гладков Федор Васильевич (1883–1958), писатель, классик социалистического реализма; лауреат двух Сталинских премий (1950, 1951), автор романов «Цемент» (1925), «Энергия» (1933) и др.

¹⁵⁵ Шульман Михаил Борисович (1908–1993), актер и театрално-концертный администратор. Окончил студию В. Мейерхольда; в заключении 1937–1949; 1950–1953; в 1973 г. уехал в Израиль.

¹⁵⁶ Кто такой С. — неясно. Возможно, Н. П. Смирнов. Кочетов Всеволод Анисимович (1912–1973), советский писатель, в 1955–1959 гг. главный редактор «Литературной газеты», а в 1961–1973 гг. — гл. редактор журнала «Октябрь» (вокруг журнала в его редакторство, по представлениям либеральной интеллигенции, группировались консервативные силы «душителей» литературы — ср. характерное выражение АКГ выше — «кочетовская банда»); автор романа-памфлета «Чего же ты хочешь» (1969), где он выступил против разложения советского общества западной псевдокультурой и пропагандой. Зная о том, что у него рак, покончил жизнь самоубийством, застрелившись из охотничьего ружья (об этом — в позднейших записях дневника АКГ, 7, 8 и 15 ноября 1973).

¹⁵⁷ См. запись от 4 января.

¹⁵⁸ Имеется в виду обновление пьесы «Давным-давно», к которой Хренников написал несколько дополнительных музыкальных партий.

пытно, почему он не захотел ее переменить: он бесспорно имел эту возможность — многолетний секретарь союза композиторов и член ЦК партии. Что это? Инерция, суеверие или какой-нибудь сверххитрый расчет[?] И Клара¹⁵⁹ не потребовала. Это более чем удивительно. И как бы там ни было, говорит в ее пользу.

Закс хочет пригласить его дочь Наташу¹⁶⁰ быть художником спектакля.

7 нояб. (...)

Оказывается, Кочетов застрелился. Он страдал от неизлечимой саркомы ноги, перенес несколько операций. Врач нашей поликлиники онколог была у него за день до самоубийства. Он выстрелил себе прямо в сердце.

8 нояб. (...)

На днях уехал в Израиль Н. Каржавин¹⁶¹. Его провожали многие. И он и они плакали. Тягостная сцена. Он славный, милый, незаурядно умный человек. Жалко. Это уже что-то оторвали живое от тела. Он «свой».

Самоубийство Кочетова — акт большой воли, хотя, говорят, страдания его были беспримерны. (...)

(...) Р. А. Медведев выступил в какой-то зарубежной газете со статьей, где полемизирует против призывов Сахарова и Солженицына к давлению на советское государство в интересах «либерализации» (с запада), утверждая, что это приведет к противоположному¹⁶². Думаю, что он прав. Я сам думал об этом. «Разрядка» сама по себе не может не привести к «либерализации» в какой-то степени. Сегодня все радиостанции отзываются об этом.

9 нояб. (...)

Би-би-си передает текст длинного письма Лидии Корнеевны Чуковской в защиту акад. Сахарова¹⁶³. Очень красноречиво, очень благородно, но все это уже писалось и говорилось. Повторенье — мать ученья? Да, конечно, но...

12 нояб. (...)

Вечером слышу, что мне бросили в почтовую щель что-то вроде книги или журнала. Не сразу иду посмотреть. В сером конверте без всякой надписи небольшая белая книжка: Александр Гладков «Встречи с Пастернаком». Издательство «Имка-пресс». Париж. Май 1973 г. Мейерхольд и я. Кто это бросил, не знаю и не догадываюсь. Это чудо. Просматриваю. Это один из первых вариантов, т. е. минус страниц 20—30. Есть ошибки и опечатки¹⁶⁴.

¹⁵⁹ Хренникова Клара Арнольдовна (до замужества Вакс), жена Т. Н. Хренникова.

¹⁶⁰ Наталья Тихоновна Хренникова (р. 1940), дочь Хренниковых; художник театра, художник кино.

¹⁶¹ Хотя на самом деле он поехал в Америку.

¹⁶² Очевидно то, что позднее было опубликовано в его книге 1976 г.: Медведев Р. А. Солженицын и Сахаров. М.: Права человека, 2002.

¹⁶³ Чуковская Лидия Корнеевна (1907—1996), редактор, писательница, поэт, публицист, мемуаристка, диссидент. Дочь Корнея Чуковского и Марии Борисовны Гольдфельд. Ее письмо «Гнев народа» (1973) распространялось в самиздате, передавалось зарубежными радиостанциями.

¹⁶⁴ Из воспоминаний об этом Ц. И. Кин: «Конечно, я читала текст Гладкова «Встречи с Пастернаком». Он во все толстые журналы давал, все восторгались, и никто не печатал, так и не понимаю почему. А «Литературная Грузия» цитировала этот текст, словно он уже был опубликован.

Среди итальянцев был один — молодой и милый Эцио Ферреро, прекрасно говоривший по-русски. Его любила я и новомирцы, он нравился и АКГ. (Позднее Эцио погиб в Милане в автомобильной катастрофе, и АКГ вместе со всеми нами подписал отправленную туда телеграмму со словами соболезнования.) Приехал Эцио, красивый и веселый, и привез мне маленькую белую

(л. 165) (...)

Это конечно немножко приятно, но я еще не могу опомниться от вчерашнего чуда. Гляжу, гляжу на небольшую белую книжку и сам не верю своим глазам.

(...)

Вчера, когда я взял в руки книжку, у меня стеснилось в груди и стало больно сердцу. Не метафорически, а буквально, физически. Записываю это, чтобы не забыть.

(...)

Я уже тридцать два года член Союза советских писателей, а у меня кроме трех пьес ничего не издано. Даже сборника пьес не было. И по существу моя первая книга вышла только в этом году, и где — в Париже...

Такая странность моей литературной биографии. Откровенно говоря, я думал, что это будет напечатано после моей смерти.

Весной и летом я виделся с Женей Пастернаком. Книга вышла в мае (по новому закону мне за нее ничего не причитается: он действует с 27 мая), а он мне ничего не сказал. А он мог бы знать со своими связями. Вит[торио Страда]¹⁶⁵ недавно был в Париже. Мог купить мне и как-нибудь переслать. Но и я не знал, и он не знал. Ничего я не знал, пока мне кто-то не бросил книгу в почтовую щель. Тоже странность. Кто?

14 нояб. (...)

В № 11 «Нового мира» очерк-мемуары А. Штейна об Юрии Германе¹⁶⁶. И тут нет полной правды, все причесано и заретушировано. Герман был интереснее — и в хорошем, и в плохом смысле. Да, мемуарист должен быть сам личностью, чего нет у А. П. (...)

книжечку. Это было 12 ноября 1973 года, сравнительно быстро мы ее получили (в парижском издании точная дата публикации: 15 мая 1973 года).

Случилось так, что в этот день, 12 ноября, АКГ написал мне довольно грубую записку. Но я-то, когда пришел Эцио, знала, что у меня есть для Александра Константиновича небывалый сюрприз, позвонила и стала просить зайти ко мне, потому что приехал Эцио... Нет, АКГ не желает зайти и говорит с крайней степенью раздражения. Все это мне было безразлично, и я, чувствуя себя королевой, в первый и последний раз в жизни ответила ему по телефону: „Заткнитесь“, о чем, конечно, забыла, он сам мне позднее это припомнил. Эцио сидел у меня еще часа два, потом я маленькую белую книжку плотно завернула в газету, чтобы получился плотный пакет и чтобы АКГ услышал стук, когда пакет, опущенный Эцио в дверную щель, упадет на пол. А позвонил он мне еще через час и только сказал: „Я ошеломлен“.

На другой день АКГ пришел и рассказал мне, что ему стало нехорошо, когда он увидел книгу. Он страшно обрадовался, но и взволновался и стал читать ее. Конечно, не тот вариант. Конечно, есть опечатки. Мы никак не могли бы узнать, каким образом рукопись попала в Париж. Но ничего странного не было: если рукопись лежала во всех наших журналах и гуляла по нашей стране, могла и во Францию попасть. АКГ я никогда не видела таким счастливым. Он только говорил мне, что почти не с кем поделиться радостью» (О дорогом АКГ [вступительная статья] // А.К. Гладков. Мейерхольд. В 2 т. / Сост. В. В. Забродин, вступ. ст.Ц. Кин. М.: СТД РСФСР, 1990. Т. 1. — http://teatr-lib.ru/Library/Gladkov/mejer_1/).

¹⁶⁵ Страда Витторио (итал. Vittorio Strada, род. 1929), итальянский литературовед и переводчик-славист, историк русской литературы, научной и общественной мысли; издавал международный журнал «Россия/ Russia» (1974–1993), при его участии была создана и издана «История русской литературы» в семи томах (1986–1995, в соавторстве с Ж. Нива, Е. Эткиндо, И. Серманом).

¹⁶⁶ Штейн Александр Петрович (настоящая фамилия Рубинштейн, 1906–1993), писатель, драматург, сценарист; в № 11 «Нового мира» опубликован его очерк: «Человеку нужно, чтобы у него звонил телефон»

Герман Юрий (Георгий) Павлович (1910–1967), писатель, драматург, киносценарист.

15 нояб. (...)

Оказывается, Кочетов не попал в сердце и умер уже на операционном столе.

По словам Юры, Лева Гинзбург утверждает, что Р. А. Медведев агент органов. Его убедило в этом последнее его выступление, где он критикует акад. Сахарова за его тактику. Кстати, про самого Леву многие говорят то же самое¹⁶⁷.

Кстати, к статье Р. А. из Лондона присоединился его брат Жорес.

17 нояб. (...)

В литературе маленький скандальчик с посмертно опубликованным стихотворением Я. Смеляков[а], посвященным смерти Маяковского. Опубликовала его Таня Стрешнева, его вдова, эта славная толстуха. Говорят, что она хватилась, когда 10-й сборник «Поэзия» «Мол. Гвардии» еще не вышел, но изъять стихотворение уже было поздно.

В нем есть такие строки:

... «Ты б гудел, как трехтрубный крейсер
В нашем общем многоголосьи,
Но они тебя доконали,
Эти лили и эти оси.
Не задрипанный фининспектор,
Не враги из чужого стана,
А жужжавшие в самом ухе
Проститутки с осиным станом...

Для того ль ты ходил, как туча,
Медногорлый и солнцеликий,
Чтобы шли за саженым гробом
Вероники и брехобрики...».

Это конечно посмертное, так сказать, хамство, но есть в этом какая-то гнусная правда, хотя она и перемешана с чем-то низменным. Если бы не было Распутина, то конец Романовых выглядел бы чистой трагедией. И тут тоже. Впрочем, прогрессивная интеллигенция («либералы») конечно возмущена. Она и так недолюбливала Смелякова, а теперь и вовсе проклянет его, хотя это все и не так просто, совсем не так просто...

19 нояб. (...)

День смерти мамы одиннадцать лет назад.

(...) Почему-то перечитываю мемуары Ф. Степуна¹⁶⁸ уже в третий или четвертый раз.. и снова то же ощущение правдивости. Пленительно сочетание быта и ис-

¹⁶⁷ Здесь уместен комментарий Ю. Л. Фрейдина: «Лев Гинзбург говорит про Роя Медведева. А мне твердо говорили про самого Леву Гинзбурга. Это такой наш общий психоз. Точно может сказать только человек сам о себе, и то если он не Хлестаков. Или тот, кому дали очную ставку с доносчиком. „Косвенные свидетельства“ ненадежны. Документы конторы недоступны, но могут и быть искажены, такое случалось».

¹⁶⁸ Степун Федор Августович (Степун, Friedrich Step(p)u(h)n, Николай Луганов, Н. Лугин, Н. Переслегин; 1884–1965), философ, близкий баденской школе неокантианства, социолог, историк; в 1922 был выслан советской властью за границу; один из редакторов журнала «Новый град» (Париж, 1931–1939); с 1947 года занимал созданную специально для него кафедру истории русской культуры в Мюнхенском университете. После публикации на немецком языке трехтомных

тории. Вне правды быта история не может быть рассказана правдиво и точно. Пожалуй, Степун повлиял на меня как мемуариста. Впервые я прочитал эту книгу в конце 50-х годов в Спецхране Ленинской библиотеки, а начал писать о Пастернаке в 1963 г. осенью в Загорянской.

Женя Пастернак, как-то увидев у меня на столе книгу Степуна (другую), сказал, что С. был внутренне близок Б. Л. Это характерно.

20 нояб. (...)

Выпустили некую Ирину Белгородскую из бывшей компании Якира. На суде над ним она выступала свидетельницей обвинения. Она жена некоего В. Делонне¹⁶⁹, которого зарубежное радио называет «поэтом». Но вне узкого круга стихи его совершенно неизвестны. Он тоже крутится рядом с Якиром. Видимо эта группа совсем разрушена. Интересно, что с самым славным из них, Ю. Кимом¹⁷⁰? Наши «инакомыслящие» (кстати, никто не употребляет это слово у нас в стране — его мы только слышим в иностранных передачах радио) уже как бы разделились на два течения: Сахаров, Солженицын и другие [с одной стороны] и Медведевы и др. [с другой]. По забавной аналогии первых можно назвать «большевиками», (несоразмерность требований, своего рода «пораженчество» — в вопросе предоставления СССР статуса благоприятствуемой стороны, например, и др.). Учитывая болезненность правит-ва к вопросу о престиже, это вряд ли даст положительный эффект. Тут правы «меньшевики» Медведевы. Якировский «комитет» морально и организационно сокрушен.

22 нояб. Утром взял себя в руки и сел за машинку. Волынить дольше уже было нельзя. — Я назначил Заксу прийти за текстами номеров к часу дня. (...) Закс вроде принял, но неизвестно еще, что скажет Тихон. Чтобы писать такие вещи, нужны наивность или наглость. Наивность потеряна, а наглость не приобретена. (...)

25 нояб. (...)

В «Нов. мире» кончился довольно занудный роман Ф. Искандера¹⁷¹. Читал его с трудом: скучно, хотя есть и юмор и тонкость. Но нет чего-то более важного: м. б. темперамента. (...)

27 нояб. (...)

Некто Юрий Шахнарович¹⁷², бывший преподаватель математики в МГУ, уволенный оттуда в 1968 году за распространение разных писем и заявлений, кажется,

мемуаров сам сделал русский двухтомник и сумел его опубликовать (Степун Федор. Бывшее и несбывшееся. (I—II). Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956).

¹⁶⁹ Делонé Вадим Николаевич (Delaunay Vadim; 1947—1983), русский поэт, писатель, педагог, диссидент, участник демонстрации 25 августа 1968 года на Красной площади в Москве. 3 января 1973 года в Москве по делу «Хроники текущих событий» была арестована жена Делоне — Ирина Михайловна Белгородская. Впоследствии она была помилована до суда. В ноябре 1975 года Делоне эмигрировал из СССР вместе с женой.

¹⁷⁰ Ким Юлий Черсáнович (род. 1936), поэт, композитор, драматург, сценарист, бард, участник диссидентского движения в СССР.

¹⁷¹ Искандер Фазиль Абдулович (род. 1929), русский писатель, прозаик и поэт. Имеется в виду его цикл новелл «Сандро из Чегема» // Новый мир. 1973. № 8—11.

¹⁷² Две буквы в слове зачеркнуты, на самом деле имеется в виду — Юрий Александрович Шиханович (1933—2011), преподаватель математики на филфаке МГУ, герой университетских легенд, один из неукротимых редакторов «Хроники текущих событий», математик, кандидат педагогических наук, политзаключенный. Первым подписанным Ш. правозащитным документом стало письмо математиков в защиту Александра Есенина-Вольпина, насильственно помещен-

принадлежавший к группе Якира, решением суда заключен в психиатрическую больницу, будучи признанным шизофреником.

Про Ивана Дзюбу¹⁷³, выпущенного на днях из-под ареста, говорят, что он «раскался» наподобие Якира.

30 нояб. (...)

Юбилей Царева¹⁷⁴. Пышные славословия в честь этого сукиного сына и посредственного актера. Дали Героя соц. труда. Вокруг него вьется множество дурно пахнущих рассказов. Есть версия, что в деле Мейерхольда есть его донос. (...)

Еще 4 месяца зимы! Даже думать об этом противно!

3 дек. (...)

По словам Закса, мои тексты Хренникову очень понравились и он даже воскликнул: — Как талантливо!... Я его мнение не разделяю, ну да ладно. Он уже пишет музыку. Надо мне дописать остальное — и с плеч долой.

(...)

У меня в комнате еще живут две мухи и ведут любовные игры.

4 дек. (...)

Прибегала Р. Я. Райт: оказывается не работает телефон — у нас спаренный. Она телефонщица и для нее это целая драма. А мне почти безразлично.

5 дек. Умер Михаил Юрьевич Блейман¹⁷⁵. Прочитал об этом во вчерашней Вечерке. Умный человек, большой труженик, но не стойкий и слабохарактерный человек.

ного в психиатрическую больницу (март 1968): в июне того же года сам Ш. был уволен с филологического факультета «за профессиональную непригодность»; тогда же был прерван его спецкурс на механико-математическом факультете. После этого работал в СКБ, где его как «неблагонадежного» дважды понижали в должности. С начала 1970-х принимал деятельное участие в издании «Хроники текущих событий», стал одним из наиболее активных ее авторов, редакторов, составителей. Первый раз арестован в августе 1972 («антисоветская агитация и пропаганда») — судебно-психиатрической экспертиза Института им. Сербского признала его невменяемым (диагноз «глубокая психопатизация личности шизоидального круга»). «Шихановича КГБ пыталось пустить по психиатрическому варианту. Но в условиях общественного внимания власти не решились на его осуществление в полной мере — Шиханович был направлен „для лечения“ в больницу общего, а не специального типа: фактически это была форма изоляции, лечения к нему не применяли» (А. Д. Сахаров. Воспоминания). По свидетельству П. Г. Григоренко, перед самым приездом Ричарда Никсона в СССР (он прилетел 27 июня 1974), «нас с Шихановичем освободили 26-го. Друзья шутили, называя нас „подарок Никсону“». В 1975–1983 гг. Ш. работал литературным сотрудником научно-популярного математического журнала «Квант». После освобождения возобновил участие в издании ХТС, подписывал коллективные петиции, продолжал распространять правозащитную литературу, сам- и тамиздат. Постоянно подвергался преследованиям (задержания, обыски и допросы). КГБ пытался заставить Шихановича эмигрировать, но он отказался обсуждать этот вопрос. Второй раз арестован в ноябре 1983 (приговор — пять лет лагерей и пять лет ссылки): находился в пермских лагерях до 1987 года (информация с сайта «Мемориала»). После лагеря вернулся к преподаванию математики, успел издать четырехтомный трактат.

¹⁷³ Иван Михайлович Дзюба (р. 1931), советский диссидент, украинский литературовед и публицист, доктор филологических наук.

¹⁷⁴ Михаил Иванович Царев (1903–1987), актер театра и кино, театральный режиссер, мастер художественного слова (чтец); народный артист СССР (1949).

¹⁷⁵ Блейман Михаил Юрьевич (1904–1973), кинодраматург, сценарист.

Будучи со мной в приятельских (хотя и не близких) отношениях, по-б... вел себя, когда Комитет принимал «Зеленую карету». (...)

10 дек. (...)

Звонил Закс. Хвастал, что он с Наташей Хренниковой удачно работает над оформлением.

11 дек. (...)

В Комсомолке в путевом очерке Я. Голованова¹⁷⁶ об США упоминается русский эмигрант (до революции) инженер Зворыкин¹⁷⁷, и что он родом из Мурома. Ему сейчас 84 года. Он создатель телевиденья в США, изобретатель и миллионер. Мама рассказывала мне о его приезде в Москву после войны и розысках родных. Нам он тоже дальний родственник.

13 дек. (...)

Вечером приходит без звонка Юра. Статья. Говорят, что редактором «Октября» назначен Ананьев¹⁷⁸. Это мало-талантливый и бесцветный писатель, почти графоман, но он будто бы недурной человек и не связан с софроновской бандой. (...)

14 дек. 1973. (...)

Прочитал работу Р. А. М[едведева] «Проблема демократизации и проблема разрядки». Согласен со всем. Эти же мысли я и сам за последний год высказывал не раз и даже в споре с А. И. С[олженицыным]. Это отчасти полемика с акад. Сахаровым. (...)

19 дек. (...)

В театре идет полоса премьер производственно-заводских пьес. (...) С. А. Герасимов¹⁷⁹ ставит фильм по сценарию А. Володина¹⁸⁰. Вот кто молодец. И запрещали его, и травили, и проваливали, а он все пишет и пишет. (...)

Мне совсем сейчас неинтересно писать пьесы, хотя это единственное, чем я умею зарабатывать деньги.

21 дек. Утром позвонил Саша Кушнер¹⁸¹. Он приехал на 3 дня из Ленинграда. Условились, что пообедаем вместе.

(...)

Кушнер рассказывал, что Л. Я. [Гинзбург] подготовила переработанное новое издание «О лирике»¹⁸²: бодра, весела. (...)

(...)

¹⁷⁶ Голованов Ярослав Кириллович (1932–2003), журналист, писатель и популяризатор науки; автор 20 книг, более 1200 газетных и 160 журнальных статей.

¹⁷⁷ Зворыкин Владимир Козьмич (1888–1982), русско-американский инженер, родившийся и получивший образование в России и впоследствии эмигрировавший в США. Один из изобретателей современного телевидения.

¹⁷⁸ Ананьев Анатолий Андреевич (1925–2001), писатель; главный редактор журнала «Октябрь» (1913–1992).

¹⁷⁹ Герасимов Сергей Аполлинариевич (1906–1985), русский кинорежиссер, сценарист, актер.

¹⁸⁰ Володин Александр Моисеевич (настоящая фамилия Лифшиц; 1919–2001), драматург, сценарист и поэт. Вероятно, речь о мелодраме Сергея Герасимова «Дочки-матери», снятой в 1974 году по сценарию Александра Володина.

¹⁸¹ Кушнер Александр Семенович (род. 1936), поэт.

¹⁸² Гинзбург Лидия Яковлевна (1902–1990), литературовед, писатель, мемуарист. Речь о ее книге «О лирике» (1964), 2-е изд., доп. Л.: Сов. писатель, 1974.

Саша Кушнер — милый, скромный. У него выходит книга стихов.

22 дек. Самые длинные¹⁸³ дни в году. Послезавтра день будет дольше на минуту. (...)

25 дек. (...)

Рождество. Никто не празднует. Все перешло на новый год.

26 дек. (...)

Юра приходит под вечер и сидит два часа.

Ананьев, назначенный в «Октябрь», первым делом выгнал замредактора Строкова¹⁸⁴. Перемены в редколлегиях «Лит. России», «Знамени» и др. журналах.

История со статьей Кондратовича о Твардовском¹⁸⁵, которую он дал в «Новый мир», за что он получил обструкцию от Марии Ларионовны¹⁸⁶, дочек и Лакшина — они требуют, чтобы друзья А. Т. не печатались в «Новом мире» (самое пикантное, что сразу после ухода Твардовского сам Кондратович травил тех сотрудников, которые остались в редакции). Все это конечно глупо и мизерно, но когда нет настоящих общественных движений, то их заменяют эти бури в стакане воды. (...)

29 дек. (...)

По радио: в Париже в изд-ве Имка-пресс вышла книга А. Соложеницына «Материк Гулаг»¹⁸⁷, о которой давно уже шли слухи. При одном из обысков рукопись ее отобрали у кого-то из друзей автора. Это книга документальная: там подлинные имена людей, вспомиавших о лагерях.

(...)

Отговорился от встречи Нового года. Боюсь душевной сентиментальной атмосферы, тостов со значением и прочего. Не позволил себя поцеловать и м. б. обидел. Но мне это неприятно. [Очевидно, имеется в виду — приглашение к Ц. И. Кин: ср. ниже.]

30 дек. (...)

Утром с Домбровским,левой, И. Борисовой¹⁸⁸ и Асей Берзер¹⁸⁹ в Лавке за Мандельштамом¹⁹⁰. Потом неудачное посещение пивного бара на Пушкинской. Не находим столика и уходим, оставив там Домбровского. (...)

¹⁸³ Очевидная описка, вместо: *короткие* (или: самые длинные *ночи*).

¹⁸⁴ Строков Петр Сергеевич (род. 1918), поэт, критик, литературовед; работал главным редактором в радиокомитете, заместителем редактора газеты «Большевицкая смена»; долгое время был одним из ведущих сотрудников столичного журнала «Октябрь».

¹⁸⁵ Кондратович Алексей Иванович (1920—1984), критик, зам. гл. редактора журнала «Новый мир», когда его возглавлял Твардовский, автор книги «Новомирский дневник (1967—1970)» (М.: Советский писатель, 1991) и книги о самом Твардовском: «Александр Твардовский» (М., 1978).

¹⁸⁶ Твардовская Мария Илларионовна (1908—1991), жена поэта А. Т. Твардовского (1910—1971), редактор стихов мужа.

¹⁸⁷ Правильно: «Архипелаг...».

¹⁸⁸ Борисова Инна Петровна (род. 1930), редактор отдела прозы «Нового мира».

¹⁸⁹ Берзер Анна Самойловна (*Ася Берзер*) (1917—1994), литературный критик, старший редактор отдела прозы «Нового мира».

¹⁹⁰ Очевидно, в очереди за изданием книги: Мандельштам О. Э. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1973, 336 с. (Библиотека поэта. Большая серия) — первым сборником на родине поэта после его смерти. Видимо, тогда АКГ так и не смог ее купить. Ср. позднее, через две недели, в зап. от 15 января 1974, отстояв очередь — 65 из 200 человек, это сделать ему удалось: «Сегод-

(...) Все говорят о выходе в Париже «Архипелаг Гулаг». У тех, кто думает основательно, — мрачные ожидания. Это может явиться поводом к расправам и с автором, и с многими ему сочувствующими. Будто бы Л. К. Чуковскую и Войновича исключили из ССП¹⁹¹. Лидия Корнеевна кому-то говорила с удивлением, что я с ней не поздоровался, встретив в ЦДЛ в день, когда ее вызывали на секретарьят (два дня назад). Но я ее не видел, т. е. не заметил. Я быстро прошел в ресторан через холл, ни с кем не останавливаясь, и обратно.

Конечно, А. И. С. видней, но мне тоже кажется, что выход его книги сейчас нехстати. Он как всегда все меряет своей личной мерой. А может быть ему и не видней... (...)

Лева звал встречать с ними Новый год! М. б. пойти! Но надо скрыть это от Ц. И., которая ревнива и мне этого не простит¹⁹².

31 дек. (...)

Поздравления от В. Т. Шаламова и Веры. И Тани.

(...)

Мировая пресса полна комментариями и отрывками «Архипелага Гулага». Это, так сказать, последний штрих 1973 года. В США нашелся свидетель, человек, опрашивавшийся Солж. в Москве в начале 60-х годов, бывший лагерник. Никто не понимает, что сделают с Солженицыным. Наверно спор с книгой начнется с того, чт[ó] С. пишет о власовском движении. Он дает отнюдь не отрицательный портрет Власова и утверждает, что именно власовцы освободили Прагу от немцев весной 1945 года, сражаясь против немцев до прихода советских частей. Так ли это?¹⁹³ Это единственный пункт (из того что я слышал пока), где спор с книгой С. может вызвать сочувствие советских людей. С. считает, что в лагерях находилось 20 миллионов человек. Я слышал цифры: 10, 12, 15... Но ведь не одновременно же. Люди гибли, привозили новых. Может быть, в этом драматическом круговороте участвовало и 20 миллионов. Американское издательство собирающееся выпустить книгу в США, не

ня с утра в Лавке продавали Мандельштама. Заранее (при прежних напрасных ожиданиях) был составлен список на более чем 200 человек. (...) В начале двенадцатого я уже получил книгу».

¹⁹¹ 9 января 1974 года Л. Чуковскую исключили из ССП за публикацию книг и статей за границей, радиопередачи по Би-би-си, «Голосу Америки» и «Немецкой волне», а главное — за статью «Гнев народа».

В 1963 году Войновича уже пытались исключить из СП, в 1968 — за письмо в защиту Синявского и Даниэля объявляют строгий выговор, в 1970 — строгий выговор с последним предупреждением. В 1974 году после звонка секретаря ССП генерала КГБ Ильина его исключают.

¹⁹² Вот, значит, кто его звал к себе в компанию на Новый год, а он отказался!

¹⁹³ Русская освободительная армия была сформирована преимущественно из советских военнопленных, попавших в немецкий плен. 27 декабря 1942 года генерал-лейтенант А. А. Власов и генерал В. Г. Баерский в письме немецкому командованию предложили организовать РОА. Армия была заявлена как воинское формирование, создаваемое для «освобождения России от коммунизма». Исходя из пропагандистских соображений, руководство Третьего рейха сообщило об этой инициативе в средствах массовой информации, ничего, однако, не предпринимая в организационном плане. С этого момента все солдаты русской национальности в структуре немецкой армии могли считать себя военнослужащими Русской освободительной армии, которая, правда, существовала тогда только на бумаге. 5–8 мая 1945 года 1-я пехотная дивизия РОА участвовала в освобождении Праги от немецких войск на стороне чешских партизан. После занятия Праги советскими войсками раненые власовцы, оставленные в пражских госпиталях, были немедленно убиты. Кроме того, в Праге и ее окрестностях было расстреляно без суда и следствия около 600 военнослужащих РОА. Власов был арестован Смершем 12 мая, начальник его штаба генерал Трухин — 15 мая. Генералы Жиленков, Малышкин, Буняченко и Мальцев добрались до расположения американских войск, но были переданы СССР.

боится судебного процесса, которым угрожает Панкин¹⁹⁴, и считает, что американский суд не признает права государства представлять живых авторов без их прямого согласия. Но тогда рухнет вся постройка, так хитроумно воздвигнутая[,] этого «агентства». Все считают, что наше прав-во отступит перед международным скандалом, который разразится, если оно решится арестовать Солженицына. Небывалое положение!
(...)

Встречаем Новый год впятером: Люся и Лева и Володя и Таня и я. Да, еще Леня, конечно. (...) В без двадцати два я уйду один (...)

Так кончился пустейший год моей жизни. Два события в нем достойны упоминания: моя болезнь в феврале и выход в Париже [книги воспоминаний о Пастернаке¹⁹⁵]. Пожалуй, можно прибавить закрепление за мной квартиры и прописку на Красноармейской. Утомление. Тоска. Недовольство собой. Тупик. Отсутствие «рефлекса цели».

* * *

Публикатор дневника благодарит за помощь тех, кто принял участие в комментировании текста: Владимира Михайловича Алпатова, Софью Игнатьевну Богатыреву, Николая Алексеевича Богомолова, Александра Дмитриевича Вентцеля, Марка Васильевича Головизнина, Дмитрия Исаевича Зубарева, Алексея Алексеевича Макарова, Жореса Александровича Медведева, Дмитрия Нича, Константина Михайловича Поливанова, Людмилу Пружанскую, Александру Александровну Раскину, Наталию Дмитриевну Солженицыну, Игоря Николаевича Сухих, Габриэля Суперфина, Валентину Александровну Твардовскую, Юрия Львовича Фрейдина, а также ныне уже покойных: Виктора Марковича Живова (1945–2013), Елену Цезаревну Чуковскую (1931–2015), Сергея Викторовича Шумихина (1953–2014), и за возможность публикации – дочь Александра Константиновича, Татьяну Александровну Гладкову (1959–2014).

Публикация и комментарии **Михаила МИХЕЕВА**

¹⁹⁴ Б[орис Панкин – в то время (1973–1981) председатель правления ВААП. Его подпись будет стоять под (секретным) документом, адресованном в ЦК КПСС (14 января 1974) – Записка о правовых санкциях в связи с изданием книги «Архипелаг ГУЛАГ», где о книге А. И. сказано: «содержание этой клеветнической стряпни не способно вызвать серьезного интереса у советского читателя», но от санкций против самого А. И. или французского издательства «ИМКА-пресс», распространяющего его книгу, предложено отказаться (на сайте http://www.solzhenicyn.ru/modules/pages/Zapiska_o_pravovyh_sankciyah_v_svyazi_s_izdaniem_knigi_Arhipelag_GULAG.html).

¹⁹⁵ Александр Гладков. Встречи с Пастернаком. Париж: Ymca-Press, 1973. Полный текст опубликован позднее – Е. Б. Пастернаком (М.: Арт-Флекс, 2002).



ИСКУССТВО ЧТЕНИЯ

Вера ЗУБАРЕВА

И СНОВА «ДАМА С СОБАЧКОЙ»...

Рыбы режутся о каменистое дно, в царапинах море.
Зонтик с книгой в обнимку дремлют на скамейке влажной.
Ялта в дымке историй выходит на берег Истории.
Дама с собачкой неспешно гуляет по набережной.
Впереди у нее душная комната, крах седьмой заповеди.
Покаянье, зевок любовника: — Да о чем ты?
После — море, *как вечный сон*, в Ореанде,
А напротив — церковь в сумерках, белая в черном.
Он вернется в Москву.
Будут улиц метаморфозы,
Колокольный звон, осетрина с душиком, смятенье,
Город С., и серое платье, и слезы,
И гостиничный номер с окошком, в котором темень.
А потом метель, февраль, словно мир распятый,
А потом июль, подвал, разложение веры,
Нарушение заповеди — шестой и пятой,
А потом четвертой, третьей...
Наконец — первой.

Вера Кимовна Зубарева — доктор филологических наук Пенсильванского университета. Автор 16 книг поэзии, прозы и литературной критики. Пишет и публикуется на русском и английском языках. Первый сборник стихотворений вышел с предисловием Беллы Ахмадулиной. Лауреат Международной премии им. Беллы Ахмадулиной (2012), Муниципальной премии им. Константина Паустовского (2010) и других престижных литературных премий. Публиковалась в журналах «Сибирские огни», «Вопросы литературы», «Посев», «Нева», «Мир Паустовского», «Грани», «Континент», «Слово», «Дети Ра» и др. Главный редактор журнала «Гостиная», президент Объединения русских литераторов Америки (ОРЛИТА). Преподает в Пенсильванском университете искусство принятия решений в литературе, кино и шахматах.

А страницы бегут, бегут. Все опаснее угол крена.
 Пароход судьбы опять возвращается в Ялту.
 — Пусть простит меня Бог! — восклицает Анна Сергеевна.
 И идет на набережную к Пилату.

Притягательность этого рассказа таинственна. Простая история, которую знают наизусть не только русские читатели, не перестает привлекать, заставляя перечитывать и передумывать происходящее в ней. И всякий раз остается ощущение, что до дна все-таки не достал, что осталось что-то еще там, в глубине этого ялтинского моря и неба, этой опадающей в снеге Москвы... И это больше, шире истории двух влюбленных, встретившихся на границе тепла и холодов, на границе эпох. Да, да, именно эпох, потому что рассказ не только об истории Гурова и Анны Сергеевны, но и о переломе в сознании и душе россиян, о подспудных чеховских размышлениях о грядущем.

Историческое пространство рассказа складывается, как мозаика, из крупных и мелких деталей и подробностей, которые так сплетены с сюжетом, что, кажется, только в нем и существуют и для него выписаны. Но стоит чуть отойти от сюжета, абстрагируясь на мгновение от происходящего, как проясняется полотно отнюдь не пейзажного значения. В центре его располагается эпизод в Ореанде, куда ночью, после первой интимной близости в гостиничном номере, отправляются Анна Сергеевна и Гуров. Этот эпизод ключевой для понимания всего дальнейшего.

В Ореанде чеховские герои располагаются на скамейке неподалеку от церкви и созерцают море, плещущееся внизу. Пространственное расположение деталей может раскрыть многое в художественном замысле, который у Чехова никогда не выражается вербально, напрямую. Его авторская позиция сказывается не в словах, а в способе компоновки материала и отборе («Художник наблюдает, выбирает, догадывается, компоует — уж одни эти действия предполагают в своем начале вопрос». А. П. Чехов. Письма, т. III, с. 45¹). В упомянутом эпизоде природная стихия и храм являются двумя полюсами, между которыми Анна Сергеевна и Гуров предаются размышлениям. Вот как это описано у Чехова:

В Ореанде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства.

Итак, герои располагаются между стихией вод и церковью. Здесь не менее важно смысловое поле, которым окружены эти две точки. Так, при взгляде на море у Гурова рождаются мысли о вечности как механическом движении жизни, лишенной высшего смысла. Это мир, где отсутствует Творец, где немыслящая природа равнодушна к своим существам и где связь всего со всем чисто механическая. (Сразу же приходит на ум реплика Тузенбаха в «Трех сестрах»: «Смысл... Вот снег идет. Какой смысл?») Интересно, что мысли о спасении возникают у Гурова при

¹ Все произведения и письма А. П. Чехова цитируются по Полному собранию сочинений и писем в 30 т. (М.: Наука, 1974–1988).

взгляде на стихию вод, хотя по идее эта концепция закреплена за церковью. Как человек светский, впитавший в себя мировоззрение естественников, столь популярное в пору расцвета естественных наук, Гуров не ищет ответов в религии. Он словно переписывает идею спасения на язык «естественного человека», и картина получается механистически унылой.

Отсутствие Творца лишает вселенную высшего участия, сострадания и всепрощения. Вместо этого — равнодушие и непрерывное совершенствование (взгляд на вселенную как на механизм, который высмеивал Чехов в письмах к Суворину). В «Вишневом саде» мотив замещения веры звучит в монологе Гаева, в чем-то пародирующем Песнь 3 в Каноне: «Ты — один дивный / и к людям верным милостивый!» [Канон, глас 4, Песнь 3]. Здесь «дивным» назван Творец, который также назван милостивым, в отличие от природы в монологе Гаева, названной «дивной» и «равнодушной»: «О природа, дивная, ты блещешь вечным сиянием, прекрасная и равнодушная...»

Совершенно иное мировосприятие у Анны Сергеевны. Родом из Петербурга, она тем не менее несет в себе целомудренность не тронутого столицей мира. Она именно целомудренна, а не провинциальна. В ее манере держаться и говорить проглядывает стыдливость почти библейская, свидетельствующая о внутренней чистоте («Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза. — Он не кусается, — сказала она и покраснела»). И грехопадение ее описано как любопытство Евы, вкусившей запретный плод («...меня томило любопытство <...> Любопытство меня жгло...»), и живет она на Старо-Гончарной улице (ассоциация с Ветхим Заветом и Гончаром). В ней нет жажды столичного шика. Она верна своим представлениям и не пытается оправдать себя на светский манер. Безусловная значимость заповедей ей ясна и не ставится ею под сомнение. Поэтому она и оценивает происшедшее в терминах грехопадения, искренне раскаиваясь в содеянном.

Эта часть ее мира Гурову недоступна. Поначалу он полагает, что его спутница притворяется, но после того, как убеждается в ее искреннем раскаянии, начинает испытывать скуку.

Гурову было уже скучно слушать, его раздражал наивный тон, это покаяние, такое неожиданное и неуместное; если бы не слезы на глазах, то можно было бы подумать, что она шутит или играет роль.

— Я не понимаю, — сказал он тихо, — что же ты хочешь?

Она спрятала лицо у него на груди и прижалась к нему.

— Верьте, верьте мне, умоляю вас... — говорила она. — Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок, я сама не знаю, что делаю. Простые люди говорят: нечистый попутал. И я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечистый.

— Полно, полно... — бормотал он.

Приведенное объяснение происходит *накануне* отъезда в Ореанду, и появление церкви предваряется библейскими аллюзиями в описании Анны Сергеевны, сидящей в комнате на кровати «в унылой позе, точно грешница на старинной картине». За этим следует комментарий о том, что к происшедшему она «отнеслась как-то особенно, очень серьезно, точно к своему падению».

Образ церкви в следующем за этим эпизоде соотносится именно с героиней рассказа, а не ее спутником. Для него «личное существование держится на тайне», вносящей элемент приключения в его жизнь, а для нее — на таинстве, вере. Гурову эта ментальность чужда. Для него нарушение седьмой заповеди ничего не значит. Но не потому, что он богохульник или атеист, а потому, что все это для него и людей его круга не более чем условность. Он не любит свою жену и знает, что и Анна Сергеевна не любит своего мужа, поэтому он не видит ничего зазорного в супружеской измене —

она естественна для него. И наоборот, сохранять верность нелюбимому супругу расценивается им как ханжество. Иными словами, Чехов показывает тенденцию смены ценностей в обществе, когда прагматичный мир, базирующийся на здравом смысле, вторгается в сакраментальную сферу, объявляя ее мораль неестественной, нелепой и даже вредной.

Гуров не может понять покаяния Анны Сергеевны, потому что он тяготеет к плюсу прогрессивному. На отношения с женщинами он смотрит как на процесс захватывающий, но лишенный таинства. Институт брака для него не является священным; как для многих его современников, венчание в церкви — это лишь ритуал. Для верующего же это одно из наиболее значимых событий в жизни, поскольку клятва во время венчания приносится Богу. Однако в продвинутом обществе, где брак переходит из сферы сакраментальной в сферу социальную, формулировка измены несколько меняется. «Кто изменяет жене или мужу, тот, значит, неверный человек, тот может изменить и отечеству!» — плачущим голосом говорит в «Дяде Ване» Телегин Войничкому, рассуждающему в терминах новой морали: «Изменить старому мужу, которого терпеть не можешь, — это безнравственно; стараться же заглушить в себе бедную молодость и живое чувство — это не безнравственно».

Гуров стоит на позициях Войничкого, не видя большого греха в том, чтобы изменять нелюбимой и непривлекательной жене, которая к тому же «казалась в полтора раза старше его». Он — человек современных тенденций. Бог для него — понятие абстрактное, мифическое, умозрительное, философское — какое угодно, только не сущностное, не приложимое к его собственной жизни, текущей по законам светского общества. Звон колоколов, которым он наслаждается в субботу вечером по приезде в Москву, не затрагивает его религиозных чувств. Это декоративный атрибут его московской жизни, делающий ее комфортной и ублажающий его слух. Только дальше колорита дело не идет. Не случайно в описании возвращения звон колоколов поставлен в один ряд с газетами и ресторанами, теплыми перчатками, отменным аппетитом и «хорошим морозным днем».

Гуров был москвич, вернулся он в Москву в хороший, морозный день, и когда надел шубу и теплые перчатки и прошелся по Петровке, и когда в субботу вечером услышал звон колоколов, то недавняя поездка и места, в которых он был, утеряли для него все очарование. Мало-помалу он окунулся в московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал по три газеты в день и говорил, что не читает московских газет из принципа. Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званые обеды, юбилеи, и уже ему было лестно, что у него бывают известные адвокаты и артисты и что в докторском клубе он играет в карты с профессором.

Гуров исповедует светскую мораль, а Анна Сергеевна — христианскую. В этой связи по-новому читается метафора дамы с собачкой как сочетание животного (собачка) с возвышенным (дама). Животное отличает естественность, идущая от инстинкта, и отсутствие стыдливости: Гуров «ласково поманил к себе шпица», и «тот подошел». Дама же «взглянула на него и тотчас же опустила глаза». Она могла бы рассмеяться, пошутить, и тогда ее поведение соответствовало бы поведению идущей навстречу знакомству собачки. Анна Сергеевна тоже делает шаг навстречу, сказав свою робкую и в чем-то двусмысленную фразу «он не кусается», но делает это с ощущением стыда. Как открывается позднее, стыд ее проистекает из осознания греховности, которое всегда будет мучить ее (о метафоре «собачки» я скажу более подробно ниже).

Гуров так и не найдет слов утешения для Анны Сергеевны. Спустя годы он будет сидеть в кресле и пить чай в «Славянском базаре», как некогда ел арбуз в Ялте, переживая, пока она закончит плакать. В финальной сцене Чехов бегло передает

их разговор от третьего лица: «Потом они долго советовались, говорили о том, как избавить себя от необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видеться подолгу». Читателю остается только проницательно догадываться о том, кто из героев сокрушался больше по поводу необходимости «прятаться» и «обманывать», а кто — по поводу жизни в разных городах и невозможности часто встречаться.

Став любовниками, герои перемещаются в поле несвободы с последующей сумятицей и бесперспективностью. В конце рассказа мелькает следующая фраза: «...им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем; и точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках». Здесь прежде всего интересно восприятие героями своего положения, будто навязанного им извне. Они словно забыли, что сами сделали однажды выбор, решив связать себя узами брака с нелюбимыми людьми. И хотя о Гурове говорится, что «его женили», это скорее ирония по поводу его инертности, нежели намек на безысходность. Ни один из них не любил своего будущего спутника жизни, но это не стало помехой для их бракосочетания. Точно так же ни один из них не был влюблен, вступая в интимную связь в Ялте. Был обычный, тривиальный интерес, подогреваемый внешней симпатией, влечением. Любовь пришла позже, но это не облагораживает начального решения Анны Сергеевны разделить ложе с незнакомцем.

Сравнение с птицами в клетках звучало бы банальностью, шаблоном, не свойственным Чехову, если бы не уточнение «самец и самка», на первый взгляд излишнее для лаконичного Чехова (из контекста более чем ясно, что речь не об однополых птицах). Красивость сравнения с птицами разбивается об это зоологическое уточнение, которое снижает образ любящих до самки и самца. И в этом есть смысл и скрытая ирония: отдаваясь от заповедей и отдаваясь на волю инстинкта, человек теряет свое особое положение в мире.

Здесь речь об эволюции базисных ценностей. В контексте этой любовной истории, основанной не только на глубокой симпатии, но и на взаимонепонимании, проступает Россия на переломе православного мироощущения. Мораль естественников подготавливает новую прогрессивную идеологию, отраженную в речах вульгарного дарвиниста фон Корена из «Дуэли», написанной семью годами раньше, революционно настроенного Пети Трофимова из «Вишневого сада», последнего произведения Чехова, и других чеховских героев, для которых не только супружеская измена, но и убийство инакомыслящих сограждан становится идеологически оправданным.

В «Даме с собачкой» Чехов создает ситуацию, когда любящие исповедуют в корне разные ценности, но любовь заставляет их примириться друг с другом. Однако простого примирения недостаточно для того, чтобы развивать полноценные отношения. Будущее Анны Сергеевны и Гурова будет зависеть не от формальностей, а от того, придут ли они к духовному единению, как приходят к нему герои «Дуэли». Есть нечто общее в предпочтениях главных героев этих двух рассказов. Оба любят российский колорит, тоскуют по нему и тяготеют к «иноземным» пейзажам. Гуров с наслаждением вдыхает морозный московский воздух, Лаевский мечтает бежать «на север. К соснам, к грибам, к людям, к идеям». Гуров с жадностью набрасывается на русские блюда, по которым явно соскучился в Ялте («Уже он мог съесть целую порцию селянки на сковородке...»); Лаевский тоскует по русской кухне, олицетворяющей для него российский дух: «В буфетах щи, баранина с кашей, осетрина, пиво, одним словом, не азиатчина, а Россия, настоящая Россия».

В отличие от Гурова, Лаевский не возвращается в Россию, то есть в ее физическое пространство. Но он возвращается в нее обретенной верой, ибо православие —

это духовное возвращение в Россию. Гуров же возвращается в физическую Москву, а духовное для него пока что слишком условно. Мотив «собачки» также общий для этих произведений. В первом случае образ собачки, казалось бы, закреплен за Анной Сергеевной, но ассоциируется он больше с Гуровым по нескольким причинам. Во-первых, пол собачки — мужской, а не женский (шпиц — кобель). Во-вторых, интересна этимология фамилии Гурова, которая, по мнению лингвистов, происходит от древнееврейского слова «гур», означающего «молодой лев, львенок» [Тихонов А. Н. Словарь русских личных имен. Мичиган, 1995, с. 130]. Здесь вырисовывается общий знаменатель для существительных «собачка» и «львенок»: оба соотносятся с животным миром, и оба уменьшительные. В-третьих, значима порода собачки. Чехов не случайно уточняет, что это был белый шпиц. Для тех, кто не помнит, как выглядит шпиц, советую взглянуть на изображения этой интересной породы. У шпица есть одна специфическая особенность: вокруг шеи у него «воротник, похожий на львиную гриву» [Собаки. Иллюстрированная энциклопедия. Электронная книга, 2012]. Эта деталь, стандартная для всех видов этой породы. В рассказе шпиц предан своей хозяйке, любит ее, но печали ее понять не может. В этом смысле Гуров, любящий свою даму на протяжении многих лет, может пожать ему лапу.

В «Дуэли» метафора собаки прямо связана с Лаевским, чья фамилия однозначно ассоциируется с «лаем». Это обыгрывается и в тексте. «Убери его, Александр Давыдыч, а то я уйду. <...> Он меня укусит», — восклицает фон Корен, показывая на Лаевского. В сцене дуэли, описывая, как целится фон Корен, Чехов вводит собачку в качестве оружейной детали: «Я его сейчас убью, — думал фон Корен, прицеливаясь в лоб и уже ощущая пальцем собачку». То есть, прицеливаясь в Лаевского, фон Корен ощущал пальцем собачку... Если это не скрытый каламбур, то Чехов не мастер со стажем юмориста. Да и рассуждения Лаевского в начале повести тоже откровенно физиологического, а иногда и «зоологического» толка. И женщине, по его мнению, «прежде всего нужна спальня», и Ромео у него «такое же животное, как и все», и о России он тоскует через желудок. И даже сильные чувства типа ненависти проявляются в нем слегка по-животному: «...он слышал ее глотки, им овладела такая тяжелая ненависть, что у него даже зачесалась голова».

Преображение Лаевского идет в русле парадигмы возвращения «блудного сына». В нее вписываются и странствия Лаевского, и его «распутный» образ жизни, и неудовлетворенность, и желание возвратиться на родину. Перед дуэлью он пытается написать прощальное письмо матери:

Накануне смерти надо писать к близким людям. Лаевский помнил об этом. Он взял перо и написал дрожащим почерком:
«Матушка!»

Это модель «возврата» и воскрешения через искреннее, глубоко эмоциональное раскаяние с последующим духовным преображением. Путешествуют и герои «Дамы с собачкой» и также предаются греху, который перерастает в любовь. Разница в том, что отношения Лаевского и Надежды Федоровны (имя «Надежда» знаменательно) начинаются с физического влечения, затем переходят в раздражение и даже отвращение, а затем преображаются в сильное духовное сближение, трансформирующее их прежнюю влюбленность в любовь возвышенную, скрепленную христианскими ценностями.

В финальной сцене, наблюдая за гребцами, Лаевский раздумывает о таинстве истины. Все описание дается сквозь призму его обновленного зрения, где библейские аллюзии (гребцы, Кормчий) возникают сами собой:

«Лодку бросает назад, — думал он, — делает она два шага вперед и шаг назад, но гребцы упрямы, машут неумолимо веслами и не боятся высоких волн. Лодка идет все вперед и вперед, вот уж ее и не видно, а пройдет с полчаса, и гребцы ясно увидят пароходные огни, а через час будут уже у пароходного трапа. Так и в жизни... В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед. И кто знает? Быть может, доплывут до настоящей правды...»

И это возвращает нас мысленно к «Даме с собачкой», к пароходу, отплывшему из Ялты. Доплывут ли и его пассажиры «до настоящей правды»? Откроется ли им то, что открылось чете Лаевских? И есть ли и у Гурова надежда?

Личность и рок

Лев БЕРДНИКОВ

ПУЛЬС ВРЕМЕНИ

Драматургия Рашели Хин

Рашель Мироновна Хин (1863–1928) — известная дореволюционная русско-еврейская писательница, яркий драматург, блистательная мемуаристка, чье творчество достойно, на наш взгляд, серьезного монографического исследования. Ученица Ивана Тургенева, она печаталась в ведущих русских и русско-еврейских изданиях, ее пьесы шли на сцене Малого театра. Приметная фигура в кругу московской интеллигенции, Хин организовала литературный салон, завсегдастями

Лев Иосифович Бердников родился в 1956 году в Москве. Окончил филологический факультет Московского областного педагогического института и Высшие библиотечные курсы. Работал в Музее книги Российской государственной библиотеки, где в 1987–1990 годах возглавлял научно-исследовательскую группу русских старопечатных изданий. В 1985 году защитил диссертацию «Становление сонета в русской поэзии XVIII века». С 1990 года живет в Лос-Анджелесе. Автор книг: «Счастливый Феникс: Очерки о русском сонете и книжной культуре XVIII — начала XIX века» (СПб., 1997; 2-е изд. 2013); «Щеголи и вертопрахи. Герои русского Галантного века» (М., 2008); «Евреи в ливреях. Литературные портреты» (М., 2009); «Шуты и остроловы. Герои былых времен» (М., 2009); «Евреи государства Российского XV — начало XX вв.» (М., 2011), «Jews in Service to the Tsar» (Montpelier, 2011); «Русский Галантный век в лицах и сюжетах», Т. 1–2 (Montreal, 2013) — и нескольких сотен публикаций в России, США, Канаде, Англии, Израиле, Германии, Дании, Латвии, Украине, Беларуси, Молдове. Тексты Л. Бердникова переведены на иврит, украинский, датский и английский языки. Член Русского ПЕН-центра, Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Союза русскоязычных писателей Израиля. Член редколлегии журналов «Новый берег» (Дания) и «Семь искусств» (Германия), зам. главного редактора журнала «Слово/Word» (США). Лауреат Горьковской литературной премии 2010 года в номинации «По Руси. Историческая публицистика». Почетный дипломант Всеамериканского культурного фонда имени Булата Окуджавы.

кого были Владимир Соловьев, Леонид Андреев, Максим Горький, Константин Бальмонт, Анатолий Кони, Алексей Толстой, Николай Стороженко и другие. Имя ее обессмертил Максимилиан Волошин, посвятив «Р. М. Хин», ставшее хрестоматийным стихотворение «Я мысленно вхожу в Ваш кабинет...» (оно положено на музыку композитором Давидом Тухмановым и стало в застойные времена популярным шлягером).

Долгое время имя Хин было незаслуженно забытым, и только в наши дни интерес к ее творчеству заметно активизировался¹. Однако богатое драматургическое наследие писательницы совершенно выпало из поля зрения исследователей. Пять оригинальных пьес, вышедших из-под ее пера, не только не осмыслены, но и совершенно выключены из современного культурного обихода. Не затрагивают сути вопроса беглые суждения критиков, да и то исключительно о пьесах, увидевших свет рамы. Между тем своеобразные творческие решения, реализованные Хин в жанре драмы, открывают новые грани ее таланта. Имеют ее пьесы и непреходящий общественно-исторический интерес.

К искусству театра Рашель Хин обратилась, будучи уже вполне зрелой писательницей, автором книги «Силуэты» (М., 1894) и множества повестей, рассказов, очерков, переводов в русской и русско-еврейской печати. Профессора Николай Стороженко и Алексей Веселовский, коротко с ней знакомые, пригласили ее принять участие в литературном сборнике «Призыв. В пользу престарелых и лишенных способности к труду артистов и их семейств» (М., 1897), издаваемом литератором Дмитрием Гариным-Виндингом под патронажем Российского театрального общества. Предполагалось сделать сборник «полным и разнообразным», что в значительной мере удалось. Достаточно сказать, что мы находим здесь рассказы Александра Герцена и Антона Чехова, Дмитрия Мамина-Сибиряка, Ивана Леонтьева-Щеглова, Николая Потапенко и Владимира Немировича-Данченко, стихотворения К. Р., Константина Бальмонта, Татьяны Щепкиной-Куперник, Спиридона Дрожжина, Владимира Гиляровского и др.; переводы Алексея Веселовского и Ольги Чюминой, а также путевые заметки, мемуары, исторические зарисовки и т. д. Немало места уделено и театру, судьбам людей искусства. Воспоминания о Николае Рубинштейне, о выступлении Федора Достоевского на вечере в Георгиевской школе фельдшерниц соседствуют с текстами «Из записной книжки драматурга» Петра Гнедича, поминальной заметкой об актере Александринки Павле Свободине, рассуждениями о «сценическом бессмертии», а также описанием репетиции пьесы «Ребенок» Петра Боборыкина и т. д. Так что Хин оказалась в хорошей компании.

Но вот что примечательно: ее пьеса для чтения «Охота смертная (Пословица)» — единственное драматическое произведение сборника. Американский литературовед Кэрл Бейлин поняла заглавие «Охота смертная» в буквальном смысле как «желание умереть» («Desire to Die»). Между тем в нем сокрыта колоритная русская идиома, на что указывает и авторская характеристика текста — «Пословица». В полном же виде русская пословица звучит как «Охота смертная, да участь горькая», и синонимична по смыслу таким фразеологизмам, как «Задор берет, да мочи нет», «Хочется, да не можется».

¹ Balin C. B. To Reveal Our Hearts. Jewish Woman Writers in Tsarist Russia. Detroit, 2000, P. 84–123; Глейзер А. Рашель Мироновна Хин и ее бегство от «торговки» // Гендерные исследования. 2003. № 9; Бердников Л. И. Рашель Хин-Гольдовская: крещение в жизни и литературе // Лехаим, № 7 (231), июль, 2011; Чайковская И. И. Забытое имя: Рашель Хин-Гольдовская // <http://www.chauka.org/>; Лившиц В. «Я мысленно вхожу в Ваш кабинет...» // Заметки по еврейской истории, № 1 (171), январь, 2014.

В то же время «смертная охота» подразумевает и «крайнюю нужду, неудержную, непомерную», что сродни самому сильному чувству. Однако поскольку героиня пьесы, сибаритствующая жена модного адвоката, рефлексирующая и безвольная Нина Павловна, такового начисто лишена, название обретает подчеркнуто иронический характер.

Действие открывается сценой за мольбертом. Нина Павловна, вооружившись кистью, тщится писать, но портрет не дается, не соблюдены пропорции, и, что еще печальнее, не уловлен сам *характер*. Да и как его постичь, когда она, Нина Павловна, сама совершенно *бесхарактерна*. «Я тряпка, ничтожная тряпка, бездарность!» — самокритично говорит она. Судя по отзывам прочих протагонистов, портреты новоявленной рисовальщицы лишены верности изображения и, что еще важнее, даже малой толики таланта. «Свободы у тебя хоть отбавляй», — говорит ей муж, и в самом деле: день-деньской она предоставлена сама себе — не стеснена никакими домашними обязанностями, даже воспитанием дочери, так что о социальной роли жены и домохозяйки здесь говорить не приходится. Но Нине Павловне претят «адские мучения немилого брака» с ненавистным и к тому же презиравшим ее мужем, дерзкой грубиянкой дочерью и разными ничтожествами, что постоянно навешиваются в дом. Как это подобает завзятой феминистке, главную ставку она делает на профессиональную самореализацию — на творчество, не ведая при этом самообмана. Она клянет каждый свой бесцельно прожитый день («Вот еще один день ушел... на что? на вздор, на глупости, на переливанье из пустого в порожнее, на всякую мелочь») именно потому, что творить ей *все* постоянно мешают. И завидует своей незамужней подруге, которая «свободна, как ветер в поле, работает, когда хочет, любит, кто нравится». Нина сетует, что у нее нет «даже невинного флирта» на стороне, и вспоминает щеголеватого красавца Горского, оказывавшего ей особые знаки внимания. В возможность семейного счастья она не верит.

Подобное отношение к институту семьи коренится в русском нигилизме и ярко выражено в «Отцах и детях» (1862) Ивана Тургенева, а именно в репликах Евгения Базарова, называвшего брак «предрассудком» («Ты придаешь еще значение браку; я этого от тебя не ожидал», — говорит он Аркадию Кирсанову). И хотя в романе Николая Чернышевского «Что делать?» (1867) представлен идеал образцовой семьи, основанной не только на взаимном уважении, но и на глубоком чувстве (в конце торжествуют две счастливые семьи — Кирсановы и Лопуховы, которые еще и дружат между собой), достичь сей гармонии можно было только вне рамок традиционного буржуазного брака. А при всех плюсах такового, видных особенно в сравнении с патриархально-домостроевским семейным укладом (отделение деловой жизни от частной; освобождение женщин от обязательного труда; распределение ролей: мужчина — кормилец, жена — возлюбленная и мать; семья закрыта от посторонних и автономна), буржуазный брак всегда был мишенью сокрушительной критики. Карл Маркс и Фридрих Энгельс в «Манифесте коммунистической партии» (1848) утверждали, что буржуазная семья основана на капитале, на купле-продаже, на наживе, при этом слабый член семьи (женщина) в полной зависимости у экономически более сильного (мужчина). О «подчиненной» роли женщины в такой семье говорил и Фридрих Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884). Их последователи-марксисты клеймили буржуазную семью как гнездилище «цинизма, презрения к человеку, взаимного обмана и надувательства», а некоторые без обиняков называли такой брак «узаконенной, прикрытой церковным венчанием проституцией». С позиций классового подхода женщины — угнетенный класс и призваны бороться за свое освобождение. И в наши

дни, наряду с подобным «социалистическим феминизмом», на Западе влиятелен и радикальный феминизм, с его резким отрицанием института семьи как такового.

Критики отмечали, что в своих произведениях «Хин сосредотачивает внимание на выяснении... пошлости буржуазной среды — среды модных адвокатов и модных докторов. Симпатии Хин принадлежат решительно всем протестующим против этой пустоты и пошлости». А Кэрол Бэйлин видит такой протест в поведении самой Нины Павловны. На самом деле наша героиня ведет себя совершенно рептильно и не может быть строгой даже с прислугой, не говоря уже о домочадцах. «А я не могу, — восклицает она, — и что всего интереснее — это вовсе не от доброты, а просто от страха... Я боюсь... Я всех боюсь». Ее достает лишь на то, чтобы перечить ретроградке свекрови, считавшей, что женщина от мужа должна терпеть все, даже всякие мерзости, исполняя при этом неизбывный семейный долг. Или с присущим ей женским лукавством выпроводить вон докучливого занудного гостя, буквально помешанного на своем здоровье (он злоупотреблял вином и шампанским, что «ужасно не гигиенично»), предложив тому весьма рискованный рецепт — мазать лысину нашатырным спиртом с добавлением касторки. При этом никакая Нина не революционерка, не потрясатель устоев «пошлой мещанской буржуазной среды», она плоть от плоти этой самой среды и всем своим поведением показывает, что даже не помышляет выйти за ее пределы.

Интересно, что образ такой незадачливой рисовальщицы был уточнен Хин в тексте «Одиночество. Из дневника незаметной женщины» (Вестник Европы. 1899. Т. 5. Вып. 9—10). «Я дрябла, ленива, не умею ни добиваться, ни бороться, не умею ничего сильно желать. А ведь подумаешь, что и я когда-то мечтала — смешно сказать — о славе! Когда-то... я и впрямь вообразила себя художницей. ...Ах как [муж] меня скоро отрезвил. Теперь мои идеалы гораздо проще; не притворяться, *в самом деле*, ничего ни от кого не ждать».

Нашей Нине и от гостей, званных и незванных, ждать решительно нечего. Все это верхогляды и пустельги. Вот кузина Адель, молодая дама, одетая по последней моде, хвастается удачно приобретенными полотнами на аукционе картин, чью ценность измеряет в аршинах и больших рамах. С тем же бахвальством разглагольствует она о своем знакомце, модном декаденте Пташинском, сочинявшем поэмы про «Оргии цветов» и «Краски звуков»: «У него есть стихотворение (декламирует) „Слезы брызнули из груди“ ... Дальше не помню, но ужасно страшно».

Приходит в дом и бойкая Софья Николаевна Муравьева («очень эффектна, тон самоуверенный»), особа с весьма приземленными взглядами. Впрочем, она тоже рисовальщица, но, в отличие от Нины, весьма довольная собой. Ставит свои художества очень высоко («уж когда я работаю, то хоть мать родная приди с того света — ее не впустят!»). При этом супруг Нины, плотоядный Виктор Павлович («широкоплечий, румяный, в пенсне, целует руки всем дамам») всячески перед ней заискивает. Он беззастенчиво расхваливает картины Муравьевой («сколько воздуха!.. движения!») называет ее «настоящей артисткой», а к прескучившей ему «дилетантке» — жене и ее занятиям тут же выказывает нескрываемое презрение («Ах, мне эта живопись!»). Он явно напрашивается в гости к сей «эффектной» даме, чего и добивается: когда Муравьева из вежливости приглашает в студию обоих супругов, Виктор Павлович — не иначе как из любви к искусству — предложение «с наслаждением» принимает, а супруге повелительным тоном бросает: «Ложись пораньше спать, Нина, у тебя очень утомленный вид!» Венчает пьесу появление в доме Горского, «красивого молодого человека с темной бородкой à la Henry IV, очень изящно одетого». Он кошачьей походкой не спеша подходит к удрученной своим одиночеством Нине. И видно, что *бесхарактерная* Нина ухаживания Горского *покорно* принимает.

Своеобразие драматургического воплощения Рашелью Хин современного женского характера предстанет рельефнее, если обратиться к ее ранней прозе. Повесть «Силуэты» тоже открывается сценой за мольбертом. И стоит за ним рисовальщица по имени Нина. И она глубоко ненавидит собственного мужа, да и все свое окружение, причем высказывает это категорично и прямолинейно: «Вечно одна среди постылых, гадких людей. Здесь все пошло: и брань, и слезы, и ликование». В повести конфликт со средой доводится до кульминации: Нина даже готова покончить с собой, но, по счастью, на помощь приходит ее природный дар (героиня «Охоты смертной» такового как раз лишена!). Он властно зовет ее к работе, и та уходит в живопись с головой («стало быть, не все во мне заглушили!») и преодолевает житейские невзгоды. «Ее талант выручит», — резюмирует автор в конце повести. Так подлинная творческая самореализация женщины становится и смыслом жизни, и спасением души. В другой ранней повести Хин заключена нравственная дилемма женщины, не уважающей свое окружение и постылого мужа, покинутой возлюбленным, но нашедшей забвение в социальной роли матери — в воспитании детей...

В 1904 году Хин завершает работу над пьесой в пяти действиях и двух картинах «Поросль», цензурное разрешение на публикацию которой получает 24 августа, а отдельной книгой пьеса выходит в свет в самом начале 1905 года в типографии Ивана Николаевича Холчева (1874—1909), прогрессивного издателя, редактора газеты «Вечерняя почта», печатавшего сборники материалов по истории русской революции, судебного психолога, автора книги «Мечтательная ложь» (1903). Дрaму взялся поставить Малый театр, и Рашель Хин 18 января 1905 года писала в своем дневнике: «Ни к чему у меня душа не лежит. Я как-то забыла, что репетируется моя пьеса [„Поросль“. — Л. Б.]. Ни разу не была на репетициях. Впрочем, написала Федотову, чтобы справиться, как идет».

Премьера состоялась на сцене Малого театра 3 февраля 1905 года с декорациями Феодосия Лавдовского и в постановке очередного режиссера Александра Федотова. Всего прошло семь спектаклей, причем в них были заняты лучшие актеры театральной труппы.

В основе драмы — романтическая история преуспевающего адвоката Павла Грибина, которого уводит из семьи (от жены Софьи Васильевны и дочери Юлии) настойчивая и предприимчивая молодая женщина, учительница музыки Юлии. Но, несомненно, наибольший интерес представляют психологическая линия сюжета и, прежде всего, колоритные типы современной русской молодежи, представленные здесь во всей широте. Эта самая «поросль», воплощенная в ярких сценических образах, показана Хин отнюдь не однозначно.

Вот двадцатилетняя Варя по прозвищу «ветрогонка». Она обуреваема ненасытной жадой деятельности, зачем — и сама не знает: тут и музыка, и живопись, и рефераты. Любит наряжаться, «накупит всякой дряни, половину растеряет... прически какие-то невиданные себе придумывает». И при всем том — добрейшее существо. Бесхитростное. Миллион друзей. Всем верит...

Полярно разнятся взгляды на жизнь двух друзей-студентов: сломленного и растерянного Бориса (актер Пров Садовский) и активного, энергичного Сергея Грибина (актер Александр Остужев). Борису с его мизантропией противен ближний (не говоря уже о дальнем), он «ставит между собой и окружающими стеклянную стенку». От деятельности на благо общества он высокомерно устранивается, называя ее не иначе как «рабством». Сергей же, напротив, говорит, что от слов Бориса разит «родной Обломовкой», что он «замуровал себя в башню... раскапывать собственное нутро». «Лень это! Безволие... Неврастенический туман», — заключает он и напоминает другу о долге интеллигенции перед народом, о необходимости служить Отечеству.

Выведен здесь и молодой поэт-декадент с говорящей фамилией Безбрежный (его блистательно играл Александр Ильинский), как и Борис, отгороженный от окружающей действительности «стеклянной стенкой». «Общественные темы банальны... — заявляет он. — Все построено на фундаменте честной нечестности. Мир — это гармоническая дисгармония. Это трудно объяснить, это надо постигнуть... Есть невесомые трепетанья... светозарные точки в бесконечном. — По-Вашему, это вздор? .. а для меня кристально прозрачно... Я ощущаю воздушно-целомудренные точки в беспредельности».

А вот образ Ольги Линевиц (в исполнении Елены Лешковской), племянницы Павла Грибина, как она себя называет, «женщины новой эпохи», интересен как раз своим отчаянным феминизмом, приправленным вдобавок неприкрытым гедонизмом. Эгоистичная, тщеславная, ветреная, она ищет развлечений, удовольствий, острых ощущений («Надо пользоваться каждой минутой. Не оглядываться назад, не забегать вперед. Что мое — то мое!»). Разумеется, брак с его «тиной мелких забот и обязанностей» и подчиненностью мужчине для нее совершенно неприемлем. В споре с матерью, Катериной Васильевной (ее играла знаменитая Гликерия Федотова), Ольга выказывает отвращение «к той противной комедии, из которой дураки делают трагедию и которая называется — «семейная жизнь». «Почему, — вопрошает она мать, — девушки в романах Тургенева, — все эти Натальи, Елены, Марианны, выходявшие из рамок общепринятой морали, — тебя приводят в восторг, а я возбуждаю твое негодование и презрение? Напрасно! Я только смелее других, знаю себе цену и не желаю притворяться».

Катерина Васильевна, сравнивая прежних героинь с нынешними, конечно же, на стороне первых и беспощадно, со всей страстностью, разит таких «женщин новой эпохи». Тургеневские девушки, втолковывает она дочери, уклонялись от шаблона во имя высокой идеи, во имя того, что считали правдой и долгом. А такие, как она, Ольга, — «нравственные ничтожества». Искательницы ощущений, они никого не любят и любить не умеют. Это перекаати-поле, которым не интересны ни страна, в которой живут, ни народ, к которому принадлежат. Все внешнее, напускное, словно дикари, одетые в модные костюмы и усвоившие культурные жесты. Ими движет «даже не честолюбие, а маленькое, жалкое тщеславие». А цель одна — производить эффект! Не остается в долгу и Ольга, аттестуя мать «фанатичкой, политиканкой», «трусливой, мимолетной козявкой, которая всякую радость отравляет резонерством и завидует тем, кто имеет смелость жить».

Литературовед Кэрол Бэйлин говорит о конфликте «матерей и дочерей» как о чуть ли не единственном конфликте пьесы. Между тем даже у представительниц поколения «матерей» взгляды существенно разнятся. Так, тянущая семейную лямку Софья Васильевна Грибина заявляет той же Катерине Васильевне Линевиц, женщине куда более эмансипированной, о ее совершенно ином подходе к жизни. Она называет сестру «удачницей», бросившей «скверного» мужа и всегда поступавшей по своему хотению («Скучно показалось в России — поехала за границу. Надоело за границей — вернулась в Россию»). Забавно, что Грибина ставит на одну доску конфликтующих между собой мать и дочь Линевиц («И дочь твоя — такая же перелетная птица. На всех глядит свысока, точно перед ней черви»).

Важно то, что в пьесе задействованы и представители поколения «отцов», типы яркие и колоритные. Отставной земский деятель Чеборхин (актер Константин Рыбаков) пробавляется мемуарами, в которых утверждает, что человеческая жизнь нигде не ценится так дешево, как в России, и никакому европейцу не понять квинтэссенцию нашего смирения. На русскую действительность он смотрит как на сумбур, говорит о вечном «топтании на месте». Его убеждения и жизненную

позицию очень емко выразил в пьесе Сергей Грибин: «Чего тут нет! Кликушество, полицейская теософия, чиновный мистицизм — это с одной стороны. А с другой — кустарная риторика, позерство, мелодраматическое озорство, сдобренное сивушной сентиментальностью, и безграмотство, возведенное в культ!»

Или Павел Алексеевич Грибин, этот, как самокритично называет он себя, «осколок человека». Беспринципный и увертливый, он утверждает, что в общественной жизни никак нельзя без компромиссов. Автор припечатывает его убийственной репликой: «Нынче компромисс, завтра компромисс... глядишь, и вышел подлец».

В пьесе отозвались и культурные реалии той эпохи. Здесь, в частности, содержится рассказ о некоем модном салоне м-м Сотниковой («Какие-то мрачные субъекты в блузах... Пианистка, скрипач, певец... Читали приехавшие из Москвы молодые писатели... Это должно обозначать протест новых людей против дряблого культурного общества»). Надо иметь в виду, что сама Рашель Хин держала в это самое время литературный салон в Москве, куда были вхожи многие литературные знаменитости. «Эти литературные вечера, дни и беседы — такое наслаждение!.. Всем приятно, легко и свободно», — отметила она в своем дневнике.

Упоминается в драме и «Власть тьмы» Льва Толстого, которую с ужасом читают слуги Грибиных («Там ведь смертоубийство. Младенчика порешили...»). На Рашель Хин эта пьеса Толстого произвела «просто потрясающее впечатление». Она посетила не только ее генеральную репетицию в Малом театре 28 ноября 1895 года, но и спектакли в народном театре «Скоморох». «Пьеса его — настоящая шекспировская драма, — отмечала Хин, — страшная история целого народа, происходящая перед зрителем — в темной, жалкой русской деревне. Весь трагизм „Власти тьмы“ — в ее невероятной эпической простоте. Эти православные христиане, живущие в величайшей империи в конце XIX века, — в сущности, люди пещерного периода».

Забавен в этой пьесе Хин монолог тридцатипятилетней фельдшерицы, бесхитростной и простодушной Дарьи Петровны Кузовской, о том, как она вывела на чистую воду своего начальника-доктора, показав зрителю и попечительнице реальное, а отнюдь не богоугодное положение дел в больнице. А когда рассвирепевший патрон обругал ее за это «форменной психопаткой», Кузовская заявила, что «не желает марать свою плебейскую руку о его дворянскую щеку». По этому поводу один из домочадцев сострил: «Она — жертва исторического момента. Зритель, очевидно, марксист, попечительница — эстетка, а Дарья Петровна — народница». Сарказм вполне понятен, если принять во внимание тенденциозность, вульгарно-социологический запал современной критики, против чего, солидаризуясь с Петром Боборькиным, выступала и сама Рашель Хин.

Но — увы! — тот ироничный домочадец оказался провидцем. Советские исследователи корили драму как раз за ее безыдейность и неактуальность. Авторитетные театроведы объявили ее «совсем не нужной... запоздало противопоставлявшей растерянную современную молодежь старикам народнического поколения». А историк Малого театра Николай Зограф заключил о пьесе: «Показанная в дни острейших политических событий, в феврале 1905 года, она с особой очевидностью продемонстрировала свою идейную слабость, устарелость суждений, отсутствие перспективы и подлинных исторических конфликтов». Однако драма ценна тем, что показала во всей широте характеры русской интеллигенции, которые не устарели и в тот судьбоносный исторический момент. А тенденциозным критикам хочется напомнить, что «Поросль» была написана Хин в середине 1904 года, когда революционной ситуации в стране еще не наблюдалось.

Зато драма Хин в пяти действиях «Ледоход» была непосредственно посвящена революционным событиям 1905 года. Она была напечатана под псевдонимом

Stanislas Le Char в Петербурге в 1906 году, в типографии купца-миллионера Ефима Дмитриевича Мягкова (1868—1930), издателя серии книг и брошюр марксистского содержания, а также литературы эсеровского и социал-демократического направления (в том числе статей В. И. Ленина и других деятелей революции). В типографиях Мягкова печатались и бесцензурные книги, которые потом нередко конфисковывались по решению суда. Квинтэссенция драмы Хин выражена здесь в словах ее главного героя: «Мы увидим свободу... Что-то переменялось в русской жизни. Это чувствуют все. Старое умерло. Мороз как будто еще злее. Но это перед ледоходом».

Понятно опасение Хин печатать пьесу революционного содержания под своим подлинным именем. Но что сокрыто за псевдонимом Stanislas La Char? Не исключено, что Stanislas — производное от имени ее мужа Онисима Борисовича Гольдовского (1865—1922), которого она называла Стась. А вот слово Le Char в современном ей французском языке означало «военная колесница» (впоследствии так будет аттестоваться «танк»), что в данном контексте могло знаменовать собой «несокрушимую силу революции». Можно также предположить, что Рашель, с ее тонким лингвистическим чутьем (она вслед за Эрнстом Ренаном восторгалась языком галлов XVII века, который «победил Европу»), употребила слово в его прежнем значении, а именно «поплавок». Если воспринять это понятие как метафору и спроецировать ее на встроенный в художественную ткань пьесы образ ледохода на реке, перед нами предстанет революционер, всегда остающийся на плаву.

Пьеса открывается семейным конфликтом. Богатый фабрикант Бутюгин, завзятый реакционер (читает запоем «Новое время»), никак не желает открывать учебные курсы для рабочих, усматривая в них опасность («под видом грамоты... забастовки, 8-часовой рабочий день, политика и тому подобное»). А его дочь, совестливая Саша, инициатор обучения пролетариев, заявляет: «Когда я увидела, на чем покоится наша сытость, мне все опротивело... я знаю, что мне тепло, потому что другим холодно; что мне удобно, потому что другие задыхаются».

Под статью Бутюгину и некоторые его важные гости. Влиятельный генерал Афромеев — сторонник самых жестких и репрессивных мер. Крючоктвор и формалист, он ярый поборник смертной казни, ненавидит Толстого, а о революционерах говорит: «надо расстреливать эту сволочь, как бешеных собак». Организатор еврейских погромов, он объясняет это тем, что «иначе мы рискуем... что вместо евреев народное пламя может перекинуться на... ну, словом, на коренных русских людей». Вторит генералу и присяжный поверенный Майоров, который во всех российских бедах беззастенчиво винит евреев. «Да один только и есть у нас „внутренний враг“ — жид! Социалисты наши, бундисты, анархисты... все жидаи!.. От свобод их чесноком пахнет... Если не устроить [евреям] грандиозную чистку — мы пропали. Бунты запасных, возмущение в армии, стачки, все их штуки». О том, что подобные взгляды были весьма распространены в среде так называемых «охранителей», свидетельствуют сказанные в том же 1906 году слова известного публициста-почвенника Александра Шмакова: «Русское революционное движение есть движение инородческое, по преимуществу еврейское». И Максим Горький отмечал, что «главный враг русских евреев — русское правительство, в глазах которого каждый еврей — революционер».

Выделяется в окружении Бутягина капиталист-богачей Чумаков, получивший образование в Европе и только что вернувшийся на родину. Он в некотором смысле фрондер, признает, что «мужик голоден, рабочий бунтует, интеллигенция задавлена», и вовсе не считает евреев «гениями зла». Впрочем, в глазах власть предержащих, «блажь» Чумакова при его богатстве вполне простительна. Вот как

аттестуется он в пьесе: «Благоразумен, терпелив, богат, прекрасный оратор... На груди конституция, в груди самодержавие... Идеальный министр». Не намек ли это на конституционных демократов, приверженцев конституционной монархии и развития страны мирным, парламентским путем, без революций, насилий и крови? Или же на партию политических реформ, основатель которой Максим Ковалевский декларировал верность «унаследованной от предков монархии» и выступал против «владычества невежественной черни и против ее исчадия — народного цезаризма». Полемизируя с Онисимом Гольдовским, он категорически противился всеобщему избирательному праву, утверждая, что «в безграмотной, дикой, разноплеменной стране может произойти такая поножовщина и пугачевщина, что [все] взвоят по самодержавию». Рашель Хин писала о таких: «Либеральствующая „с оглядкой“ русская фронда. Что может быть скучней!» И еще: «У нас есть либеральные болтуны, тупицы и трусы, вроде наших слюнтявых кадет». А ведь в 1905 году правительство графа Сергея Витте предлагало кадетам войти в кабинет министров.

Когда Бутюгин рекомендует гостям рачительного и образованного директора своей фабрики, «хорошего еврея» Павла Брауна, Афромеев парирует: «Чем они [евреи] лучше, тем для нас хуже. Нам говорят: они трезвы, трудолюбивы, даровиты... Тем хуже! Тем больше мы должны оборонять от них русского человека... Зачем же мы, законные попечители русского народа, будем подковырять его врага!»

Парадокс, однако, в том, что именно «враг народа» Браун горячо отстаивает права рабочих, печется и о технике безопасности на фабрике, и о пособиях по потере кормильца, протестует против их избиения начальством. Вот что говорит ему мастеровой Ефим: «Только вы сами, Павел Львович, знаете рабочего. Со всех сторон его обманывают. Вам он верит». Его называют «каменщиком новой жизни, где не будет рабов», и он свято верит, что «справедливость ведет к свободе». «Я убежден, что мы стоим на грани истории», — говорит этот еврейский Гриша Добросклонов.

Рашель Хин, пожалуй, впервые в русской драматургии дает обаятельный портрет профессионального революционера-еврея, используя для этого все художественно-выразительные средства. Если говорить о традиции, то можно назвать Гесю Гельфман из книги Сергея Степняка-Кравчинского «Подпольная Россия» (1884), революционерку «такой нравственной силы, такого самоотречения и мужества, которые свойственны только героиням». Безгранично преданная принципам социализма, она с жаром бросилась в борьбу, охотно выполняя роли почтальона, рассыльного, часового, хозяйки конспиративной квартиры, была осуждена на вечную каторгу и, будучи беременной, умерла в тюрьме после рождения ребенка, который был у нее отнят. Впрочем, образ Геси начертан писателем однолинейно.

И двадцатидвухлетний студент-социалист Борух Френкель из драмы Евгения Чирикова «Евреи» (1904) заявлял: «Я хочу служить тем, кто голоден!» Он исключен из университета за участие в беспорядках. Интернационалист, воинствующий атеист, он утверждал, что «Маркс полезнее Талмуда», и выступал за «общую солидарность бедняков». Однако и Борух, и Гесья выступали как носители определенной идеи и лишены каких-либо индивидуальных черт. Не то у Хин. Писательница сосредотачивается и на внешности своего героя. Вот авторская ремарка при появлении Брауна на сцене: «Худой брюнет, небольшая борода, гладкие черные волосы, бледен, глубокие глаза, прекрасный голос, мягкая улыбка, манеры и жесты сдержанные; когда раздражается, темперамент берет свое, голос становится стальным, мимика оживляется, глаза сверкают, как угли, он весь подбирается, как тигр, готовый кинуться на противника». Над столом в его кабинете висит копия репинских бурлаков; налево большой портрет Фердинанда Лассалья, направо — Николая Чернышевского.

Браун из тех революционеров-евреев, которые, по словам историка Сергея Сватикова, «стремились прежде всего освободить русский народ». Убежденный социал-демократ (его политический лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»), он прошел через мрачные казематы царских тюрем и снежные вьюги сибирских острогов. О том, насколько распространенным в России был тип такого революционера, свидетельствуют факты: в 1905 году евреи составляли 34 % всех политических арестантов, а среди сосланных в Сибирь — 37 %; на V съезде РСДРП (Лондон, 1907) около трети делегатов были евреи. Трудно сказать, кто был реальным прототипом Брауна, но, несомненно, автором схвачен типический характер в типических обстоятельствах.

При этом Хин посчитала необходимым показать становление характера «несгибаемого революционера». Вот что рассказывают о нем товарищи по борьбе: «Павел Браун юношей вступил в армию борцов за русскую свободу. Пятнадцатилетним мальчиком он пережил еврейский погром. Он видел, как одни голодные люди в слепой ярости убивали других голодных людей. Такие испытания не проходят бесследно. Слабых они гнут в дугу, а сильных обращают в героев. Павел Браун принадлежал к сильным. Живой ум и благородная душа подсказали ему, что виноваты не жалкие, озверевшие нищие, а та мрачная, злая сила, которая свободных людей обращает в покорное кнуту слепое стадо. Этой злой силе Браун объявил беспощадную войну. Его могучая воля притягивала, как магнит. К нему нельзя было относиться безразлично. Его или ненавидели, или шли за ним».

Пошла за Брауном и Саша Бутюгина, помогавшая ему в распространении нелегальной литературы, сборе средств в фонд стачечного комитета, словом, в революционной агитации и пропаганде. Она видела в нем свой идеал человека и мужчины.

«— Бывают такие минуты, — говорил ей Павел, — когда подлость и бестолковщина русской жизни доводят меня до отчаяния... Такой мрак кругом... И вдруг в этом мраке, словно звезды, мелькнут твои глаза... и я сейчас же оживаю... Не может погибнуть страна, где есть хоть несколько таких женщин, как Саша».

Но вот у Брауна произведен обыск, найдены марксистская литература, прокламации. Рассвирепевший Бутюгин называет Брауна «крамольником», а дочь обвиняет в том, что та «жида в полюбовники взяла». Павла ссылают в Сибирь, в Нохтуйск.

Саша идет на прием к Афромееву просить за Брауна. Речь заходит о прокламациях:

САША: Таких прокламаций ходит по России миллион...

АФРОМЕЕВ: Дело рук того же еврея и его единоплеменников. Ведь он еврей?

САША: Еврейство тут ни при чем.

АФРОМЕЕВ: Ошибаетесь. Все, что от евреев, есть погибель.

САША: Иисус Христос тоже был еврей.

АФРОМЕЕВ: Это не оправдание для его врагов...

Афромеев называет русский народ «святая серая скотинка» и разглагольствует: «Разве наш народ дорос до свободы!... Это темный, дикий зверь...»

САША: Так думают все, кому выгодно держать народ в рабстве... Да ведь это самый ужасный цинизм!.. «Серая скотинка»!.. из которой высасываются все жизненные соки, грабят, порют... одурманивают водкой... На ее крови, на крови ее детей строятся дворцы и ее же посылают на убой за чужие леса... Генерал!.. «Серая скотинка» — проснулась!.. Она почувствовала свою силу и свое право... Ее гнев будет страшен... От него содрогнется мир...

Афромеев называет Сашу «петролейщицей» (так аттестовали революционер-поджигательниц петролем (бензином) во времена Парижской коммуны), «фурией, разнузданной и бесстыдной».

Завершается пьеса революционными событиями 1905 года в Москве, всеобщей забастовкой рабочих и общим пением:

Вставай, подымайся, рабочий народ, —
 Вставай на врагов, брат голодный,
 Раздайся крик мести народной:
 Вперед, вперед!

И, наконец, вождь царский Манифест 17 октября. Общее ликование. Браун возвращается из ссылки в Москву. Как тут не вспомнить сказанные о Манифесте слова кадета Петра Струве: «Страна свершила великое дело; родилась русская свобода, создан русский гражданин». В действительности, однако, благодаря усилиям и погромной агитации афромеевых и майоровых Манифест спровоцировал небывалую вспышку реакции. Только за двенадцать дней после его обнародования в стране произошло 660 погромов (Одесса, Екатеринослав, Ростов-на-Дону, Белосток и т. д.), погибло 1622 человека, ранено — 3544. Вот и в пьесе в залу торжествующих революционеров врывается черная сотня с ножами, городовые с револьверами и тесаками и набрасываются на публику. Под отчаянные крики «Вот вам Манифест! Вот вам Конституция!» громы избивают собравшихся. Браун убит...

Огромная людская толпа на его похоронах. Пение «Вечная память» все усиливается. Гигантский венок из красных цветов с надписью «Мученику за народную свободу». Красные флаги: «Свобода для всех граждан», «Да здравствует свободная Россия!». Несколько депутатий с венками и флагами и нескончаемая публика. Гроб ставят на мостки перед могилой. Яркая круглая луна плывет по небу. Свет свечей, сливаясь с лунным светом, бросает блики на лица... Хор затихает. И в торжественной тишине зычный голос: «Товарищи! Мы донесли сюда — до места последнего успокоения — прах одного из лучших людей. Он ни разу не сдался. На школьной скамье он поднял знамя народной воли... и умер с этим знаменем в руках — на пороге русской свободы... Он ненавидел произвол, убивающий жизнь, — жизнь, которую он так любил и которую так мало берег». Характерная параллель — муж Хин Онисим Гольдовский в составе делегации Совета Союзов ездил к московскому генерал-губернатору договариваться об организации похорон убитого черносотенцами социал-демократа, большевика Николая Баумана. То была многотысячная манифестация. «Невиданное зрелище, — писала Рашель Хин. — Этого никогда нельзя забыть. И описать нельзя... я, по крайней мере, не умею... нескончаемая человеческая волна. Идут *вместе*: студенты, рабочие, барышни, дамы, старики, военные, мальчишки. Поют... *Марсельезу*».

В самом финале пьесы — текст самой революционной песни «Вы жертвою пали в борьбе роковой...». Примечательно, что в том же 1906 году Ефимом Мягковым было предпринято в Москве новое издание «Ледохода», к которому были приложены и *ноты* этой песни («Вечная память (Знаменный напев)». Впрочем, тиражи обоих изданий были по решению суда конфискованы, так что до нас дошли лишь считанные экземпляры.

В своем дневнике от 18 октября 1905 года Рашель писала, что члены их семьи стали чуть ли не жертвой кровопролития в Москве, учиненного черной сотней, науськанной на избиение интеллигентов и евреев. Дома они укрывали раненного погромщиками студента, чудом уцелевшего от нападения разъяренных охотнорядцев.

В окна их квартиры полетели камни. И только драгуны, вызванные к месту происшествия знакомым околоточным, спасли Гольдовских от неминуемой гибели. Поэтому на семейном совете было принято решение уехать за границу.

Здесь Хин вновь обращается к теме «поросли» — нового поколения молодежи, но уже в условиях первой русской революции. В 1908 году в Берлине в издательстве Ивана Павловича Ладыжникова (1874—1945), социал-демократа, выпускавшего марксистскую литературу, а также писателей горьковской группы «Знание», вышла в свет драма Хин в одном действии «Под сенью пенатов». Надо отметить, что по своим политическим взглядам писательница явно склоняется влево, свидетельством чему является ее встреча в Париже с известным деятелем освободительного движения священником Георгием Гапоном (1870—1906), организатором «Все-российского союза рабочих», участником неудавшейся попытки вооруженного восстания в Петербурге.

Действие драмы разворачивается в минуту революции, однако она остается за кадром и материализуется в виде отдаленного грохота канонады и криков на улице. Все же сосредотачивается на квартире инспектора гимназии Сергея Сергеевича, его супруги, их сына гимназиста Пети, восемнадцатилетней племянницы, воспитанницы Наташи и няни. Их окна наглухо закрыты драпировками, причем взрослые домоладцы, дабы не слышать «ужасного шума», придвигают к ним тяжелый шкаф и ширму.

НЯНЬКА: На что лучше!... (*Слышен отдаленный гул и выстрел.*) Опять! Черти окаянные... Креста на них нет... Ну мы-то законопатились со всех сторон... чисто гроб... (*Вздыхает.*)

К окну подходит Наташа, отодвигает чуть-чуть ширму и заглядывает за драпировку. Нянька бросается к ней.

— Оставь! Не велено. Увидит дяденька — всю душу вымотает.

НАТАША: Мы тут словно в могиле, няня.

НЯНЬКА: А то и хорошо. В могиле нас никто не видит, ничто не тронет... Пройдет гроза, мы и выползем на солнышко.

ПЕТЯ: Какая тоска! Пробовал читать — ничего не выходит. Десять раз перечитываешь одну страницу... Буквы скачут перед глазами... Удавиться можно... Наташа! Скажи что-нибудь...

Происходит характерный диалог:

НАТАША: Что говорить... Слова и опять слова... Я не могу... Одна мысль — сверлит, сверлит... (*Встает и ходит по комнате.*) Там, на улице... люди умирают... а мы... заперлись на все замки, загородили окна, укрылись потеплее... и не шелохнемся... Стыдно... противно, Петя... Там расстреливают смелых, сильных... которые добывают свободу... для нас с тобой...

ПЕТЯ (*закрывая глаза*): Ужас... ужас... Я с ума сойду.

Во главе угла — опять конфликт поколений, причем обретает он уже откровенно непримиримый, антагонистический характер. Проблема «поросли» решается в новом, революционном ключе:

НАТАША: Самое великое совершается теперь у нас... Создается новый мир...

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (*повертывается к ней*): Вот как! Какой же этот мир, позвольте спросить!.. Мальчишки, безбожники, для которых нет ничего святого... Для меня совершенно явно твое сочувствие шайке негодяев, которые не могут быть терпимы ни в каком благоустроенном обществе... Мы... то есть правительство (*ест*). Лояльные граждане, которым дорога культура,

понимают, что для спасения порядка от хаоса анархии приходится прибегать к суровым карам... Я сам педагог и, смею сказать, гуманист... Но бывают исторические моменты, когда родственные чувства должны замолкнуть перед суровой обязанностью гражданина.

И Сергей Сергеевич в назидание Наташе рассказывает о ее родителях, о своей сестре, которая некогда воспылала «легкомысленным чувством» к «фанатику, государственному преступнику», как они сложили головы на эшафоте и как он, «благородный» Сергей Сергеевич, «смело, открыто» сказал министру о невинности двухлетней дочурки за беззакония отца и матери и дал ей семейный очаг. Он попрекает девушку куском хлеба, воспитанием, образованием, но в первую голову — «дурной кровью», которую, никак «нельзя истребить». Однако разоблачения главы семейства, вопреки ожиданиям, получили прямо противоположный результат. К его удивлению, Наташа, оказывается, давно догадывалась об этом, и виной тому сам бесцеремонный дядюшка, его «взгляды, полуслова». Но главное, то, что в глазах Сергея Сергеевича достойно хулы и поношения, Наташу необычайно обрадовало и воодушевило.

НАТАША: Моя «дурная кровь» (*тихо смеется*)... Дурная кровь, дядя, открывает удивительные вещи...

Очевидно, что «дурная кровь» здесь не просто генетическая категория. Это кровь, пролитая за народное счастье родителями восемнадцатилетней Наташи. А значит, речь идет о преемственности в освободительной борьбе с поколением народников, верность которой хранят такие, как она, Наташа, современные революционеры.

Даже маленького Петю попреки отца Наташе возмутили до глубины души: «Нет!.. Я сейчас убегу отсюда... сейчас!.. И никто меня не удержит (*вскакивает из-за стола и бросается к двери*)».

Пьеса завершается неистовым криком няньки: «Нет их! Нет! Оба... убегли...»

Наташа и Петя тайно покинули постылый дом и присоединились к бастующим...

А вот о следующей подготовленной Хин драме руководитель Малого театра Александр Южин писал ей 20 июля 1910 года: «Я прочел „Наследники“ с настоящим удовольствием. И понятно. Это чуть ли не первая пьеса из тех, которые я читаю по обязанности, носящая на себе печать вкуса и изящества письма. А кроме того, она интересна по коллизиям, лица живые... и даже новые и оригинальные». В начале 1911 года в Петербурге (типografiю определить не удалось) текст драмы «Наследники» был напечатан. А свет ramпы она увидела в Московском Малом театре 12 октября 1911 года, до 2 ноября состоялось девять спектаклей, после чего в результате шумного скандала была снята с репертуара. Но обратимся к самой пьесе.

Завязка такова. У прикованного подагрою к креслу престарелого мультимиллионера Романа Ильича Волькенберга, выкреста из евреев, прежде властолюбивого дельца, а ныне — умиротворенного мудреца с лицом и речью лессинговского Натана, две категории наследников. С одинаковой страстностью, но с разными целями они грезят об этих презренных, но так хорошо пахнущих миллионах. На одной стороне — вся проживающаяся не у дел семья тайного советника Дмитрия Лузгина, его жена Дарья Михайловна и его дочь, княгиня Софья Чемезова, главная мечтательница о еврейских деньгах. На другой — дочь того Лузгина, только от его первого брака, Варвара. Она осталась в девушках, хотя ей перевалило за тридцать, и в лузгининской семье играет роль Золушки, но Золушки, которая себе на уме и проста лишь на вид.

Надо заметить, что описание дворянской семьи, грезившей о миллионах, разрабатывался Хин и ранее. В повести «На старую тему» (Северный вестник, 1890,

№ 1) показаны родовитые Обуховы. Некогда богатые, но совершенно разорившиеся, они не в силах отказаться от прежних вкусов и привычек, от бахвальства своим ветвистым родословным древом. Все взаимно грызутся, сваливают вину друг на друга: отец, негодуя на всех, скрывается с томиком Золя; мать пишет бесконечные романы и пьесы в идиллическом вкусе с прологом и эпилогом, которые никто не печатает; а сын («благородный дворянин, собаку через ять писал»), успевший наделать долгов на 40 тысяч рублей, язвит всех своими остротами и с горя, что нет шампанского, напивается сивухой. К несчастью, их мечты о миллионах совершенно бесплодны.

Не то Лузгинины. Они, конечно, признают: «Дела запутаны так! Мы теперь на краю бездны... Блюда с гербами, а есть нечего». Но нацелены на вполне конкретное: «У нас расчет астрономический: наследство». Ими движет самое откровенное вожделение людей с большими аппетитами и малыми деньгами на счет человека, волею случая поставленного близко к их семье (Волькенберг был их свойственником, мужем покойной сестры Дарьи Лузгининой). По словам критика Натана Эфроса, «их родовитое обнищание — обнищание и материальное и духовное, и родовитая жадность до миллионов... даже забрызганных грязью еврейского происхождения, — все это наблюдается и передано верно, и имеет свою бесспорную художественную ценность».

Они из кожи вон лезут, чтобы предупредить все желания и неустанно обихаживать этого, как они его называли, «подлого Шейлока». Причем Хин удивительно точно раскрывает презрительно-брезгливое и вместе с тем заискивающее отношение к еврею (вспомним афористическую формулу А. С. Пушкина из «Скупого рыцаря»: «Проклятый жид, почтенный Соломон!»).

Дама-мотылек Софья (ее блистательно играла Александра Яблочкина) признает, что обхаживание еврея — это не что иное, как «ломать комедию». Она тщательно изучила его привычки, слабости, желания и всячески тщится ему угождать, ловить на лету его мысли, лизоблюдничают. Стараются, чтобы у Волькенберга не было и тени подозрения, будто его хотят эксплуатировать. Под стать ей и глупый и надутый чванством престарелый отец, Лузгинин (актер Осип Правдин), и мать, алчная, ограниченная и ханжа Дарья Михайловна, «фигура интересная... ей бы надо действовать в эпоху Медичи» (актриса Надежда Никулина), и беспутный, вороватый, погрязший в мотовстве брат Гаврик (Иван Худолеев). Эти «охотники за миллионами» приставляют к старику «своего человека», Варю, с помощью которой надеются подчинить Волькенберга своему влиянию и заполучить вожделенное наследство.

Между тем в ходе действия выясняется, что покойная родственница Лузгининых, «легкомысленная» Лиза, с аффективными манерами и «мещанским языком», за двадцать прожитых совместно с ним лет принесла нашему миллионеру лишь «милion терзаний». Отец-Рюрикович зятем его не признал и проклял дочь, которая «сбежала с жидом». А сама «прелестная Лиза» водила амурсы на стороне, требуя от мужа оплачивать многотысячные карточные долги своих любовников, а в случае замешательства грозя револьвером, визжала: «Жид, ростовщик». В результате «в погоне за новыми ощущениями» Рюриковна «довела себя до того, что последние три года могла спать только... в ванне». Не отставали от Лизы и сами лакомые до поживы Лузгинины: в прошлом они «с наглостью почти эпической» тоже обирали Волькенберга и тоже шипели: «Ростовщик... жид». Потому когда Софья с напускным сожалением говорит, что круг Лузгининых «недостаточно ценил» Волькенберга, тот иронически отвечает: «С меня довольно!»

Когда Дарья Михайловна просит Волькенберга заплатить внушительную сумму за свое чадо, которому грозит суд за похищенное им у любовницы брилли-

антовое кольцо, тот приводит в пример своего дальнего родственника, которому наказание за проступок такого рода пошло впрок. Та презрительно кривит губы, и Роман Ильич догадывается о причине: «Я знаю, что между ними большая разница... Тот жалкий еврей, или, как по нынешней терминологии, „инородец“, а ваш сын принадлежит к самому высшему слою общества». Однако согласитесь, что в ситуации есть некоторые аналогии.

Ему прекрасно видны все потуги «благочестивейших» свойственников обработать старого «жида», дабы любыми путями заполучить его богатство. И он решительно не желает «процветания такой плесени, как фамилия Лузгининых», и радуется, что «те перед ним кувыркаются».

Критики отмечали, что «старик Волькенберг отлично удался г-же Хин». Образ его не банален, это чрезвычайно привлекательный персонаж с богатым, сложным духовным миром и потому сразу же приковывает к себе внимание. К искусству автора присоединилось и искусство исполнителя. У превосходно игравшего эту роль Александра Южина «и отличный внешний облик, национальный без преувеличенности, живописно старый и отличный тон умиротворенной мудрости и охлажденных чувств, однако зажигающих и теперь еще иной раз в глазах яркий блеск... С полной четкостью проступали выразительность и простота, все элементы души этого старика, с большою волею и большим умом». Вообще финансист Волькенберг становится положительным героем. Если принять во внимание, что ходульная фигура еврея-ростовщика служила в русской литературе да и в произведениях самой Хин мишенью самой едкой и беспощадной сатиры, в этом ее несомненное новаторство.

Престарелый богачей с его острой проницательностью быстро разгадал приставленную к нему Варю и... пленился ею, пообещав в дальнейшем именно ей завещать свое состояние. Потому что понял: Варя не только не намерена служить интересам Лузгининых, но и глубоко их презирает («Я насмотрелась на красу и гордость „избранных сфер“»). И отношение ее к презренному металлу совершенно иное: «Если у меня будут миллионы — миллиарды... я буду сильнее их... Надо быть владыкой золота, а не рабой его!...» В этом весь секрет».

Варвара (ее играла Елена Лешковская, «с большой простотою и большим, сосредоточенным чувством») поведала Волькенбергу, как горек был ее хлеб в постылой барской семье, как она грезила, что «через грязный, тошный постоянный двор лежит путь в другой, увлекательный новый мир». «Теперь такое необычайное, такое неповторяющееся время, — мечтала девушка. — Во всем мире трещат вековые устои, на наших глазах совершается пересоздание истории... Видеть это не украдкой — из подполья, с заднего крыльца, а где хочу, когда хочу и с кем хочу... Да ведь это и есть счастье! Вашим золотым ключом я открою дверь в Будущее! И как знать! Быть может, я там увижу такие чудеса, что у меня крылья вырастут». Ее привлекают «люди в больших массах», которые можно «толкать вперед», и это она называет «чувствовать жизнь».

Волькенберг весьма впечатлен максимами Вари, ее «ненасытным любопытством жизни» и, дабы закрепить ее права на наследство, предлагает: «Самое благоразумное было бы нам повенчаться». И внезапным ходом — женитьбой — спутал все карты незадачливых Лузгининых.

Известный критик Натан Эфрос логику мыслей счастливой наследницы решительно не понимает: «Смотреть, как совершается пересоздание истории, можно и без миллионов или нельзя и при миллионах, — отмечает он. — И потом, что же это за высокая цель — видеть, как трещат вековые устои, хотя бы даже видеть и не с заднего крыльца? И какие чудеса увидит Варвара, когда миллионами Волькенберга откроет дверь в будущее? И какие у нее могут вырасти крылья?» Ему вто-

рит советский театровед, охарактеризовавший «Наследников» как «пьесу, неясно написанную, в которой героиня «неизвестно во имя чего хлопочет». Важно понять, что ломка вековых устоев в России связывалась Хин именно с освободительной борьбой, что наиболее ярко показано в ее драме «Ледоход». И примечательно, что одним из эпизодов названной пьесы стал сбор пожертвований в поддержку рабочих. Понятно, что для того, чтобы «толкать вперед» — в революцию — «людей в больших массах», требовались внушительные финансовые вливания. Ну, как тут не вспомнить Савву Морозова, других жертвователей ассигнований на дело пролетарской борьбы. И хотя в монологе самой Вари нет непосредственных политических аллюзий (возможно, по цензурным соображениям), в драме «Наследники» упоминаются эсдеки и эсеры как действующие политические силы. Свободная Россия — вот то вождеденное Будущее, в борьбе за которое Варя, по-видимому, только и «чувствует жизнь».

Драма вызвала отрицательную реакцию литератора Власа Дорошевича, который назвал ее «шаблонная стряпня г-жи Хин». А вот историк театра Виктория Левитина рассматривает «Наследников» в ряду «еврейской драматургии», внесшей в русскую литературу важную национально-общественную проблематику. Об этом, кстати, свидетельствовал и журнал «Театр и искусство» (1913), утверждая, что «самые модные темы — еврейские темы. Самые хлебные пьесы — пьесы с еврейской начинкой».

На премьере «Наследников» не обошлось без инцидента. Журнал «Театр» сообщил: «Скандал в Малом театре на представлении пьесы Хин „Наследники“... Тенденция автора пьесы не понравилась братьям Прохоровым [владельцам прохоровской мануфактуры. — Л. Б.]. Вооружившись свистками и сиренами и заняв по купонам верхние места, при первом появлении на сцене Александра Южина-Волькенберга они устроили грандиозную обструкцию со свистом, гиканьем и улюлюканьем». Полиция вывела дебоширов из зала, и спектакль продолжился при горячем одобрении публики. Но в правой прессе появились статьи в поддержку хулиганов, изобличающие театр в отсутствии патриотизма. Газета «Земщина» поместила хулигельную статью под названием «Жидовская пьеса». Другая газетка «Голос Москвы» в заметке под заглавием «Стыдно!» возмущалась тем, что «гнусная пьеса, оскорбительная для русских, ставится на императорской сцене, старательно разыгрывается русскими актерами, а со стороны публики, терроризированной или развращенной инородческой левой печатью, не встречает или почти не встречает протеста». Им вторили и «Московские ведомости», которые возмущались пьесой «русской еврейки Хин, проникнутой фанатической ненавистью к русским аристократам». «Наследники» сразу же вошли в проскрипционный список «Союза русского народа». Шовинисты не уставали повторять, что «на сцене вместо православия, самодержавия и русской народности воцарились безбожие, безвластие, космополитизм», указывая на «вопиющий» пример: вместо «Ильи Муромца» идут «Мирра Эфрос» и «оскорбляющие русское национальное самолюбие „Наследники“ Р. Хин». И сетовали, что «театры не желают ставить, а газеты — рецензировать антисемитские пьесы, и, несмотря на усердные хлопоты крайне правых организаций, они остаются без сцены».

Все это возымело действие, так что Московский отдел Всероссийского театрального союза в письме от 5 ноября 1911 года обращал внимание директора Императорских театров Владимира Теляковского на то, что «Наследники» представляют собой «сплошную злостную карикатуру на родовитую русскую семью, с одной стороны, и идеализацию еврейства в лице банкира, с другой стороны». Это привело к тому, что вскоре пьеса была запрещена. Уже 21 ноября 1911 года Рашель Хин писала во

Францию Максимилиану Волошину: «Пьесу „Наследники“ сняли в Малом театре по приказу из СПб. (под нажимом Союза русского народа). Нельзя ли устроить ее на какой-нибудь парижской сцене? Не возьметесь ли за хлопоты о переводе и постановке?» О дальнейшей судьбе «Наследников» — последней драме писательницы — сведений нет. В 1913 году Хин писала: «...„Наследники“ были сняты за оскорбительное изображение дворянства!»

Впоследствии, уже после Февральской революции, в Москве в 1917 году будет напечатано третье издание пьесы Хин «Ледоход», на сей раз под именем автора и с подзаголовком: «Драма из эпохи освободительного движения 1905 года». Она вышла в типографии знаменитого издателя и культуртрегера Анатолия Ивановича Мамонтова (1839—1905), в то время принадлежавшей его сыну, Михаилу Анатольевичу (1865—1920), человеку оппозиционных взглядов, печатавшему газету «Борьба», орган лекторской группы ЦК РСДРП, а также труды Карла Радека и «Известия Совета рабочих депутатов». Впрочем, это издание пьесы Хин выглядело весьма неказисто: блеклый машинописный текст, напечатанный литографским способом.

После Октябрьского переворота и прихода к власти большевиков оригинальных художественных произведений Хин в печати уже не появлялось. Диктатуру пролетариата она, при всей своей левизне, по-видимому, не приняла и в советскую культуру не вписалась, хотя числилась во Всероссийском Союзе писателей — профессиональной писательской организации для литераторов «старой» (дореволюционной) формации, организованной в 1920 году (и просуществовавшей до 1932 года). Состояла она и членом Общества любителей российской словесности при Московском университете. Известно, что 2 августа 1921 года Рашель Мироновна была командирована Наркомпросом РСФСР в Германию «для изучения детской литературы и детского искусства и лечения», да и на родине аттестовалась «детской писательницей». Но единственная ее публикация в Совдепии — это переиздание драмы «Под сенью пенатов» под новым заглавием «Дурная кровь (На баррикады)», выпущенной в 1923 году издательством «Содрабис», как значилось на титульном листе, «для театра подростков». Акцент пьесы был тем самым несколько смещен, а название стало звучать более революционно и наступательно. Но опять-таки то была литография с машинописи, отпечатанная самым малым тиражом.

Драматургическое творчество Рашели Хин — безусловное явление в русской культуре. Она точно чувствовала пульс времени и именно в драме — наиболее конфликтном виде литературы — воплотила борения молодого поколения с ошестинившейся реакцией, требования угнетенных и обездоленных, настроения и чаяния героев первой русской революции. Созданная ею галерея оригинальных художественных портретов представляет уникальный срез российского общества, схваченный на самом переломе истории.

ДОМ ЗИНГЕРА

Гостиная. Русское безрубежье. Юбилейный выпуск. 1995—2015.
HC Publishing Pfladelphia, 2015. — 322 с.

Идея журнала «Гостиная», тематического журнала, в котором произведения авторов складывались бы в беседы художника с миром, родилась в среде русской диаспоры в Америке, у тех, кто желал оставаться в своей культуре, развивая ее в слове и образе, чувствовать себя причастным к своей духовной родине. Среди инициаторов

этого начинания были и профессор Пенсильванского университета Арон Каценелинбойген (1927–2005), советский и американский экономист, философ и публицист, и поэт, прозаик Вера Зубарева, ныне его главный редактор. Вера Зубарева констатирует, что на смену эпохи русского зарубежья пришла эпоха русского безрубежья: новые информационные технологии позволили отринуть географические границы и вступить в интеллектуальное и творческое общение вне зависимости от места проживания. Журнал выходит в сети и печати, в его редакционную коллегию входят литераторы США, Австралии, России, Эстонии, Украины. Первый номер увидел свет в 1995 году. В этот юбилейный выпуск включены произведения авторов из Австралии, Америки, Германии, Израиля, России и Украины: проза и поэзия, критика и эссеистика, статьи литературоведческие и философские, воспоминания и интервью. Философско-религиозным темам посвящены работа А. Каценелинбойгена «Об одной из возможных интерпретаций Горы» и фрагмент из книги культуролога М. Эпштейна «Религия после атеизма. Новые возможности теологии», где автор полемизирует с Ницше и Шопенгауэром по вопросам христианства. Небольшие поэтические подборки 28 поэтов искусно выполнены, давая представление о разных гранях таланта авторов и многообразии волнующей их тематики. Детство, семья, частная жизнь, мужчина и женщина — вот основные темы прозаических произведений. Не обошлось и без исключения: неоднозначный, заостренно-резкий рассказ Нины Большаковой «Похороны мастера татуажа», где события на Донбассе даны через призму восприятия одной русско-украинской семьи. Отрадно, как оперативно реагируют авторы журнала на появление интересных и значимых книг в Петербурге. Так, среди разноплановых, небольших по объему, но весомых критических статей есть и отклик Г. Яропольского на сборник «Певчий ангел» (составитель Т. Ивлева, СПб.: Алетейя, 2015), в этом сборнике представлены произведения 29 поэтов XXI века, проживающих в России и в странах ближнего и дальнего зарубежья. В журнале все время рождаются новые идеи, так появилась идея отметить поэтов, являющихся главными редакторами толстых печатных и сетевых журналов, организаторов крупных литературных фестивалей, многие годы сочетающих участие в литературном процессе с творчеством, благодаря этим подвижникам были услышаны голоса многих достойных писателей. В течение 2015 года о каждом из них в журнале «Гостиная» появлялись — в разных формах — публикации. В этом номере помещено интервью с Натальей Гранцевой, главным редактором журнала «Нева», отметившего в 2015 году свое 60-летие. Другое интервью, с литературоведом Евгением Витковским, посвящено русской литературе Австралии, ведущей свое начало от Бальмонта, побывавшего на пятом континенте в 1912 году. Малознакомые страницы истории, малознакомое нам современное состояние русской литературы в Австралии. И все-таки одна из наиболее волнующих тем этой «Гостиной» — тема войны, ведь в 2015 году весь мир праздновал победу над фашизмом. Уже нет в живых большинства ветеранов, но остались их дети. Они бережно сберегли дневники родителей, их записки, свежи и их собственные впечатления. Благодаря этому появились в журнале «Страницы памяти: к 70-летию Победы». Отрывки из военных дневников младшего лейтенанта Григория Литинского, с октября 1943-го по январь 1944-го воевавшего под Витебском. Отрывок из книги Прасковьи Суровой (1933–2006) — «Детство, опаленное войной». Ей, девочке из большой крестьянской семьи, было восемь лет, когда началась война, но она запомнила и отступление советских солдат, и жизнь в оккупации, и казнь партизанки, и концлагерь в Эстонии, куда из родной деревни угнали ее семью. И не забыть ей освобождение из барака, заминированного убегающими от наступающей советской армии немцами. Услышав

звук моторов мотоциклов, запертые в бараках люди стали кричать. «Наши поняли, что в бараках находятся люди, и, выломав двери, выпустили нас на свободу. А мы, обессиленные, ползли к ним, целовали их сапоги». О своем отце, лейтенанте Златкине, неоднократно попадавшем в нештатные ситуации и трижды избежавшем расстрела, вспоминает Галина Климова. Памяти отца (1923—1999), Кима Зиновьевича Беленковича, посвящена публикация Веры Зубаревой. Из потрепанных дневников 18-летнего курсанта морского училища, попавших к ней уже после смерти отца, она узнала, как в его юности переплелись любовь и война. Когда «весь керченский канал был освещен прожекторами и взрывами снарядов. В воздухе стоял сплошной вой от летящих снарядов, осколков, свистящих и рвущихся бомб. Мы были в центре этого содома. В ста-ста пятидесяти метрах упали и разорвались в воде три бомбы, которые легли параллельно правому борту. Они, вероятно, предназначались для нас», — юношу волновали превратности любви. О своем видении войны, победы пишет, перемежая прозу и стихи, Ефим Бершин. поэт, прозаик, публицист: «Моя война. Моя победа». «О войне я узнавал, прячась под столом, потому что за столом мне еще не было места. За столом сидел отец. За столом сидели еще молодые, несколько лет назад вернувшиеся с фронта мои дядьки и соседи. ... На пять человек почему-то приходилось восемь ног». «Отец, конечно, был сталинистом. И это несмотря на то, что успел отсидеть в сталинском лагере. Почему? В молодости я, уже все зная, все прочитав, спорил с ним до хрипоты, до полного разрыва, до слез матери. А потом перестал. Зачем? Это его жизнь. А еще позже задумался: может быть, они знают что-то такое, чего мы не знаем? Чувствуют что-то такое, чего нам почувствовать уже не дано? ... И что делать, если я всю сознательную жизнь ненавижу Сталина, но людей за нашим столом, которые пели „Выпьем за Родину, выпьем за Сталина“, просто обожаю?» Так на страницах журнала герои очерков вливаются в огромный бессмертный полк, прошедший по планете в мае 2015 года.

Игорь Ефимов. Ясная Поляна. Роман в диалогах. Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2015. — 336 с.: ил.

Роман о Льве Толстом в жанре телевизионного сценария. Текст поделен не на главы, а на акты. Каждому акту предшествует «видеоряд», краткое описание места действия, а это не только Ясная Поляна, но и Кавказ, и Москва, и Самарская губерния, но все-таки главное — Ясная Поляна. Эпизоды в актах разделяют «сноски за кадром»: выдержки из Евангелия, афоризмы философов и писателей, поэтические строки. Среди более семи десятков действующих лиц — сам Толстой и его домочадцы; близкие люди — Фет, Чертков, Н. Федоров; деятели культуры — Крамской, Ге, Чайковский, Тургенев, Горький, Стасов... Последователи и оппоненты. Охвачен огромный период — более полувека, с середины 50-х до 1910 года; идет перелистывание страниц долгой жизни — самые важные, с точки зрения автора, эпизоды, мысли, диалоги. В «Необходимых предуведомлениях» к книге Игорь Ефимов пишет: «В этом сценарии практически нет ни одного слова, сочиненного автором. Все монологи, реплики, комментарии и диалоги взяты из писем, дневников, воспоминаний супругов Толстых, их детей и родственников, их друзей и знакомых, навещавших Ясную Поляну в годы 1860—1910, изредка — из прозы Л. Н. Толстого. Существует вполне оправданное предубеждение против „копания в личной жизни“ великих людей. Однако щепетильный читатель/зритель должен иметь в виду, что граф и графиня Толстые с самого начала своей совместной жизни взяли за правило не иметь никаких тайн не только друг от друга, но и от широкого круга своих

знакомых и современников. Они давали друг другу читать свои дневники и письма к другим лицам, при жизни открывали доступ к этим материалам и своим детям, и родственникам, и биографам. В начале XX века Софья Андреевна предприняла долгий труд по переписке начисто дневников своего мужа, чтобы еще при его жизни сдать их в Исторический музей. Сам Лев Николаевич давал своей дочери Маше читать его дневники и делать из них выписки. В какой-то момент часть дневников была отдана для хранения и использования В. Г. Черткову. Все это свидетельствует о том, что Толстые *хотели быть услышанными*. Они верили, что их душевный опыт поможет людям открыть какие-то важные тайны нашего бытия на Земле. Вглядываясь в их жизнь, мы не должны чувствовать себя припавшими к замочной скважине, а наоборот — приглашенными в зрительный зал, где на сцене разыгрывается реальная драма их жизни, достигающая порой накала — и безысходности — греческих трагедий». Реальные драмы — это в первую очередь непростые отношения супругов, мужчины и женщины, мужа и жены; это конфликт духовных исканий Толстого и его попыток воплотить в жизнь свои идеи и прагматичных хлопот Софьи Андреевны. На ней одной лежали все хозяйственные и финансовые заботы, проблемы детей — а она родила тринадцать, из них пять умерли в детстве — больших и маленьких. Порой столкновения интересов, разнонаправленность устремлений супругов приводили к суицидальным попыткам Софьи Андреевны, к попыткам одного из супругов уйти из дома. К реальной драме двух людей добавилась со временем еще одна — отцы и дети. Многомерен Лев Толстой. Сергей Львович, сын: «Мне иногда кажется, что в папá уживается целая толпа самых разных людей. Тут и гордый аристократ, и смиренный художник; и русский офицер-патриот, и либеральный пацифист; и землевладелец, и ненавистник частной собственности; и страстно верующий, и враг церкви; и художник, и враг искусства; и охотник, и вегетарианец. Читатели восторгаются многообразием характеров в романах Толстого. ...Но мы-то знаем, что все это — галерея блистательных автопортретов». Илья Львович, сын: «Бедная мамá — каково ей ладить со всеми этими непримиримыми персонажами». Многогранен Лев Толстой, но многогранна и Софья Андреевна, которая как-то замечает: «Я могла бы насчитать полдюжины героинь Толстого, в которых находили мои черты». Не случайно в названиях актов — имена героинь произведений Толстого: в каждом из этих персонажей есть частичка Софьи Андреевны, хотя прототипов гораздо больше, и не единожды на страницах книги обсуждается, кто с кого списан, какие имевшие место события отражены в произведениях Толстого. Обсуждаются и произведения Толстого, отклики в прессе на их публикацию, реакции участников литературных чтений. В диалогах находят отражение все важнейшие события полувековой истории России, такие, как Польское восстание 1863–1864 годов, смерть Александра II, война с Японией, крестьянские волнения 1905–1907 годов и реакция на них Толстого и его окружения. Отражена и деятельность Толстого: помощь голодающим, помощь духоборам, яснополянская школа, его занятия крестьянским трудом, к которому он приучал и домочадцев. Но Игорь Ефимов не только большой писатель, подлинным героем прозы которого, по мнению критика Я. Гордина, всегда была страсть, но и философ. Искания христианской души, искания веры, борьба с сомнениями стали главным нервом в его романе «Пелагий Британец» (первая публикация под названием «Не мир, но меч», журнал «Звезда», 1996 год). Религиозные искания Толстого, его толкование Евангелия, мировоззрение, отношение к коренным вопросам бытия, к искусству, литературе, науке — один из важнейших нервов и этого романа. У Толстого в книге сильные оппоненты: Фет, Танеев, врач Снегирев, убедительно доказывающие несостоятельность воззрений Толстого. Но самый сильный удар по его

взглядам, наверное, наносит сама жизнь, как, например, изуродованные судьбы детей, в первую очередь дочерей и племянниц, ставших жертвами его идей, его отцовской ревности. Книга скандальная, в ней страница за страницей разоблачается несостоятельность, нежизнеспособность идей Толстого. Так, когда Софье Андреевне нужна срочная операция, чтобы спасти ее жизнь, Толстой не в силах принять решение, с одной стороны, считая, что надо подчиниться промыслу Божьему, с другой — мучается тем, «что где-нибудь в деревне лежит сейчас баба с такой же кистой и никакой столичный доктор к ней не примчится». Именно Софье Андреевне присущ позитивный, здравый смысл, и с этих позиций она судит своего супруга: «Мы люди простые, односторонние, а он — вековое явление».

Татьяна Белопухова. Шишка. Екатеринбург: Центральная типография, 2014. — 178 с.

Главная героиня — маленькая девочка Женька, довольно послушная, но ее безмятежное детство осложняли страсть к путешествиям и опасные забавы. То сбежит из детского сада, то начнет кидаться камнями с мальчишками стенка на стенку, то захочет прокатиться на поросенке или схватить на глазах у важно шествующих на водопой крылатых чудовищ одного из желтых пушистых гусят. У автора хорошо развито чувство юмора, комичные переделки, в которые попадает маленькая Женька, достойны ставших детской классикой приключений героев Н. Носова. Татьяна Белопухова вместе со своей героиней проходит по детской тропе познания: от первого воспоминания девятимесячной крошки до ее первого школьного дня. Праздником становился поход в парк с мамой, которая точно знала, как надо правильно гулять. Или когда бабушкины руки раздвинули для нее густую траву и показали веточку земляники. Полезными — уроки отца: давать сдачи, если тебя обижают. Случались неприятности: гусь поклюет, клещ в попу укусит, маму в бане потеряет. Горе придет, когда умрет любимый старший брат, и она побежит за гробом с криком «не уроните Шурика», а потом тяжело заболит и мама. И маленькая Женька будет превращаться из папы-маминой в бабушки-дедушкину и обратно, жить то на Урале, то на Кубани, быть то городской модницей в платьицах с рукавами фонариком, то бабушки-дедушкиной внучкой в бордовых штанах с начесом и в шерстяных носках. Время действия — шестидесятые годы прошлого века, уже почти исчезающая из памяти жизнь. «Вообще шестидесятые годы — время великих переездов. Народ легко снимался с места, ехал в новые неизведанные края. Романтика и строительство новой жизни были не пустыми словами. Поднимали целину, строили Братск, ехали в тайгу „за туманом и запахами тайги“. О деньгах говорить тогда считалось стыдным, хотя их всегда не хватало». Т. Белопухова воскрешает атмосферу тех лет, любовно описывает быт уральской деревни, ее стариковско-детский рай, быт кубанского совхоза-миллионера, мастерски воссоздает детали. Что такое детский лифчик и как с ним справляться. Какое значение имели галоши — залог уважения к себе и людям. Как выглядела баня городская и баня деревенская, черная, как проходили банные процессы. «Тогда еще не придумали шампуни и дезодоранты, не было губок для мытья посуды и тела, да много чего не было... Мылись мылом и лыковыми мочалками. Мыло было разное: земляничное, например. Обертка у него белая, по ней вьются зеленые земляничные веточки с красными ягодками. Само мыло розового цвета и сильно пахнет земляникой. Или, вот — мыло „Кармен“. на обертке нарисована голова красавицы испанки вполборота. Тоже

розовое, но потемнее, сладко-пахучее, но чем пахнет — непонятно. А вот „Хвойное“ — оно, конечно, зеленое, и пахнет понятно чем — елкой». Шестидесятые годы — время, когда дети играли друг с другом, а не с гаджетами. Когда еще молоды были ветераны Великой войны, отец-офицер и его фронтовые друзья. Еще хорошо помнило старую жизнь дореволюционное поколение, и бабушка, родившаяся на Урале в самом начале XX века в богатой старообрядческой семье, рассказывает внучке Женьке о былом житии: о крепком двухэтажном доме из лиственницы, о женских занятиях: стряпали, пироги, куличи да шаньги пекли, кружева плели, ткали, вышивали, шили. Органично маленькая девочка приобщается к семейным корням. Прабабушкины платья, среди которых и свадебное платье из английского шелка, вытканное вручную муаровыми цветами, в котором прабабка венчалась в 1887 году. Удивительная еда, приготовленная в русской печке. Трудовые обычаи староверов. Старинный уральский диалект: извадила, разболочайся, сущали, качули. «Эх, коли я не молодес, то и свинья не красависа». Повествование идет неспешно, как неспешна и детская жизнь: с утра «по радио неслись бодрые марши», и «все находилось на своем месте — хорошее было хорошим, стыдное — стыдным, правильное — правильным — поэтому жизнь была простой и понятной». В поле зрения автора — вся Женькина ойкумена: дом, улица, игры, занятия, родственники и соседи — их судьбы и характеры. Повествование включает в себя многое: и детское восприятие жизни, и рассказ о времени и подлинных семейных ценностях, взаимопомощи и любви, о том, как в жизни человека появляется чувство родины, большой и малой. А еще — это книга о том, как важно каждому ребенку иметь семью, чтобы мама гладила по голове, а папа качал на коленях, приговаривая: «Ехали мы, ехали...»

Петер Слотердаик, Ганс-Юрген Хайнрихс. Солнце и смерть. Диалогические исследования / Пер. с нем., примеч. и послеслов. А. В. Перцева. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2015. — 608 с.

Петер Слотердаик (р. 1947) — один из самых известных современных философов Германии. Первой его работой, принесшей ему славу, стала «Критика цинического разума» (1983 год), где он выделяет цинизм как особую форму «ложного сознания», полагая, что именно цинизм стал подлинным символом современности. Самой известной его работой остаются «Сферы», трехтомный труд, вышедший с 1998-го по 2004 год. Посвящен он анализу концепции сферы в западноевропейской интеллектуальной культуре. В настоящем издании о причинах успеха и востребованности немецкого философа в объемном послесловии «Сферология Петера Слотердайка: Запад сто лет спустя после заката» размышляет философ и переводчик Александр Перцев. «Слотердаик обсуждает темы, что у всех на слуху. Глобализация, генная инженерия, вред, наносимый окружающей среде, международные и межнациональные конфликты — темы, которые широкая публика вчера встречала в средствах массовой информации, сегодня уверенно опознает в книгах Слотердайка. Тот, правда, копает куда глубже, чем газеты и телевидение, но при этом — нескучно. Слотердаик подводит под актуальнейшие из тем теоретическую основу, но излагает теорию легким и понятным непрофессионалу языком. Он проводит нетривиальные исторические изыскания — и прослеживает тенденцию, которая провела сквозь века к нынешнему состоянию». Камнем посреди бурного потока общественного мнения называет А. Перцев Слотердайка, камнем, о который «этот поток разбивается и взлетает целой тучей брызг, создавая радужный ореол». «Петер Слотердаик — мыслитель протеста. Он никогда не старался быть

в струе. Наоборот, он всегда был вне ее. Он обосновал эту свою позицию в книге, которая предлагается вниманию читателя. Он написал, что ныне единство общества основывается не на коллективном труде, как в XIX веке, поскольку таковой прекратился, став коллективным виртуально, а на одинаковом реагировании всего общества на скандальные известия, которые для тестирования монолитности сообщества время от времени публикуют средства массовой информации. ...Слотердаик не просто противостоит всеобщему мнению. Он переоценивает ценности — самые что ни на есть фундаментальные, — предварительно „реконструировав“ их с размахом и большим вкусом. ...Когда все вокруг говорят, что мы достигли конца истории и вершины прогресса, Петер Слотердаик утверждает, что в нынешний цивилизованный мир пришла чума — просто она выглядит иначе, чем в Средние века. Это чума культурная. После нее мертвый человек продолжает ходить, осуществлять физиологическую жизнедеятельность и бурно теоретизировать в средствах массовой информации или на университетской кафедре. Но хороший диагност уже констатировал массовую гибель — а великий Майкл Джексон даже станцевал ее». А вот как описывает великую духовную чуму современного Запада сам Слотердаик: «Если вспомнить, что мы в 1960-е и 1970-е годы считали делом ближайшего будущего, чего, как мы полагали, вот-вот достигнем, если припомнить, какие открытия и прорывы предвещали тогда, то от сегодняшних отношений просто утрачиваешь дар речи: это уникальное отупление и оглушение, наподобие наркоза, неомещанство в социальной сфере, неосхоластика в теоретической сфере, наступление идиотизма в сфере массмедиа, злой рессентимент у старшего поколения, ставшее злым честолюбие у многих представителей молодежи; это время, лишенное духовности». Влияние на теории Слотердайка оказали работы М. Хайдеггера. М. Хоркхаймера, Т. Адарно. Как ученик Ф. Ницше, он непрерывно воюет с целым миром философов, в чем тоже идет вразрез с избегающей публичности академической, университетской философией. В какой-то мере, полагает А. Перцев, П. Слотердайка можно считать современным О. Шпенглером: первый описал «Закат Западного мира» в начале XX века, а второй описывает завершение этого процесса почти век спустя. П. Слотердаик констатирует, что ныне процесс духовного, культурного, творческого развития достиг финальной степени — глобализация близка к завершению, больше устремляться некуда. Мир стал единым и унифицированным. Природа не только покорена, но и почти убита, грядет великий экологический коллапс. Но люди спокойно и деловито готовятся к концу света, который в очередной раз обещали по телевизору. Непосредственный продолжатель Монтеня и Ницше, Слотердаик, несмотря на окружающую его духовную чуму, верит, что к победе над ней человечество приведет жизнерадостная философия. И в качестве примера обращается к «Декамерону» Боккаччо, который во время разгара чумы своими новеллами возвращал людям «право на веселость». Ведь есть предел, после которого душа человеческая уже не может выносить плохих новостей, когда-то вести о разгуле чумы, сегодня — беспросветный мрак в СМИ. Защита разума от враждебного и пагубного окружающего мира — в простых житейских удачах, в простых и хороших новостях. В этой книге диалог с известным немецким философом ведет мастер биографического интервью Г.-Ю. Хайнрихс. Слотердаик рассказывает о своем становлении, о путешествии в Индию в поисках гуру; дает остроумный обзор современного состояния философии и европейской ментальности; размышляет об актуальных мировых проблемах: развитии генных технологий, агрессивности массмедиа и их воздействии на сознание, о губительных последствиях глобализации. Отдельная глава посвящена главному философскому труду Слотердайка — «Сферам». Язык Слотердайка уникален. В нем профессиональный сленг представителей самых

различных областей знания чередуется с теологическими и философскими терминами, а затем вдруг совершается внезапный переход к жаргонным словечкам и американизмам, столь любимым СМИ.

Игорь Курукин. Жизнь и труды Сильвестра, наставника царя Ивана Грозного. М.: Квадрига, 2015. — 192 с. — (Исторические исследования).

Сильвестр (конец XV в.—ок. 1566) — русский церковный, политический и литературный деятель XVI века, протопоп Благовещенского собора Московского Кремля, с 1547-го по 1560 год ближайший советник царя Ивана Грозного, один из руководителей Избранной рады. Он участвовал в важнейших идеологических мероприятиях, направленных на упорядочение жизни московского государства, на оформление идеи «святорусского царства». С его именем связано создание выдающихся памятников литературы и искусства (Домостроя, Степенной книги, росписей кремлевских палат), выдающееся культурное событие XVI века — возникновение книгопечатания в Москве. Он собирал рукописные книги, способствовал созданию монастырских книжных фондов, покровительствовал иконописцам. И он — одна из наиболее загадочных и удивительных личностей эпохи Ивана Грозного. Мнения и выводы исследователей противоречат друг другу: о нем высказывались взаимоисключающие суждения, то как о выразителе интересов боярской оппозиции, то как о представителе торгово-посадских кругов; ему приписывали и близость к «нестяжателям», и связи с «иосифлянами»; его влиянием объясняли благотворные перемены в характере царя — и его же обвиняли в разжигании религиозного фанатизма... Отправным пунктом для многих историков с XIX века стала концепция Н. Карамзина, опирающаяся на переписку Грозного и Курбского. У Курбского Карамзин заимствовал описание внезапного появления Сильвестра в 1547 году перед испуганным пожаром и народным восстанием царем, историю «Избранной рады», историю падения и осуждения Сильвестра и Адашева. А также деление царствования Ивана IV на два периода: период правления Сильвестра и Адашева как время наивысших успехов во внутренней и внешней политике страны, образец сотрудничества царя с боярами; период опричного террора. Впрочем, сам Карамзин осторожно относился к этому источнику, никаких обобщений, основанных лишь на нем, не делал. Историк Игорь Курукин прослеживает сложившиеся историографические традиции в освещении деятельности Сильвестра, обращается к источникам. Это в первую очередь послания Сильвестра царю Ивану IV с осуждением распространенного среди приближенных царя «содомского греха» и об ответственности земных властей перед Богом за вверенное им «стадо»; казанскому наместнику князю Александру Горбатову — своеобразная программа на закрепление, усмирение и христианизацию завоеванного края: к неизвестному опальному о неотвратимости и справедливости наказания за прегрешения. Это и «Дело Висковатого» — комплекс материалов 1553—1554 годов о выступлениях главы Посольского приказа дьяка Висковатого против новых икон и фресок, выполненных под руководством Сильвестра: «Нам ся видит латинские ереси мудрование». Это и несохранившиеся, но уцелевшие в описаниях «изографа» С. Ушакова фрески кремлевской Золотой палаты, отражавшие идею богоустановленности и избранности русской самодержавной власти. Это и житие Ольги, значительного по объему произведения Сильвестра, своего рода особое вступление к «Степенной книге», ставшей попыткой систематического изложения русской истории от княжения Владимира Святославича до Ивана IV. По замыслу автора житие должно было объяснить и утвердить происхождение «корени

российских самодержцев» от Рюрика до Ивана IV. Утверждалась не только идея богоизбранности Руси, но и мысль о превосходстве национального русского «самодержавства» над Византией. И. Курукин сопоставляет точки зрения историков на события и на источники, выявляет противоречия, сопоставляет летописи, списки, уточняет редакции, а иногда и авторство, и время создания того или иного источника. Он исследует полную неожиданную взлетов и падений карьеру Сильвестра и его личные отношения с царем, с митрополитом Макарием. Освещает политическую деятельность Сильвестра в 40–50-х годах. И приходит к неортодоксальным выводам, отличным от распространенных в литературе представлений. А была ли вообще Избранная рада? Что подразумевал под этим понятием Курбский, а что — историки? И. Курукин ставит под сомнение утвердившуюся еще в дореволюционное время концепцию о принципиальном расхождении внешнеполитических планов царя и правительства Сильвестра и Адашева, якобы стремившегося к войне с Крымским ханством, в то время как Иван Грозный добивался выхода России к Балтийскому морю. В действительности Адашев и Сильвестр предпочитали дипломатическое урегулирование конфликта дальнейшему военному наступлению на Ливонию, развитие торговых связей, в которых были заинтересованы и новгородские купцы, и купцы по преимуществу немецкие, Риги, Дерпта, Нарвы. Сильвестр выступал и против дискриминационной политики ливонских властей по отношению к русским купцам. Мир не сложился — из-за нежелания Ливонского ордена идти на переговоры. Далекая история очень актуально ложится на день сегодняшней. Еще один «парадоксальный» с точки зрения исторического клише вопрос: а была ли опала Сильвестра и Адашева со стороны царя, или они принимали самостоятельные решения о своей судьбе? Ведь вопреки утверждениям Курбского Сильвестр не был сослан в Соловецкий монастырь, а постригся в Кирилло-Белозерский, куда давно делал крупные вклады. И возмущаясь позднее, в переписке с Курбским, «собацкой властью» своих советников, Иван IV не мог привести конкретных свидетельств «измены» Сильвестра, он поминал только его «отягочения словеная», «злые советы» и «утеснения» и возмущался тем, как можно «попу повиноватися». Классическая диссертация историка, написанная в 1981 году и изданная ныне отдельной книгой, — это увлекательное повествование не только о судьбе и деяниях выдающегося государственного деятеля середины XVI века, но и о сложной политически и духовно насыщенной жизни Российского государства той эпохи.

Публикация подготовлена
Еленой ЗИНОВЬЕВОЙ

*Редакция благодарит за предоставленные книги
Санкт-Петербургский Дом книги (Дом Зингера)
(Санкт-Петербург, Невский пр., 28, т. 448-23-55, www.spbdk.ru)*

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

ГРАД ИУДОВ В ГОРНЕЙ

Часть 1

Предисловие

Русские богомольцы стали посещать Святую Землю с того времени, когда Киевская Русь приняла святое крещение (988 год). По их рассказам узнал русский народ о Святой Земле. Известно, что в 1062 году Палестину посетил первый игумен Печерской обители Варлаам. Путешествовала в Иерусалим и правнучка равноапостольного князя Владимира св. Евфросиния, княжна полоцкая. В начале XII века святые места Палестины посетил Даниил, игумен Русской земли. Вот что он сообщал о граде Иудове: «Место это под горой, к западу от Иерусалима. В дом Захарии, в предгорье, приходила Богородица к Елизавете и целовала ее. Когда Елизавета почувствовала целование Марии (Богородицы), то взыгрался, радуясь, в ее утробе младенец. И говорит Елизавета: „Откуда пришла ко мне мать Господа моего? Благословенна в женах и благословен плод утробы твоей“».

В этом же доме родился Иоанн Предтеча. Ныне на этом месте построена церковь. При входе в церковь на левой стороне, под малым алтарем, находится небольшая пещерка, в этой пещерке и родился Иоанн Предтеча¹.

И сегодня с особым благоговением паломники посещают Горнюю, евангельский град Иудов, — родину Иоанна Крестителя и место встречи Пресвятой Девы с праведной Елисаветой. «Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету» (Лука 1:39–40). Сюда, в Нагорную страну, вскоре после Благовещения пришла из Назарета Пресвятая Дева Мария, поделиться радостью со своей родственницей, праведной Елисаветой, матерью св. Иоанна Предтечи о будущем рождении от Нее Спасителя.

Название Горней указывает на то, что местожительство праведных Захарии и Елисаветы лежало в горней части Иудеи (южная часть Палестины). Со времени завоевания Палестины мусульманами (VII век) это была арабская деревня Эйн-Карем, что в переводе с арабского языка означает «Источник в винограднике».

Поселение в Эйн-Кареме насчитывает около 4 тысяч лет — здесь есть остатки деревни ханаанейского периода. Вероятно, это место в самые древние времена служи-

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

¹ Хождение Даниила, игумена Русской земли // Книга хождений. Записки русских путешественников XI—XV вв. М., 1984. С. 233.

ло святилищем благодаря необыкновенной красоте и самой долины и источника, в ней находящегося. В X веке до Р. Х. поселение было захвачено царем Саулом и присоединено к Иудее.

Данное место принято сопоставлять с названным один раз у пророка Иеремии и еще раз в книге Неемии городом Бейт-ха-Карем (в русском синодальном переводе «Бефкарем»: «Бегите, дети Вениаминовы, из среды Иерусалима, и в Фекое трубите трубою и дайте знать огнем в Бефкареме, ибо от севера появляется беда и великая гибель» (Иеремия 6:1); «А ворота Навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Бефкаремского округа: он построил их и вставил двери их, замки их и засовы их» (Неемия 3:14).

Селение, где находится Горняя, живописно раскинулось по горной террасе, утопает в зелени виноградников и оливковых садов. Евангельский град Иудов упоминается в Библии, в книге «Иисуса Навина» в числе других городов, предоставленных «на горах» колену Иуды, одного из двенадцати сыновей праотца Иакова.

Традиция, указывающая на Эйн-Карем как место рождения Иоанна Крестителя, достаточно древняя. Греческий паломник архидиакон Феодосий, посетивший Святую Землю в 530 году, свидетельствует: «А от Иерусалима до города, где была Елисавета мать Иоанна Крестителя, 5 миль», что соответствует местоположению деревни. Существующая ныне традиция указывает в Эйн-Кареме на пещеру, где родился Иоанн Креститель (ныне над этой пещерой католический монастырь Рождества Иоанна Крестителя), на развалины дома Елисаветы и Захарии (над ними францисканская церковь Посещения, примыкающая к территории Горненского монастыря) и на святой источник, возле которого встретились Мария и Елисавета (над ним — ныне не действующая мечеть с невысоким минаретом). Пресвятая Богородица брала воду из этого источника, который источает воду и по сей день. В более поздних западных источниках это место называлось также Дом Захарии (*Domus Zachariae*) или Св.-Иоанн-в-Горах. По «нагорной стране» в русских источниках деревня называлась Горняя.

Селение Эйн-Карем до 1948 года было арабской деревней, но в 1961 году присоединена к Иерусалиму. Сегодня деревня Эйн-Карем (или, как ее называли в XIX веке, Айн-Карим) находится в пределах муниципальных границ Иерусалима. Она отстоит примерно в девяти километрах к юго-западу от Иерусалима. Центр деревни является самой нижней точкой Иерусалима, находясь на высоте 650 метров над уровнем моря, в долине, широко открывающейся на север и запад и ограниченной с юга довольно крутым склоном горы Ора. На этом склоне, к югу от центра деревни, и построен Горненский монастырь. В среднем его здания расположены на высоте в 700 метров над уровнем моря, самое высокое — башня Антонина — на высоте 744 метра.

По древнехристианскому преданию, св. царица Елена повелела воздвигнуть здесь храм, остатки которого сохранились до настоящего времени. На территории монастыря находится одна из колонн древнего храма, возможно, византийского периода. Это предание подтверждает еще в VI веке (530 год) греческий паломник архидиакон Феодосий, говоря о существовании здесь храма².

Сохранилось предание, что Святое Семейство на обратном пути из Египта оставалось на одну ночь в роще, недалеко от Горней. Здесь же Иосиф, услышав, что Архелай царствует во Иудее, вместо Ирода, отца своего, получил повеление во сне удалиться в пределы галилейские (Мф. 2, 22) и поселился в Назарете.

Со времен крестовых походов на родине Иоанна Крестителя, как и в других местах Святой Земли, господствовали католики. В 1507 году на месте, где сейчас находится Горняя, было несколько домов, а вскоре возникла деревня, в которой в XVIII веке насчитывалось около 200 домов. Положение христиан, живущих

² Град Иудов в Горней Горненская женская обитель в Иерусалиме // Духовная нива. М., 2000. С. 7–8.

в селении, было нелегкое, так как фанатичные мусульмане при всяком удобном случае старались подчеркнуть свое господствующее положение; подвергали оскорблению религиозные чувства христиан и оскверняли их святыни. Окончательно утвердились францисканцы в Эйн-Кареме при Людовике XIV, усердием которого был восстановлен монастырь, а при нем построен собор. К середине XIX столетия францисканцы владели в Эйн-Кареме достаточно обширными земельными угодьями и активно проводили свою миссионерскую деятельность среди арабского населения³.

Русский участок в Эйн-Кареме (1871 год)

В 1865 году начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме был назначен архимандрит Антонин (в миру Андрей Иванович Капустин), всесторонне образованный ученый, скромный и бескорыстный труженик, беззаветно преданный делу Церкви.

Все 30 лет иерусалимского периода своей жизни он активно утверждал положение русских на Святой Земле. Архимандрит Антонин обладал разносторонними научными интересами, проводил раскопки, изучал древние рукописи и монеты, наблюдал за звездами из обсерватории, оборудованной им в здании РДМ в Иерусалиме. О. Антонин, как ученый, историк и археолог, выявлял не занятые инославными конфессиями священные места, исследовал их библейское значение, проводил археологические раскопки и затем в сложных условиях делал ценные приобретения. Ему Россия обязана тем, что в 1870-х годах в селении Эйн-Карем была основана женская Горненская обитель.

Православные богомольцы, приходившие в горный град Иудов для поклонения, претерпевали много невзгод от неимения здесь какого бы то ни было приюта, так как католики и местные арабы-мусульмане были недружелюбно расположены к православным христианам и негостеприимны⁴. Члены Русской духовной миссии в Иерусалиме были озабочены рассказами о бедственном положении бывших в этих местах русских паломников, не имевших где главу подклонить и толпившихся у ворот католического монастыря Св. Иоанна Предтечи, куда, по статуту этого монастыря, лица женского пола не допускались⁵.

Да и сам начальник Русской духовной миссии архимандрит Антонин (Капустин) свидетельствовал об этом в своих записках. «Налево по ту сторону сплошь зеленеющей долины на подгорье белеет куча зданий, — описывал Горнюю архимандрит Антонин в 1870 году, направляясь из Иерусалима на Синай. — Восточная оконечность занята латинским монастырем Рождества Предтечи, выстроенным на месте дома Захарии, где и родился „в рожденных женами болий“. На западном краю селения другая группа зданий знаменует собой место встречи Божией Матери с Елисаветой и трехмесячного пребывания у нее, зовомое католиками просто и кратко: Magnificat. Припоминаю минуты, проведенные нами в Горней, куда мы тоже со тщанием ехали за неделю пред тем. Дорогое по священным событиям место это совсем олатинено. У православных нет там ни церкви, ни дома, ни клочка земли. Земля-то, правда, есть, и занимает видное место, состоит из сплошной скалы и украшается русским именем, имеет хозяев и ждет прихода их много лет»⁶.

³ Там же. С. 8—9.

⁴ Анисимов Александр, свящ. Путевые записки русского пастыря о священном Востоке. изд. 2, ч. 1. СПб., 1899. С. 151.

⁵ Ковальницкий А., прот. Из путешествия в Святую Землю. СПб., 1886. С. 99.

⁶ Антонин (Капустин), архим. Из записок Синайского богомольца. К., 1871. С. 11.

Как следует из содержания этих строк, о. Антонин уже приобрел здесь небольшой участок земли, примыкавшей к тому месту, где, по преданию, св. Елисавета приветствовала пришедшую к ней Матерь Божию⁷. Но, как с сожалением свидетельствовал о. Антонин, «я боюсь, что эта „неплоды нерождающая“ ничего не дожидется и никогда „не возвеселятся о чадах многих“. Мне видится в воображении совсем иная местность, имущая мужа, и потому чадородная паче пустыя»⁸.

Приобретение святых мест являлось важной стороной деятельности русских в Палестине. Русские явились на Восток позже других, когда все уголки, связанные с земной жизнью Христа, уже были заняты представителями инославных исповеданий. Из-за приобретения этих мест происходила упорная борьба, но начальнику Русской духовной миссии удалось, даже не имея в своем распоряжении больших материальных средств, купить у арабов многие участки земли, дорогие по евангельским воспоминаниям для сердца верующего человека⁹.

В те годы на территории селения Эйн-Карем активно действовал католический миссионер Ратисбон. Благодаря умелой организации и материальным средствам он скупал участки земли арабов, на которых затем были построены часовня и другие здания. Он также начал вести переговоры о присоединении к католическим владениям участка земли, примыкающего к развалинам дома праведных Захарии и Елисаветы.

Этим участком владел турецкий подданный араб-католик Ханна Джильяд (в других русских документах — Джелль-ляд), ранее служивший переводчиком (драгоманом) во французском консульстве в Иерусалиме. Впоследствии, однако, он поссорился с консульством и перебрался в Эйн-Карем, где и жил в своем доме. Между тем Ратисбон хотел приобрести его участок, чтобы соединить его с загородным домом св. Елисаветы. Ханна Джильяд запросил с Ратисбона за свои владения 200 000 франков. Но Ратисбон нашел эту цену слишком высокой, надеясь, что владения драгомана, рано или поздно, не уйдут из рук католиков.

О. Антонин не оставил без внимания ситуацию. Будучи зол на католиков, араб предложил Русской миссии свое владение за 70 000 франков. Переговоры велись тайно, сделка готовилась в секрете. Для сбора этой суммы в России был создан специальный комитет, причем решающая роль в этом деле принадлежала министру путей сообщения и члену Государственного совета П. П. Мельникову.

В октябре 1869 года П. П. Мельников совершил путешествие по святым местам Палестины в сопровождении архимандрита Антонина. В ходе этого паломничества он проникся глубоким уважением к личности начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме и к его плодотворной деятельности. По его словам, он вывез из этого путешествия «столько утешительных для души впечатлений и столько приятных воспоминаний, большей частью благодаря радушному приему во Святом Граде о. архимандрита Антонина»¹⁰. П. П. Мельников выразил желание сделать на Святой Земле какое-либо доброе дело, и о. Антонин просил его содействовать приобретению земельного участка в Горней.

Вернувшись в Россию, П. П. Мельников приложил все усилия, чтобы собрать необходимую сумму на это святое и полезное дело. Своими личными связями в выс-

⁷ Русские владения в Святой Земле // Сообщения Православного Палестинского Общества, т. 1, декабрь 1887. СПб. С. 185.

⁸ Из записок Синайского богомольца. С. 11. Цит. по: Дмитриевский А. А. Горненская русская женская община во граде Иудове (близ Иерусалима). Пг., 1916. С. 1.

⁹ Ладинский А. П. Путешествие в Палестину // Путешествия в Святую Землю. Записки русских паломников и путешественников XII—XX вв. М., 1994. С. 235.

¹⁰ Дмитриевский А. А. Горненская русская женская община во граде Иудове (близ Иерусалима). Пг., 1916. С. 2.

ших правительственных и финансовых сферах он оказывал о. Антонину незаменимые услуги.

«Делом приобретения места в Горней, — писал он о. Антонину 10 мая 1870 года, — я не переставал заниматься. Надеюсь *выразить* моим знакомым из богатых людей и добавить, что по настоящую минуту имею подписку на 22 тысяч рублей серебром». «По прибытии из заграницы я поспешил, — пишет П. П. Мельников в письме от 10 октября того же года, — распорядиться собранием денег, подписанных на приобретение места в Горней града Иудова»¹¹.

Имена подписавшихся и сколько каждый пожертвовал, П. П. Мельников сообщил архимандриту Антонину в письме от 22 октября 1870 года. Вот список этих благотворителей: Н. Журавлев, купец 1-й гильдии, 2000 руб.; братья Елисеевы, купцы 1-й гильдии, 1000 руб.; братья Полежаевы, купцы 1-й гильдии, 1000 руб.; С. Поляков, купец 1-й гильдии, 1000 руб.; П. И. Губонин, купец 1-й гильдии, 4000 руб.; А. Варшавский, купец 1-й гильдии, 3000 руб.; А. А. Марк, купец 1-й гильдии, 1000 руб.; М. Горбов, купец 1-й гильдии, 500 руб.; А. Гладин, купец 1-й гильдии, 1000 руб.; А. Бусурин, крестьянин, 200 руб.; К. Ф. фон-Мек, статский советник, 5000 руб.; Н. Путилов, действительный статский советник, 1000 руб.; А. Казаков, отставной генерал-майор, 1000 руб.; графиня Перовская 125 руб.¹² В этом перечне значатся владелец металлургических заводов в Санкт-Петербурге Н. И. Путилов, владельцы известных гастрономов братья Г. П. и С. П. Елисеевы, К. Ф. фон Мекк и целый ряд других известных в России личностей.

Пересылая собранные средства из Санкт-Петербурга в Иерусалим, П. П. Мельников призывал о. Антонина действовать осторожно, дабы облюбованный участок земли в Горней не ушел из его рук. В письме от 20 ноября 1870 года он советует о. Антонину: «Нам благоразумнее было бы ограничиться покупкой одного двухэтажного дома с такой частью сада, которая будет соответствовать нашим денежным средствам. Лучше иметь менее просторное владение, но иметь средства приспособить его для удобного приюта и оградить, нежели захватить большой объем, да ожидать, пока будет возможно им воспользоваться»¹³.

Из дневников архимандрита Антонина (Капустина). Переговоры о приобретении участка в Горней (1870 год)

28 октября. Вечером писание статьи и искание плана домов Ханны Карло, имеющих поступить в русское владение.

29 октября. Взяли путь на Колонию, а от нее повернули прямо к Горней. Дорога эта во всех отношениях лучше т. наз. прямой. Только при подъеме в Айн-Карим представляется трудность. Поклонились месту Magnificat и отрекомендовались г-же Карло. Осмотрели сперва большой дом, потом перешли в меньший, угощены были там кофе, проведены по границе владений оного, закусили на террасе ровно в полдень и потом предприняли обход всех владений почтенного драгомана французского консульства. Всего купить не придется, а что именно выбрать, не вдруг решишь. Западная половина во всех отношениях лучше, но на нее одну, как она теперь есть, не хватит 18 тысяч бумажных рублей. А сколько придется делать перемен! Откуда взять деньги?

30 октября. Обедня. Продолжение корреспонденции. Якуб с Ханной Карлом. Тщедушный и чуть не безголосый старичок, по всему видно, не очень податлив

¹¹ Там же. С. 8.

¹² Там же. С. 8—9.

¹³ Там же. С. 10.

в делах денежных. Он рекомендует нам купить оба дома, а на мое заверение, что мы свыше 18 000 рублей не имеем в своем распоряжении ничего, не обратил никакого внимания. Видал виды человек. Впрочем, обещался объявить цену как той, так и другой половины своих владений отдельно каждой.

31 октября. Обедня. Записка от Х. Карло, в коей объявляется цена западной половины 5000, а восточной 3000 наполеондоров. К записке приложена тайная писулька, советующая Якубу убедить меня взять все вместе и обещающая не забыть его. Старый плутище!¹⁴

2 ноября. Срисовывал план домов в Горней. Возвратившийся из города Якуб нашел продавца несколько сговорчивее, и объявил ему нашу цену за западную часть 2500, и за восточную 1500 наполеондоров, на что никоим образом кощей бессмертный не соглашается.

4 ноября. Якуб видел во сне какие-то бумаги, подписи, печати и прочие привычные ему явления и заключил из сего, что дело «Горнее» пойдет хорошо. Обедня. Известие о желании Ханны Карла видеть меня. Прибытие почтенного желателя и ведение тонких бесед, кончившееся тем, что он согласился отдать оба дома со всей землей при них за 4000 наполеондоров при условии, *sine qua non*, чтобы ему выхлопотан был русский орден и именно Св. Анны. Ударили по рукам и на том распрощались. Признаться, было очень весело. Забрав план будущих владений своих в Горней, я отправился к консулу, рассказал ему всю историю и через него послал телеграмму П. П. Мельникову, гласившую: *Quatre mille napoleons et decoration, comme condition? Quelle est votre opinion?*¹⁵

11 ноября. Ханна Карло призвал Якуба и сказал, что он стоит на своем слове, хотя его и бранит за продажу большого дома жена. Он, впрочем, не прочь продать нам (за 1500 наполеон.) и один меньший дом, а Якуб требует, чтобы куплены были оба. Ненасытный господин.

14 ноября. Всенощная и во время ее телеграмма из С. Петербурга, гласившая так: *Conditions achats admissibles. Intercederai pour decoration, affaire Benjamin aussi*¹⁶. *Vous avez pension mille roubles. Felicite. Melnicoff. 11/23 Novembre. 5 часов и 20 минут вечера.* После такой вести, поистине, молитва на ум не шла. Итак, вот тебе и пенсия, Антонин! Допросился!¹⁷

18 ноября. Над Горнею пока еще лежит мрак неизвестности.

7 декабря. Сидел вечером у консула, от коего получил и давно ждомый вексель в 17825 руб. Или в 2293 фунта стерлингов, 2 шиллинга и 3 пенса¹⁸.

8 декабря. Совещания с драгоманом о деле Горней.

10 декабря. Молитва, чай, чтение. Ханна Карло. Разговор с ним на французском диалекте. Угораздило драгомана моего обещать ему прибавку за большой дом в 200 или 300 наполеондоров сверх 2500. Теперь нельзя исправить дела.

18 декабря. После звона к обедне отправились с Якубом в Горняя. Прибыв в Айн-Карим, остановились в большом доме г. Ханны Карла. После чашки чаю и тысячи любезностей, пошли с хозяином осматривать место. Показалось мне оно теперь не таким огромным, каким вообразалось. Но все-таки, чтобы обнести его оградой, требуется много и премного золота. У меньшего меня ожидало нечаемое разо-

¹⁴ Из дневников архимандрита Антонина (Капустина) // Богословские труды. № 36. М., 2001. С. 215.

¹⁵ Там же. С. 216. Четыре тысячи наполеондоров и орден как условие? Каково ваше мнение? (франц.)

¹⁶ Условия приемлемы. Буду хлопотать о награде — и о деле Вениамина тоже. Вы получаете пенсию в 1000 рублей. Поздравляю. Мельников. 11/23 ноября.

¹⁷ Там же. С. 218.

¹⁸ Там же. С. 218.

чарование. Старый плут отрезал себе значительный кусок продаваемого там места и отгородил его новой стеной. Скверное дело, а впрочем, может быть и полезное нам. В 12 часов обед. Потом опять обзор границ. Никакого моря не видно с будущих границ наших, вопреки уверению настоящего владельца оных. Запало в голову отказаться совсем от большого дома и за малый предложить 1000 наполеонов, благо есть предлог к тому. Расстались, впрочем, друзьями, хотя старик видимо был сконфужен открытием его проделки¹⁹.

...16 февраля 1871 года сделка наконец состоялась, и «ходжет» (купчая) была составлена на имя упомянутого Ханна Карлова Джелида. Бывший драгоман французского консульства согласился продать свою землю Русской духовной миссии только при условии получения «ордена от русского царя»²⁰. По турецкому законодательству приобретать земельные участки разрешалось только на имя турецких подданных. Это препятствие помог обойти о. Антонину его верный помощник и драгоман Я. Е. Халеби, записавший большинство участков на свое имя и после смерти о. Антонина переведший их на имя русских лиц, после чего они перешли в собственность миссии²¹.

Благодаря усилиям о. Антонина для православия были спасены и стали русскими Мамврийский дуб, Гефсимания, гробница праведной Тавифы, Тивериада. Сразу же после приобретения участка в Горней о. Антонин записал в своем дневнике: «Миссия, таким образом, владеет *пятым священным местом в Палестине*. Берем не мытьем, так катаньем. *Поклон до земли беспримерному П. П. Мельникову*»²².

По окончании этого желанного дела о. Антонин немедленно поспешил с радостью поделиться с П. П. Мельниковым — главным виновником миссийского благополучия в Иерусалиме. 16 марта 1871 года П. П. Мельников отвечал о. Антонину: «От души и Вас, и себя поздравляю с этим приобретением для нашей Миссии. Оно Вам наделало хлопот и забот, но для этого полезного, скажу — святого, дела можно было потрудиться безропотно»²³.

Через несколько дней после подписания купчей Джильяд был убит, что, возможно, явилось чьей-то мезтью ему за продажу земли. Об этом пишет прот. А. Ковальницкий, побывавший в Горненской обители в 1884 году: «Теперешняя русская местность куплена у одного иерусалимского жителя католика, возбудившего этой продажей русским «схизматикам» общее со стороны латинян неудовольствие, — чему под рукой приписывают преждевременную и внезапную кончину этого человека. Портрет его вместе с портретом г. Мельникова мы видели в зале большого дома»²⁴.

«На входных дверях приобретенного на эти деньги дома выставлена мраморная доска, на которой вырезаны имена жертвователей, и, если память мне не изменяет, то даже возле каждого имени — и пожертвованная сумма», — сообщал отечественный палестиновед В. Н. Хитрово в письме от 12 марта 1882 года обер-прокурору Св. Синода К. П. Победоносцеву²⁵.

К этому владению о. Антонин постепенно прикупил ряд соседних участков и окружил католические постройки с трех сторон. Расширение Горней осуществлялось толь-

¹⁹ Там же. С. 219.

²⁰ Купчая была официально утверждена в октябре 1873 года. Вместо ордена отставной драгоман получил медаль.

²¹ Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме) // Духовная нива. М., 2000. С. 13.

²² Дмитриевский А. А. Горненская русская женская община во граде Иудове (близ Иерусалима). Пг., 1916. С. 10–11.

²³ Там же. С. 11.

²⁴ Ковальницкий А., прот. Из путешествия в Святую Землю. СПб., 1886, С. 99.

²⁵ Дмитриевский А. А. Горненская русская женская община во граде Иудове (близ Иерусалима). Пг., 1916, С. 9.

ко благодаря частным пожертвованиям. Свою лепту вносили также простые богомольцы и паломники из России. Через 10 лет в Горней имелось уже несколько домиков, были насажены деревья. Вот что сообщалось об этом в отечественной паломнической литературе: «В Горней появился патер Ратисбон со своими сионскими сестрами и считал уже Горнюю латинским достоянием. И вот на противоположной горе явился о. архимандрит, вырвал из рук латинян владение бывшего драгомана французского консульства, к этому участку присоединил другой и третий, окружил со всех сторон латинян, и в Горней основалась первая русская женская монашеская община»²⁶.

«Частью самим о. архимандритом, частью же другими русскими, пожелавшими провести остатки дней в Палестине, несмотря на сильное противодействие католиков, были приобретены постепенно участки земли, недалеко от католического владения и, такими образом, образовались обширные русские владения в Горней, с садами и виноградниками, почти кругом опоясавшие католические владения»²⁷.

Всего в Палестине о. Антонином без официальной поддержки было куплено 13 участков земли общей площадью около 425 000 кв. метров и стоимостью в то время до миллиона рублей золотом²⁸. Площадь одного только участка, именуемого *Горней*, приобретенного архимандритом Антонином, составляла 222 591,37 кв. метров²⁹.

Все эти земельные приобретения о. Антонина в Палестине вытекали из его горячего желания сделать Россию собственником на Святой Земле, закрепить русское имя в Земле Обетованной, а также противодействовать католической и протестантской миссиям. В дальнейшем на наших землях Императорским православным палестинским обществом строились школы, в которых христианской грамоте обучалось арабское население, как дети, так и взрослые. Было еще одно побуждение к приобретению земельных участков — устройство паломнических приютов, больниц для улучшения быта наших паломников на Святой Земле³⁰.

Поэтому и в Горней, расширив участок покупкой смежных земель, о. Антонин построил приют для русских паломников. Пребывая на кратком отдыхе в этом странноприимном доме, русские богомольцы могли созерцать дивную картину. С гористого кряжа, на котором расположен этот знаменательный участок, полный трогательных библейских воспоминаний, открывался очаровательный вид на окружающую местность, а у подошвы кряжа бил обильный источник, куда, как гласит предание, сама Богоматерь ходила за водой во время трехмесячного пребывания в доме праведных Захарии и «южики» своей Елисаветы, и носящий наименование «Источник Девы Марии»³¹.

Горненские насельницы

Благодаря усилиям о. Антонина Эйн-Каремский холм, место встречи Пресвятой Девы с праведной Елисаветой — одно из драгоценнейших евангельских мест, стало

²⁶ Юбилей архимандрита Антонина, начальника Русской Духовной миссии в Иерусалиме // Сообщения Православного Палестинского Общества, сентябрь 1890 — февраль 1891. С. 53.

²⁷ Арсений (Стадницкий), епископ Волоколамский. В стране священных воспоминаний. Сергиев Посад, 1902. С. 310.

²⁸ Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме) // Духовная нива, М., 2000. С. 10.

²⁹ Киприан (Керн), архим. О. Антонин Капустин, архимандрит и начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (1817—1894). М., 1997. С. 174.

³⁰ Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме) // Духовная нива. М., 2000. С. 10.

³¹ Дмитриевский А. А. Горненская русская женская община во граде Иудове (близ Иерусалима). Пг., 1916, С. 2.

русским, окрестилось милым русскому человеку названием Горняя. Таким образом, в 1871 году Горняя становится русской землей. На ней была плантация оливковых деревьев с двумя домами, в которых был устроен приют для паломников. С Горней о. Антонин связывал особые надежды — он хотел воплотить давно вынашиваемые планы: создать по уставу древнего скитского жительство общину для отшельниц, вышедших из интеллигентного сословия, ищущих жизни с Богом и по разным причинам не нашедших себе места в обителях России³².

Архимандрит Антонин задумал создать здесь монашескую общину, не связанную жестко общежительным уставом, приспособленную к молитвенной и книжно-созерцательной жизни образованных отшельниц — каждая в своем отдельном, уединенном домике-келье «без игумении, без казначеи, без благочинных и тому подобных формальностей».

Первой поселянкой была инокиня Павла, известная благочестивой жизнью и строгим подвижничеством. О ней сохранилось в монастыре предание, что жила она первоначально одна в пещере. Через некоторое время стала к ней приходить гиена и тревожить ее. О своих затруднениях она рассказала о. Антонину, который и благословил ее жить в отдельном доме³³.

Впоследствии здесь стали селиться с благосклонного согласия о. Антонина русские инокини и простые женщины, искавшие благочестивой жизни и богоугодных занятий, и местность стала постепенно застраиваться отдельными домиками и кельями, в которых проживали русские поселанки, которым для занятий отданы были о. Антонином небольшие земельные участки для возделывания их и для разведения садов и огородов как средство их скромного пропитания.

Во главе благочестивых поселянок в этой местности стала вначале инокиня Павла. Постепенно под мудрым руководством этой подвижницы русский участок стал заселяться инокинями, стали строиться отдельные домики и кельи, которыми, как ласточкиными гнездами, стали украшаться горные уступы прилегающих возвышенностей³⁴.

В скором времени на этом русском земельном участке было построено еще несколько домиков, разрослись вокруг домов деревья и цветы, и образовалась небольшая женская община. Окруженные виноградниками, оливками, кипарисами и садиками, возделываемые трудолюбивыми подвижницами, эти домики составляли пожизненную собственность их устроительниц, русских отшельниц, а плоды этих садиков служили единственным пропитанием этих благочестивых тружениц³⁵.

Насельницы строили себе домики на свои средства, а после смерти эти строения переходили в распоряжение начальника миссии. Насельницы по своему вкусу и желанию украшали кельи. Эта индивидуальность при застройке обширной территории, расположенной на склоне холма, дала Горней исключительно привлекательный, простой и жизнерадостный колорит³⁶.

В течение более 20 лет, как только средства ему позволяли, о. Антонин прикупал соседние участки. Таким образом образовалось большое земельное владение, занявшее склон всей горы и окружившее со всех сторон место свидания Пресвятой Девы Марии с праведной Елисаветой, находящееся уже более двух столетий в руках католи-

³² Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме // Духовная нива. М., 2000. С. 13–14.

³³ Там же. С. 14.

³⁴ Палестинское селение «Горняя» или «Град Иудов в Горних». Одесса, 191. С. 7–8.

³⁵ Путеводитель по святым местам града Иерусалима. Одесса, 1908. С. 157.

³⁶ Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме // Духовная нива. М., 2000. С. 14.

ков³⁷. Со временем в паломнической литературе Горненскую обитель стали называть «русским селением» или «поселком», составлявшим заметную часть Эйн-Карема.

В настоящее время селение это довольно многолюдное и населенное: в нем живет от 900 до тысячи разноплеменного и разноверного населения. В последнее время селение это по составу своего населения делится на три части или — вернее — на три отдельных небольших сельца: древнее село, собственно Эйн-Карем, с туземным исключительно населением, католический поселок и новое сельцо с православным в значительной части русскими выходцами, или собственно Горняя. Последнее селенье занимает всю северную часть примыкающей к ложбине горы просторством почти в одну квадратную версту³⁸.

Одним из послушаний горненских насельниц была встреча и размещение на ночлег паломников из России. Об этом в своих зарисовках упоминает отечественный палестиновед В. Н. Хитрово (1880-е годы): «К вечеру добрались до Горней и остановились в Русском странноприимном доме, который устроил наш иерусалимский архимандрит, отец Антонин. Спаси его, Боже, за все его добро к русским странникам по Святой Земле»³⁹.

Здесь горненские инокини сочетали служение ближним с молитвенным подвигом: «Насельницы этой обители почти все выходцы из далекой России, они оставили свою родину, покинули своих родных и знакомых, поселились в этой для них чужой стране, между чужим иноверным народом, с единственной целью приближения к Богу, развития в своей душе молитвенного настроения, чтобы приучить себя к подвигам служения своим ближним, побуждаемый к тому верой в Бога и живой искренней любовью к Спасителю, Пречистой Богоматери, святому пророку Божию Иоанну Крестителю, чтобы через духовно-молитвенное общенье спасти свою душу и приобрести вечное спасенье в загробной жизни»⁴⁰.

Вот еще несколько строк, посвященных трудам архимандрита Антонина по устройению Горненской обители и других русских мест в Святой Земле: «В Горней русский поклонник встречается впервые с русской странноприимницей, с постройкой о. архимандрита Антонина, начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Везде архимандрит Антонин умел выбрать хорошие места для своих построек: в Горней, около Яффы, на Елеоне, в Иерихоне, в Бет-Джала и у дуба Мамврийского высятся постройки о. Антонина. На какие-то гроши, им собранные, он воздвиг небольшие, но прекрасные сооружения, выбрав для этого прекрасные места, окружив их садами и снабдив их всем необходимым. Одним словом, уважаемый русский деятель создал почти из ничего и двухэтажные дома и великолепные сады»⁴¹.

Вступив во владение участком земли в Эйн-Кареме, или в Горней, о. Антонин прежде всего по склонам гор рассадил 5000 виноградных лоз, множество масличных и миндальных деревьев, кипарисов, березок и т. п.⁴² Роскошный оливковый сад простирался на запад, к пустыне Иоанна Предтечи: в 1874 году в этом саду насчитывалось свыше 600 оливковых деревьев⁴³.

³⁷ Хитрово В. Н. Русские паломники Святой Земли. СПб., 1905. С. 158.

³⁸ Палестинское селение «Горняя» или «Град Иудов в Горних». Одесса. 1913. С. 7.

³⁹ Хитрово В. Н. К животворящему Гробу Господню. М., 2003. С. 129.

⁴⁰ Палестинское селение «Горняя» или «Град Иудов в Горних». Одесса, 1913. С. 15.

⁴¹ Путеводитель по Святой Земле. Одесса, изд. 3, 1894. С. 210.

⁴² Дмитриевский А. А. Горненская русская женская община во граде Иудове (близ Иерусалима). Пг., 1916. С. 11.

⁴³ Путеводитель по Святой Земле. Изд. 3. Одесса, 1894. С. 211.

Постройка храма (1880–1881)

Но о. Антонин не ограничился внешним благоукрашением Горней. Он позаботился и об удовлетворении духовных потребностей насельниц вновь создаваемой им общины, а равно и тех местных жителей, которые перешли из католичества в лоно Православной церкви.

Для будущей общины необходим был храм. Во избежание трений с Иерусалимской патриархией решено было основать в Эйн-Кареме «русско-арабский» храм, как бы приходский для местных православных арабов, расположенный для удобства в пределах русского участка. Временная домовая церковь была открыта в Горненском монастыре в 1880 году с благословения Иерусалимского патриарха Иерофея, который по просьбе архимандрита Антонина прислал служить в ней священника-араба. До зимы храм располагался по-походному, в палатке в саду, а затем был перемещен в находившийся на участке двухэтажный дом Русской духовной миссии⁴⁴. Священника-араба приняла на содержание Патриархия, а миссия дала ему бесплатную квартиру⁴⁵. В первые годы прихожанами церкви были местные православные арабы. Служба велась один раз в неделю, пели попеременно по-русски и по-арабски. Первым пастырем этой зарождающейся общины был арабский священник о. Георгий Хури⁴⁶.

В числе обитательниц Горненской общины нашлась энергичная матушка Леонида, которая взяла на себя нелегкий труд — путем сбора пожертвований в России содействовать дальнейшему благоустройению Горней. 22 сентября 1879 года матушка Леонида отправилась с благословения о. Антонина в Россию для сбора пожертвований на задуманный о. Антонином русский храм в Горней. Он должен был быть построен для укрепления православия среди местных жителей, подвергшихся сильному влиянию католичества. И по совету Севастийского архиепископа Никифора, местоблюстителя Патриаршего престола, и русского консульства решено было создать в Горней в пределах русских владений «русско-арабский храм»⁴⁷.

Вот что рассказывает о построении церкви в Горней, в евангельском граде Иудовом архимандрит Антонин в письме на имя Б. П. Мансурова от 16 марта 1882 года: «Уже более 10 лет владея в священной местности сей большим участком земли с двумя домами, садом и проч., Миссия успела в находящемся там селении Айн-Карем, состоящем исключительно из магометан и арабов-католиков, приобрести немаловажное значение. В апреле 1880 г. 6 семейств латинских обратились к Миссии с заявлением принять Православие и быть в ее ведении. Миссия отклонила от себя эту незаконную честь и направила их в местную православную Патриархию, вопреки их желанию. Патриархия, несвычная с миссионерским делом, робко и неохотно соглашалась на просьбу прозелитов; наконец нам удалось уладить дело, и 8 июля того же года архиепископом Севастийским (впоследствии — митрополит Петры Аравийской) Никифором, бывшим тогда (за отсутствием патриарха в Константинополе) наместником Патриаршим, люди были приняты в лоно Православия через таинства крещения и миропомазания. Вслед за тем Патриархия, совместно с Миссией, устроила в селении для новообращенных временную церковь и именно, ради безопасности и лучшего наблюдения, на русской территории, сперва возле нашего поклоннического приюта под палаткой, а потом, при наступлении зимних непогод, и внутри нашего т. н. большого дома.

⁴⁴ Лисовой Н. Н. Горненский монастырь // Православная Энциклопедия. Т. XII. М., 2006. С. 122–123.

⁴⁵ Дмитриевский А. А. Горненская русская женская община во граде Иудове (близ Иерусалима). Пг., 1916. С. 12.

⁴⁶ Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме // Духовная нива. М., 2000. С. 15–16.

⁴⁷ Дмитриевский А. А. Горненская русская женская община во граде Иудове (близ Иерусалима). Пг., 1916. С. 12.

В то же время, в видах надлежащего упрочения Православия на месте, соглашено было между мною и Патриаршим наместником немедленно приступить к постройке и небольшой церкви; так как ни у самих новообращенных, ни у Патриархии не было в селении своей земли, то и выбрано было для сего место в наших владениях, весьма пригодное и приглядное, которое сам наместник и благословил во время нарочно устроенной мною поездки моей с ним в Горнюю. Ни ему, ни мне не приходило тогда на мысль обращаться к кому-нибудь еще третьему за позволением строить ее, так как выбранное нами для того место пользуется экстерриториальностью, и множество перед глазами всех совершающихся тут примеров беспрепятственного созидания церковей латинских и протестантских на чужеземных территориях позволяли думать, что мы вполне свободны в своем деле. Постройка церкви, таким образом, началась, и с небольшим через год благополучно кончилась. В то же время и богослужение православное постоянно в селении совершалось нарочно поставленным от Патриархии арабским священником, получающим от Патриархии содержание, а от Миссии — квартиру (нанимаемую в селении)»⁴⁸.

16 июня 1880 года под будущий «русско-арабский» храм было избрано место «у самых ворот на первой террасе». Архитектурный проект о. Антонин разработал сам. 10 июля окончательно была заключена сделка с мастером, который за 250 наполеондоров взялся выстроить церковь, не забыв при этом выговорить себе и обычный бакшиш. Несколько позднее он набавил за свой труд цену уже в 300 наполеондоров (1,5 тыс. рублей серебром). 5 апреля следующего, 1881 года новым договором за 30 наполеондоров тот же мастер обязался выстроить колокольню⁴⁹.

24 мая 1881 года Горненскую обитель посетили члены императорской семьи, совершавшие паломничество в Святую Землю: великие князья Сергей и Павел Александровичи с Константином Константиновичем. Вот что записал в своем дневнике о. Антонин: «Айн-Карем. Трезвоны наш и ихний. Монастырь латинский⁵⁰. Источник Богоматери⁵¹. Magnificat⁵². Роздых в Большом доме⁵³ с чаем и оладьями. Осмотр Малого дома⁵⁴ и новостроющейся церкви⁵⁵. Обещанное поликандило. Келья матери Павлы⁵⁶. Отъезд, напутствуемый звоном»⁵⁷.

⁴⁸ Дмитриевский А. А. Горненская русская женская община во граде Иудове (близ Иерусалима). Пг., 1916. С. 12–13.

⁴⁹ Там же. С. 14.

⁵⁰ Францисканский монастырь на месте Рождества Иоанна Предтечи.

⁵¹ Источник, на который ходила, по преданию, за водой Пресвятая Дева, гостившая в Горней у праведной Елизаветы. Над источником — мечеть, закрытая после 1948 года, когда арабское население было изгнано из Эйн-Карема.

⁵² Францисканский монастырь, приписанный к монастырю Рождества Иоанна Предтечи и расположенный на месте встречи Богородицы и Елизаветы, где Пресвятая Дева воспела Свой хвалебный гимн «Величит душа Моя Господа» (Magnificat в переводе с латинского «величит»).

⁵³ «Большой дом» — если идти по склону холма, как шел о. Антонин со своими спутниками, находится справа, то есть к западу от Magnificat'a, окруженного со всех сторон территорией русского участка (прежнего Горненского монастыря).

⁵⁴ «Малый дом» расположен соответственно слева, то есть к востоку от францисканского участка.

⁵⁵ Речь идет о строительстве Свято-Казанского храма в Горней, законченном в 1882 году.

⁵⁶ Одна из «первопоселенок» Русской Горненской обители — «скитянок», как называл их о. Антонин. Память о ней и сейчас свято хранится в монастыре.

⁵⁷ Там же. С. 230.

Освящение храма (1883 год)

Архимандрит Антонин не устал заботиться о своем детище, постоянно проявлял свою к нему отеческую любовь и частенько на своем сивом ослике приезжал в любимую Горнюю⁵⁸. Церковь была построена за два строительных сезона (1880—1881) артелью под руководством Илиаса Джирьеса; в начале 1882 года могло состояться и ее освящение. Однако и строительство, и последующее освящение храма сталкивались с определенными трудностями из-за трений между о. Антонином как с францисканцами, владеющими прилегающим участком, так и с Иерусалимской патриархией. Первые ставили препоны, требуя получения все новых и новых фирманов от Высокой Порты, вторая же желала, чтобы все начинания православных на Святой Земле получали ее благословение. Францисканский кустод Святой Земли, благожелательно отнесшийся к действиям архимандрита Антонина, был смещен. В апреле 1881 года иерусалимский губернатор Реуф-паша потребовал, чтобы до получения султанского фирмана строительство было прекращено⁵⁹.

Иерусалимская патриархия разгадала намерения архимандрита Антонина: «русско-арабский храм» со временем превратить в чисто русский, а потому и начала всячески тормозить дело. Патриарх Иерофей (1875—1882) отправил в 1881 году по поводу постройки о. Антонином церкви на Елеоне и в Горней первенствующему члену Св. Синода Исидору, митрополиту Санкт-Петербургскому, грамоту, в которой жаловался на то, что о. Антонин «соорудил вышесказанные храмы, не уведомив прежде нас и не получив на то нашего согласия», и тем «отступил от канонов и постановлений церковных», что о. Антонин, таким образом, в своих действиях «поступает невыносимо и окончательно истощил наше терпение». «Благоприятный исход этого дела, — писал патриарх Иерофей, — мы полагаем в том: пусть Св. Синод Российской Церкви пришлет к нам послание в духе христианской любви и потребует от нас канонического нашего согласия на устройство вышеназванных церквей, уверив, что эти церкви будут управляемы согласно с канонами и постановлениями святой Церкви».

Св. Синод через митрополита Исидора охотно написал патриарху Иерофею такую братскую грамоту, и, указывая в ней на экстерриториальность церквей на Елеоне и в Горней и преждевременность, до окончания сооружения этих церквей, испрашивать Патриаршее благословение на освящение этих храмов и на начало в них богослужений, вместе с тем выражал твердую уверенность, что архимандрит Антонин не замедлит по окончании построек испросить таковое благословение Его Блаженства. Одновременно с этим митрополит Исидор ходатайствовал перед Иерусалимским патриархом о беспрепятственном и незамедлительном благословении на освящение и совершение богослужений не только для названных храмов в Горней и на Елеоне, но и для Гефсиманского храма во имя Св. Марии Магдалины, созидавшегося на средства русской императорской фамилии в память императрицы Марии Александровны⁶⁰.

Тем временем построение храма в Горней и приготовление его к освящению шли безостановочно. Постоянно текли на это дело пожертвования от разных лиц, посещавших Святую Землю. В числе таковых нельзя не отметить пожертвований семьи графа Е. В. Путятина 100 руб. и 10 золотых и совместно с В. Н. и С. Д. Хит-

⁵⁸ Киприан (Керн), архим. О. Антонин Капустин, архимандрит и начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (1817—1894). М., 1997. С. 178.

⁵⁹ Лисовой Н. Н. Горненский монастырь // Православная Энциклопедия. Т. XII. М., 2006. С. 123.

⁶⁰ Дмитриевский А. А. Горненская русская женская община во граде Иудове (близ Иерусалима). Пг., 1916. С. 15—16.

рово «по 100 франков на день со всех» за все время пребывания их в Святой Земле (в 1880 году). Сборщица матушка Леонида, успешно ведшая сбор в России, 15 марта 1881 года заказала в России иконостас за 700 рублей и приобрела для того же храма великолепную плащаницу, серебряные сосуды, кресты, дарохранительницу, иконы и колокол весом 41 1/2 пудов, пожертвованные Ф. Н. Самойловым. Тот же благодетель, по свидетельству архимандрита Антонина, пожертвовал 2 тысячи рублей, а затем прислал ризу на икону Божией Матери «ценой в 2400 золотых»⁶¹. Были и другие жертвователи на Горненский храм деньгами в небольших суммах, церковной утварью и богослужебными принадлежностями и облачениями⁶².

С немалым трудом о. Антонину удалось добиться разрешения Иерусалимской патриархии на освящение храма в Горней — это был период натянутых его отношений с патриархом Иерофеем. А после кончины Первосвятителя (1882 год) Святогробское братство со своей стороны рекомендовало о. Антонину дожидаться выборов нового патриарха (каковые в это время были весьма затяжные) и от него уже получить разрешение на освящение храма в Горней⁶³.

Лишь 5 февраля 1883 года местоблюститель Патриаршего престола митрополит Никодим согласился «на перенесение антиминса из временной церкви в новосозданную в Горней». Архимандрит Антонин не стал ожидать письменного разрешения, а, воспользовавшись устным благословением местоблюстителя Патриаршего престола, начал быстро готовиться к малому освящению Горненской церкви. 13 февраля, заготовив «терновый лик» Спасителя для Горненского нового храма, произведение собственной кисти, о. Антонин в сопровождении почти всех членов миссии в три часа дня отправился в Горнюю. К пяти часам вечера путешественники прибыли в Горнюю, после чего все отправились в церковь, чтобы сделать необходимые приготовления к предстоящему освящению.

В сумерках раздался первый удар колокола на всю окрестность с колокольни нового храма, и началось всенощное бдение, по выражению о. Антонина, «со всем праздничным апломбом». Окончилось вечернее богослужение в одиннадцатом часу⁶⁴.

14 февраля о. Антонин с шести часов утра был уже на ногах и занимался со своими сотрудниками перенесением из временной церкви в «новосозданную» икон и других предметов храмовой обстановки. В восемь часов начался звон к литургии, которую совершал сам строитель с четырьмя иереями и двумя диаконами. С торжественным крестным ходом перенесли антиминс из временной церкви в новую, совершили водоосвящение, омыли святой водой столы, предназначенные для престола и жертвенника, одели их в установленные на сей предмет одеяния, со св. антиминсом, в преднесении хоругвей и крестов, совершили крестный ход вокруг храма и положили св. антиминс на престол. «Вышло, таким образом, — по словам о. Антонина, — почти полное освящение храма. Первая литургия в нем, — прибавляет о. Антонин в своем дневнике, — конечно, преисполнила сердце мое умилением...» Окончилась литургия в первом часу. До вечера местные православные жители приходили к архимандриту Антонину с поздравлениями⁶⁵.

Вечером в новоосвященном храме было совершено всенощное бдение, а утром 15 февраля член миссии о. Парфений совершил литургию. О. Антонин благословил двух стариц на прислуживание при храме и, сделав там необходимые распоряжения, осмотрел все хозяйство. Он посетил много потрудившуюся при создании храма

⁶¹ Лисовой Н. Н. Горненский монастырь // Православная Энциклопедия. Т. XII. М., 2006. С. 123.

⁶² Дмитриевский А. А. Указ. соч. С. 16.

⁶³ Там же. С. 17.

⁶⁴ Там же. С. 17.

⁶⁵ Там же. С. 18.

матушку Леониду и некоторых других стариц и с чувством полного удовлетворения, после обеда на 15—20 персон, покинул Горнюю⁶⁶. А 30 марта престарелый митрополит Петры Аравийской Никифор, проживавший в Горней, совершил полное освящение храма⁶⁷.

В храме хранится чтимая Казанская икона Богородицы. Под его сводами находится также часть камня, на котором, по преданию, проповедовал Иоанн Креститель. В храме много икон, писанных сестрами. Особенное внимание привлекают иконы и хоругви, шитые жемчугом и бисером. Это также работа смиренных тружениц Горненской обители⁶⁸. Перед храмом находится столб от дома праведных Захарии и Елизаветы.

Постройка и освящение храма в Горненской обители вызвали благожелательные отклики в русской православной печати. Вот некоторые из них.

«Еще в 1881 году в Горней не было и следа церкви, а теперь высится небольшой, но красивый храм, окруженный виноградниками и кипарисами, среди которых уютилась целая женская обитель. Странноприимница о. Антонина в Горней и недавно им построенный храм во имя Казанской Божией Матери помещаются почти рядом с католическим монастырем»⁶⁹.

«Среди домиков, скромно осеняя их своей зеленой кровлей, стоит недавно воздвигнутая о. Антонином русская церковь во имя Казанской иконы Божьей Матери с византийским куполом, а на самой вершине горы — высокая каменная новопостроенная башня, — словно гостеприимный маяк для странника»⁷⁰.

⁶⁶ Там же. С. 18.

⁶⁷ Киприан (Керн), архим. О. Антонин Капустин, архимандрит и начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (1817—1894). М., 1997. С. 178.

⁶⁸ Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме // Духовная нива. М., 2000. С. 15.

⁶⁹ Путеводитель по Святой Земле. Изд. 3. Одесса, 1894. С. 210—211.

⁷⁰ Путеводитель по святым местам града Иерусалима. Одесса, 1908. С. 158.

КИНОРЕЖИССЕР № 5 (Чеслав Сабинский до 1917 года)¹

Чеслав Генрихович Сабинский (1885–1941) происходил из семьи зажиточного польского крестьянина: отец Сабинского располагал землей площадью в 150 десятин (Сабинский Ч. Анкетный лист // ЦГАЛИ СПб. Ф. 257. Оп. 1. Ед.хр. 632. Л. 1). Для кинорежиссеров дореволюционной поры такое происхождение нетипично: Бауэр был сыном придворного музыканта, Протазанов вырос в интеллигентной московско-киевской семье, а Гардина знали как потомственного дворянина и внука писателя Лажечникова. Возможно, именно поэтому Сабинский особенно тщательно работал над созданием собственного режиссерского образа, который он последовательно выдерживал и в 1920-е годы. Актер Федор Никитин вспоминал: «За письменным столом сидел очень красивый мужчина лет сорока пяти, с небольшой бородкой и темными волосами, проложенными редкой сединой. На его руке, державшей длинный мундштук, красовался великолепный старинный перстень с гербовой печаткой. Всем своим видом Сабинский хотел производить впечатление аристократа, который не только не скрывает этого в наши яacobинские двадцатые годы, но даже как будто бы и подчеркивает. Так он придумал себя для окружающих, и, надо сказать, не без успеха» (Никитин Ф. Из воспоминаний киноактера // Из истории Ленфильма. Вып. 2. Л.: Искусство, 1970. С. 74).

Сабинский получил среднетехническое образование, затем в 1905–1911 годах (В. М. Короткий приводит и другие данные — 1903–1908 годы) учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и одновременно работал декоратором в разных театрах. По воспоминаниям Сабинского, сезон 1908–1909 годов он провел в Московском художественном театре и тогда же был приглашен на работу в московское отделение «Братьев Пате»: «Кинематография в то время не считалась искусством, а приравнивалась скорее к балаганам низшего сорта. Но тем не менее какая-то интуитивная тяга победила, и, несмотря на мое увлечение театральной работой с К. С. Станиславским, я все же ушел из МХАТ и принял предложение бр. Пате» (Сабинский Ч. Из записок старого киномастера // Искусство кино. 1936. № 5. С. 60).

Сабинский был поставлен художником при французском режиссере Морисе-Андре Мэтре, который снимал фильмы из русской жизни, однако в действительности роль Сабинского в студии Пате была гораздо шире. Хорошо известен его рассказ об одном съемочном дне у Мэтра, когда француз-режиссер пытался показать актерам, как следует играть объяснение в любви русского крестьянина: «С присущей ему

Анна Олеговна Ковалова, кандидат филологических наук. В 2005–2008 гг. — редактор документально-просветительской телепрограммы «Культурный слой» (Пятый канал). В 2009–2015 гг. — научный сотрудник Филологического факультета СПбГУ. С 2015 года — преподаватель Факультета гуманитарных наук ВШЭ (Москва). Редактор-составитель сборника киносценариев Николая Эрдмана (2010). Автор ряда книг и научных статей по истории литературы и кино. Живет в Санкт-Петербурге.

¹ Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2016 году

экспансивностью, пафосом и жестикуляцией Мэтр показывал парню поведение любовника: тихо, танцевальной походкой он подошел к девке, не спуская с нее страстно влюбленного взгляда, и, остановившись возле нее, медленно опустился на одно колено. Затем, прижав левую руку к сердцу, полузакрыв глаза, он потянулся к девке, с пафосом произнося по-французски любовные слова» (Сабинский Ч. Из записок старого киномастера // Искусство кино. 1936. № 5. С. 60). Из всех присутствующих на съемке Сабинский был единственным, кто позволил себе засмеяться и показать Мэтру, как в действительности мог бы происходить подобный эпизод. После этого его стали регулярно приглашать на съемку и монтаж народных сцен.

По данным В. М. Короткого, в 1908–1913 годах у Пате Сабинский оформил около 50 картин, среди них — «Анна Каренина», «Княжна Тараканова», «Поединок» — фильмы, по которым в первую очередь мы теперь и представляем кинематограф самого начала 1910-х годов.

Важнейшее свое открытие Сабинский сделал именно как художник кино. Речь идет о так называемом «ультрареалистическом стиле» в раннем кино, в соответствии с которым постановка фильма ориентировалась не на театральные принципы, а на живую действительность: естественные костюмы, натурные съемки, объемные декорации, аутентичный реквизит. Другими словами, Сабинский адаптировал для кинематографа реалистический стиль МХТ. Сам он свой метод описывал так: «В то время в киноателье господствовали писанные декорации, натянутые на подрамники. Совсем как в театре, на холсте трафаретились обои, писались мебель и реквизит, даль в окнах и чуть ли не самые действующие лица. Толщинки в окнах и дверях, наклеивание настоящих обоев, деревянных панелей, лепка из папье-маше и (настоящий переворот!) мебель, расставленная на съемочной площадке, — все это с трудом вводилось в практику <...> Постройка декораций оказывалась накладной и громоздкой. Но „голь на выдумки хитра“, и в 1911–1912 гг. я впервые у нас в России ввел фундусы из клееной фанеры. Это дало возможность строить многопланные павильоны с несколькими точками для съемочного аппарата» (Сабинский Ч. Из записок старого киномастера // Искусство кино. 1936. № 5. С. 60).

Что касается фундусов, то их изобретение принадлежит не одному Сабинскому: одновременно с ним и независимо от него эту же технику внедрил в кинопроизводство художник Борис Михин, работая у Ханжонкова. Однако это не умаляет значения нововведений Сабинского, поскольку его фундусы, как уже было сказано выше, стали частью целой новой художественной системы, которая позволила кинематографу отойти от театральной эстетики, что было принципиально важно на рубеже 1900–1910-х годов. Открытие Сабинского — не частность. «Ультрареалистический стиль» подготовил кинематографическое пространство, в котором впоследствии смогли появиться и ожить персонажи со своими живыми историями. Конечно, реализм дореволюционного кино 1910-х годов — понятие очень относительное. И если говорить о нем, то следует иметь в виду лишь предпосылки, подступы и первые шаги — но в них особенное значение имеет реорганизация художественного пространства, предпринятая Ч. Г. Сабинским.

Из работ Сабинского этого периода Р. М. Янгиров особо выделяет картину «1812» (1912, реж. В. Гончаров, К. Ганзен, А. Уральский и др.), в которой с помощью созданного Сабинским макета были осуществлены комбинированные съемки пожара Москвы.

За Сабинским на долгие годы закрепилась репутация кинохудожника-эксперта. А. Е. Разумный вспоминал о своей встрече с Сабинским в 1918 году: «Закурив, он задумчиво разглядывал мои работы, изредка изящным жестом поглаживая „чеховскую“ бородку. Заговорил он быстро и многословно, как всегда, на свою любимую

тему: „Главное в кинофильме — зрелище, и притом настоящее, все должно быть настоящим, никаких отступлений от природы, никакого обмана. Важно, чтобы бревна в избе были настоящими, а не из папье-маше, иконостас и иконы в нем настоящие, печь в избе — настоящая. Фактура объемная. Фактура должна чувствоваться в каждой вещи. Экран не терпит неправды“. Он повторял это многократно, выражая все то, что волновало нас, творческую молодежь, что было предметом бесчисленных дискуссий» (Разумный А. Е. У истоков. Воспоминания кинорежиссера. М.: Искусство, 1975. С. 42). После революции, во время очередной переоценки ценностей в кинематографии, идеи Сабинского обрели новую актуальность.

Традиционно биография Сабинского делится на «дорежиссерский» и «режиссерский» периоды, а эволюция его приравнивается к движению из художника в режиссеры. Это не совсем верно не только потому, что Сабинский-режиссер никогда не переставал быть художником, но и потому, что Сабинский-художник с самых первых своих дней работы в кино выполнял режиссерские функции, а также функции киносценариста. Еще во время своей работы с Мэтром Сабинский, как уже говорилось выше, не только отвечал за декорации, но контролировал также и съемки, и монтаж. Судя по всему, в начале 1910-х вообще было трудно провести границу между режиссером и художником кино. Когда пресса хвалила постановку иностранных режиссеров фильма «Пате» (как в случае с фильмом «Царский гнев» (1912) Кая Ганзена), часто эти комплименты скорее можно было адресовать художнику Сабинскому: «С режиссерской точки зрения картина поставлена безукоризненно. Вся постановка в деталях верна эпохе. Прекрасно подходит к сюжету и дает настроение несколько мрачный тон красок, коими писаны декорации» (Сине-Фоно. 1912. № 2. С. 18).

С 1912 года, когда московское производство «Пате» отошло к П. Г. Тиману, Сабинский стал художником «Русской золотой серии». В это время он плотно сотрудничал с Я. А. Протазановым, вместе они поставили ряд фильмов, среди них «Как хороши, как свежи были розы», «Купленный муж», «О чем рыдала скрипка», «Разбитая ваза» (все 1913) и другие. К этому времени эксперименты Сабинского стали достоянием общественности: павильоны к «Купленному мужу» приезжал смотреть сам Станиславский, а вслед за ним — вся Москва, в том числе, как вспоминал Сабинский, и полицеймейстер.

Сабинский принимал участие в знаменитых толстовских экранизациях «Русской золотой серии» «Анна Каренина» (1914, реж. В. Гардин) и «Война и мир» (1915, реж. В. Гардин, Я. Протазанов). Справедливости ради надо заметить, что, описывая работу Сабинского в своих мемуарах, Гардин особенных восторгов не выражал: «В сущности, установка декораций в ателье отличалась от театральной монтировки только значительно большими антрактами и тщательностью оклейки фанерных щитов обоями» (Гардин В. Р. Воспоминания. Т. 1. М.: Госкиноиздат, 1949. С. 62).

После «Войны и мира» Сабинский вслед за Гардиным и Протазановым покинул «Русскую золотую серию» и предпринял две самостоятельные постановки — «Улыбка женщины» и «Страсть безрассудная». Согласно Вен. Вишневскому, первый режиссерский опыт Сабинского — короткий фильм «Страшный покойник» (1912), поставленный совместно с А. В. Гурьевым еще у Пате.

Думал ли Сабинский открыть самостоятельное кинопроизводство, об этом достоверно ничего не известно. Во всяком случае, в конце 1914-го — начале 1915 года он уже был постоянным режиссером в молодой фирме И. Н. Ермольева. О службе Сабинского у Ермольева ходили легенды. О бешеных темпах кинопроизводства, которыми Ермольев давил на своих режиссеров (на Сабинского — в особенности), упоминает едва ли не каждый второй мемуарист, описывающий дореволюционное ки-

но. Режиссер В. П. Касьянов, в частности, описывает такой эпизод: «Как-то во время съемки „Гуттаперчевого мальчика“ я беседовал с Ермольевым, в это время подошел режиссер Сабинский и сообщил Ермольеву, что он только что закончил съемку своего очередного кинофильма (инсценировка какой-то песни) с участием Бакшеева, Панова и др. артистов. Узнав от Сабинского, что актеры еще здесь и что в ателье у него стоит отснятая декорация постоянного двора, Ермольев попросил Сабинского декорацию не разбирать, артистов попросил задержаться в ателье, а сам, быстро перелистывая поданный ему „песенник“, остановился на одной из песен, кажется, „Эй, быстрее летите, кони“, и предложил Сабинскому использовать готовую декорацию постоянного двора и приступить сегодня же к съемке по этой песне нового фильма с участием роли ямщика Бакшеева, в роли хозяина постоянного двора Панова и т. д.» (Касьянов В. Вблизи киноискусства. Отрывки из воспоминаний. 1896—1917 гг. [Публикация, предисловие и комментарий В. Н. Мыльниковой] // Киноведческие записки. 1992. № 13. С. 183—184). Пресловутый ермольевский песенник стал притчей во языцех, в своих воспоминаниях Сабинский тоже его упоминает, рассказывая об абсурдных порядках ермольевской фабрики.

У Ермольева Сабинский обнаружил режиссерскую универсальность, работая во всех жанрах, которые только существовали в дореволюционном кино — от комедии до мелодрамы. Особая статья — экранизации классики, поставленные Сабинским у Ермольева. Во второй половине 1910-х годов экранизации (а не лубочные иллюстрации, характерные для 1900-х — начала 1910-х годов) были уже возможны, и фильм Сабинского «На бойком месте» (1916) по Островскому — один из них. Этот фильм удостоился похвалы не только ермольевского «Проектора», но и вполне независимой газеты «Обозрение театров», корреспондент которой отмечал: «Прежде всего нужно отметить внимательное отношение режиссера к Островскому. Зачастую приходится наблюдать, как режиссеры проявляют полный произвол в тех сценах, которые приходится вставлять в инсценировку, и это „творчество“ в большинстве случаев оказывается довольно низкого качества. Отсутствие этой режиссерской фантазии в картине „На бойком месте“ — несомненное достоинство ленты. В общем, постановка выдержана в строгом соответствии с самой пьесой и отличается интересными деталями. Режиссер г. Сабинский дал на экране подлинный быт» (Обозрение театров. 1916. № 3139. С. 10).

Вообще, Сабинскому с прессой скорее везло. Наиболее показательной можно считать рецензию В. К. Туркина на фильм «Ястребиное гнездо» (1916), опубликованную в журнале «Пегас». Дело в том, что «Пегас» был особенно тенденциозным изданием и благожелательно отзывался о фильмах лишь одной кинофирмы — фирмы А. А. Ханжонкова, который и учредил этот журнал. Поэтому осторожные формулировки Туркина, адресованные Сабинскому, можно считать высшей похвалой: «Картина „Ястребиное гнездо“ по роману Пазухина — много лучше и интереснее всех последних постановок ателье И. Н. Ермольева <...>

Постановка принадлежит Ч. Сабинскому и носит на себе отпечаток всех достоинств и недостатков, характерных для работы этого режиссера. <...> Картина... не лишена настроения, жизненности, но в то же время страдает от пристрастия режиссера к дешевым эффектам, к лубку, что значительно ослабляет впечатление от картины» (Пегас. 1916. № 3. С. 88).

Из-за огромного потока фильмов, которые Сабинский снимал у Ермольева, режиссер прослыл многостаночником, ответственным за все слабости русского дореволюционного кино. Пришедший на фабрику Ермольева А. В. Ивановский вспоминал: «Наши современные артисты очень удивились бы методу, каким действовал режиссер Сабинский (позднее я узнал, что подобным образом работали почти все режис-

серы). Сабинский командовал: „Начали! Отворяйте дверь, идите, оглядывая комнату, не торопясь, к письменному столу. Хорошо! Прекрасно! Снимаем!“ Мне стало понятно, почему так ходульно, напыщенно, неискренне играли артисты в большинстве картин, виденных мною. Выполняя все по команде, артисты давали только внешний рисунок роли, ни о каком раскрытии душевных переживаний не могло быть и речи. Сабинский считался среди режиссеров „палочкой-выручалочкой“, он мог снять фильм в неделю, а если уж очень надо было дирекции, то и в три дня!» (Ивановский А. В. Воспоминания кинорежиссера. М.: Искусство, 1967. С. 135–136).

Сабинский вспоминал, что график работы, насаждаемый Ермольевым, был абсолютно невыносим, что он мечтал уйти из этой фирмы и каждый свой фильм на фабрике снимал как последний. Но на этот случай у Ермольева всегда был готов целый набор хитроумных уловок, с помощью которых он удерживал непокорных режиссеров. Празднуя премьеру очередного «последнего» Сабинского, Ермольев приглашал его на «последний» праздничный ужин, во время которого на манжете записывался сценарий новой картины, а под утро режиссер и фабрикант заезжали на фабрику, чтобы заказать новые декорации.

В конце 1917 года Сабинскому удалось все-таки вырваться и перейти на службу к Д. И. Харитонову, однако уже через полгода он вернулся к Ермольеву. Вероятно, у Харитонova оказалось ничуть не лучше, а Ермольев, как отмечал Ивановский, все-таки «очень ценил Сабинского — такой режиссер был необходим» (Там же. С. 136).

Возможно, Сабинский был так необходим не только потому, что умел быстро снимать фильмы, но и потому, что в это нелегкое время он отнюдь не потерял вкуса к кинематографии. Как отметил Р. М. Янгиров, он чутко реагировал на все нововведения, которые проникали в русское кино: «Сабинский-режиссер плодотворно осваивал многие новации, проникавшие в русское кино: в своих постановках он совершенно отошел от популярного некогда этнографизма, небезуспешно акцентировал актерскую игру („игра в сукнах“); камера у него утратила неподвижность, средние планы все чаще сменялись крупными и т. п.» (Янгиров Р. М. Чеслав Сабинский // Великий кинемо: Каталог сохранившихся игровых фильмов России (1908–1919). М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 517).

Более того, Сабинский не прекращал изобретать, и его новаторские идеи оказывали влияние на всю кинематографию. Это подтверждает, в частности, Б. С. Лихачев: «Следует особо отметить картину „Вот мчится тройка почтовая“, так как при ее постановке режиссер Сабинский впервые в России применил монтажный лист, являвшийся одновременно „железным сценарием“. В этот монтажный лист, кроме подробного перечисления сцен и заметок о натуральных и павильонных съемках, заносилось также количество снятого метража рядом с предполагаемым» (Лихачев Б. С. Кино в России (1896–1926). Материалы к истории русского кино. Часть 1. 1896–1913 гг. Л.: Academia, 1927. С. 59).

С. С. Гинзбург назвал Сабинского «открывателем» песенного жанра — явления, во многом определившего развитие русского кино середины — второй половины 1910-х годов: «Между „песенным жанром“, принесшим в годы войны такой коммерческий успех фабрике Ермольева, и ранними лубочными экранизациями народных песен не было ничего общего. Лубочные экранизации иллюстрировали народные песни, фильмы „песенного жанра“ использовали их как материал для создания мрачных, мелодраматических сюжетов, выражения безысходной тоски, стилизованного изображения ушедшего или уходящего быта» (Гинзбург С. С. Кинематография дореволюционной России. М.: Искусство, 1963. С. 142).

Но в той же книге Гинзбург утверждает: «...над лубочными картинками работал, как правило, Ч. Г. Сабинский, а также некоторые другие второстепенные режиссе-

ры» (Гинзбург С. С. Кинематография дореволюционной России. М.: Искусство, 1963. С. 162). Действительно, в главных книгах по истории кино, как и в большинстве мемуарных текстов, Сабинский представляется одним из «других второстепенных режиссеров». Но кого, если разобраться, можно поставить перед ним? Гардина? Протазанова? Бауэра? Чардынина? Пожалуй, только этой великолепной четверке уступал Сабинский, но вряд ли это делает его «второстепенным режиссером» или «грамотным ремесленником», как его называл Ивановский.

Вероятно, более объективную оценку Сабинскому можно найти у тех мемуаристов и исследователей, которые смотрели на русское кино несколько со стороны. И. П. Кавалеридзе, например, ставил его очень высоко: «Кино, однако, захватывает все больше и больше. Возможно, этому способствовала дружба с художником и режиссером Чеславом Сабинским — человеком тонким, ищущим, старавшимся как-то „облагородить“ реквизит, декорации, не довольствоваться грубой театральной бутафорией» (Кавалеридзе И. П. [Первые киношаги] // Иван Кавалеридзе. Сборник статей и воспоминаний. Киев: Мистецтво, 1988. С. 52). А американский историк Джей Лейда отзывался о Сабинском так: «К своей работе в кинематографе Сабинский подходил творчески — и это была большая редкость на рубеже 1900-х — 1910-х гг. Когда Гаш и Мэтр открыли в Москве филиал студии „Братья Патте“, они дали начало французско-русскому стилю — и потребовались многие годы и две революции, чтобы изжить его из российского кино. <...> Впоследствии благодаря Сабинскому в русское кино вошли миниатюрные декорации, и его энтузиазм естественным путем привел Сабинского к режиссуре» (Leyda Jay. *Kino: A History of the Russian and Soviet Film*. Princeton University press, 1983. P. 46).

Однако такой подход к пониманию роли Сабинского в истории русского кино, как уже отмечалось выше, многие годы остается на периферии, а Сабинский продолжает быть «второстепенным режиссером». В его кинематографической деятельности усматривают нечто эпигонское: когда речь идет о Сабинском-многостаночнике, предполагается, что он умело тиражировал кем-то придуманные схемы. Между тем по большей части это были схемы Чеслава Сабинского — одного из подлинных создателей русского дореволюционного кино.

Contents

Prose and Poetry

Alexander Dyachkov. Poems • 3

Vyacheslav Rybakov. On the Shaggy Back. Novel • 9

Yevgeny Stepanov. Poems • 112

Alexander Lomtev. Stories • 115

Andrey Shatskov. Poems • 122

Guram Svanidze. Stories • 127

Alexander Gabriel. Poems • 137

Svetlana Rosenfeld. Poems • 141

Publicistic Writings

Stanislav Minakov. Vasiliy Lisunov's Three Glories. Family Story about a Young Hero from Kharkov • 144

Mark Amusin. Intelligentsia: the End of the Road? • 150

From the Archive

Alexander Gladkov. Diary. 1973. *Mikhail Mikheev's publication and Commentaries* • 161

Petersburg Bookman

Art of Reading. *Vera Zubareva.* And Over Again «Lady with a Dog»... **Person and Fate.** *Lev Berdnikov.* Pulse of Time. **The Singer's House.** *Elena Zinovyeva's publication* • 203

Pilgrim

Archimandrite Augustine (Nikitin). Judah's Town in Gornaya. Part 1 • 234

Film Text

Anna Kovalova. Filmmaker № 5. (Czeslaw Sabinsky before 1917) • 249

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал „Нева“»
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9
Телефон: (812) 314-50-52
E-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva>
Ресурс в сети Интернет: www.nevajournal.ru

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276.

Свежие номера журнала, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

в Санкт-Петербурге — в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23).

За рубежом подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-21-17, 238-46-34).

Оптовая и мелкооптовая продажа: Санкт-Петербург, ООО «Журнал „Нева“», e-mail: officeneva@mail.ru

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства www.nevajournal.ru

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева“»

Подписано в печать 07.05.2016. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 ¹/₁₆. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 2500 экз. Заказ № 1427
Издательство «Журнал „Нева“»

Отпечатано по технологии СтР
в Первой Академической типографии «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия В. О., 12/28